



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



M



M



M



M



M



M



M



M



M



M



M





M



M



M



M



M



M



M



M



M

Буличъ, Николай Николаевичъ

Н. Н. БУЛИЧЪ.

О Ч Е Р К И

ПО ИСТОРИИ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

И

ПРОСВѢЩЕНІЯ

СЪ НАЧАЛА XIX ВѢКА.

ТОМЪ II.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича. Вас. Остр., 5 лин., 28.

1905

891.79
Bystic
V.2



Stacks
Exchange
Vol 2 Nov 1872 of Form Lit
1-10-72
03524-293

ЛЕКЦІЯ I.

1812 годъ. — Патриотическое направленіе литературы.—С. Глинка. — Распечатавъ.—Его афиши.

Въ половинѣ царствованія Александра Россіи суждено было вынести тяжелое испытаніе, которое значительно повліяло на историческія судьбы ея, на духъ общества и поставило власть въ другія отношенія къ народу. Мы говоримъ о 12-мъ годѣ и объ исполинской борьбѣ съ Наполеономъ, взволновавшей государство и общество до самаго основанія и сильно, хотя и не надолго, поднявшей общественное сознаніе. Тяжелый ударъ упалъ на безмолвную до тѣхъ поръ страну и возбудилъ вдругъ всѣ ея силы и въ особенности чувство національнаго достоинства и оскорбленной народной гордости, которая потомъ вполне удовлетворилась нашими побѣдами и политическимъ преобладаніемъ въ Европѣ. Не могли эти великія событія, переживаемыя съ трепетнымъ волненіемъ современниками, не отразиться на идеяхъ, и на умственной дѣятельности, какъ бы ни была незначительна эта послѣдняя. Въ эту замѣчательную эпоху общаго народнаго напряженія мы видимъ какъ бы поворотную точку, съ которой начинается измѣненіе и въ направленіи власти и въ направленіи общества. Нельзя отрицать вліянія войны 1812 года на народное сознаніе, потому что война эта была народная, потому что въ ней ставился вопросъ о существованіи. Съ голоса патриотической литературы, которая начала имѣть вліяніе на наше общественное мнѣніе съ первыхъ неудачныхъ встрѣчъ съ Наполеономъ, въ массу народа проникла глубокая ненависть къ врагу. Это чувство было общимъ и господствовавшимъ въ то время. Нашествіе французовъ, наши потери, занятіе Москвы и пожаръ ея произвели глубокое впечатлѣніе на сознаніе народа; оно не вдругъ прошло и не вдругъ уступило мѣсто ходу событій. Изгнаніе врага и побѣды подняли и возбудили родную гордость, тѣшили народное самолюбіе. Но утверждать, что эпоха

12-го года имѣла другое, болѣе рѣшительное и глубокое вліяніе на всю нашу исторію и наше развитіе, что съ нея измѣнился самый ходъ послѣдняго и вмѣсто прежней подражательности и прежнихъ заимствованій изъ Европы начинается пора самостоятельнаго развитія и въ жизни и въ мысли и въ литературѣ—будетъ не со всѣмъ справедливо. Порывъ чувства былъ слишкомъ силенъ и стремителенъ; но онъ прошелъ такъ же скоро, какъ и пришелъ. Самостоятельнаго и глубоко-національнаго развитія въ жизни мы не увидимъ, но увидимъ, что самая жизнь эта стала глубже и многостороннѣе; вліянія европейскія сдѣлались гораздо сильнѣе; болѣе тѣсное сближеніе и знакомство съ Европою, въ томъ обновленномъ и полномъ движеніи видѣ, въ какомъ она вышла изъ революціонной борьбы, еще болѣе распространили у насъ эти вліянія. Съ помощію ихъ и въ нашей мысли началось болѣе глубокое движеніе; она съ болѣе рѣшительною смѣлостію принялась за разработку внутреннихъ общественныхъ вопросовъ, получила отъѣнокъ политическій и пыталась даже выступить на практическое поприще.

Съ этимъ ходомъ нашего общественнаго развитія въ эпоху тяжелой борьбы съ Наполеономъ сообразовалась и литература наша. На ней отражался ходъ событій и знаменія времени, не смотря на всю ея слабость и подцензурное безсиліе. Мы довольно подробно говорили о нашемъ литературномъ движеніи въ замѣчательную эпоху начала царствованія Александра. Мы видѣли слабыя несвободныя и неумѣлыя попытки литературы въ эпоху первыхъ надеждъ на лучшее устройство,—во время первыхъ преобразованій, о которыхъ мечталъ Александръ и его молодые и либеральные совѣтники. Требовать отъ этой литературы больше, чѣмъ дала она при общей незрѣлости мысли, при совершенной непривычкѣ общества заниматься вопросами дѣйствительной жизни—мы не имѣемъ права. Явившись въ эпоху реформы Петра, эта литература служила только дѣлу реформы; ея главное вниманіе обращено было на Европу, художественнымъ явленіямъ которой она должна была по необходимости подражать, усвоивая своей странѣ общія начала цивилизаціи. Необходимо должна она была находиться подъ вліяніемъ явленій болѣе могущественныхъ и даже съ чужой точки зрѣнія смотрѣть на свою собственную, народную жизнь. Въ такомъ положеніи, за самыми ничтожными исключеніями, литература наша находилась въ теченіе всего XVIII вѣка. Въ концѣ этого вѣка и началѣ XIX мы познакомились съ крупнымъ литературнымъ явленіемъ—произведеніями Карамзина, въ которыхъ уже замѣтенъ нѣкоторый успѣхъ, сравнительно съ предшествовавшимъ временемъ, успѣхъ, заключающійся въ томъ, что онъ проща и естественнѣе взглянулъ на жизнь, что онъ ближе подвинулся къ

дѣйствительности, чѣмъ его предшественники, хотя все содержаніе его литературной дѣятельности разработывало вялый сентиментализмъ, тупую привязанность къ неподвижнымъ формамъ государственной жизни и ненависть къ реформамъ, задуманнымъ лучшими людьми въ началѣ царствованія Александра. Эти реформы дали нѣкоторое оживленіе русской мысли, особенно въ журналистикѣ, чему способствовали, разумѣется, самые взгляды правительства и желаніе дать относительный просторъ мысли. Но это кратковременное оживленіе не составляло еще значительнаго успѣха, литература не понимала народной жизни, потому что не изъ нея и вытекала она; правда жизни, какъ и дѣйствительныя потребности ея были далеки отъ нея. При томъ прежній тонъ литературной похвалы и самовосхваленія, тонъ напыщенной оды, представителемъ которой была Державинская поэзія, продолжалъ господствовать по-прежнему. Немногіе понимали его безсодержательность, и критика не смѣла еще возставать на прославленные авторитеты. У Державина было много послѣдователей и тонъ его поэзіи, состоящій въ восхваленіи самодержавія, побѣдъ и героевъ, не смотри на пробужденіе въ русской жизни болѣе высшихъ потребностей, продолжалъ господствовать и въ первую половину царствованія Александра. При преобладаніи такого тона и такихъ идеаловъ, которые совершенно приходились по плечу большинству общества, слабый голосъ журнальной литературы, касавшейся вопросовъ общественныхъ и робко трактовавшей о задуманныхъ реформахъ, былъ едва слышенъ въ обществѣ. Эта литература была слишкомъ незрѣла, долго шла на помочахъ у власти и была слишкомъ запугана, чтобъ имѣть независимый голосъ и говорить свободно, именно о томъ, что составляетъ главное содержаніе литературы—о вопросахъ общественныхъ—и тѣмъ служить развитію страны.

Прежняя литературная рутина была такъ сильна, что пробудившійся голосъ новыхъ идей былъ совершенно заглушенъ *патріотическимъ направленіемъ*, усилившимся во время неудачныхъ войнъ нашихъ съ Наполеономъ. Въ ряду другихъ литературныхъ явленій того времени: художественной поэзіи, мистицизма и журналистики, патріотическое направленіе стало самымъ сильнымъ и тонъ его проникъ во всѣ литературныя области. Мы познакомились уже отчасти съ дѣятельностію представителей патріотической литературы передъ самою войною 12-го года: съ Шишковымъ, Растопчинимъ и Глинкою. Всѣ трое въ эпоху 12-го года являюся во главѣ движенія.

Мы довольно подробно говорили о борьбѣ Шишкова съ Карамзинистами, гдѣ выступаетъ тоже это патріотическое направленіе, гдѣ, повидимому, дѣло шло о словахъ и формахъ языка, но въ сущности происходила борьба стараго съ новымъ. Шишковъ былъ представи-

телемъ старыхъ Ломоносовскихъ и Сумароковскихъ преданій въ языкѣ; въ языкѣ Карамзина были видны новыя, свѣжія силы, въ немъ замѣтно французское вліяніе, а этого было довольно Шишкову, чтобъ видѣть въ Карамзинѣ и въ его школѣ революціонеровъ и вредныхъ людей, обвинять ихъ въ вольнодумствѣ и даже въ измѣнѣ отечеству, тогда какъ въ дѣйствительности между идеями Шишкова и идеями Карамзина, по отношенію къ государственной жизни, не было существенной разницы. И тотъ и другой говорили одинаково въ пользу консервативныхъ идей и уваженія къ старинѣ, какова бы она ни была. Съ голоса Шишкова наша литература наполнилась выходками противъ всего французскаго, противъ нашихъ французскихъ учителей, въ рукахъ которыхъ, по необходимости, было такъ долго воспитаніе русскаго юношества. Теперь, подѣ вліяніемъ неудачъ и пораженій, подѣ вліяніемъ нелюбви къ преобразованіямъ и новой жизни, нелюбви, которая въ каждомъ французѣ заставляла видѣть революціонера и царевубійцу, раздраженіе противъ всего французскаго достигло высшей степени, хотя въ немъ и замѣтно было много дѣтскаго и нелѣпаго.

Но Шишковъ, какъ личность, въ своихъ увлеченіяхъ и нападеніяхъ на все французское былъ искрененъ, хотя и нелѣпъ; таково было его воспитаніе и таковъ былъ складъ его ума. Едва ли можно говорить объ искренности убѣжденія въ литературно-патріотической дѣятельности Растопчина, хотя онъ по таланту стоялъ выше Шишкова. Простодушнѣе и наивнѣе Шишкова былъ С. Глинка съ своимъ дѣтски патріотическимъ журналомъ „Русскій Вѣстникъ“. Журналъ этотъ, который онъ сталъ издавать въ одно время съ патріотическими брошюрами Растопчина и подѣ его вліяніемъ, былъ и задуманъ имъ для пробужденія въ русскомъ обществѣ національнаго чувства и патріотизма, посвященъ прославленію старинныхъ добродѣтелей и достоинствъ русскаго народа, желанію поднять во что бы то ни стало людей древней Руси, при чемъ Глинка, въ наивномъ увлеченіи своемъ, иногда чрезвычайно забавно сравнивалъ мысли древнихъ русскихъ людей съ европейскою наукою, которую онъ зналъ гораздо лучше, чѣмъ древнюю Русь. Промахи Глинки не замѣчались тогдашнимъ неразвитымъ русскимъ обществомъ; оно безраздѣльно подчинилось его пылкому увлеченію, и въ эпоху борьбы съ Наполеономъ онъ имѣлъ большое значеніе и нравственный авторитетъ. Онъ даже пожалованъ былъ орденомъ „за любовь къ родинѣ“, какъ сказано въ рескриптѣ. Это былъ вполне цѣльный и честный характеръ, чѣмъ и объясняется его вліяніе даже на молодое поколѣніе. Произведенія Растопчина въ ту пору пользовались также большою популярностію, хотя подѣ слоемъ патріотизма въ нихъ выступало наружу

личное честолюбіе, а не искреннее и глубоко убѣжденное чувство. Теперь, когда прошло уже много времени, легко замѣтить даже въ самомъ слогѣ его что-то натянутое и придуманное. Растопчивъ былъ человѣкъ вовсе не воспитанный по-русски; народъ и его положеніе были не близки ему; онъ тупо и упорно стоялъ за старыя формы жизни и защищалъ крѣпостное право, видя въ освобожденіи вредъ для государства. Въ своихъ сочиненіяхъ онъ скорѣе поддавался подь народный тонъ, чѣмъ понималъ его.

Съ такимъ общимъ характеромъ представляется намъ русская литература въ первую половину царствованія Александра I. Она была слабымъ выраженіемъ слабого и неопредѣленнаго общественнаго мнѣнія. Въ этомъ обществѣ только самая ничтожная часть его, и то поддерживаемая сначала правительствомъ, думала о лучшемъ будущемъ, о реформахъ, необходимыхъ для государства и народа. Но само правительство, по личному характеру Александра, колебалось и выражало постоянно нерѣшительность; оттого мнѣнія меньшинства не имѣли ни твердости, ни возможности дѣйствовать на жизнь. Приверженцы стараго порядка, удалившіеся было отъ дѣлъ въ началѣ царствованія, недовольные новыми людьми, окружавшими молодого императора, и новыми идеями, грозившими измѣнить старину, отчаявались недолго и скоро опять подняли голову. 12-й годъ помогъ имъ очень много.

Съ этого времени правительство покидаетъ путь реформъ и улучшеній, и представители стараго порядка снова управляютъ дѣлами. Посреди тревожныхъ ожиданій общественнаго мнѣнія, въ виду близкаго нашествія Наполеона, правительство должно было уступить напору консервативной партіи; оно испугалось; идеи Карамзина, которыми онъ грозилъ власти въ своей знаменитой „Запискѣ“ и которыя были приняты сначала неблагосклонно, теперь восторжествовали и сдѣлались руководящими. Создатель всѣхъ реформъ и преобразованій въ администраціи—Сперанскій, на голову котораго сыпалось столько проклятій, палъ къ общей радости консерваторовъ; его реформы и конституціонные планы заслужили теперь ему названіе „измѣнника“, съ которымъ соглашался и самъ Александръ, принеся его въ жертву всеобщему раздраженію. Не знаю, смерть лютаго тирана могла ли бы произвести такую всеобщую радость“, говоритъ современникъ о паденіи и смѣлкѣ Сперанскаго¹⁾. Изъ этого уже можно видѣть, какъ настроено было тогда общественное мнѣніе въ Россіи, хотя оно не имѣло ни голоса, ни выраженія и ничтожныя газеты того времени не смѣли даже напечатать извѣстія о такой переимѣнѣ.

¹⁾ Записки Ф. Ф. Вигеля, вып. IV, стр. 33.

Въ самую эпоху 12-го года, въ это время порывовъ и патриотическаго увлеченія, ненависть къ иностранцамъ и въ особенности къ французамъ достигаетъ своего полнаго развитія и естественно ожидать, что знакомое намъ патриотическое направленіе должно торжествовать въ литературѣ. Извѣстенъ чрезвычайный успѣхъ новаго журнала, появившагося въ 1812 году и посвященнаго возбужденію патриотизма и описанію подвиговъ русскихъ въ отечественную войну. Редакторомъ его былъ въ то время еще молодой и мало кому знакомый литераторъ Н. И. Гречъ. Журналъ этотъ— „Связь отечества“, самое названіе котораго уже достаточно показываетъ его направленіе. Хотя впоследствии онъ много разъ измѣнялъ этому направленію, но въ ту пору все оно состояло въ ожесточенномъ преслѣдованіи Наполеона и французовъ, въ дикихъ насмѣшкахъ надъ побѣжденнымъ врагомъ. Ненависть къ завоевателю и французамъ перешла въ ненависть къ идеямъ, созданнымъ французскою литературою XVIII вѣка, и къ принципамъ, которые создала революція. И то и другое смѣшивалось.

Такимъ же успѣхомъ, вслѣдствіе всеобщаго возбужденія въ разныхъ слояхъ общества, пользовались знаменитыя *Теребеневскія* карикатуры (по имени художника ихъ исполнявшаго, хотя у него были и другіе помощники). Это были политическія карикатуры того времени во всей своей грубой непосредственности. Подняться выше онѣ не могли, потому что настоящая политическая карикатура развивается только въ странахъ съ свободною государственною жизнью и немислима при существованіи цензуры. *Теребеневскія* карикатуры издавались съ разрѣшенія цензуры и все ихъ немудреное содержаніе заключалось въ грубой насмѣшѣ надъ побѣжденнымъ врагомъ, въ желаніи возбудить къ нему ненависть. Тутъ была лестъ животнымъ инстинктамъ народа, а въ подписяхъ подъ карикатурами мы встрѣчаемъ поддѣлку подъ народный складъ языка, на манеръ Растопчина. Правительство поддерживало подобныя литературныя и художественныя явленія, потому что старалось и съ своей стороны о возбужденіи народнаго чувства. Патриотическая ненависть къ французамъ и Наполеону достигла высшей степени въ пресловутыхъ *афишахъ* или печатныхъ объявленіяхъ графа Растопчина, въ которыхъ онъ разговаривалъ съ московскими жителями о приближающемся къ столицѣ врагѣ. Мы говорили уже о предшествовавшей литературной дѣятельности Растопчина, возникшей во время первыхъ несчастныхъ войнъ нашихъ съ Наполеономъ, подъ влияніемъ внутренняго недовольства преобразованіями и неудовлетвореннаго честолюбія, такъ какъ Растопчинъ не пользовался милостію Александра. Растопчинъ находился въ оппозиціи, и въ обществѣ московскомъ разноси-

лись его остроумныя выраженія, которые не могли нравиться правительству. Его личный характер тоже не располагалъ къ нему. Чрезвычайно впечатлительная, желчная и раздражительная натура его во многомъ напоминала императора Павла, любимцемъ котораго онъ былъ и которому онъ обязанъ былъ какъ своимъ возвышеніемъ въ служебной іерархіи, такъ и жалованнымъ богатствомъ.

Александръ сблизился съ нимъ незадолго до войны 12-го года. Въ этомъ сблизеніи, какъ это было и по отношенію къ Карамзину, принимала участіе В. К. Екатерина Павловна, недовольная Сперанскимъ и преобразованіями, сдѣланными имъ. Родство и дружба Растопчина съ Карамзинымъ, одинаковость ихъ взглядовъ и убѣждений обратили на него вниманіе Великой Княгини, а въ началѣ 12-го года, когда все общественное мнѣніе было встревожено близящимся грознымъ нашествіемъ Наполеона, когда послѣдовало неожиданное паденіе Сперанскаго, всѣ указывали на Растопчина, какъ на главу консервативной партіи, какъ на будущаго спасителя отечества. Всѣ приписывали ему извѣстное подложное письмо къ императору, весьма грубое по формѣ и выраженію, гдѣ Сперанскій выставился главою заговора, желавшаго предать Россію въ руки Наполеона и лишить ее всякихъ средствъ къ оборонѣ. Какъ бы то ни было, Растопчинъ, если не прямо, то своими словами и дѣйствіями много способствовалъ паденію Сперанскаго. Въ ту тяжелую пору всеобщаго страха и недоумѣнія, когда напуганное мнѣніе вездѣ и во всемъ видѣло намѣну, когда, уступая подозрѣніямъ подобнаго рода, Александръ назначилъ, противъ своего желанія, Кутузова главнокомандующимъ вмѣсто Барклая де-Толли, почитаемаго измѣнникомъ, назначеніе Растопчина на важный постъ московскаго главнокомандующаго было встрѣчено всеобщимъ одобреніемъ. Онъ былъ дѣйствительно въ то время на своемъ мѣстѣ. Страстный по своей впечатлительной натурѣ и деспотъ въ душѣ, Растопчинъ сжалъ первопрестольную столицу въ своихъ крѣпкихъ рукахъ и распорядился въ ней самовластно; это былъ диктаторъ, которому обстоятельства придавали силу. Къ этому времени, именно къ 12-му году, къ двумъ или тремъ мѣсяцамъ передъ тѣмъ, какъ Наполеонъ занялъ Москву, относятся его *Афиши* или объявленія къ народу, которыя въ нашихъ исторіяхъ литературы обыкновенно считаются за образцовыя произведенія. Онѣ, дѣйствительно, были тогда замѣчательнымъ явленіемъ въ нашей жизни: появленіе ихъ доказываетъ, какъ необходимо для правительства и власти печатное слово, и надобно только сожалѣть, что такъ рѣдко и то только въ затруднительныхъ обстоятельствахъ прибѣгаютъ къ этому средству.

Всѣхъ афишъ 10 или 12. Болѣе полное ихъ изданіе находится у

Богдановича ¹⁾). Содержаніе этихъ объявленій къ народу заключается въ увѣдомленіи москвичей о движеніи нашихъ и непріятельскихъ войскъ, о числѣ ихъ, при чемъ, конечно, главная цѣль Растопчина была воодушевить и ободрить народъ и въ особенности успокоить его, такъ какъ Москва въ то время была полна волненіемъ въ виду приближавшагося нашествія. Изъ Москвы Растопчинскія афишки переходили и въ ближайшія губерніи и вездѣ читались съ жадностію. Растопчинъ находился въ довольно затруднительномъ положеніи. Не смотря на то, что онъ старался въ своихъ афишкахъ удержать москвичей отъ выселенія изъ города, смѣялся надъ тѣми, которые выѣзжали, какъ надъ трусами, „жизнію отвѣчалъ, по его выраженію, что злодѣй въ Москву не будетъ“, выселеніе людей достаточныхъ, дворянъ, купцовъ и чиновниковъ было очень значительно, да и само правительство выводило и вывозило изъ Москвы государственныя драгоценности, присутственныя мѣста, воспитательныя заведенія, монаховъ, монахинь и пр. Все это раздражало народъ и противорѣчило утвержденіямъ Растопчина. Тѣ, которые вѣрили его увѣреніямъ, раскаялись жестоко потомъ, что остались въ Москвѣ, и въ этомъ въ особенности надобно искать причину того, что Растопчинъ такъ скоро потерялъ свою популярность. Часто эти афишки приводили народъ въ недоумѣніе: онъ не зналъ, чему вѣрить — словамъ ли главнокомандующаго или тому, что онъ зналъ изъ другихъ источниковъ. Надобно думать, что самъ Растопчинъ, какъ онъ и говорить въ своемъ рапортѣ Сенату ²⁾, былъ вполне убѣжденъ, что русская армія отстоитъ Москву и не допустить въ нее непріятеля, и полагался на утвержденія Кутузова въ этомъ смыслѣ: „моя цѣль, говоритъ онъ, состояла единственно въ томъ, чтобъ спокойствіемъ Москвы сохранить спокойствіе и во всей Россіи, спасти жителей столицы и оставить ее на погибель непріятеля безъ людей и безъ пищи: въ чемъ, благодареніе Всевышнему! успѣлъ совершенно!“ Въ противоположность Кутузову, Растопчинъ видѣлъ въ паденіи Москвы погибель всей Россіи. „Каждый теперь изъ русскихъ, писалъ онъ къ Кутузову, полагаетъ всю силу въ столицѣ и справедливо почитаетъ ее оплотомъ царства; но съ ея впаденіемъ въ руки злодѣя, цѣпь, связывающая все мнѣніе и укрѣпленная къ престолу государей нашихъ, разорвется, и общее рвеніе, раздѣляясь на части, останется бездѣйственно“. Онъ воображалъ, что Наполеонъ, утвердившись въ Москвѣ, будетъ безпрепятственно править Россією ³⁾. И Растопчинъ хотѣлъ отстоять Москву, возбуждая ея населеніе въ

¹⁾ „Исторія Александра I, т. III, Прил., стр. 69—73“.

²⁾ „Русск. Арх.“ 1868 г., стр. 884.

³⁾ „Русск. Стар.“ 1870 г., II, стр. 305.

оборонѣ, унижая въ его глазахъ врага шутками, въ которыхъ поддѣлывался подъ грубый тонъ народа. „Какъ! Къ намъ? — говоритъ Растопчинъ устами московскаго мѣщанина Карнюшки Чихирина, выпившаго лишній кружокъ на тычкѣ, „милости просимъ, хоть на святкахъ, хоть на масленицу; да и тутъ жгутами дѣвки такъ припопнать, что спина вздуется горой. Полно демономъ-то наряжаться; молитву сотворимъ, такъ до пѣтуховъ сгинешь! Сиди-ка дома, да играй въ жмурки, либо въ гулючки. Полно тебѣ фиглярить; вить солдаты-то твои карлики да щегольки: ни тулупа, ни рукавицъ, ни малахая, ни онучь не надѣнуть. Ну гдѣ имъ русское житье-бытье вынести? Отъ капусты раздуются, отъ каши перелопачутся, отъ щей задохнутся, а которые въ зиму-то и останутся, такъ крещенскіе морозы поморятъ, будутъ у воротъ замерзать, на дворѣ околѣвать, съ сѣняхъ зазавать, въ избѣ задыхаться, на печи обжигаться“... ¹⁾ Онъ увѣрялъ народъ, что легко побѣдить французовъ, даже однимъ москвичамъ: „И выйдемъ сто тысячъ молодцевъ, возьмемъ Иверскую Божію Матерь, да 150 пушекъ и кончимъ дѣло всѣ вмѣстѣ. У непріятеля же своихъ и сволочи 150 т. человекъ, кормятся пареною рожью и лошадинымъ мясомъ“... „Не бойтесь ничего: нашла туча, да мы ее отдуемъ; все перемелется, мука будетъ“... „Мы своимъ судомъ съ злодѣемъ разберемся! Когда до чего дойдетъ, мнѣ надобно молодцевъ и городскихъ и деревенскихъ; я вличъ кликну дни за два, а теперь не надо, я и молчу. Хорошо съ топоромъ, не дурно съ рогатиной, а всего лучше вилы тройчатки; французъ не тяжеле снопа ржаного“... ²⁾ Изъ этихъ отрывковъ Растопчинскихъ воззваній видно, что національное чувство, имъ возбуждаемое, походило скорѣе на раздражительность и ненужное хвастовство, напоминающее извѣстное выраженіе: „шапками закидаемъ“! Въ афишахъ не было уваженія ни къ врагу, ни къ русскимъ. Народа и не могъ уважать Растопчинъ по всему складу своихъ убѣжденій и по характеру. Онъ смотрѣлъ на него, какъ на бессмысленную толпу, которую можно обманывать бойкими фразами въ псевдо-народномъ духѣ и ложными извѣстіями.

¹⁾ Соч. Растопчина, изд. Смирдина, стр. 163—164.

²⁾ Богдановичъ, т. III, прил., стр. 69—73.

ЛЕКЦІЯ П.

„La vérité sur l'incendie de Moscou“.—Казнь Верещагина.—Общая характеристика личности Растопчина.—Шишковъ. „Опытъ славенскаго словаря“. „Разсужденіе о любви къ отечеству“.—Назначеніе Шипкова государственнымъ секретаремъ.

Двѣнадцатымъ годомъ и прославленною историческою дѣятельностію въ Москвѣ въ званіи генераль-губернатора заканчивается собственно литературная слава Растопчина, какъ и вообще его роль въ русской исторіи, ему современной. Скоро онъ удаляется отъ дѣлъ и событій и если не покидаетъ своего пера, то написанное имъ, болѣею частію не по-русски, не имѣетъ уже прямого отношенія къ времени и касается только его одного. Въ заревѣ всемірно-историческаго пожара Москвы, который можно считать скорѣе случайнымъ произведеніемъ народнаго грабежа и обстоятельствъ, чѣмъ сознательнымъ и обдуманномъ патріотическимъ подвигомъ, мрачная и желчная фигура Растопчина освѣщена какимъ-то зловѣщимъ блескомъ. Этотъ пожаръ Москвы, который обыкновенно приписываютъ патріотической дѣятельности и распоряженіямъ Растопчина, сдѣлался потому причиною всеобщаго неудовольствія на него, особенно со стороны многочисленнаго населенія москвичей, разоренныхъ пожаромъ и принужденныхъ возвращаться на груды развалинъ. Манифесты 12-го года приписывали пожаръ Москвы поджогамъ французовъ. Патріотическое значеніе его выступило въ сознаніи гораздо позже; на первыхъ порахъ онъ возбуждалъ только ненависть и раздраженіе, признаніе пожара какъ подвига даже сдѣлано было не русскими, а иностранцами. И самъ Растопчинъ, уже гораздо позже, въ 1823 году, когда толки объ этомъ событіи и вопросы, поднимаемые имъ, стали часто встрѣчаться въ иностранной печати и когда усилились обвиненія его со стороны русскихъ, почелъ своею обязанностію издать въ Парижѣ книжку „La vérité sur l'incendie de Moscou“, въ которой онъ отрицалъ фактъ своихъ распоряженій и снималъ съ себя всякую отвѣтственность за пожаръ. Поклонники Растопчина думаютъ, что эта странная книжка была написана имъ изъ уваженія къ русскому народу ¹⁾, что въ ней Растопчинъ не желалъ приписывать себѣ одному честь высокаго патріотическаго самопожертвованія, а хотѣлъ ее раздѣлить съ народомъ русскимъ... Но мы знаемъ, что онъ не уважалъ этотъ народъ. Скорѣе можно думать, что Растопчинъ, жившій тогда

¹⁾ „Русск. Арх.“, 1869 г., стр. 1443.

въ Парижѣ и читавшій французскіе газеты и журналы, въ которыхъ московскій пожаръ выставлялся какъ величайшее варварское дѣло, недостойное XIX вѣка, желалъ снять съ себя общія обвиненія.

Другое обстоятельство того же 12-го года еще болѣе въ зловѣщемъ свѣтѣ выставляетъ мрачную личность Растопчина. Это трагическая смерть Верещагина, несчастнаго молодого человѣка, попавшагося въ руки раздраженной московской черни съ рукописнымъ переводомъ Наполеоновской прокламаціи, сдѣланнымъ имъ изъ празднаго любопытства. Обстоятельства этого дѣла, много разъ изложеннаго въ нашей печати въ воспоминаніяхъ современниковъ, не дѣлаютъ вовсе чести Растопчину. Послѣ кратковременныхъ и недостаточныхъ вопросовъ онъ выставилъ Верещагина передъ разъяренною чернью измѣнникомъ и шпиономъ французомъ (это было наканунѣ входа французомъ въ Москву) и выдалъ его на растерзаніе народу. Это былъ необдуманнѣйшій поступокъ произвола, который составлялъ существенную черту характера Растопчина, и нельзя поэтому согласиться съ Фарнгагеномъ фонъ-Энзе, представившимъ замѣчательную характеристику Растопчина, что онъ рѣшился на казнь Верещагина обдуманно и сознательно „для усиленія народнаго негодованія“. Казнь Верещагина, безъ суда и слѣдствія, была произведеніемъ только дикаго разгула власти, до котораго дошелъ Растопчинъ съ своими инстинктами, чисто татарскаго свойства. Современники рассказывали, что эта казнь Верещагина стояла грознымъ призракомъ въ памяти Растопчина до самой смерти его, что тѣнь убитаго являлась ему въ сонныхъ видѣніяхъ и мучила его совѣсть, наводя по временамъ на его далеко не чувствительную натуру неописанный ужасъ¹⁾. Говорятъ также, что отецъ несчастнаго Верещагина, какой-то капитанъ, уже въ 1813 году, бросился къ ногамъ императора Александра и просилъ суда и слѣдствія, желая оправдать память невиннаго сына, и это было между прочимъ причиною усилившагося нерасположенія Александра къ Растопчину. Но главный источникъ неудовольствія заключался въ московскомъ пожарѣ, на который смотрѣли тогда, какъ на совершенно бесполезную жертву, какъ на страшное дѣло, погубившее столько имущества и богатствъ и разорившее такъ много народа. Александръ и прежде не любилъ Растопчина; теперь эта нелюбовь усилилась и Растопчинъ былъ уволенъ отъ званія московскаго главнокомандующаго 30 августа 1814 года. На другой годъ онъ поѣхалъ за границу какъ для лѣченія, такъ и для воспитанія своихъ дѣтей и оставался тамъ лѣтъ восемь. Его сыномъ изданы

¹⁾ *Свербеевъ*, Записки, т. I, стр. 464—8; Ф. ф.-Энзе.— „Моск. Вѣд.“, 1859 г., № 234.

отрывки изъ его „путевныхъ замѣтокъ“¹⁾, которыя, какъ вѣстается, были первоначально писаны на языкѣ французскомъ. Въ нихъ по-прежнему виденъ живой и наблюдательный умъ его и удивительная легкость выраженія. Недовольство и желчь, которыя составляли существенную черту этихъ записокъ, не мѣшали однако высказывать ему очень мѣткія наблюденія, гдѣ рядомъ съ признаками неудовлетвореннаго честолюбія заключалось много замѣтокъ весьма вѣрныхъ, какъ о нѣкоторыхъ людяхъ, такъ и объ обстоятельствахъ времени. То же можно сказать о собраніи его писемъ къ извѣстному кавказскому герою, его другу — Циціанову, писанныхъ еще до начала его авторства²⁾. Въ нихъ очень много любопытнаго, какъ для характеристики самого Раstopчина, такъ и для характеристики времени и общества, разумѣется, подъ условіемъ личнаго его взгляда.

Большую часть своей заграничной жизни Раstopчинъ естественно провелъ въ Парижѣ, гдѣ слава его имени, значительное богатство, умъ, превосходное умѣнье владѣть французскимъ языкомъ и выражаться на немъ съ замѣчательнымъ остроуміемъ, приобрѣли ему всеобщую извѣстность и знакомства въ различныхъ слояхъ общества. Его нарочно приходили смотрѣть, какъ личность чрезвычайно оригинальную, и потому очень много замѣтокъ о немъ и его характерѣ встрѣчается въ запискахъ иностранцевъ. Къ сожалѣнію, нельзя ничего сказать похвальнаго о нравственномъ характерѣ послѣднихъ годовъ его жизни. Свѣдаемый оскорбленнымъ самолюбіемъ, при пылости, дикихъ и грубыхъ инстинктахъ своего татарскаго характера, Раstopчинъ пускался въ увлеченія, несвойственныя ни его дѣтамъ, ни его положенію. Онъ скрывалъ однако то чувство, которое грызло его, и распорядился выгравировать свой портретъ съ характеристическою надписью: „Безъ дѣла и безъ скуки—сизу, поджавши руки“. Вигель оставилъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ нѣсколько непривлекательныхъ намековъ о томъ, какъ этотъ старикъ „оставивъ неохотно бремя государственныхъ дѣлъ, чувственными наслажденіями хотѣлъ заглушить сожалѣнія о потерянной власти“³⁾. Вигеля подтверждаетъ и Ф. фонъ-Энзе, рассказывая объ увлеченіяхъ Раstopчина штутгардскою актрисою Бреде⁴⁾. Дикій баринъ, испорченный крѣпостнымъ правомъ, хотя и съ лоскомъ парижанина, выходилъ наружу. Въ 1823 году Раstopчинъ воротился въ Москву, гдѣ прожилъ недолго. Онъ умеръ 18-го января 1826 года. Послѣднее впечатлѣніе его и

¹⁾ Девяти. Вѣкъ, II, стр. 121—140.

²⁾ Ib., стр. 1—113.

³⁾ Записки, вып. V, стр. 126.

⁴⁾ „Моск. Вѣд.“, 1859 г., № 234.

последнія остроумныя слова его относились къ людямъ известнаго петербургскаго событія 14 декабря 1825 года, которыхъ онъ судилъ съ своей точки зрѣнія: „Обыкновенно сапожники дѣлають революціи, чтобы сдѣлаться господами, а у насъ господа захотѣли сдѣлаться сапожниками“¹⁾. Растопчинъ жилъ довольно долго и стоялъ часто на самомъ верху событій, любилъ наблюдать и умно наблюдалъ, писалъ много и было о чемъ ему писать, а потому трудно предположить, чтобы послѣ него не осталось подробныхъ воспоминаній о пережитомъ имъ. Сынъ его свидѣтельствуетъ²⁾, что всѣ его бумаги, тотчасъ по смерти, взяты были въ Петербургъ.

Надобно замѣтить, что славу Растопчина составили сначала главными образомъ иностранцы. Ихъ интересовала въ высшей степени эта во всякомъ случаѣ оригинальная и замѣчательная личность и роль ея въ московскомъ пожарѣ 12 года. Конечно, французы въ то время и долго спустя смотрѣли на этотъ пожаръ, какъ на поступокъ вполне варварскій, свойственный только дикарямъ, а не образованному народу; но другіе иностранцы, воспитанные въ ненависти къ Наполеону, видѣли въ Растопчинѣ героя. Многіе изъ нихъ разглядѣли однако въ немъ „неумолимую жестокость башкира съ любезностью француза нашего вѣка“, сужденіе, повторенное и Ф. фонъ Энзе, который имѣлъ случай говорить съ нимъ въ 1817 году. И онъ замѣтилъ въ немъ также эти характерныя черты: произволь и сильную волю, прикрытые вѣшнимъ лоскомъ, и неудовлетворенное честолюбіе. Когда Растопчинъ говорилъ, что отечество было неблагогодарно къ нему, то, по словамъ Фарнгагена, его страшно было слушать. Онъ замѣтилъ въ немъ и дикую основу характера. По его характеристикѣ известный англійскій историкъ Барлейнъ составилъ о Растопчинѣ понятіе, какъ о фигурѣ въ родѣ Микель-Анджеловскихъ³⁾. Естественно, что для нѣмцевъ время освобожденія изъ-подъ власти Наполеона Растопчинъ являлся величайшимъ патриотомъ и героемъ въ духъ древней Греціи или Рима. Въ замѣткахъ известнаго нѣмецкаго патриота Аридта, бывшаго въ Россіи въ 1812 году вмѣстѣ съ барономъ Штейномъ, онъ и представляется такимъ, а пожаръ Москвы величайшимъ патриотическимъ подвигомъ⁴⁾. Эти взгляды перешли и къ нашимъ историкамъ Отечественной войны и сдѣлались общимъ достояніемъ. Что касается до литературной дѣятельности Растопчина и до значенія ея въ исторіи нашего развитія, то, не отнимая у него

¹⁾ „Русск. Арх.“, 1868 г., стр. 1675.

²⁾ Дев. Вѣкъ, II, стр. 114.

³⁾ „Русск. Арх.“, 1866 г., стр. 509.

⁴⁾ „Русск. Арх.“, 1871 г., стр. 940.

блестящаго таланта и замѣчательной легкости выраженія, мы далеки отъ того однакожь, чтобъ приписывать его сочиненіямъ безукоризненно народный характеръ. Сознаніе и въ наукѣ и въ обществѣ растетъ съ годами, и увлеченія прежнихъ сужденій уступаютъ мѣсто взглядамъ болѣе строгимъ и обдуманнѣмъ. Всѣ произведенія Растопчина имѣли значеніе временное, а слѣдовательно, одностороннее. Видѣть въ нихъ что-нибудь больше—будетъ преувеличеніе. Онъ сдѣлалъ свое дѣло въ свое время, но не былъ народнымъ писателемъ, потому что не любилъ народа, не уважалъ ни его ума, ни сердца, а смотрѣлъ на народъ, какъ на грубую и темную массу, съ которою можно поступать деспотически и произвольно. Растопчина выдвинули впередъ обстоятельства; вмѣстѣ съ ними онъ сошелъ съ исторической сцены.

Та же знаменательная эпоха 12 года выдвинула на новый родъ дѣятельности и Шишкова. И онъ, подобно Растопчину, да и вообще большинству своихъ современниковъ, страдалъ служебнымъ честолюбіемъ. Его огорчало удаленіе отъ государя, которому нужны были новые люди съ новымъ взглядомъ на вещи. Его мѣсто заступилъ молодой, чрезвычайно образованный, либеральный и лично любимый Александромъ — Чичаговъ, которому потомъ пришлось въ 12 году сыграть довольно двусмысленную и до сихъ поръ не вполне выясненную роль при извѣстной переправѣ Наполеона черезъ Березину, за что тяжко обрушилось на него тогдашнее общественное мнѣніе Россіи. И Чичаговъ и Шишковъ не терпѣли другъ друга и недовольный Шишковъ весь отдался своимъ полемическимъ трудамъ, *корнереттю*, какъ называли тогда, и борьбѣ противъ новаго слога, въ которомъ онъ видѣлъ развращеніе вѣка. Мы видѣли, какой дѣльный и рѣзкій отпоръ получилъ онъ отъ карамзинистовъ, которые потрудились отвѣчать на каждое изъ полемическихъ сочиненій Шишкова. Но его преслѣдовала и въ другомъ мѣстѣ неудача, гдѣ онъ, повидимому, не могъ бы ожидать ее. Въ качествѣ члена Россійской Академіи, въ которой засѣдали всѣ старики тогдашней литературы, на ряду съ членами высшаго духовнаго сана, Шишковъ въ 1808 году представилъ въ нее для напечатанія „Опытъ славенскаго словаря“, гдѣ ему „вздумалось собирать и толковать не всѣмъ вообще извѣстныя слова, часто весьма сильныя и для высокаго слога необходимо нужныя, но забытыя или незнаемыя, по причинѣ малаго употребленія оныхъ въ просторѣчій“ ¹⁾. Академія рѣшила напечатать подобный словарь, но послѣ напечатанія нѣсколькихъ листовъ, продолженіе было приостановлено, вслѣдствіе замѣчаній двухъ членовъ—епископовъ, которые,

¹⁾ Записки, мнѣнія и переписка адмирала А. С. Шишкова. Берлинъ, 1870 года, т. II, стр. 1. (Быль, достойная нѣкотораго любопытства):

разбирая нѣкоторыя слова, требовали все сочиненіе подвергнуть особой духовной цензурѣ, не смотря на то, что Академія имѣла право печатать безъ всякой цензуры. Обиженный Шишковъ потребовалъ объясненій и получилъ довольно объемистую тетрадь примѣчаній на свой „Словарь“, которыя онъ, разумѣется, признавалъ неосновательными, тѣмъ болѣе, что его заподозривали въ неправославныхъ мнѣніяхъ и въ незнаніи церковно-славянскаго языка. Шишковъ не преминулъ вступить въ рукописную полемику съ двумя духовными членами по Академіи, своими критиками, при чемъ „не могъ воздержаться отъ удивленія и печали, видя людей, которые въ почтенномъ архинастырскомъ санѣ, напрягаясь желаніемъ очернить трудъ чловека, ищущаго принести пользу языку своему, начинаютъ съ важностію обвинять его“¹⁾. Полемика эта не привела ни къ чему и словарь былъ напечатанъ лѣтъ восемь спустя. Изъ нея Шишковъ, въ своемъ увлеченіи, вынесъ только слѣдующее убѣжденіе: „Доселѣ Теофаны, Платоны и другіе наши церковные пастыри, говорили поученія своимъ языкомъ священныхъ книгъ; свѣтскіе же писатели—Лоновосовы и нѣтъ подобныя, почерпали изъ нихъ важность слога и красоту выраженій. Нынѣ, напротивъ, не токмо свѣтскіе журналисты, не читая ничего истинно высокаго и краснорѣчиваго, отстаютъ отъ великолѣпія и силы языка своего, но и духовныя особы въ томъ нѣтъ послѣдуютъ“²⁾. Всю эту полемику Шишковъ подробно записалъ въ своихъ „Домашнихъ запискахъ“³⁾.

Неудачи по службѣ, самолюбіе, неколѣдья лѣта и воспитаніе, имъ полученное, сдѣлали его консерваторомъ, врагомъ людей и преобразованій, задуманныхъ въ первую половину царствованія Александра. Мы знаемъ, что подобныхъ ему было много. Онъ отличался, однако, выгодно отъ другихъ своими простодушіемъ и искренностію, дѣйствительною любовью къ языку нашихъ богослужбныхъ книгъ, уваженіемъ народныхъ преданій и наввною враждою ко всему чужеземному, въ чемъ видѣлъ, по обыкновенію, развращеніе нравовъ и слѣды ненавистной ему французской революціи. Самодержавію, подобно Державину, онъ былъ преданъ вполне, всею душою и видѣлъ въ немъ единственный якорь спасенія. Въ его сердцѣ самымъ искреннимъ образомъ, хотя и бессознательно, въ неопредѣленномъ видѣ, жила та формула, которую извѣстный министр, графъ Уваровъ, въ глухую пору нашей внутренней исторіи старался положить въ основу всего народнаго просвѣщенія Россіи: православіе, самодержавіе и на-

¹⁾ Ibidem, стр. 15.

²⁾ Ibidem, стр. 25.

³⁾ Ibidem, стр. 1—42.

родность. Я говорилъ уже о томъ, какъ, при главномъ участіи Шишкова и Державина, образовалась въ Петербургѣ, по преимуществу изъ старыхъ литераторовъ съ Ломоносовскими преданіями и консервативными убѣжденіями, такъ называемая „Бесѣда любителей російскаго слова“, какъ противоудѣйствіе новому слогу и новому направленію въ словесности. Это литературное общество, котораго торжественныя собранія съ большою внѣшнею помпой происходили въ нарочно для того устроенной залѣ дома Державина и привлекали лицъ высшаго общества, всегда консервативнаго и въ пору старавшагося выказать свой патріотизмъ, было Высочайше утверждено въ началѣ 1811 года. „Бесѣда“ была открыта вступительною рѣчью Шишкова о красотахъ нашихъ стихотворцевъ. Въ декабрѣ этого года, когда отношенія наши къ Наполеону достаточно опредѣлялись и когда для многихъ стала ясною неизбѣжность новой и рѣшительной борьбы съ нимъ, Шишковъ читалъ въ „Бесѣдѣ“ свое извѣстное „Разсужденіе о любви къ отечеству“¹⁾. Онъ написалъ его ранѣе, но читать долго не рѣшался по политическимъ обстоятельствамъ. Шишковъ самъ объясняетъ, почему онъ не смѣлъ читать своего разсужденія. „Времена казались мнѣ такіа, что я, наслышась о преобладаніи надъ нами французскаго двора и чванствѣ посланника его, Коленкура, а при томъ зная и неблаговоленіе ко мнѣ государя императора, опасался, чтобъ не поставили мнѣ это въ какое-нибудь смѣлое покушеніе, безъ воли правительства возбуждать гордость народную“²⁾. Слова замѣчательныя! Они показываютъ, какъ принижена мысль у нашихъ писателей, которые не смѣютъ, безъ воли правительства, говорить о народной гордости. Для огражденія себя отъ нападеній, Шишковъ потребовалъ, чтобы публичное чтеніе его разсужденія было опредѣлено всѣми отдѣлами „Бесѣды“. Собраніе, въ которомъ читалъ Шишковъ, было очень многочисленно. Все высшее общество столицы и представители духовенства, болѣе 400 человекъ, привлеченные содержаніемъ рѣчи и ея отношеніемъ къ времени, собрались сюда. Успѣхъ чтенія былъ чрезвычайный; самъ Шишковъ, какъ онъ передаетъ это въ письмѣ къ своему пріятелю Бардовскому, не ожидалъ ничего подобнаго³⁾.

Тутъ увидѣлъ я, говоритъ онъ, что какъ бы нравы ни были повреждены, однакожъ правда не престаётъ жить въ сердцахъ чело-вѣческихъ“. Слѣдовательно причину успѣха разсужденія Шишкова надобно искать въ обстоятельствахъ времени. Это было полное тор-

¹⁾ Соч. т. IV, стр. 147 сл.

²⁾ Записки I, стр. 117—118.

³⁾ Ibidem II, стр. 321—322.

жество „Бесѣды“ и ея идей; тогда были лучшіе дни ея, какихъ не случилось уже болѣе пережить ей. Намъ нѣтъ надобности входить въ разборъ этого разсужденія Шишкова, напоминавшаго по своему содержанію такое же разсужденіе Карамзина; это были общія мѣста, проникнутыя, однако, неподдѣльнымъ чувствомъ, что и составляетъ главное достоинство всѣхъ сочиненій Шишкова: тутъ было повтореніе всего того, что Шишковъ прежде высказывалъ въ своихъ сочиненіяхъ, въ болѣе общей формѣ и въ извѣстныхъ рамкахъ ораторской рѣчи. Онъ говорилъ о народной гордости и развивалъ тѣ основныя начала, которыя составляютъ народность: языкъ, воспитаніе, вѣра. Но повторяемъ: разсужденію придавали значеніе обстоятельства времени; ихъ величіе, трепетное чувство ожиданія—усиливали впечатлѣніе. Разсужденіе это не прошло даромъ; оно выдвинуло Шишкова на новый родъ государственной и авторской дѣятельности, который доставлялъ ему почетную извѣстность въ 12 году и за который Пушкинъ почтилъ Шишкова двумя извѣстными стихами своими. Вскорѣ послѣ паденія Сперанскаго, обязанностію котораго было сочинять всѣ манифесты, выходящіе отъ Высочайшаго имени, императоръ Александръ позвалъ къ себѣ Шишкова, котораго не видалъ гдѣ быдесять. Онъ сказалъ Шишкову, что читалъ его „разсужденіе о любви къ отечеству“, что чувства, высказанныя въ немъ, ему нравятся, что онъ можетъ быть полезенъ, и предложилъ ему написать первый манифестъ о рекрутскомъ наборѣ по поводу предстоящей войны съ французами. Манифестъ былъ скоро готовъ, государь остался доволенъ его выраженіями и, не смотря на свое личное чувство нелюбви къ составителю, послѣ нѣкоторыхъ колебаній (выборъ могъ еще остановиться на Карамзинѣ, но, вѣроятно, неблагоприятное впечатлѣніе его „записки“ не совсѣмъ еще изгладилось) назначилъ Шишкова государственнымъ секретаремъ и предложилъ ему ѣхать съ собою въ армію. Два года провелъ Шишковъ при особѣ государя, въ обществѣ Аракчеева и Балашева; эти три новыя приближенные лица очень не походили на прежнихъ любимцевъ Александра. Обстоятельства времени требовали другихъ, болѣе подходящихъ къ нимъ, людей. Реформаторы не годились.

Съ этого времени, съ самаго начала войны, съ первыхъ неудачъ нашихъ, которыя произвели общій испугъ, и до торжественныхъ извѣщеній объ изгнаніи врага изъ предѣловъ отечества, о нашихъ побѣдахъ на поляхъ Германіи и Франціи, о *сшестии* въ Парижъ и объ общемъ умиротвореніи народовъ по заключеніи Священнаго Союза, которымъ, казалось тогда, навсегда упрочивались спокойствіе и счастье государствъ—всѣ манифесты, рескрипты, указы, извѣщенія и проч., касавшіеся великихъ событій исполинской борьбы, писаны

были Шишковымъ. Конечно, не прямо выливались они изъ головы его; большая доля участія въ нихъ принадлежитъ самому императору, который давалъ тонъ и направленіе мысли Шихкова, исправляя выраженія, но въ этихъ намятникахъ государственнаго краснорѣчія въ великую эпоху Шишкову открывался полный просторъ всенародно высказывать любимыя свои убѣжденія. Это была самая лучшая пора литературной дѣятельности Шихкова, когда имя его, какъ государственнаго секретаря и автора манифестовъ, сдѣлалось извѣстнымъ всей Россіи. Современники оставили намъ любопытныя воспоминанія о томъ сильномъ впечатлѣніи на умы и сердца, которое производили тогда Шихковскіе манифесты. Почти изъ нихъ только однихъ глухая страна получала понятіе о смыслѣ всего переживаемаго ею. Впервые выступилъ на сцену и забытый народъ въ рѣчахъ цара, впервые пришли на память и историческія воспоминанія. „Мы уже возвали къ первопрестольному граду нашему Москвѣ, говорится въ извѣстномъ манифестѣ изъ Полоцка отъ 6 Іюля, а нынѣ взываемъ ко всѣмъ нашимъ вѣрнопоподаннымъ, ко всѣмъ сословіямъ и состояніямъ, духовнымъ и мірскимъ, приглашая ихъ вмѣстѣ съ нами единодушнымъ и общимъ возстаніемъ содѣйствовать противу всѣхъ вражескихъ замысловъ и покушеній. Да найдетъ онъ на каждомъ шагѣ вѣрныхъ сыновъ Россіи, поражающихъ его всѣми средствами и силами, не внимая никакимъ его лукавствамъ и обманамъ. Да встрѣтитъ онъ въ каждомъ дворянинѣ—Пожарскаго, въ каждомъ духовномъ—Палицина, въ каждомъ гражданѣ—Минина. Благородное дворянское сословіе! ты во всѣ времена было спасителемъ отечества; Святѣйшій Синодъ и духовенство! вы всегда теплыми молитвами своими призывали благодать на главу Россіи; народъ Русской! храброе потомство храбрыхъ славянъ! ты неоднократно сокрушала зубы устремлявшихся на тебя львовъ и тигровъ; соединитесь всѣ: со крестомъ въ сердцахъ и съ оружіемъ въ рукахъ, никакія силы человѣческія васъ не одолѣютъ!“¹⁾ Мы не знаемъ—Шишкову или Александру принадлежатъ знаменитыя слова рескрипта графу Салтыкову: „Я не положу оружія доколѣ ни единого непріятельскаго воина не останется въ царствѣ моемъ“²⁾. Всѣ нападенія, направленныя противъ французовъ, какъ народа, принадлежатъ, разумѣется, самому Шишкову. „Могъ ли бы онъ (Наполеонъ) духъ ярости и злочестія своего вдохнуть въ милліоны сердецъ, если бы сердца сіи сами собою не были развращены и не дышали злонравіемъ?—говорится въ официальномъ извѣстіи изъ Москвы послѣ бѣгства фран-

¹⁾ Полн. Собр. Зак., т. XXXII, стр. 388.

²⁾ Ibidem, стр. 354.

цuzовъ. „Хотя конечно во всякомъ и благочестивомъ народѣ могутъ быть изверги, однакоже когда снхъ изверговъ, грабителей, зажигателей, убійцъ невинности, оскорбителей чловѣчества, поругателей и осквернителей самой святыни, появится въ цѣломъ воинствѣ почти всякъ и каждый, то невозможно, чтобъ въ народѣ такой державы были благіе нравы. Человѣческая душа не дѣлается вдругъ злою и безбожною; она становится таковою мало-по-малу, отъ примѣровъ, отъ соблазна, отъ общаго и долговременно разливающагося яда безвѣрія и развращенія. Сами французскіе писатели изображали нравъ народа своего сліяніемъ тигра съ обезьяною; и когда же не былъ онъ таковъ? Гдѣ, въ какой землѣ весь царскій домъ казненъ на плахѣ? Гдѣ, въ какой землѣ столько поругана была вѣра и самъ Богъ? Гдѣ, въ какой землѣ самыя гнусныя преступленія позволились обычаями и законами? Взглянемъ на адскія изрыгнутыя въ книгахъ ихъ лжемудрованія, на распутство жизни, на ужасы революціи, на кровь, пролитую ими въ своей и чужихъ земляхъ: слыхано ли когда, чтобъ столѣтніе старцы и нерожденные еще младенцы осуждались на казнь и мученіе? Гдѣ чловѣчество? Гдѣ признаки добрыхъ нравовъ? Вотъ съ какимъ народомъ имѣемъ мы дѣло! И посему должны разсуждать, можетъ ли прекращена быть вражда между безбожіемъ и благочестіемъ, между порокомъ и добродѣтелію? Долго мы заблуждались, почитая народъ сей достойнымъ нашей пріязни, содружества и даже подражанія. Мы любовались и прижимали къ груди нашей змѣю, которая, терзая собственную утробу свою, проливала къ намъ ядъ свой, и наконецъ насъ же, за нашу къ ней привязанность и любовь всезлобнымъ жаломъ своимъ уязвляетъ“¹⁾. Это были уже личныя увлеченія Шишкова. Онъ какъ бы торжествовалъ, что все имъ прежде высказываемое подтверждалось событіями.

Пожаръ Москвы долженъ отереть намъ глаза, убить нашу подражательность. О своихъ литературныхъ противникахъ онъ говоритъ: „Теперь я бы ткнулъ ихъ носомъ въ пепелъ Москвы, и громко имъ сказалъ: вотъ чего вы хотѣли!“²⁾.

¹⁾ Записки А. С. Шишкова, т. I. Приложенія, стр. 441—44.

²⁾ Записки II, стр. 327, письмо къ Я. I. Бардовскому отъ 4 мая 1813 г.

ЛЕКЦІЯ Ш.

Шишковъ за границей.—Отставка.—Положеніе и направленіе общественнаго мнѣнія во время послѣдней борьбы съ Наполеономъ.—Басни Брылова, какъ отголосокъ патріотическаго настроенія общества.—Зарожденіе мистицизма въ обществѣ.—Манифестъ 1816 года.

Въ своихъ „Запискахъ“¹⁾, какъ и въ „Письмахъ къ женѣ во время похода“²⁾ Шишковъ оставилъ подробныя воспоминанія о своемъ пребываніи при лицѣ государя и въ главной квартирѣ, о всѣхъ тѣхъ случаяхъ и обстоятельствахъ, по поводу которыхъ были писаны его манифесты. Эти воспоминанія раскрываютъ передъ нами ту же знакомую намъ личность, исполненную оригинальныхъ, преувеличенныхъ, но совершенно искреннихъ чувствъ. Его неподатливая натура была неспособна къ придворной жизни, а потому, несмотря на близость его къ императору Александру, несмотря на частыя свиданія съ нимъ и ежедневный обмѣнъ мыслей, Шишковъ нисколько не выигралъ въ благорасположеніи государя. Очевидно, что Александръ только терпѣлъ его, понуждаемый силою обстоятельствъ, и выслушивалъ славянофильскія, архипатріотическія тирады своего государственнаго секретаря, не убѣждаясь ими. Вліяніе Шишкова выразилось въ убѣжденіи Александра оставить армию, не иѣшати своимъ присутствіемъ распоряженіямъ главнокомандующаго и уѣхать сначала въ Москву, а потомъ въ Петербургъ, но и здѣсь доводы Шишкова были подкрѣплены авторитетомъ Балашева и Аракчеева. Шишковъ, не надѣясь словами убѣдить Александра, рѣшился обратиться къ нему письменно; бумагу эту, подписанную имъ и другими двумя приближенными лицами, хранили въ тайнѣ, но Шишковъ сообщилъ ее потомъ, какъ онъ самъ признается, изъ авторскаго самолюбія, сестрѣ государя — Екатеринѣ Павловнѣ; Александръ узналъ объ этомъ обстоятельствѣ и оно было причиною еще большаго охлажденія къ Шишкову и наконецъ удаленія его отъ должности государственнаго секретаря.

12-й годъ усилилъ въ Шишковѣ тѣ убѣжденія, которыя потомъ развивались въ сочиненіяхъ позднѣйшихъ славянофиловъ. Бѣдствія того времени онъ приписывалъ несамостоятельности нашей и духу подражанія. Не разъ онъ развивалъ эту любимую свою тему передъ Александромъ. „Государы! не вы тому причиною, говорилъ онъ ему, и едва ли въ царствованіе ваше могли отвратить сіе слишкомъ уси-

¹⁾ I, стр. 123—309.

²⁾ Ibidem, стр. 313—419.

лившееся зло, котораго начало идетъ отъ великаго впрочемъ, но въ семь случаѣ не предусмотрѣвшаго послѣдствій, прародителя вашего, Петра Перваго. Онъ, вмѣстѣ съ полезными искусствами и науками, допустилъ войти мелочнымъ подражаніямъ, поколебавшимъ коренные обычаи и нравы. Прочіе цари не останавливали сего рождавшагося въ насъ пристрастія ко всему чужеземному, а особливо французскому. Великая Екатерина, бабка ваша, на послѣдокъ почувствовала сіе и старалась обращать насъ къ отечественнымъ доблестямъ, но то уже было поздно и требовало немалыхъ и долговременныхъ усилій¹⁾. Шишковъ самъ признается, что подобныя разсужденія весьма не нравились тѣмъ, которые уже заразились новизною, т. е. стояли за прогрессъ и просвѣщеніе.

Вслѣдъ за бѣгущею арміею Наполеона Александръ поѣхалъ въ Вильно въ сопровожденіи Шишкова, въ декабрѣ 1812 года. Русское войско должно было идти въ Европу. Шишковъ, подобно Кутузову, не желалъ европейскаго похода; онъ ожидалъ, хотя и ошибочно, пораженія, и совѣтовалъ довольствоваться сдѣланными уже успѣхами и изгнаніемъ врага изъ предѣловъ Россіи. Убѣжденія Шишкова не подѣйствовали, и онъ долженъ былъ сопровождать государя при главной квартирѣ. Быстрое путешествіе для больного старика было очень утомительно; ему не разъ случалось отставать, и онъ просился домой, но государь не отпускалъ его. Болѣзнь помѣшала ему быть вслѣдъ за нашими войсками во Франціи и въ ненавистномъ ему Парижѣ. Все это время онъ пробылъ въ Карльсруэ, гдѣ жила у родныхъ и наша императрица Елисавета Алексѣевна. Но онъ слѣдилъ за событіями, радовался окончательному пораженію французовъ на ихъ же почвѣ, съ мистическимъ чувствомъ подбиралъ библейскіе тексты, пригнѣвая ихъ къ современнымъ событіямъ и, привыкнувъ писать манифесты и воззванія, онъ для собственнаго своего удовольствія, воображая себя, какъ онъ самъ признается весьма наивно, фельдмаршаломъ соединенныхъ армій, сочиняетъ воззваніе къ французскому народу, гдѣ ему достается такъ, какъ недоставалось ни въ одномъ печатномъ манифестѣ, и гдѣ онъ старается вылить все лѣтами накопившееся въ сердцѣ его огорченіе и желчь. Это воззваніе отзывается, по словамъ его, „тѣмъ отвращеніемъ или, лучше сказать, омерзеніемъ, какое чувствовалъ я всегда ко многимъ издаваемымъ французскими писателями злочестивымъ сочиненіямъ, распространившимъ между ими безвѣріе и безнравственность, за которыми послѣдовали гнусныя, богомерзкія дѣла ихъ“²⁾.

¹⁾ Ibidem, стр. 160—161.

²⁾ Ibidem, стр. 269—277.

Изъ заграничныхъ воспоминаній Шишкова любопытны тѣ встрѣчи съ западными славянами, которыя его радовали, какъ филолога, и пребываніе его въ Прагѣ, гдѣ онъ познакомился съ извѣстнымъ Добровскимъ, съ которымъ потомъ, какъ и съ другими славянскими учеными, велъ дѣятельную переписку въ званіи президента Россійской Академіи. Но вообще Шишковъ тосковалъ за границею и сильно желалъ воротиться домой. Это возвращеніе послѣдовало почти одновременно съ государемъ, въ іюлѣ 1814 года. Нѣсколько манифестовъ и очень важныхъ, особенно тѣхъ, гдѣ, подъ вліяніемъ пережитыхъ событій, высказывалось новое, уже сложившееся воззрѣніе, съ прихвѣсью мистицизма, развивавшагося въ душѣ Александра, пришлось еще написать Шишкову, но все менѣе и менѣе онъ пользовался положеніемъ и вскорѣ былъ уволенъ отъ званія государственнаго секретаря. Съ этихъ поръ онъ снова обратился къ литературнымъ трудамъ, которые приняли теперь чисто филологическое направленіе, къ Россійской Академіи, гдѣ онъ дѣятельно предсѣдательствовалъ, и къ „Бесѣдѣ“, которая теперь доживала послѣдніе дни свои, не возбуждая уже никакого участія въ обществѣ и сдѣлавшись постоянною дѣлюю насмѣшекъ и юмористическихъ выходокъ болѣе молодого литературнаго общества „Арзамасъ“. Къ сожалѣнію, записки Шишкова прерываются по возвращеніи его въ Петербургъ въ 1814 году и такимъ образомъ теряется возможность уяснить его дальнѣйшія жизненные отношенія. Въ качествѣ сенатора, онъ не разъ еще подавалъ мнѣнія по разнымъ дѣламъ, но мнѣнія эти, выражая собою личный, давно сложившійся и хорошо всѣмъ извѣстный взглядъ стараго адмирала, не представляютъ государственнаго интереса.

Только въ концѣ царствованія Александра, уже въ очень предклонныхъ лѣтахъ, по паденіи мистическаго министерства князя Голицына, Шишковъ снова является государственнымъ членомъ, въ качествѣ министра народнаго просвѣщенія, и оказываетъ свое вліяніе на духовную жизнь страны. Тогда мы встрѣтимся съ нимъ.

Если бы мы захотѣли судить о положеніи общественнаго мнѣнія и о его направленіи по тѣмъ литературнымъ явленіямъ, которыя относятся ко времени послѣдней и рѣшительной борьбы нашей съ Наполеономъ, по газетнымъ извѣстіямъ, по толкамъ немногихъ тогдашнихъ журналовъ, то мы должны были бы положительно сказать, что передъ нами общество, глубоко проникнутое національными стремленіями, сознательно понимающее себя и свои отношенія и ненавидящее подражательность.

Переворотъ въ мнѣніяхъ и въ характерѣ жизни былъ поразительный. Люди становились неузнаваемыми, и современники часто говорятъ, какъ многіе изъ легкомысленныхъ и пустыхъ людей ста-

новились серьезными и мыслящими. Слова патриотизма и самопожертвованія были на устахъ у всѣхъ. Всѣ, казалось, хотѣли быть русскими, никому и ни въ чемъ не подражая, стараясь не говорить по французски въ высшемъ обществѣ, презирая французскія моды, французскую литературу и т. п. Это направленіе представляется однако ничѣмъ инымъ, какъ скоропреходящимъ порывомъ; люди ходили въ какомъ то чаду отъ событій; вѣтеръ развѣялъ этотъ чадъ и все стало по-прежнему.

Въ эту эпоху, какъ и во всякую другую, когда въ жизни народа по какой-либо причинѣ совершается историческій переломъ, подняты были снова и властію и литературою толки о воспитаніи, такъ какъ оно оказываетъ самое сильное вліяніе на народную жизнь и ея направленіе. Мѣры, принятыя правительствомъ въ первые годы царствованія Александра, оказались недостаточными. За малымъ развитіемъ у насъ науки, русскихъ воспитателей не находилось или было чрезвычайно мало, а потому попрежнему воспитателями у насъ были иностранцы; они, какъ люди гораздо болѣе приготовленные къ педагогическому дѣлу, чѣмъ русскіе, заняли даже главныя мѣста во вновь учрежденныхъ училищахъ. Это сознавала сама власть и еще за годъ до войны 12-го года указывала на такое положеніе вещей, какъ на зло.

„Въ отечествѣ нашемъ давно простерло корни свои воспитаніе, иноземцами сообщаемое, говоритъ министръ народнаго просвѣщенія графъ Разумовскій въ докладѣ своемъ отъ 25 мая 1811 года. Дворянство, подпора государства, возрастаетъ нерѣдко подъ надзоромъ людей, одною собственною корыстію занятыхъ, презирающихъ все не иностранное, не имѣющихъ ни чистыхъ правилъ нравственности, ни познаній. Слѣдуя дворянству, и другія состоянія готовятъ медленную пагубу обществу воспитаніемъ дѣтей своихъ въ рукахъ иностранцевъ. Любя отечество, не можно безъ прискорбія взирать на зло толь глубоко въ ономъ вѣддрившееся“ ¹⁾, и министръ указываетъ на средства, которыя могутъ, если не уничтожить, то, по крайней мѣрѣ, ослабить это зло. Если уже правительство сознавало зло и съ своей стороны собиралось бороться съ нимъ, то естественно ожидать, что литература того времени и въ особенности журналы должны были, подъ вліяніемъ усилившагося патриотизма воевать съ этимъ зломъ. Дѣйствительно—нападенія на иностранныхъ воспитателей и въ особенности на французовъ, какъ педагоговъ — составляютъ любимую тему въ тогдашней литературѣ. Ихъ усиливали ненависть къ врагу и факты, которые возмущали тогдашнихъ патриотовъ. Множество

¹⁾ Полн. Собр. Зак., XXXI.

плѣнныхъ французовъ было разослано партіями по всѣмъ русскимъ губерніямъ. Журналы, настроенные на одинъ ладъ, сообщали съ чувствомъ негодованія извѣстія, что эти плѣнные, сосланные французы, скоро сдѣлались любимыми гостями въ дворянскихъ домахъ провинцій, что въ нихъ скоро были забыты недавніе враги, что ихъ берутъ въ учителя къ дѣтямъ, что нѣсколько дворянскихъ дѣвицъ вышло замужъ за тѣхъ, на рукахъ которыхъ не успѣла еще обсохнута кровь ихъ родственниковъ и ближнихъ.

„Вотъ достойная награда родителямъ, говорить „Сынъ Отечества“¹⁾, столь много пекущимся о томъ только, чтобъ дѣти ихъ болтали по-французски! вотъ плоды воспитанія, введеннаго у насъ въ XVIII столѣтіи, воспитанія, въ которомъ отцы и матери, отрехшись отъ священной обязанности своей, отъ должнаго присмотра за своими дѣтьми, „слѣпо“ ихъ передаютъ въ руки иноплеменныхъ, ибо безъ сего коварнаго условія ни одинъ французскій гувернеръ или гувернантка въ русскій домъ не вступаетъ. Нерѣдко случается, что въ провинціяхъ парижская судомайка становится наставницею молодыхъ благородныхъ дѣвицъ. И чему тутъ удивляться, когда здѣсь, въ столицѣ мы часто видимъ французскую горничную дѣвку, вдругъ возведенную въ почтенное достоинство наставницы“. Почти то же самое говорилось Гяѣдичемъ и Оленинымъ въ рѣчахъ ихъ при открытіи Императорской Публичной Библіотеки. Это были чувства, возбужденныя войною и нашими бѣдствіями. Самое понятіе о французскомъ народѣ измѣнилось. „Нынѣшнее слово „французъ“ есть синонимъ чудовищу, извергу, варвару“ и пр.²⁾. Безнравственность Наполеоновскихъ солдатъ приписывалась безнравственности ихъ воспитанія; нравственныя основы въ характерѣ французскаго народа по словамъ нашихъ журналовъ были разрушены энциклопедистами. Отъ французовъ отнимали всякое гражданское достоинство; ихъ называли подлымъ, низкимъ народомъ, націею комедіантовъ и пр. Все это повторялось непрерывно и въ стихахъ и въ прозѣ. Патріотическое настроеніе въ литературѣ дошло до крайностей. Нечего и говорить, что, начиная отъ старика Державина, написавшаго свой вялый, длинный, полный старческаго безсилія и мистицизма „Гимнъ лироэпическій на прогнаніе французовъ изъ отечества“³⁾, всѣ и всякій считали обязанностію изъяснить свое негодованіе на враговъ отечества и прославить ихъ изгнаніе и наши побѣды. Цѣлый сборникъ

¹⁾ 1813 г., № 26, стр. 301—306.

²⁾ Сынъ Отеч., 1812 г., ч. 8, стр. 90.

³⁾ Сочиненія Державина, т. III, стр. 137—164.

„Собрание стихотворений, относящихся къ незабвенному 1812 году“¹⁾, свидѣтельствуесть объ усиліяхъ нашихъ поэтовъ въ этомъ патриотическомъ настроеніи. Не имѣя никакихъ основаній говорить о подобныхъ эфемерныхъ произведеніяхъ, мы упомянемъ здѣсь о литературной дѣятельности Крылова въ этомъ направленіи; онъ стоялъ выше другихъ по таланту, и его басни сдѣлались также отголоскомъ тогдашняго общественнаго мнѣнія.

Крыловъ писалъ свои басни и до 1812 года²⁾, но лишь къ этому времени опредѣлился вполнѣ талантъ его, нашедшій самое удобное выраженіе въ баснѣ. Она доставила ему вдругъ громкую извѣстность. На чтеніяхъ „Бесѣды“, членомъ которой онъ состоялъ, каждая новая басня его встрѣчалась общимъ восторгомъ. Тогда же опредѣлилось и служебное положеніе Крылова. Въ 1812 году открылась Имп. Публичная Библіотека и директоръ ея, Оленинъ, большой любитель искусствъ и литературы, пригласилъ въ числѣ другихъ писателей и Крылова на должность бібліотекаря. Въ этой должности онъ и оставался лѣтъ 30, до послѣдней отставки своей. Знаменательная эпоха отечественной войны не могла не отразиться въ басняхъ Крылова. Талантъ его былъ весьма чутокъ къ явленіямъ жизни и современности; только надобно разглядѣть эти черты въ басняхъ, гдѣ онъ скрыты подъ условною формою выраженія. Крыловъ вторилъ общему направленію литературы. Еще гораздо раньше, когда онъ издавалъ сатирическіе журналы, ему не разъ случалось писать статьи противъ увлеченія всѣмъ иностраннымъ и въ особенности французскимъ. То же самое онъ высказывалъ и въ своихъ комедіяхъ „Модная лавка“ и „Урокъ дочкамъ“. Послѣ событій 12-го года это направленіе Крылова усилилось. Такова его басня „Червонецъ“, очевидно вызванная современными разсужденіями о необходимости народнаго воспитанія, гдѣ онъ доказываетъ, что

„Просвѣщеніемъ зовемъ :
Мы часто роскоши прельщенье,
И даже нравовъ развращенье“.

Безъ сомнѣнія, Крыловъ имѣлъ въ виду просвѣщеніе, заимствованное у французовъ, модное, гдѣ, по его выраженію, сдирая воругробиности съ людей, можно растерять и добрыя свойства ихъ. Фран-

¹⁾ 2 ч., М., 1814 г.

²⁾ Теперь доказано, что первыя басни Крылова помѣщены были въ „Утреннихъ Часахъ“ 1788 года. См. О. А. Витбергъ. Первыя басни И. А. Крылова. Извѣстія отдѣленія русск. яз. и слов. Имп. Акад. Н., т. V, 1900 г., кн. 1-ая, стр. 204—259.

цузскій учитель въ баснѣ „Крестьянинъ и Змѣя“ представленъ въ образѣ змѣи, которая просится у крестьянина въ домъ и, чтобъ не жить безъ дѣла, общается нянчить у него дѣтей. Хоть крестьянинъ и согласенъ, что именно эта змѣя добрая, но

„Когда примѣръ такой
У насъ полюбятъ,
Тогда вползутъ сюда за добромъ змѣей
Одной,
Сто алыхъ, и всѣхъ дѣтей здѣсь перегубятъ“.

Крыловъ самъ указываетъ на смыслъ этой басни въ заключительномъ стихѣ:

„Отцы, понятно-ль вамъ, на что здѣсь мѣчу я?“

Подобно многимъ своимъ современникамъ, Крыловъ приписывалъ бѣдствія революціи и слѣдовавшихъ за нею войнъ ученію французскихъ философовъ. Этихъ „мнимыхъ мудрецовъ кошунства толки смѣлы“ вооружили народъ противъ божества и приблизили часть его гибели. Такъ и въ баснѣ „Водолазы“ онъ былъ противъ смѣлости и дерзости ума, бросающагося въ пучину знанія.

„Хотя въ ученьи зримъ мы многихъ благъ причину,—
говоритъ онъ,—

Но дерзкій умъ находитъ въ немъ пучину
И свой погибельный конецъ,
Лишь съ разницею тою,
Что часто въ гибель онъ другихъ влечетъ съ собою“.

Въ баснѣ „Бочка“, написанной около того же времени, Крыловъ снова обращается къ отцамъ, представляя имъ примѣръ бочки, навсегда пропитавшейся виннымъ запахомъ: стоитъ только разъ заразиться „вреднымъ ученіемъ“ съ юности и вліяніе его будетъ отзываться во всѣхъ поступкахъ и дѣлахъ. Хотя толкователи Крылова понимаютъ подъ „вредными ученіями“—мистическіе толки, но вѣрвѣе и ближе къ правдѣ будетъ видѣть въ нихъ — французскую философію XVIII вѣка и государственные идеалы революціи, кредитъ которыхъ сильно палъ тогда въ мнѣніи русскаго общества.

За шумомъ событій, сначала столько бѣдственныхъ, а потомъ столько славныхъ для Россіи, за громкими восклицаніями поэтовъ и патріотическими возгласами газетъ трудно, конечно, было разслышать голосъ дѣйствительной жизни; едва ли кому приходила въ голову обратная сторона дѣла, едва ли кто сомнѣвался во всеобщности и дѣйствительности патріотическаго увлеченія. Газеты, разумѣется, не смѣли указывать на темныя стороны современности; можетъ быть,

даже извѣстія о нихъ не доходили до тогдашнихъ журналистовъ, а въ стихахъ одъ того времени, конечно, ничего подобнаго и предполагать было нельзя. Тѣмъ не менѣе, проявленія высокаго патріотизма, стояли, какъ всегда бываетъ въ жизни, рядомъ съ эгоистическими, корыстными расчетами. Едва ли не на эту сторону тогдашнихъ обстоятельствъ указываетъ басня Крылова „Раздѣлъ“, написанная въ 1812 году и оканчивающаяся слѣдующимъ правоученіемъ:

„Въ дѣлахъ, которыя гораздо поважнѣй,
Нерѣдко отъ того гибель всѣмъ бываетъ,
Что чѣмъ бы общую бѣду встрѣчать дружнѣй,
Всякъ споры затѣваетъ
О выгодѣ своей?“

Въ этомъ смыслѣ смотреть на басню и толкователи. Извѣстно, что въ отечественную войну всѣ бѣдствія, всѣ тягости, все разоренье пали на простой народъ. Ни одно сословіе тогда не принесло столько жертвъ и человѣческими жизнями и достояніемъ, какъ этотъ до того неизвѣстный народъ. Онъ вынесъ на плечахъ свою родину изъ пожара. Много говорятъ о самоотверженіи и жертвахъ дворянства и купечества, но первому легко было быть великодушнымъ, опираясь на крѣпостное право, а купечеству всегда представляется столько средствъ для наживы. Конечно, слѣдующій отзывъ современника о дворянствѣ нашемъ въ то время представляется какъ бы съ умысломъ преувеличеннымъ—въ такой рѣзкой противоположности онъ находится со всѣмъ, что мы привыкли слышать: „Въ годину испытанія, т. е. 12-го года, не покрыло ли оно себя всѣми красками чудовищнѣйшаго корыстолюбія и безчеловѣчія, расхищая, какъ и теперь, все, что расхитить можно было, даже одежду, даже пищу, и ратниковъ и рекрутъ и плѣнныхъ,—не смотря на прославленный газетными патріотизмъ, котораго дѣйствительно не было ни искры, что бы ни говорили о нѣкоторыхъ утѣшительныхъ исключеніяхъ“... ¹⁾ Вигель тоже приводитъ въ своихъ запискахъ нѣсколько фактовъ подобнаго грабительства, но вообще эта сторона того времени сравнительно мало извѣстна.

Крыловъ въ своихъ басняхъ обрисовывалъ не только общій характеръ времени и идеи, возбужденныя событіями, но самыя эти событія историческія. Такъ басня „Волкъ на псарнѣ“ относится прямо ко времени послѣ Бородинскаго сраженія, когда Наполеонъ старался завязать съ Кутузовымъ переговоры о мирѣ. Въ своемъ ловчемъ этой басни Крыловъ выставилъ Кутузова, въ которомъ онъ всего болѣе, вмѣстѣ со многими современниками, цѣнилъ хитрость. „Ты сѣрѣ, а

¹⁾ „Вѣстн. Евр.“ 1867 г., кн. 2, стр. 197.

я, пріятель, сѣдь" — говорить этотъ ловчій волкъ — Наполеону. Кутузовъ вообще былъ любимымъ героемъ Крылова. Извѣстно, что послѣ Бородина и послѣ оставленія Москвы безъ боя неприятелю государь, нѣкоторые изъ его приближенныхъ и даже значительная часть общества стали упрекать Кутузова въ медленности и нерѣшительности. Ропотъ былъ значительный, потому что никто не зналъ Кутузовскаго плана. Крыловъ защищалъ своего героя въ баснѣ „Обозъ“, гдѣ Кутузовъ сравнивается съ добрымъ конемъ, который спокойно, не обращая вниманія на насмѣшки молодой лошади, понесъ подъ гору на крестцѣ свой тяжелый возъ. Планъ Кутузова указывается Крыловымъ въ современной баснѣ „Ворона и Курица“, гдѣ выставленъ голодъ французской арміи:

„Когда Смоленскій князь,
Противу дерзости искусствомъ вооружась,
Вандаламъ новымъ сѣтъ поставилъ,
И на погибель имъ Москву оставилъ“ —

тогда начались ихъ бѣдствія.

„Какъ голодомъ морить Смоленскій сталъ гостей
Она сама (ворона) къ нимъ въ супъ попалась“.

Къ 12 году также относится Крыловская басня „Щука и Котъ“, поводъ къ которой данъ былъ извѣстною неудачею адмирала Чичагова подъ Березиною, гдѣ онъ долженъ былъ остановить и окончательно истребить бѣгущую армію Наполеона. Эта неудача возбудила сильно противъ Чичагова общественное мнѣніе; всѣ называли его измѣнникомъ, и Крыловъ въ своей баснѣ сдѣлался выразителемъ общественнаго мнѣнія, хотя онъ и не говоритъ въ ней объ измѣнѣ, а приписываетъ неудачу неумѣнью морского генерала распорядиться на сушѣ:

„Бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ,
А сапоги точать пирожникъ:
И дѣло не пойдетъ на ладъ,
Да и примѣчено стократъ,
Что кто за ремесло чужое браться любитъ,
Тотъ завсегда другихъ упрямѣи и вдорнѣи.“

Въ баснѣ рассказываются даже подробности Чичаговской неудачи. При его отступленіи потеряны многіе изъ полковыхъ обозовъ, канцелярія главнокомандующаго, много экипажей, наши больные и раненые. Когда котъ, наѣвшись пойманной рыбой, пошелъ провѣдать вумушку — Щуку на ея ловлѣ:

„А щука чуть жива, лежитъ разинувъ ротъ,
И крысы хвостъ у ней отъѣли“.

Въ этомъ случаѣ басня Крылова шла за современными событіями, подобно каррикатурѣ, и дѣлала то же дѣло. Попадаютъ и другіе намеки въ ней на лица и случаи того времени, но они не такъ важны.

Между тѣмъ счастливый исходъ тяжелой борьбы съ Наполеономъ, истребленіе его арміи въ Россіи, перенесеніе борьбы съ всемірнымъ завоевателемъ сначала въ Германію, а потомъ въ самое сердце Франціи, возбуждившей всеобщую ненависть народовъ, успѣхи нашего оружія и оружія союзниковъ, окончательное паденіе Наполеона, взятіе Парижа, возстановленіе на французскомъ престолѣ династіи Бурбоновъ и умиротвореніе Европы, — событія великія и неожиданныя, быстро слѣдовавшія другъ за другомъ, въ которыхъ главное участіе принималъ русскій народъ и въ главѣ его царь, окруженный славой побѣдъ, царь „вождь народовъ“, по единогласному выраженію всѣхъ поэтовъ, — все это, полное восторга и удовлетвореннаго чувства народной гордости, должно было мало-по-малу измѣнить общественное мнѣніе и замѣнить чувства ненависти и раздраженія, возникшія въ волненіяхъ борьбы, другими, болѣе благородными и спокойными. Для большинства этого общества счастливый исходъ исполнской борьбы, послѣ тяжелыхъ потерь и пораженій, отозвавшихся въ цѣлой странѣ, казался какинъ-то чудомъ, ниспосланнымъ свыше; въ величіи событій, въ ихъ роковой послѣдовательности, стали видѣть персть Божій, правящій судьбами народовъ и царствъ, волю Провидѣнія, и для многихъ, умственное развитіе которыхъ было не очень сильно, именно теперь начинался періодъ мистической вѣры. Здѣсь надобно искать начала мистицизма и въ государѣ, и въ его приближенныхъ, мистицизма, который сдѣлался даже правительственною системою. Паденіе Наполеона казалось торжествомъ охранительныхъ началъ. Тѣ, для кого ненавистна была революція, а они составляли тогда большинство, думали, что время волненій и бѣдствій кончилось, что революція, со всѣми ея ужасами прошла и не воротится вновь, что „миръ мірови дарованъ“ и что источникъ этой благодати идетъ изъ нашего отечества, отъ народа, который своею кровью искупилъ свободу и счастье другихъ народовъ. Онъ, въ сознаніи многихъ, сталъ являться теперь избраннымъ сосудомъ Божиимъ, а царь его — непосредственнымъ исполнителемъ воли Божіей. На той парижской площади, гдѣ было пролито столько крови въ революціонные дни, гдѣ скатилась голова Людовика XVI, въ день Пасхи, по повелѣнію Александра, русское духовенство, окруженное войсками и множествомъ зрителей, служило торжественный молебенъ на языкѣ нашей церкви. Православіе являлось такимъ образомъ носителемъ мира и любви въ самомъ страшномъ мѣстѣ революціи. Было отъ чего придти въ радостный восторгъ русскимъ. Люди, пережившіе впечатлѣнія того времени, навсегда

сохранили о них воспоминаніе. Но не человѣческое дѣло, не волю и умъ человѣка видѣли въ этихъ событіяхъ современники, а волю Провидѣнія. „Рука Господня, ему единому извѣстными, но явными очамъ смертнаго путями, вела ихъ (событія), сорасполагала, сдѣлала, устроила,—говорить манифестъ 1816 года,¹⁾—да исправитъ людскія неустройства, да утѣшитъ колеблющіяся волны умовъ и сердець, и да изъ нѣдръ смѣси и боренія изведетъ порядокъ и покой. Богъ сильный низложилъ гордость; Премудрый разогналъ тьму; Источникъ милосердія и благодати не допустилъ людямъ во мракъ страстей своихъ погибнуть“. Возвѣщая русскому народу событія съ самаго начала революціи, царскій манифестъ говоритъ: „Да прочтеть онъ дѣла и судъ Божій; да воспалится въ нему любовью, и вмѣстѣ съ Царемъ своимъ во глубинѣ сердца и души своей воскликнетъ: „Не намъ, не намъ Господи, но имени Твоему;“—слова эти были отчеканены на медали 12-го года.

ЛЕКЦІЯ IV и V.

Жуковскій.—Его первые литературные опыты.—„Сельское кладбище“.—Редактированіе „Вѣстника Европы“.—„Людмила“.

Манифестъ всю исторію времени представляетъ въ мистическихъ образахъ, видитъ въ ней на каждомъ шагѣ чудеса, непонятныя для обыкновеннаго человѣческаго разсудка. „Начало и причины сей войны, безпрестанно тлѣвшей, многократно вновь и вновь возгаравшейся, потухавшей иногда, но для того токмо, дабы съ новою силою и лютою воспылать, возвеличиться, усилиться и скоро потомъ изъ величайшей силы упасть, сокрушиться, опять возстать и опять низринуться, — являютъ нѣчто непостижимое и чудесное“. Многолѣтняя, только что прекратившаяся война не была простою войною царствъ и народовъ между собою. „Нѣтъ—она есть порожденное злочестьемъ нравственное чудовище, въ отпадшихъ отъ Бога сердцахъ людскихъ угнѣдившееся, млекоу лжемудрости воспитанное, таинствомъ злоухитренія и лжи облеченное, долго подъ личиною ума и просвѣщенія изъ страны въ страну скитавшееся и медоточными устами въ неопытныя сердца и нравы сѣмена разврата и пагубы сѣявшее“. Разсказавъ съ этой точки зрѣнія французскую революцію, возвышеніе Наполеона, его завоеванія и потомъ гибель его въ русскихъ предѣлахъ, манифестъ съ особенною силою останавливается на томъ призваніи, которое выпало на долю русскимъ въ этихъ великихъ событіяхъ, когда

¹⁾ 1 Января 1816 г.

„россійскіе, какъ бы крылатые воины, изъ-подъ стѣнъ Москвы, съ окомъ Провидѣнія на груди и со крестомъ въ сердцѣ, являются подъ стѣнами злочестиваго Парижа... Тамъ—о чудное зрѣлище!—тамъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ изрыгнутое адомъ злочестіе свирѣпствовало и ругалось надъ вѣрою, надъ властію царей, надъ духовенствомъ, надъ добродѣтелью и человѣчествомъ, гдѣ оно водвигало жертвенникъ и курило фиміамъ алодѣйству, гдѣ несчастный король Людовикъ XVI былъ жертвою буйства и безначалія, гдѣ въ страхъ добродѣтели и въ ободреніе неистовству повсюду лилась кровь невинности, тамъ, на той самой площади, посреди покрывавшихъ ону въ благоустройствѣ различныхъ державъ войскъ и при стеченіи безчисленнаго множества народа, россійскими священнослужителями, на россійскомъ языкѣ по обрадамъ православной нашей вѣры, приносится торжественное пѣснопѣніе Богу, и тѣ самые, которые оказали себя явными отъ него отступниками, вмѣстѣ съ благочестивыми сынами церкви, преклоняютъ предъ нимъ свои колѣна, во изъявленіе благодарности за посрамленіе дѣлъ ихъ и низверженіе ихъ власти“. Это дѣло кажется выше средствъ и способовъ людскихъ: „Кто человѣкъ, или кто люди могли совершить сіе высшее силъ человѣческихъ дѣло? Не явилъ ли здѣсь Промыслъ Божій? Ему единому слава!“ „Вѣчная правда Божія допустила возрасти оному (чудовищу), да накажется родъ человѣческій за преступленіе свое, до постраждетъ и научится изъ сего ужаснаго примѣра, что *въ единомъ страхѣ Господнемъ состоитъ благоденствіе и безопасность людей*“. Что же этотъ манифестъ представляетъ народу русскому, котораго, по его же словамъ, „Богъ избралъ совершить великое дѣло“? Молитву и смиреніе. „Падемъ предъ Всевышнимъ; повергнемъ предъ нимъ сердца свои, дѣла и мысля“!.. Вся сила подвига, весь успѣхъ событій принадлежитъ намъ; „но самая великость дѣлъ сихъ показываетъ, что не мы то сдѣлали. Богъ, для совершенія сего нашими руками, далъ слабости нашей Свою силу, простотѣ нашей Свою мудрость, слѣпотѣ нашей Свое всевидящее око“. Отсюда русскому народу необходимо избрать не гордость, а смиреніе; не земной награды слѣдуетъ ждать ему за претерпѣнные бѣдствія и совершенные подвиги, а небесной. „Кто, кромѣ Бога, кто изъ владыкъ земныхъ и что можетъ ему воздать?“ Такимъ образомъ въ манифестѣ этомъ высказывалась не необходимость улучшеній, въ которыхъ нуждалась жизнь народа и которыя, кажется, онъ заслужилъ пролитіемъ кровью и вынесенными бѣдствіями,—они откладывались на неопредѣленное время и туманъ мистицизма, какъ выраженіе власти, сталъ покрывать страну.

Въ самомъ характерѣ Александра, отъ котораго зависѣла судьба нашего отечества, послѣдовала значительная переимѣна, и въ испы-

таніяхъ 12-го года и въ неожиданной славѣ европейскихъ походовъ и всеобщаго умиротворенія надобно искать начала той набожности и того мистицизма, которые наполняли его душу до самой смерти. Столкновеніе идеаловъ его молодости съ тяжелою дѣйствительностію глубоко потрясло его духъ. Всѣ надежды, которыя онъ носилъ въ груди своей при началѣ царствованія, разлетѣлись; планы преобразованій были оставлены; кругомъ его не было прежнихъ людей, любимыхъ сподвижниковъ его; кругомъ его были теперь люди, имъ нелюбимые, которыхъ навязала ему сила обстоятельствъ; кругомъ его была пустыня и, вмѣсто полезной и необходимой для государства внутренней дѣятельности, являлась кипучая и трудная дѣятельность вѣшняя, гдѣ на каждомъ шагѣ приходилось встрѣчаться съ людскою злобою и эгоистическими стремленіями. Вмѣстѣ съ мистицизмомъ, въ душѣ его развилось глубокое презрѣніе къ людямъ и привязанность къ такимъ личностямъ, которыя вовсе не стоили его довѣрія. Этимъ можно объяснить и деспотизмъ его и вспышки произвола, которыя заставляли забывать первую, гуманную пору его царствованія. Страшное напряженіе во время французскаго нашествія было поводомъ физическаго и духовнаго измѣненія его натуры. Говорятъ, что во время занятія Москвы французами, у него посѣдѣли волосы; онъ быстро сталъ старѣть. Пожару московскому онъ самъ приписывалъ просвѣтлѣніе души своей. Съ этихъ поръ религіозная пустота, оставленная въ сердцѣ его французскимъ воспитаніемъ, стала наполняться. Въ событіяхъ войны онъ видѣлъ перстъ Божій и освобожденіе Европы сталъ считать своимъ собственнымъ освобожденіемъ ¹⁾. „Пожаръ Москвы просвѣтилъ мою душу, говорилъ онъ самъ въ 1818 году, и судъ Божій на ледяныхъ поляхъ наполнилъ мое сердце теплотою вѣры, какой я до тѣхъ поръ не чувствовалъ“ ²⁾. Съ этихъ поръ онъ часто искалъ уединенія, часто прибѣгалъ къ чтенію Священнаго Писанія. Въ этой книгѣ онъ находилъ множество намековъ на свою жизнь и на свою судьбу. Когда Шишковъ въ Германіи составилъ для него изъ библейскихъ текстовъ всю исторію современныхъ событій и войны, онъ плакалъ надъ нею, а изъ темныхъ главъ пророка Даниила онъ почерпнулъ первую идею „Священнаго Союза“. Изъ чувства смиренія, изъ убѣжденія, что онъ только слѣпое орудіе Промысла, онъ отказался отъ монумента въ честь его и отъ названія „благословеннаго“, которое поднесъ ему сенатъ Имперіи. Указомъ Синода запрещено было священникамъ говорить въ церквахъ въ словахъ проповѣди похвалы Императору. Но покуда вся эта внутрен-

¹⁾ Gervinus. Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts. II, S. 716—717.

²⁾ Русск. Арх. 1869 г., стр. 75.

ная переи́нна въ характерѣ и образѣ мыслей Александра не выходила наружу и не проявлялась въ дѣйствіи. Въ сознаниі русскаго народа и общества, какъ и въ Европѣ, онъ стоялъ на недоступной высотѣ величія, какъ побѣдитель всеобщаго врага, какъ умиротворитель Европы. Въ обществѣ господствовалъ полный энтузіазмъ, жажда жизни и наслажденія, полнота ощущеній и впечатлѣній. Какое-то молодое, свѣжее, беззаботное чувство наполняло сердца всѣхъ, и старыхъ и молодыхъ. Всѣ были довольны временемъ и событіями, не думая о будущемъ и не заглядывая въ него. Никогда прежде Россія, даже въ лучшіе годы Екатерины, не стояла на такой высотѣ въ сознаниі общества какъ своего, такъ и европейскаго. Не было конца восторгамъ и усоеію. Когда Александръ въ іюлѣ 1814 года, покрытый славой, изъ Парижа пріѣхалъ въ Петербургъ, его окружила любовь народная и всеобщій восторгъ. Не было русскаго поэта, который не привѣтствовалъ бы его въ эту пору вполне искренно. „Вы помните, какъ нашъ Агамемнонъ — говоритъ Пушкинъ своимъ товарищамъ—въ своей послѣдней Лицейской годовщинѣ

Изъ плѣннаго Парижа къ намъ примчался;
Какой восторгъ тогда предъ нимъ раздался!
Какъ былъ великъ, какъ былъ прекрасенъ Онъ,
Народовъ другъ, спаситель ихъ свободы!“¹⁾

Казалось, начиналась новая эра русской исторіи: впереди открывалась безконечная будущность развитія; навстрѣчу ему неслись горячія желанія, раскрывались молодыя сердца и никто не могъ ожидать, что эти свѣтлыя надежды смѣнятся, и очень скоро, общимъ недовольствомъ лучшихъ людей времени, и восторгъ замѣнится разочарованіемъ и скукою.

Къ этому времени общественнаго одушевленія и восторга относятся громкая извѣстность и слава поэзи Жуковскаго, человѣка новаго поколѣнія, сочувствующаго новому. Онъ въ стихахъ своихъ, имѣвшихъ прямое отношеніе къ времени и событіямъ, явился выразителемъ того, что чувствовали всѣ; отсюда успѣхъ его и извѣстность. Эти четыре или пять лѣтъ, слѣдующіе за отечественною войною, принадлежать къ лучшей порѣ поэтической дѣятельности Жуковскаго. Никогда, ни прежде, ни послѣ, онъ не стоялъ такъ близко къ событіямъ дѣйствительности, какъ въ эту пору. Правда, Жуковскій вообще не былъ поэтомъ дѣйствительности, но замѣчательный талантъ его, удивительная красота выраженія, до которой прежде него никогда не достигалъ русскій стихъ, вся его жизнь и множество произведеній, имъ

¹⁾ „19 окт. 1836 г.“

написанныхъ, выдвигаютъ его впередъ между писателями. Вокругъ него, какъ около центра, сосредоточивается поэтическая и вообще литературная дѣятельность многихъ, съ нимъ вѣсть мы входимъ въ кругъ литературныхъ идей и стремленій, которыя могли существовать при условіяхъ того времени, и знакомимся съ фигурою поэта, какъ она сложилась при этихъ условіяхъ. Его долгая жизнь видѣла разные фазисы и разныя направленія въ нашей исторіи и въ нашешъ общественномъ развитіи. По своему положенію, таланту, по общему уваженію, которымъ вездѣ пользовался Жуковскій, его мнѣнія и убѣжденія должны были имѣть вліяніе. Въ ту пору его жизни, о которой говоримъ мы, когда онъ вдругъ приобрѣлъ извѣстность и славу, Жуковскій не былъ уже начинающимъ писателемъ, ему уже было тридцать лѣтъ, внутренне онъ развился вполне и писалъ съ опредѣленною цѣлю, совершенно сознавая свой талантъ, свои идеалы и будущія цѣли свои.

Послѣ сочиненія доктора Зейдлица, который зналъ Жуковскаго болѣе сорока лѣтъ, и біографія его и факты литературной дѣятельности, въ связи съ живнію, достаточно оцѣнены ¹⁾, а довольно значительное собраніе писемъ поэта, къ сожалѣнію, однако, изъ болѣе позднато времени его жизни, позволяютъ намъ взглянуть и въ интимный міръ души его, познакомиться съ нимъ такимъ, какимъ былъ онъ не въ однихъ стихахъ его, писанныхъ для свѣта. Жуковскій родился 29 января 1783 года; слѣдовательно, по отношенію къ Карамзину, онъ принадлежалъ къ молодому поколѣнію, которое пережило другія событія и другія впечатлѣнія. Жуковскій былъ побочнымъ сыномъ богатаго Бѣлевскаго помѣщика (Тульской губерніи) Аванасія Ивановича Бунина, въ пору рожденія Жуковскаго уже старика. Отъ законной жены своей, которая была жива при рожденіи Жуковскаго, у Бунина было одиннадцать человѣкъ дѣтей и между ними былъ только одинъ сынъ, умершій въ Лейпцигскомъ университетѣ за два года до рожденія Жуковскаго. Матерью Жуковскаго была красная, плѣнная турчанка, привезенная въ домъ Бунина его крестьянами, бывшими маритантами въ арміи Румянцева, фамилію же свою Жуковскій получилъ отъ крестнаго отца, бѣднаго кіевскаго дворянина, жившаго въ домѣ Буниныхъ и потомъ законно усыновившаго мальчика. Такое положеніе мальчика, при нашихъ общественныхъ понятіяхъ, должно было довольно грустно отозваться на внутреннемъ настроеніи Жуковскаго, когда онъ выросъ и позналъ себя. Впослѣдствіи онъ жаловался въ дружескомъ письмѣ къ Тургеневу, на „двухъ тѣхъ (т. е. отца и мать), ко-

¹⁾ Опубликованные къ 50-лѣтію со дня смерти Жуковскаго матеріалы дали много новаго и вызвали обширное изслѣдованіе академика А. Н. Веселовскаго.

іприм. ред.

торые такъ много и такъ мало на меня дѣйствовали“¹⁾. Отецъ его умеръ, когда ему было только восемь лѣтъ, а мать, простая и не-образованная, хотя и добрая женщина, не могла имѣть никакого вліянія на него. Объ отцѣ Жуковскій никогда не говорилъ. Мальчикъ въ семьѣ, гдѣ были все женщины, скоро сдѣлался общимъ любимцемъ. Старикъ Бунинъ сталъ заботиться о воспитаніи сына, написалъ для него какого-то нѣмца, но скоро прогналъ его за жестокое обращеніе съ мальчикомъ. Затѣмъ зимою, когда все семейство переселилось въ Тулу, Жуковского послали въ пансіонъ другого нѣмца Роде, но и здѣсь пребываніе его было непродолжительно и едва ли вынесъ онъ оттуда что-нибудь, будучи 8-ми лѣтъ.

Старикъ Бунинъ умеръ въ 1791 году. Онъ не желалъ передать Жуковскому населеннаго имѣнія, но однако поваяботился о сынѣ, оставивъ его на попеченіе жены и дочерей, изъ которыхъ каждая должна была изъ приданаго, ей назначеннаго, удѣлить 2500 р. въ его пользу. По смерти старика, вся семья переѣхала въ Мишенское, куда она переѣзжала обыкновенно на лѣтніе мѣсяцы, по зимамъ возвращаясь въ Тулу. Ученье не могло идти успѣшно при такихъ перерывахъ. Старшія, законныя сестры Жуковского давно повыходили замужъ; съ ихъ уже дѣтьми, которыя почти всѣ были дѣвочки, росъ Жуковскій; какъ сверстникъ. Въ домѣ одной изъ старшихъ сестеръ своихъ, Юшковой, у которой было довольно дѣтей и воспитывались племянницы Вельяминовы, поселился въ Тулѣ и Жуковскій. Отсюда сталъ онъ ходить въ народное училище, но и тутъ ученье шло плохо и неудачно; главный учитель Повровскій принужденъ былъ уволить Жуковского „за неспособность“. Пришлось ограничиться домашними средствами воспитанія, и прибѣгнуть къ иностраннымъ гувернанткамъ, которыхъ было много, но онѣ не отличались должными качествами. Надобно замѣтить, однако, что домъ Юшковыхъ былъ весьма образованный домъ по тому времени въ Тулѣ. Сама Варвара Аонасьевна Юшкова, хозяйка дома, читала много, любила музыку и литературу. Она устраивала у себя музыкальные и литературные вечера, на которые собирался весь городъ и гдѣ читались всѣ новыя русскія произведенія. Юшкова управляла даже тульскимъ театромъ, куда вся семья, разумѣется, ѣздила часто. Въ этой семьѣ, посреди такихъ вліяній духовныхъ, могли развернуться первые литературные вкусы и наклонности Жуковского. Двѣ сверстницы — племянницы Жуковского, дочери Юшковой: Зонтагъ и Елагина, потомъ тоже выступали въ литературѣ. На 12-мъ году, при такихъ вліяніяхъ, Жуковскій написалъ трагедію, которая и была разыграна съ успѣхомъ его моло-

¹⁾ „Русск. Арх.“, 1867 г., стр. 794.

денькими соученицами. Онъ началъ писать въ томъ родѣ, который былъ чуждъ его таланту. Біографъ рассказываетъ ¹⁾, что вторая его рукописная трагедія, также разыгранная домашними, потерпѣла полную неудачу и съ тѣхъ поръ Жуковскій не писалъ трагедій.

Таковы были первыя литературныя попытки Жуковского въ семействѣ его старшей сестры и крестной матери Юшковой. На его долю выпало семейное воспитаніе, со всѣхъ сторонъ онъ окруженъ былъ женщинами и выросъ на ихъ рукахъ. Отсюда въ его характерѣ замѣчались много чисто женскихъ сторонъ, которыя невозможны въ публичной школѣ, посреди мальчиковъ. Робость, застѣнчивость, привычка къ мягкимъ, женскимъ формамъ обращенія, рано развили въ немъ какую-то мечтательность и нѣжность характера, которыя отличали его въ жизни и сдѣлались существенными чертами и его поэзіи. Біографъ говоритъ ²⁾, что уже здѣсь, въ этомъ семейномъ кружкѣ, Жуковскій привыкъ отдавать на судъ близкихъ ему людей первыя свои произведенія, и это сдѣлалось потомъ его потребностію. Впослѣдствіи свои стихотворенія онъ любилъ подвергать обсужденію друзей молодости: Тургенева, Блудова, Дашкова, Вяземскаго, Батюшкова и др. Что касается положительныхъ свѣдѣній, которыя онъ могъ вынести изъ этого семейнаго воспитанія, то едва ли они были значительны и имѣли какой-либо порядокъ и систему. Одно только можно сказать вѣрное: Жуковскій познакомился хорошо съ языками французскимъ и нѣмецкимъ, которыми преимущественно ограничивался кругъ стараго дворянскаго образованія, и любилъ чтеніе. Все это имѣло значеніе для дальнѣйшаго его развитія и направленія.

Между тѣмъ года уходили. Жуковскій дошелъ уже до того возраста, когда надобно было подумать о дальнѣйшей судьбѣ его и когда оставаться ему одному посреди дѣвочекъ въ семьѣ было уже не совсѣмъ ловко. Сначала, по старинному обычаю, думали было его опредѣлить въ службу. Одинъ знакомый семейства Юшковыхъ повезъ его въ полкъ, расположенный въ Финляндіи, но вернулся съ нимъ обратно. Съ восшествіемъ на престолъ императора Павла запрещено было принимать въ военную службу малолѣтнихъ. Тогда рѣшено было вести Жуковского въ Москву и старуха Бунина въ началѣ 1797 года помѣстила его въ благородный пансіонъ при московскомъ университетѣ, гдѣ онъ оставался три года. Это было почти закрытое заведеніе, но находившееся въ связи съ университетомъ и отъ него зависѣвшее. Оно было учреждено собственно для дѣтей дво-

¹⁾ Зейдлицъ. Изд. 1883 г., стр. 15.

²⁾ Ibidem, стр. 15—16.

рянскихъ и долго пользовалось большою извѣстностію, въ особенности за то, что ученики его получали свѣтское, чуждое педагогизма воспитаніе, но такъ какъ преподаватели въ пансіонѣ были тѣ же, что и въ университетѣ, то и учебная сторона не отставала, разумѣется, сообразно съ временемъ.

Главные предметы преподаванія, впрочемъ, заключались въ словесности, т. е. въ упражненіи воспитанниковъ въ сочиненіяхъ, въ стихахъ и прозѣ, и въ изученіи иностранныхъ, то-есть живыхъ языковъ, безъ которыхъ немислимъ былъ образованный человѣкъ тогдашняго общества, такъ какъ при бѣдности нашей науки и литературы, дальнѣйшее развитіе могло происходить только съ помощью чужого языка. Литературныя упражненія составляли главное. Преподавателями словесности въ пансіонѣ были два профессора: Сохацкій и Подшиваловъ, большіе, разумѣется, поклонники литературнаго таланта и направленія Карамзина, которому все стремилось подражать тогда, считая каждую строчку его образцовой. Сохацкій и Подшиваловъ вмѣстѣ были издатели литературныхъ журналовъ: „Пріятное и полезное препровожденіе времени“¹⁾ и „Иппокрена или утѣхи любословія“²⁾, въ которыхъ помѣщались статьи воспитанниковъ пансіона, конечно, исправленныя учителями, и гдѣ напечатаны также и первые опыты въ стихахъ и прозѣ Жуковскаго. Въ то время литературныя требованія были невелики; писателемъ сдѣлаться было легко, и вотъ причина, почему многіе изъ замѣчательныхъ впоследствии государственныхъ людей нашихъ, воспитывавшихся въ этомъ пансіонѣ, начинали съ литературныхъ трудовъ, которые потомъ постепенно оставляли, по мѣрѣ успѣховъ въ служебномъ поприщѣ. Изъ такихъ людей товарищами Жуковскому по пансіону были два брата Тургеневы, Андрей и Александръ, изъ которыхъ первый умеръ очень рано, Блудовъ, Дашковъ, Уваровъ, послѣдніе три—министры при императорѣ Николаѣ Павловичѣ. Эти люди остались навсегда самыми близкими друзьями Жуковскаго, который умѣлъ какъ-то пріобрѣтать и поддерживать дружбу. Особенно былъ онъ друженъ съ дѣтьми И. П. Тургенева, замѣчательнаго человѣка предшествовавшей эпохи, одного изъ основателей „дружескаго ученаго общества“ и „типографической компаніи“, друга Новикова, человѣка, которому многимъ былъ обязанъ и Карамзинъ. Съ воцареніемъ Павла Тургеневъ сдѣланъ былъ директоромъ университета; Юшковы и Бунины были близки съ его семействомъ и въ его домѣ молодой Жуковскій имѣлъ случай встрѣчать тѣхъ представителей литературы, которымъ онъ издали поклонялся и которымъ

¹⁾ 20 частей. М. 1794—1798 г.

²⁾ 11 частей. М. 1799—1801 г.

подражалъ въ первыхъ своихъ деревенскихъ и пансіонскихъ опытахъ—Карамзина и Дмитріева. Старикъ Тургеневъ, сыновья котораго сдѣлались друзьями его, остался навсегда въ его воспоминаніяхъ личностью чрезвычайно привлекательною и симпатичною:

„Бывало, онъ (Андрей), съ отцемъ рука съ рукой,
Входилъ въ нашъ кругъ—и радость съ нимъ являлась;
Старикъ при немъ былъ юноша живой;
Его сѣдинъ свобода не чуждалась...
О нѣтъ! Онъ, былъ милѣйшій намъ собратъ,
Онъ отдыхалъ отъ жизни между нами,
Отъ сердца даръ—его былъ каждый взглядъ,
И онъ друзей не рознилъ съ сыновьями“¹⁾.

Съ сыномъ его, Александромъ, Жуковскій велъ до конца жизни самую интимную, сердечную переписку.

Первые литературные опыты Жуковского въ стихахъ и прозѣ, помѣщенные въ журналахъ Сохацкаго и Подшивалова, несмотря на свою юношескую слабость, сентиментальное направленіе, въ которомъ онъ видимо подражалъ Карамзину, любопытны однакожь въ томъ отношеніи, что выборъ предметовъ въ нихъ имѣетъ общее соотвѣтствіе съ тѣмъ, что было имъ написано потомъ.

Общій тонъ направленія сказывался и здѣсь. Для насъ страннымъ кажется это болѣзненное направленіе, эта тоска не по жизни и ея наслажденіямъ, какъ бы слѣдовало ожидать, а по смерти, это недовольство жизнью въ молодомъ человѣкѣ, которому едва минуло 16 лѣтъ:

„Живнь, другъ мой, бездна
Слезъ и страданій...
Счастливъ стократъ
Тотъ, кто, достигнувъ
Мирнаго берега,
Вѣчнымъ спитъ сномъ“²⁾.

Смерть, кладбище, могилы, надгробные памятники,—вотъ предметы, на которыхъ съ какою-то любовью останавливается воображеніе молодого поэта. То же самое можно сказать и о прозаическихъ статьяхъ Жуковского въ лирическомъ тонѣ, безъ сомнѣнія—переводахъ нѣмецкихъ или французскихъ стихотвореній. Первое прозаическое сочиненіе Жуковского озаглавлено „Мысли при гробницѣ“ (1797 г.). Конечно, страннымъ должно было казаться такое направленіе и такіе темы стихотвореній въ молодомъ поэтѣ и пришлось

¹⁾ „А. И. Тургеневу въ отвѣтъ на его письмо“.

²⁾ „Майское утро“.

бы искать источникъ этого въ жизни его, еслибъ мы не знали, что тогда господствовало сентиментальное направленіе, что предметы такого рода были тогда въ модѣ, и что избѣгнуть подражательности Жуковскому было нельзя. Что онъ началъ подражаніемъ, это доказываетъ и его стихотвореніе „Могущество, слава и благоденствіе Россіи“ (1799), написанное по поводу побѣдъ Суворова въ Италіи.

Все оно проникнуто духомъ Державина и Дмитріева, ихъ образы и выраженіями. Достаточно одной строфы:

„На тронѣ свѣтломъ, лучезарномъ,
Что полвселенной на столпахъ
Ванесенъ, незыблемо поставленъ,
Россія въ славу возсѣдять.
Златый шлемъ, огнепернатый
Блится на главѣ ея;
Вѣнецъ лавровый осыпаетъ
Ея высокое чело;
Лежитъ на шуйцѣ
Щитъ алмазный;
Разширивши крикъ свои,
У ногъ ея орелъ полночный
Почіетъ—громъ его молчитъ“.

Эти подражательные опыты, которые самъ Жуковский считалъ недостойными перепечатки въ собраніяхъ своихъ стихотвореній, даже значительность числа ихъ показываетъ, что онъ полюбилъ занятія литературою; вскорѣ, въ противоположность всѣмъ своимъ товарищамъ, онъ сталъ считать ихъ главнымъ призваніемъ своей жизни, источникомъ средствъ для существованія. Еще въ пансіонѣ, какъ это было въ ту пору въ обычаѣ во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, Жуковский образовалъ изъ товарищей литературное общество и составилъ его уставъ. Кончивъ курсъ въ 1801 году, онъ тогда же поступилъ на службу въ Московскую соляную контору, но службою онъ жертвовалъ литературѣ. Общество, имъ основанное, увеличилось числомъ членовъ, его собранія сдѣлались чаще. Въ немъ, кромѣ Жуковского и Тургеневыхъ, участвовалъ впоследствии столь извѣстный профессоръ словесности московскаго университета Мерзляковъ и др.

Извѣстные писатели, конечно, не бывали въ немъ, но Жуковский посѣщалъ ихъ кружокъ, и Карамзинъ такъ полюбилъ его, что по смерти первой жены своей пригласилъ его къ себѣ и жилъ съ нимъ цѣлое лѣто на дачѣ.

Служба, какъ видно, не давала Жуковскому достаточнаго содержанія; родные тоже присылали ему мало и тогда онъ принялся за переводы для книгопродавцевъ. Первымъ такимъ переводомъ былъ

романъ Коцебу „Мальчиѣ у ручья“¹⁾, а за нимъ послѣдовали и другіе, изъ которыхъ въ особенности замѣчательнъ по языку переводъ Донъ-Кихота (1802—1804) съ французскаго перевода Флоріана. Въ стихахъ переводилъ онъ тогда не одніе элегіи, а и басни изъ Лафонтена и Флоріана, писалъ эпиграммы, но ни тѣмъ, ни другимъ недостаетъ главныхъ свойствъ, составляющихъ ихъ принадлежность: легкости разсказа, прози, насмѣшливости. Все это было чуждо таланту Жуковскаго и надобно отдать справедливость его художественному такту, что онъ не перепечатывалъ такихъ произведеній. Только для одной пьесы не въ элегическомъ родѣ Жуковскій сдѣлалъ исключеніе. Это была „Пѣснь надъ гробомъ Славянъ-побѣдителей“, написанная въ 1806 году въ пору пробужденія въ нашей литературѣ патріотическаго направленія. Ее Жуковскій считалъ достойною перепечатки, слѣдовательно придавалъ ей цѣну, вѣроятно потому, что она была одинаковаго содержанія съ „Пѣвцомъ въ станѣ“, доставившимъ ему такую славу. Въ „Пѣснѣ барда“ Жуковскій въ первый разъ становился ближе къ дѣйствительности; пьеса написана подъ впечатлѣніями Аустерлица; содержаніе ея говоритъ о мести за пораженіе, но какъ далека эта пьеса отъ настоящей исторической дѣйствительности, которую поэтъ, повидимому, вовсе не понималъ. Сцена дѣйствія, образы, обстановка—все заимствовано у Оссіана. Русскіе солдаты сражаются мечами, умираютъ на щитахъ, на головахъ ихъ шлемы и т. п. Все стихотвореніе отличается высокопарностію и надутостію и Державинъ легко бы могъ подписаться подъ нимъ, но Жуковскій и сюда внесъ свою элегическую струю, которая еще дальше отводитъ отъ дѣйствительности. На могилу война приходитъ „краса славянскихъ дѣвъ“ и въ ея душѣ воскресаютъ воспоминанья

„О благахъ прежнихъ лѣтъ,
О дняхъ очарованья,
О дняхъ любви святой“.

Служба Жуковскаго въ соляной конторѣ, надъ которою онъ потомъ смѣялся, продолжалась недолго. Онъ вышелъ въ отставку въ 1802 году и уѣхалъ на родину, въ село Мишенское, гдѣ жила его мать, гдѣ у него было такъ много родныхъ, куда онъ ѣздилъ изъ Москвы на вакаціи и куда манили его воспоминанія дѣтства. Онъ ѣхалъ въ деревню работать, готовить себя къ литературной дѣятельности, развивать себя, образовывать. Онъ увезъ съ собою много книгъ. Здѣсь и въ Бѣлевѣ, гдѣ онъ выстроилъ домъ для своей ма-

¹⁾ М. 1801 г. 4 части.

тери, онъ прожилъ до 1808 года, здѣсь были написаны его лучшія, молодыя стихотворенія, полныя искренняго чувства и любви къ незамысловатой, но дорогой ему по воспоминаніямъ сельской природѣ. Его привязанность къ деревнѣ отзывается искренностью и сердечностью:

„Ты помнишь ли, какъ подъ горою—

пишетъ онъ въ поэтическомъ посланіи къ одной изъ подругъ своего дѣтства —

Осеребряемый росой,
Свѣтлся лугъ вечернею порою
И тишина слетала въ гдѣсь
Съ небесъ?

Ты помнишь ли нашъ прудъ спокойный,
И тѣнь отъ ивъ въ часъ полдня знойный,
И надъ водой отъ стада гулъ нестройный,
И въ лонѣ водъ, какъ сквозь стекло,
(Село?¹⁾)

Образы сельской природы не разъ встрѣчаются въ стихотвореніяхъ Жуковскаго. Первое произведеніе его, написанное въ деревнѣ и встрѣченное общими похвалами тогдашнихъ писателей, былъ переводъ Греевой элегіи „Сельское кладбище“, напечатанный въ послѣднемъ № „Вѣстника Европы“ за 1802 годъ.

Поэтическіе переводы Жуковскаго, которые составляютъ главное его право на славу, замѣчательны тѣмъ, особенно въ первую и лучшую пору его дѣятельности, что каждая пьеса, имъ переведенная, не была чуждою душѣ поэта, а выражала его внутреннее настроеніе, не говоря уже о томъ, что въ каждую изъ переводныхъ его пьесъ, не смотря на удивительную близость перевода къ подлиннику, онъ всегда вносилъ что-то личное, субъективное, исключительно ему принадлежащее. Такъ и знаменитая элегія англійскаго поэта, написанная въ половинѣ прошлаго вѣка и пользовавшаяся извѣстностію въ европейскихъ литературахъ за новое задушевное, полное меланхолическое чувство, соответствовала знакомой уже намъ болѣзненности внутренняго настроенія Жуковскаго. Послѣдніе заключительные стихи „Сельскаго Кладбища“ нѣсколько отступаютъ отъ подлинника и выражаютъ личное чувство Жуковскаго, любимые образы его:

„А ты, почившихъ другъ, нѣвецъ уединенный,
И твой ударить часъ, послѣдній, роковой,
И къ гробу твоему, мечтой сопровождаемый,

¹⁾ Вольное подражаніе романсу Шатобриана: „Combien j'ai douce souvenance“.

Чувствительный придетъ услышать жребій твой.
Быть можетъ, селянинъ съ почтенной сѣдьюю,
Такъ будетъ о тебѣ пришельцу говорить:
Онъ часто по утрамъ встрѣчался адѣсь со мною,
Когда спѣшилъ на холмъ зарю предупредить:
Тамъ въ полдень онъ сидѣлъ подлѣ дремящей ивой,
Поднявшей изъ земли косматый корень свой;
Тамъ часто въ горести безпечной, молчаливой
Лежалъ, задумавшись, надъ свѣтлою рѣкой..
Прискорбный, сумрачный, съ главою наклоненной,
Онъ часто уходилъ въ дубраву слезы лить,
Какъ странникъ, родины, друзей, всего лишенный,
Которому ничѣмъ души не усладить“.

Биографъ Жуковскаго говоритъ ¹⁾, что въ подобномъ меланхолическомъ настроеніи души Жуковскаго, кромѣ подражанія господствующему тону тогдашней европейской поэзіи, надобно видѣть и слѣды общественнаго положенія Жуковскаго. Несмотря на то, что средства позволяли молодому человѣку жить въ деревнѣ независимо, безъ службы, свободно пользуясь поэтическимъ вдохновеніемъ и работая собственно для себя, для своего внутренняго развитія, несмотря на общую любовь къ нему семьи, особенно между младшими членами ея, все же Жуковскій чувствовалъ себя пріемышемъ въ этой семьѣ, гдѣ бѣдная, простая мать его должна была стоя принимать отъ господъ приказанія. Скоро это грустное чувство усилилось еще несчастною любовью, которая длилась долго и имѣла рѣшительное вліяніе на судьбу и поэзію Жуковскаго.

Въ исторіи русской поэзіи „Сельское кладбище“ очень замѣчательно. Тутъ не было еще того романтизма, о которомъ привыкли говорить, разбирая поэтическія произведенія Жуковскаго; это было выраженіе той же сентиментальности, которую внесъ въ нашу литературу Карамзинъ и которая составляла большую сторону европейскаго общества въ концѣ XVIII вѣка, неудовлетвореннаго въ своемъ духовномъ развитіи лишеніемъ практической дѣятельности. Но „Сельское кладбище“ важно для насъ въ томъ отношеніи, что теперь всякій читатель получалъ уже право требовать отъ поэта естественности выраженія, простоты чувствъ и простоты обстановки. Весь ненужный и надобвшій всѣмъ аппаратъ миеологическаго Парнасса долженъ былъ исчезнуть безвозвратно. Помѣщеніе „Сельскаго кладбища“ въ „Вѣстникѣ Европы“ Карамзинимъ еще болѣе сблизило Жуковскаго съ нимъ, и съ этихъ поръ онъ сдѣлался сотрудникомъ Карамзина и еще больше подчинился его вліянію. Въ 1803 году онъ помѣ-

¹⁾ Зейдлицъ, изд. 1833 г. стр. 26—27.

стиль въ „Вѣстникѣ Европы“ прозаическую повѣсть свою „Вадимъ Новгородскій“—подражаніе подобнымъ произведеніямъ французскаго писателя Флоріана или „Марей Посадницѣ“. Еще больше подражанія Карамзину сказались въ позднѣйшей его повѣсти „Марьяна Роша“ (1808 г.).

Меланхолическое настроеніе поэзіи Жуковскаго увеличилось еще болѣе отъ смерти друга его Андрея Тургенева, ровесника ему и товарища по пансіону, неожиданно умершаго на службѣ въ Петербургѣ. Повидимому, ихъ связывала нѣжная, поэтическая дружба, примѣры которой были нрѣдки въ прошломъ вѣкѣ. Впрочемъ, по отзыву всѣхъ знавшихъ его, Андрей Тургеневъ былъ человѣкъ съ необыкновенными дарованіями и возбуждалъ къ себѣ общее чувство любви. Такъ же сильно, какъ и на Жуковскаго, подѣйствовала смерть Тургенева на Мерзлякова, человѣка четырьмя годами старше его, друга обонхъ. Съ этихъ поръ воспоминанія о потерянномъ другѣ, скорбь о его утратѣ часто встрѣчаются въ стихотвореніяхъ Жуковскаго. Печаль, разочарованіе, мысль о смерти—любимыя его представленія:

„О, дней моихъ весна, какъ быстро скрылась ты
Съ твоимъ блаженствомъ и страданьемъ!
Гдѣ вы, мои друзья, вы, спутники мои?
Ужели никогда не зрѣтъ соединенья?
Ужель всякнули всѣхъ радостей струи?
О, вы, погибши наслажденья!..
Мнѣ рокъ судилъ брести невѣдомой стезей,
Быть другомъ мирныхъ селъ, любить красы природы,
Дышать подъ сумракомъ дубравной тишиной,
И взоръ склонивъ на пѣны воды,
Творца, друзей, любовь и счастье воспѣвать...
Такъ, пѣть есть мой удѣлъ... но долго-ль?... Какъ узнать?...
Ахъ! скоро, можетъ быть, съ Минвановъ увялой,
Придетъ сюда Альпинъ въ часъ вечера мечтатъ,
Надъ тихой юноши могилой!“¹⁾

Самымъ любопытнымъ произведеніемъ для знакомства съ тою неопредѣленною тоскою, которая наполняла душу Жуковскаго въ это время, является посланіе его „Къ Филалету“ (Тургеневу). Его разочарованіе доходитъ здѣсь до крайняго выраженія и вмѣстѣ съ тѣмъ въ стихахъ слышится искренность и задушевность:

„Придешь ли ты назадъ,
О время прежнее, о время незабвенно?
Пли веселіе навѣки отцвѣло,
И счастье мое съ протекшимъ протекло?..“

¹⁾ „Вечеръ“.

Какъ часто о часахъ минувшихъ я мечтаю!
Но чаще съ сладостью конецъ воображаю;
Конецъ всему—души покою,
Конецъ желаніямъ, конецъ воспоминаньямъ,
Конецъ бореңію и съ жизнью и съ собой“.

Мысль о смерти—любимая мечта Жуковскаго:

„...кончины сладкій часъ
Моей любимой мечтою становится;
Унылость тихая въ душѣ моей хранится;
Во всемъ внимаю я знакомый смерти гласъ.
Зоветь, меня... зоветь... куда зоветь?... не знаю;
Но я зовущему съ волненіемъ внимаю;
Я сердцемъ сопряженъ съ сей тайною страной,
Куда насъ всѣхъ влечетъ судьба неодолима;
Томящейся душѣ невидимая зрима—
Повсюду вѣстники могилы предо мной“...

Нельзя не видѣть въ стихахъ этихъ замѣчательнаго таланта, красоты выраженія, какой не было ни у одного изъ живущихъ тогда русскихъ поэтовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ искренности чувства. Но откуда это больное, неудовлетворенное жизнію чувство? Какимъ образомъ оно могло зародиться въ душѣ молодого человѣка, почти юноши? Такое неестественное направленіе въ Жуковскомъ объясняется между прочимъ господствовавшими въ эту эпоху литературными вкусами, крайнимъ развитіемъ сентиментальнаго направленія, внесеннаго въ нашу литературу предшественникомъ и учителемъ Жуковскаго—Барамзинимъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ больной надорванный сентиментализмъ вытекалъ также изъ воспитанія исключительно литературнаго и лишеннаго всякой реальной основы. Не было и не передавалось никакихъ знаній, кромѣ литературныхъ, и потому у человѣка отнималась всякая возможность жить въ ладу съ дѣйствительностію и имѣть на нее вліяніе. Жуковскій любилъ въ своей жизни повторять фразу, казавшуюся ему авсіомою: „жизнь и поэзія — одно“; фраза вѣрна можетъ быть по отношенію къ личному чувству поэта, но между поэзіею Жуковскаго и русскою жизнію, его окружавшею, не было ничего общаго. Последняя, безъ сомнѣнія, не могла удовлетворить ни въ какомъ отношеніи сколько-нибудь развитого человѣка; она не давала ничего для развитія; она не допускала даже возможности дѣйствовать въ ней такъ, чтобъ находить въ дѣйствіи удовлетвореніе, не подрывая въ развитомъ человѣкѣ дорогихъ ему убѣжденій. Оттого люди, подобные Жуковскому, т. е. лучшіе люди тогдашняго общества, жили не въ дѣйствительности, а въ мірѣ любимой мечты, въ мірѣ завѣтномъ и доро-

гомъ для нихъ, но миръ фантастическомъ, который былъ имъ дороже дѣйствительности. Тутъ - то совершалось саморазвитіе, но не для жизни, а для себя; тутъ-то развивалось то „прекраснодушіе“, которымъ эти люди отличались отъ простыхъ людей времени. О поэзи, какъ выраженіи дѣйствительности, не могло быть и помину тогда. Отсюда такое сильное вліяніе на талантъ господствовавшего литературнаго вкуса, отъ котораго онъ никакъ не можетъ освободиться; отсюда недовольство жизнію и разочарованіе, толки о пустотѣ и „грязи дѣйствительности“, повторяемые нѣсколькими поколѣніями нашихъ поэтовъ. Жуковский ничего не ждетъ отъ жизни:

„Мнѣ ужасовъ могила не являетъ;
И сердце съ горестнымъ желаньемъ ожидаетъ,
Чтобъ промысла рука обратно то взяла,
Чѣмъ я безрадостно въ семь мирѣ бременился,
Ту жизнь, въ которой я столь мало насладился,
Которую давно надежда не влатить.
Къ младенчеству ль душа прискорбная летитъ,
Считаю ль радости минувшаго—какъ мало!
Нѣтъ! счастье къ бытію меня не приучало;
Мой юношескій цвѣтъ безъ запаха отцвѣлъ“... ¹⁾

Время отъ 1802 до 1808 года Жуковский провелъ большею частию въ деревнѣ, уѣзжая оттуда по временамъ въ Москву, гдѣ у него было много друзей и литературныя связи и предпріятія. Около 1805 года у него явилось еще занятіе, которое было ему особенно дорого. Одна изъ сестеръ его, Екатерина Аванасьевна Протасова, овдовѣла и, имѣя разстроенное состояніе, поселилась въ Бѣлевѣ, гдѣ и Жуковский выстроилъ домъ для матери. Съ нею были двѣ дочери: Марья Андреевна—12 лѣтъ и Александра—10 лѣтъ. Жуковский самъ вызвался быть учителемъ этихъ дѣвочекъ; занятія эти продолжались около трехъ лѣтъ. Планъ образованія, составленный Жуковскимъ, былъ очень широкъ и выполнялся имъ усердно. Жуковский и своимъ занятіямъ, и своимъ ученицамъ отдался всею душою. Старшая, съ годами, стала для Жуковскаго самымъ дорогимъ существомъ; онъ питалъ къ ней глубокую, продолжительную, но несчастную привязанность, которая, какъ мы уже говорили, имѣла большое вліяніе на его жизнь и придавала еще болѣе элегическаго чувства его стихотвореніямъ.

Но покуда литературная дѣятельность побѣдила въ немъ зародившееся чувство. Друзья, въ особенности Мерзляковъ, давно звали его въ Москву на разныя литературныя предпріятія. Вѣроятно, не безъ участія Карамзина, которому былъ дорогъ имъ основанный журналъ, съ 1808 г. Жуковский сдѣлался редакторомъ

¹⁾ „Къ Филалету“.

„Вѣстника Европы“ и издавалъ его вмѣстѣ съ Каченовскимъ, завѣдывавшимъ политическимъ отдѣломъ въ теченіе трехъ лѣтъ. Это время было временемъ самой усиленной литературной дѣятельности Жуковскаго. Обязанности редактора были тогда гораздо труднѣе, чѣмъ теперь; ему одному приходилось работать за многихъ. Но и въ журналистикѣ, какъ и въ направленіи своей поэзіи, Жуковский шелъ только по слѣдамъ Карамзина и считалъ его программу единственно возможною. Конечно, о современномъ намъ, политическомъ значеніи журналистики Жуковский не имѣлъ тогда понятія. Его задачей было доставить своимъ подписчикамъ запасъ пріятнаго и полезнаго чтенія. Программа Жуковскаго высказывается имъ довольно опредѣлительно въ вступительной статьѣ журнала ¹⁾. „Письмо изъ уѣзда къ издателю“, гдѣ заключено то же, что говорилъ и Карамзинъ при началѣ своего журнала. Значеніе журнала—образовательное для публики. „Существенная польза журнала,—не говоря уже о пріятности минутнаго занятія,—состоитъ въ томъ, что онъ скорѣе всякой другой книги распространяетъ полезныя идеи, образуетъ разборчивость вкуса, и—главное—приманкою новости, разнообразія, легкости, нечувствительно привлекаетъ къ занятіямъ болѣе труднымъ, усиливаетъ охоту читать, и читать съ цѣлью, съ выборомъ, для пользы“. „Обязанность журналиста: подъ маскою занимательнаго и пріятнаго скрывать полезное и наставительное“. Главное содержаніе журнала должно заключаться въ словесныхъ произведеніяхъ, какъ своихъ, такъ и чужихъ. Въ этомъ сказывается и вкусъ тогдашней публики и то исключительно литературное направленіе, которое получилъ Жуковский при своемъ образованіи. Политическій и критическій отдѣлы, самые существенные въ современномъ журналѣ, являлись у Жуковскаго чѣмъ-то почти ненужнымъ. „Политика въ такой землѣ, говоритъ онъ, гдѣ общее мнѣніе покорно дѣятельной власти правительства, не можетъ имѣть особенной привлекательности для умовъ беззаботныхъ и миролюбивыхъ; она питаетъ одно любопытство“. Жуковский хотѣлъ поэтому сообщать въ журналъ только о самыхъ важныхъ и о самыхъ новыхъ случаяхъ міра. Какъ политику, такъ и критику Жуковский считалъ почти бесполезною для своего журнала. „Критика, но, государи мои, какую пользу можетъ приносить въ Россіи критика?—спрашиваетъ онъ. Что прикажете критиковать? посредственные переводы посредственныхъ романовъ? Критика и роскошь—дочери богатства; а мы еще не Брезы въ литературѣ! Замѣтно ли у насъ сіе дѣятельное, повсемѣстное усиліе умовъ, желающихъ производить или приобрѣтать, которое бы требовало вѣр-

¹⁾ Вѣстн. Евр. 1808 г. № 1.

наго направленія, которое надлежало бы подчинить законамъ разборчивой критики? Уроки морали ничто безъ опытовъ, и критика самая тонкая—ничто безъ образцовъ“. Критикѣ предоставляется только право „обращать вниманіе читателя на нѣкоторыя новыя, замѣчательныя—и потому самому рѣдкія явленія словесности“. Что касается до произведеній современной русской литературы, то въ этомъ письмѣ высказывается полное сочувствіе къ представителю тогдашняго патріотическаго направленія—Растопчину; монологи старика Силы Андреевича Богатырева письмо желало бы видѣть въ журналѣ.

Узкіе идеалы Карамзина, его взгляды на просвѣщеніе, на значеніе писателя и его отношеніе къ обществу повторяются и Жуковскимъ. Значеніе просвѣщенія и дѣйствіе его онъ видитъ не въ массѣ цѣлаго развивающагося народа, у котораго совершенствуется матеріальная и духовная сторона быта, а въ семействѣ. Когда разольется вездѣ просвѣщеніе, „тогда увидите людей менѣе разсѣянныхъ въ шумномъ, обширномъ кругу свѣта, всему предпочитающихъ мирный и тѣсный кругъ семейства“¹⁾. Семейное счастье, о которомъ часто и много говорилъ Жуковский, было для него выше всякаго другого. Въ статьѣ „Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ“²⁾, добрымъ и счастливымъ человѣкомъ рисуется только тотъ, кто способенъ наслаждаться семейственною жизнью. Все счастье только въ семействѣ; оно выше счастья человѣка-гражданина. Въ семьѣ только совершаются самые благородные, самые безкорыстные подвиги и просвѣщеніе должно работать для семьи же. Эти мысли, очевидно, развиты воспитаніемъ въ школѣ Карамзина, составили неизмѣняемый кодексъ мнѣнія Жуковскаго, повторялись имъ всегда. Это программа для всей жизни, для каждаго.

Но въ біографическомъ отношеніи любопытно, что мечта о семейномъ счастьи сдѣлалась самою дорогою личною мечтою Жуковскаго; онъ сталъ повторять ее съ этого времени очень часто и въ стихахъ и въ прозѣ: его ученицѣ-племянницѣ Протасовой минуло 15 лѣтъ, и онъ уѣхалъ въ Москву чтобъ составить себѣ прочное литературное положеніе съ мечтою о семейномъ счастьи, именно съ нею. Разсуждая о томъ положеніи, которое имѣетъ въ обществѣ писатель, въ статьѣ подъ этимъ заглавіемъ, говоря, что писатель не можетъ играть дѣятельной роли въ большомъ свѣтѣ, ни по своимъ занятіямъ, ни по ограниченному состоянію своему, и не жалѣя о томъ, Жуковский развиваетъ слѣдующее мнѣніе: „Для писателя, болѣе нежели для кого-нибудь, необходимы семейственныя связи; привязанный въ одному

¹⁾ Письмо изъ уѣзда къ издателю „Вѣстника Европы“.

²⁾ Вѣстн. Евр. 1808 г. № 12.

мѣсту своими упражненіями, онъ долженъ около себя находить тѣ удовольствія, которыя природа сдѣлала необходимыми для души чело-вѣческой; въ уединенномъ жилищѣ своемъ, послѣ продолжитель-наго умственнаго труда, онъ долженъ слышать трогательный голосъ своихъ любезныхъ; онъ долженъ въ кругу ихъ отдыхать, въ кругу ихъ находить новыя силы для новой работы; *не имѣя вдали ничего достойнаго исканія*, онъ долженъ вблизи, около себя, соединить все драгоцѣннѣйшее для его сердца; вселенная со всѣми ея радостями должна быть заключена въ той мирной обители, гдѣ онъ мыслить и гдѣ онъ любить“. Такимъ образомъ Жуковский свои личныя на-дежды и стремленія возводилъ въ общее правило для всѣхъ писателей.

Какъ журналистъ и издатель, Жуковский былъ очень дѣятеленъ. Почти вся работа журнала въ первый годъ лежала на немъ одномъ; только на слѣдующій 1809 годъ, онъ пригласилъ къ себѣ въ сотруд-ники профессора Каченовскаго, имя котораго въ 1810 году стоитъ на заглавномъ листѣ журнала въ качествѣ соредактора и ему же съ 1811 года Жуковский передалъ уже все изданіе. Статей въ разномъ родѣ, написанныхъ Жуковскимъ, было довольно. Несмотря на то, что въ программѣ журнала, высказанной въ „Письмѣ изъ уѣзда“, критикѣ отдавалось мало мѣста, Жуковский, подобно Карамзину, писалъ критическія статьи въ томъ же духѣ и направленіи, съ тою же эстетическою осторожностію. О критикѣ онъ имѣлъ тогдашнее современное понятіе. „Критика, говорилъ онъ, есть сужденіе, *основан-ное на правилахъ образованнаго вкуса*, безпристрастное и свободное“¹⁾. Польза критики „состоитъ въ распространеніи вкуса“. Вкусъ этотъ есть „чувство и знаніе красоты въ произведеніяхъ искусства, имѣющаго цѣлю подражаніе природѣ нравственной и физической“. Распространяя истинныя понятія вкуса, критика „образуетъ въ то же время и самое моральное чувство“. Такая именно критика, называемая эстетическою, была въ ходу тогда. Съ этой точки зрѣнія написаны были Жуковскимъ три статьи критическія: „О баснѣ и басняхъ Крылова“ (1809 г.), „О сатирахъ и сатирахъ Кантемира“ (1809 годъ) и разборъ трагедіи Кребиллона „Рада-мистъ и Зенобія“, переведенной Висковатовымъ (1810). Что ка-сается до первыхъ двухъ, то онѣ даютъ ясное понятіе о томъ, какъ нужно было писать критику въ то время. Методъ, употребленный Жуковскимъ, господствовалъ очень долго. Онъ начинается съ теоріи, т.-е. сначала излагаетъ тѣ теоретическія требованія, которыя обыкно-венно дѣлаютъ извѣстному роду произведеній, затѣмъ показываетъ исторически образцовыя произведенія въ томъ же родѣ и наконецъ

¹⁾ „О критикѣ“.

уже сравниваетъ съ ними разбираемое имъ произведеніе. О томъ, что теперь называется историческою критикою, Жуковскій не имѣлъ понятія, но онъ хорошо былъ знакомъ съ современными эстетическими теоріями. Въ исторіи нашей критики онъ занимаетъ довольно видное мѣсто; онъ первый старался утвердить ее на точныхъ, научныхъ началахъ.

Уже въ то время имя Жуковскаго пользовалось извѣстностью, какъ превосходнаго переводчика чужихъ поэтическихъ произведеній. Оригинальнаго у него очень немного и въ исторіи нашего литературнаго развитія Жуковскій занимаетъ почетное мѣсто именно какъ поэтъ-переводчикъ за то, что онъ познакомилъ насъ со многими великими созданіями всемірной литературы. Поэтому намъ любопытно будетъ познакомиться съ тѣми мнѣніями, которыя Жуковскій высказывалъ въ своихъ критическихъ статьяхъ объ этомъ призваніи своемъ. „Переводчикъ стихотворца, говоритъ онъ, есть въ нѣкоторомъ смыслѣ самъ творецъ оригинальный“. Конечно, творецъ стоитъ выше, потому что ему принадлежитъ идея, планъ созданія, но „переводчикъ остается творцемъ выраженія, ибо для выраженія имѣетъ онъ уже собственные матеріалы, которыми пользоваться долженъ самъ, безъ всякаго руководства и безъ всякаго пособія посторонняго“. Выраженія оригинальнаго автора онъ долженъ сотворить. „А сотворить ихъ можетъ только тогда, когда наполнившись идеаломъ, представляющимъ ему въ твореніи переводимаго имъ поэта, преобразить его такъ сказать въ созданіе собственнаго воображенія; когда, руководствуемый авторомъ оригинальнымъ, повторитъ съ начала до конца работу его гения“¹⁾, это уже сама по себѣ есть творческая способность. Переводчика въ стихахъ Жуковскій ставитъ гораздо выше переводчика въ прозѣ.

„Не опасаясь никакого возраженія, говоритъ онъ, мы позволяемъ себѣ утверждать рѣшительно, что подражатель-стихотворецъ можетъ быть авторомъ *оригинальнымъ*, хотя бы онъ не написалъ ничего собственнаго. Переводчикъ *въ прозѣ* есть рабъ; переводчикъ *въ стихахъ*—соперникъ... Поэтъ оригинальный воспламеняется идеаломъ, который находитъ у себя *въ воображеніи*; поэтъ-подражатель въ такой же степени воспламеняется образцомъ своимъ, который заступаетъ для него тогда мѣсто идеала собственнаго: слѣдственно переводчикъ, уступая образцу своему пальму первенства, долженъ необходимо имѣть почти одинакое съ нимъ воображеніе, одинакое искусство слога, одинакую силу въ умѣ и чувствахъ... Находитъ у себя въ во-

¹⁾ Разборъ траг. Кребильона „Радамистъ и Зенобія“, переведенной Висковатовымъ.

ображеніи такіа красоты, которыя бы могли служить *замѣною*, слѣдовательно производить *собственное*, равно и превосходное: не значить ли это быть творцомъ?"¹⁾ Такъ смотрѣлъ въ то время, да вѣроятно и послѣ Жуковскій на главное содержаніе своей поэтической дѣятельности. Но это требованіе самостоятельности и нѣкотораго рода творчества отъ переводчика въ стихахъ, чѣмъ Жуковскій хотѣлъ какъ бы поднять свое призваніе, по отношенію къ его собственнымъ переводамъ имѣло и свои невыгодныя стороны. Извѣстно, что Жуковскій, по крайней мѣрѣ въ пору своей молодой и лучшей дѣятельности, бралъ для перевода изъ европейскихъ литературъ такіа произведенія, которыя отвѣчали всего болѣе его личнымъ вкусамъ, его направленію и сентиментальнымъ наклонностямъ, въ которыхъ онъ воспитался. Отъ этого все переведенное Жуковскимъ носить на себѣ печать его собственныхъ взглядовъ и убѣжденій и скорѣе выражаетъ его самого, его личное чувство, чѣмъ сущность и духъ чужихъ произведеній. Нѣкоторыя изъ нихъ онъ передѣлывалъ по своему до неузнаваемости. Нѣсколько поэтическихъ произведеній, болѣею частію переводныхъ, напечатанныхъ имъ въ „Вѣстникѣ Европы“, отличаются общимъ тономъ элегіи, въ которомъ попрежнему слышится скорбь о минувшемъ, жалобы на утраченное счастье любви и желаніе смерти...

Самымъ любопытнымъ поэтическимъ произведеніемъ Жуковскаго во время редактированія имъ „Вѣстника Европы“ былъ не переводъ, а скорѣе передѣлка баллады Бюргера „Ленора“, которую Жуковскій назвалъ „Людмила“—русская баллада²⁾. Этимъ произведеніемъ, которое имѣло чрезвычайный успѣхъ въ тогдашнемъ обществѣ, открывается въ нашей поэзій новыи и неизвѣстный до тѣхъ поръ рядъ явленій, называемыхъ балладами, за которыя самъ Жуковскій въ литературныхъ кружкахъ и въ критикѣ получилъ названіе „балладника“. Впечатлѣніе этой знаменитой „Людмилы“ на читающую публику равнялось впечатлѣнію „Бѣдной Лизы“—Карамзина. Восторгамъ и подражанію не было конца. Особенное значеніе балладѣ придавало нѣкоторое отношеніе къ современности; она переносила читателя на поля тогдашнихъ сраженій и выражала сердечныя утраты, которыхъ было немало. Съ нею вторгался въ русскую литературу новыи неизвѣстный ей прежде міръ, міръ балладъ, міръ мертвецовъ, видѣній, фантастическихъ чудесъ, міръ соприкосновенія жизни дѣйствительной съ загробною, то, однимъ словомъ, что Жуковскій называлъ романтизмомъ. Остановимся на этомъ понятіи.

¹⁾ О баснѣ и басняхъ Крылова.

²⁾ „Вѣстн. Евр.“, 1808 г., № 9.

ЛЕКЦІЯ VI и VII.

Романтизмъ на западѣ и романтизмъ Жуковскаго. — „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“. — „Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ“. — Отношенія Жуковскаго къ Протасовой. — „Долбинскія“ стихотворенія. — Посланіе къ имп. Александру.

Съ передѣлкою нѣмецкой Лены поета Бюргера въ русскую „Людмилу“, которая такъ понравилась тогдашнему обществу, въ русской литературѣ въ первый разъ появляется то направленіе, которое извѣстно у насъ во всѣхъ учебникахъ подъ названіемъ *романтизма*. Это движеніе, вступивъ въ ожесточенную борьбу съ господствовавшимъ прежде классицизмомъ, вытѣснило его и овладѣло полемъ. Вводителемъ этого новаго направленія у насъ называютъ обыкновенно Жуковскаго и съ него начинается исторія нашего романтизма, представляющаго главнымъ образомъ въ двадцатые и тридцатые годы. Самъ Жуковский признаетъ это: „я во время оно родитель на Руси нѣмецкаго романтизма и поэтической дядька чертей и вѣдьмъ нѣмецкихъ и англійскихъ“ — пишетъ онъ къ Стурдзѣ¹⁾. Говорить о романтизмѣ и соединять съ этимъ понятіемъ имя Жуковскаго, мы давно привыкли, особенно со времени критики Вѣлинскаго. Это былъ любимый терминъ его, хотя онъ далъ самое неопредѣленное понятіе о романтизмѣ, слишкомъ узкое съ одной и слишкомъ широкое съ другой стороны.

Нѣтъ ничего неопредѣленнѣе и туманнѣе того понятія о литературномъ движеніи, извѣстномъ у насъ подъ именемъ романтизма, какое вообще мы встрѣчаемъ въ нашихъ курсахъ и критическихъ обзорѣніяхъ литературы. Причина этого заключалась обыкновенно въ томъ, что о романтизмѣ мы привыкли судить по тѣмъ явленіямъ его, какія были въ нашей литературѣ, а въ нее попадали только жалкіе, оборванные лоскутки европейскаго умственнаго движенія. Но и это движеніе, извѣстное подъ именемъ романтизма, захватывающее собою весьма длинный періодъ времени, почти всѣ сферы жизни, начиная политикою и кончая искусствомъ, заключало въ себѣ столько сложнаго, столько разнообразнаго, столько противорѣчиваго, было такъ непохоже само на себя въ теченіе своего развитія, что его невозможно опредѣлить въ немногихъ, точныхъ словахъ. Считать романтизмъ, какъ это обыкновенно дѣлаютъ, однимъ противодѣйствіемъ господствовавшему до него въ литературѣ и искусствѣ классицизму или смотрѣть на него, какъ на особенное поклоненіе идеаламъ и формамъ среднихъ вѣковъ, значить имѣть о немъ недостаточное понятіе.

¹⁾ Письмо отъ 10 марта в. ст. 1849 г.

Романтизмъ не былъ только эстетическою теоріею; нѣтъ, онъ обнималъ собою всю жизнь, проникалъ всѣ ея сферы.

Человѣческій духъ, начиная со второй половины XVIII вѣка до конца его, представляетъ намъ такую общую, дѣятельную, глубокую критическую работу мысли, какую едва ли можетъ представить другой историческій періодъ, за исключеніемъ эпохи Возрожденія. Результатомъ этой усиленной, смѣлой и радикальной работы (напр. въ философахъ Франціи и въ Кантѣ), и въ сферѣ государства и практики, и въ религіи, и въ нравственности былъ рѣшительный пересмотръ прошедшаго. Человѣчеству пришлось выбросить за бортъ, какъ ненужный балластъ, массу такого содержанія, которое создавалось вѣками, въ которому люди привыкли длиннымъ путемъ развитія историческаго. Въ этомъ разрѣженномъ критикою воздухѣ, на высотѣ побѣдившей мысли, было ужъ слишкомъ просторно, не за что было держаться руками. За работою мысли, въ послѣдніе годы XVIII и въ первые годы XIX вѣка, произошелъ тотъ могущественный историческій катализмъ, волненія котораго не вдругъ могли стихнуть. Пали старыя формы жизни, падали, вызывая въ душѣ то восторженные крики освобожденія, то боль и страданіе. Мѣнялись съ чрезвычайною быстротою границы государствъ и народностей, отстраняя старыя изжившія явленія, выдвигая новыя и непривычныя. Когда успокоивалось волненіе, мысль естественно должна была обращаться назадъ: она видѣла предъ собою развалины и броженіе. Многого не досчитывалась она, обо многомъ жалѣла, доходила до ненависти къ недавнимъ увлеченіямъ, до неисторическаго, до нелогичнаго, но часто страстнаго желанія возстановить невозвратное прошедшее. Она пугалась добытой борьбою свободы, боялась крайнихъ выводовъ, робко пряталась отъ самой себя. Скорбь и раздвоеніе, раздраженіе и разочарованіе наполняли сердце у романтика, изъ котораго вѣтеръ критики выдулъ вѣковыя иллюзіи. Ему страшно идти впередъ, не оглядываясь, а старая вѣра подорвана. Онъ стоитъ въ тяжеломъ раздумьи на распутьи двухъ міровъ: назадъ его манятъ волшебные образы прошедшаго, гдѣ живутъ его воспоминанія, а впереди страшно свободно развертываются — безграничныя дали будущаго, ему незнакомыя. Это-то и была общая болѣзнь вѣка, сказавшаяся въ Европѣ въ самыхъ разнообразныхъ явленіяхъ философіи, литературы, искусства, что было совершенно естественно при ея богатой и сложной исторической жизни.

Что-то больное и раздвоенное всегда присутствуетъ въ романтизмѣ. Мы увидимъ потомъ, какъ это общее историческое недовольство Европы преобразилось въ наше внутреннее недовольство, когда правительство Александра пошло по дорогѣ крайней реакціи, не

оправдавъ надеждъ и стремленій развитого меньшинства. То была лучшая пора нашего романтизма.

Съ романтизмомъ европейскимъ соединяются самыя разнообразныя идеи и порывы духа. Подъ этимъ знаменемъ мы видимъ и свободную мысль и рабское поклоненіе авторитету; отъ романтизма вѣетъ и вольнымъ воздухомъ новаго времени и спертою атмосферою кельи средне-вѣковаго монастыря. Въ „Фаустѣ“ Гёте и въ „Манфредѣ“ Байрона выражено самое глубокое пониманіе романтическихъ стремленій; но сколько въ этихъ величавыхъ фигурахъ раздвоенности, страданія и вѣчной неудовлетворенности! Ихъ скорбь—скорбь цѣлаго вѣка. Эти два типа, созданные двумя величайшими поэтами, какъ выраженіе времени, сдѣлались любимыми типами и находили себѣ подражателей и въ литературѣ, и въ жизни. Поэтъ въ понятіяхъ романтизма не былъ обыкновеннымъ человѣкомъ, онъ былъ не отъ міра сего, стоялъ высоко надъ толпою, отъ ея жизни, отъ ея стремленій былъ отдѣленъ непроходимою бездною. Это была избранная натура, но ея удѣлъ на землѣ были страданіе и гибель. Въ подражаніе поэту и обыкновенные люди силились подняться надъ массою и явиться тоже избранными натурами. Всякій желалъ явить изъ себя героя. Воображеніе господствовало надъ разсудкомъ; реального пониманія жизни почти вовсе не существовало, и въ романтизмѣ возникло множество заблужденій и нелѣпостей, невозможныхъ въ здоровую пору жизни. Въ романтизмѣ, котораго начало надобно искать въ мистическихъ увлеченіяхъ XVIII вѣка, въ недовольствѣ слишкомъ смѣлою и отрицающею мыслию французскихъ философовъ того времени, сильно было развито недовѣріе къ „сухой разсудочности“, по выраженію Гегеля, и отсюда легко объясняется такъ называемая *романтическая тѣра*, полная сердечности, мистики, піэтизма, а такъ какъ такая вѣра господствовала преимущественно въ католицизмѣ и въ эпоху среднихъ вѣковъ, то идеалы этихъ послѣднихъ и въ религіи, и въ искусствѣ, и въ литературѣ особенно нравились романтикамъ. Старая вѣра въ чудесное, сверхъестественное, въ возможность сообщеній міра земного съ міромъ загробнымъ снова оживала въ романтизмѣ. Если въ вѣрѣ было такое обращеніе къ отжившей старинѣ среднихъ вѣковъ, то подобная же реакція существовала и въ практическихъ вопросахъ жизни и государства.

Но какимъ образомъ произошло, что духъ человѣческій, передъ которымъ была такая широкая, свободная дорога, послѣ усилій своей вѣркой мысли въ XVIII вѣкѣ, снова повернулъ съ тоскою къ мечтательнымъ образамъ прошедшаго, казалось навсегда исчезнувшаго? Какъ въ исторической жизни народовъ, такъ и въ царствѣ духа, за революціонными, слишкомъ смѣлыми попытками, является трудъ ре-

акціи и реставраціи, но добытое прежде не гибнетъ; напротивъ, вслѣдствіе противодѣйствія, его значеніе становится глубже и яснѣе.

И друзья, и враги романтизма пытались опредѣлить его значеніе и приходили къ различнымъ результатамъ, потому что не въ состояніи были найти корни этого сложнаго явленія. Романтизмомъ опредѣляли мечтательную любовь къ природѣ и страстное религіозное влеченіе души, и тоскливую привязанность къ нравамъ и формамъ прошедшаго, и сердечное стремленіе въ даль, къ неизвѣстному, къ очарованному *тамъ*. Подъ знаменемъ романтизма дѣйствовали и консервативные и либеральные умы, и стремленіе къ лучшимъ формамъ жизни, и боязливая запуганность передъ движеніемъ, и демократическій энтузіазмъ съ мечтами о народной свободѣ, и озлобленіе и вражда къ настоящему. Романтизмъ похожъ на неуловимый образъ Протея. Но эта неуловимость происходитъ отъ того, что романтизмомъ привыкли называть то или другое явленіе въ области духовной или жизненной, ту или другую партію въ литературѣ или искусствѣ, тогда какъ подъ романтизмомъ надобно разумѣть цѣлую историческую форму духовной жизни европейскихъ народовъ, цѣлую и длинную эпоху. Романтизмъ, какъ эпоха, похожъ на голову древняго Януса съ двойнымъ лицомъ; одна сторона смотритъ назадъ, въ прошедшее, другая—впередъ, въ будущее. Съ одной стороны въ туманной дали голубыя горы съ волшебными замками и съ волшебными садами прошедшаго, съ другой—свободныя, широкія поля будущаго. Человѣкъ, уже тронутаго духомъ новаго времени, но который вздумалъ бы средствами новаго образованія возстановлять старину и отжившее въ литературѣ или искусствѣ, въ религіи или наукѣ, въ жизни или политикѣ, который захотѣлъ бы на измѣнившейся жизненной почвѣ новаго времени возстановлять міръ прошедшаго,—мы называемъ обыкновенно романтикомъ. Не первоначальное романтическое міросозерцаніе (въ духѣ среднихъ вѣковъ), когда человѣческое сознаніе наполнялось всецѣло міромъ сверхчувственнаго, который не былъ еще ни подрытъ сомнѣніемъ, ни разогнанъ рефлексіей,—потому что такой сверхчувственный міръ, при совершенномъ незнакомствѣ съ законами міра чувственнаго, одинъ только имѣлъ дѣйствительность и значеніе,—не эту давно исчезнувшую ступень развитія называемъ мы романтизмомъ, какъ историческое явленіе, но сознательное, преднамѣренное возстановленіе прошедшаго, посреди вѣка, по внутреннему содержанию своему вполне чуждаго этой давно исчезнувшей формѣ развитія. Міровоззрѣніе среднихъ вѣковъ было романтическое. Но отцы церкви и схоластики среднихъ вѣковъ, мистики и реформаторы, для которыхъ это мировоззрѣніе составляло убѣжденіе сердечное и которые доказывали его научнымъ образомъ, вовсе не были романтиками.

Они были убѣждены въ томъ, во что вѣрили. Начавшееся съ XVI вѣка въ Европѣ, подъ вліяніемъ древней мысли, изученіе природы и развитіе естественныхъ наукъ, затѣмъ свободное движеніе духа въ просвѣтительную эпоху въ XVII и XVIII вѣкахъ разсѣяли это романтическое воззрѣніе, въ оковахъ котораго такъ долго находилось европейское человѣчество, а критическая философія Канта, какъ послѣднее звено свободнаго движенія ума, казалось, ясно опредѣлила границы человѣческаго разума. Духъ освободился отъ чуждаго ему содержанія; міръ сверхчувственный онъ поналъ теперь, какъ свое собственное созданіе. Это уже окончательно разрушало романтическое мировоззрѣніе. Но сердце, которое не умѣло уяснить себѣ свои потребности, и фантазія, вырвавшаяся изъ-подъ власти разсудка, пытались въ новое время возстановить и удержать это исчезнувшее мировоззрѣніе въ сознаніи новаго человѣчества, снова ввести и въ науку и въ различныя сферы духовной жизни этотъ старый балластъ, но въ новой одеждѣ. Это и былъ европейскій романтизмъ новаго времени.

При чрезвычайной сложности процесса историческаго движенія новаго европейскаго романтизма, весьма трудно опредѣлить и начало его и исходъ, поставить въ особенности пограничныя столбы тамъ, гдѣ кончается романтизмъ и начинается реализмъ. Человѣческое развитіе происходитъ не вдругъ; отъ сознающаго меньшинства мысль постепенно переходитъ къ массѣ и что для одного является уже пройденною пережитою ступеню, съ того для другого начинается только развитіе. Вообще приблизительно можно опредѣлить начало романтизма съ первымъ реакціоннымъ движеніемъ въ ходѣ французской революціи XVIII вѣка, но зачатки романтизма можно видѣть и въ мистицизмъ этого вѣка и въ сочиненіяхъ Руссо съ его идеализмомъ и тоскою по природѣ. Не нужно забывать, что въ каждой европейской странѣ, подъ вліяніемъ обстоятельствъ и историческихъ условій ея, романтизмъ принялъ особую форму, особый оттѣнокъ. Страною, однакожь, гдѣ романтизмъ больше и полнѣе всего господствовалъ, была Германія, въ особенности въ сферахъ поэзіи и литературы, а потомъ и въ философіи. Фантазія заступила мѣсто здраваго разсудка, сердце взяло преобладаніе надъ умомъ. Жизнь среднихъ вѣковъ сдѣлалась любимымъ представленіемъ нѣмецкихъ романтиковъ. Въ ней только одной была свѣжесть, сила и непосредственность. Поэзію Гёте обвиняли въ матеріализмѣ, требовали, чтобъ искусство удалялось отъ „пошлой“ дѣйствительности. Старые законы нравственности презирались всѣми; чувство и страсть получили оправданіе, создались новые законы морали. Фантазія явилась разнузданною, и личность, которая сама только ставила себѣ законы, стала презирать дѣйствительность и всѣ ея права.

Печальныя политическія отношенія времени, сначала господство французовъ въ Германіи, а потомъ общая правительственная реакція невольно увлекали мысль и фантазію отъ настоящаго, отъ очень некрасивой дѣйствительности.

Духъ, недовольный настоящимъ, уходилъ въ прошедшее, которое казалось и лучше, и дороже. На это прошедшее смотрѣли безъ всякой критики, въ ложномъ свѣтѣ идеала; оно должно было замѣнить собою пустоту настоящаго. Правда, потомъ и это обольщеніе принесло свою пользу для науки о прошедшемъ и въ этомъ же чувствѣ начались попытки изученія старины и народности у Гриммовъ. Романтизмъ служилъ и наукѣ, и противникамъ ея, какъ служилъ онъ свободѣ и репрессивнымъ мѣрамъ правительствъ.

Таковъ былъ романтизмъ на европейской почвѣ; посмотримъ, какія стороны его перешли къ намъ, въ нашу жизнь.

Съ самой реформы Петра Вел. наша историческая задача заключалась въ усвоеніи европейскихъ началъ цивилизаціи и духовной жизни. Съ каждымъ десятилѣтіемъ нашего развитія задача эта понималась все глубже и шире, тѣмъ болѣе, что и самая жизнь европейская не стояла на одномъ мѣстѣ, а развивалась, а потому одно европейское вліяніе шло послѣдовательно къ намъ за другимъ; мы переживали у себя разныя фазы чужой внутренней жизни, пережили псевдо-классицизмъ, философію Вольфа, скептическую мысль XVIII вѣка и вольнодумство, затѣмъ масонство и какъ противодѣйствіе скептицизму и отрицанію — мечтательность и сентиментальность, съ которыми въ близкомъ отношеніи находится только-что вступившій на нашу почву романтизмъ. Это былъ необходимый и естественный ходъ впередъ нашего русскаго развитія, но на фонѣ европейской жизни. Понемногу къ этому движенію присоединяется наконецъ стремленіе къ самостоятельности. Мы долго жили такимъ образомъ заимствованіемъ и подражаніемъ, но мы развивались, мы воспитывались, мы шли тѣмъ же путемъ внутреннего развитія, какъ и европейскія націи, мы логически и послѣдовательно шли съ ними одинаковымъ путемъ.

Къ сожалѣнію, условія нашей политической и вообще общественной жизни были таковы, что этотъ прямой путь развитія безпрестанно нарушался, переходъ европейскихъ вліаній затруднялся, да и сами они очень часто съуживались въ своихъ размѣрахъ, а иногда входили къ намъ просто контрабандою. Европейское вліяніе и наше умственное развитіе были бы гораздо глубже, и конечно прочнѣе, еслибъ пользовались большею свободою и болѣшимъ уваженіемъ со стороны власти. Но еще больше препятствій заключалось въ невѣжествѣ общества, для котораго вовсе не дороги были умственные инте-

ресы. Что же касается до народа, то онъ оставался внѣ всего этого движенія и развитія. Понятно, что при такихъ невыгодныхъ условіяхъ европейскія вліянія переходили къ намъ клочками, обрывками. Мы воспитывались на европейскихъ идеяхъ, но и эти идеи доходили къ намъ также не въ цѣломъ видѣ, и часто случалось, что мы начинали переживать ту фазу, которая была давно уже пройдена Европою.

Такъ и европейскій романтизмъ, который появился у насъ при Карамзинѣ, подъ именемъ сентиментализма и подъ видомъ мечтательности, а при Жуковскомъ сталъ называться у насъ собственнымъ именемъ, былъ на нашей почвѣ совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ въ Европѣ. У насъ, какъ извѣстно, долго понимали подъ словомъ романтизмъ только противоположность классицизму, всѣмъ надѣвшему. Той широкой исторической основы, какая была у европейскаго романтизма, у насъ не существовало. Мы заимствовать могли изъ него только то, что приходилось намъ по плечу (и больше худыхъ его сторонъ, чѣмъ хорошихъ).

Первымъ вводителемъ у насъ элементовъ романтизма былъ, какъ мы сказали уже, Карамзинъ, хотя при немъ не существовало еще самаго названія. Въ сентиментальности его надобно видѣть зародыши романтизма. Несмотря на малое развитіе тогдашняго современнаго общества, несмотря на то, что въ массѣ этого общества было самое ничтожное число не только людей образованныхъ, но и читающихъ вообще, сочиненія Карамзина, въ нравственномъ, но не политическомъ отношеніи, имѣли образовательное или воспитательное значеніе для тогдашняго общества. Какъ моралистъ, какъ проповѣдникъ свободы страстей, какъ распространитель, хотя и въ узкихъ границахъ, идей Руссо, Карамзинъ былъ передовымъ челоѣкомъ въ нашемъ обществѣ того времени и Жуковскій въ этомъ отношеніи не пошелъ дальше его и является только продолжателемъ Карамзина. Но Жуковскій былъ болѣе, чѣмъ Карамзинъ, знакомъ съ нѣмецкою романтическою школою, явленіемъ новымъ для Карамзина въ литературѣ, обязаннаго своимъ воспитаніемъ болѣе французамъ. Вліянію этой нѣмецкой романтической школы и подчинился Жуковскій. Переводомъ ея произведеній, усвоеніемъ ихъ намъ, при удивительной художественности своего стиха и изящности выраженія, Жуковскій вносилъ въ нашу литературу новое романтическое содержаніе, дѣлался популяризаторомъ его.

Но цвѣты романтической поэзіи не были, несмотря на всю свою наружную прелесть, произведеніемъ здороваго развитія. Почва, ихъ воспитавшая, была нездоровая почва. Эти цвѣты похожи на тѣ весьма красивые цвѣты-паразиты, которые развиваются на гнію-

щихъ остаткахъ растительнаго царства: подъ ними трупы. И Жуковскій вынесъ изъ этого большого міра только то, что подходило къ его личной настроенности: меланхолическое, но весьма неопредѣленное по содержанію своему чувство, вѣчную жалобу о непрочности всего земного, вѣчное порываніе куда-то, въ туманную даль, поэтическую вѣру, со всею ея обстановкою, съ сердечнымъ убѣжденіемъ въ существованіе призраковъ, привидѣній и другихъ явленій загробнаго міра, между которымъ и землею, казалось, не существовало границъ. Съ привычкою къ этому содержанію, Жуковскій, касаясь русской народности, умѣлъ понять въ ней поэтически только одно суетвѣріе въ „Свѣтланѣ“. Увлекался сочувствіемъ къ исчезнувшей старинѣ, напр. среднихъ вѣковъ, воспроизводя въ поэзіи ея образы, романтики невольно подчинялись обаянію и исчезнувшихъ понятій, и предрасудковъ, бесплодныхъ вѣрованій и даже монастырскаго аскетизма. Все это, какъ видите, находилось въ глубокомъ разладѣ съ дѣйствительною жизнью, которая какъ бы не существовала для поэта. Напротивъ, онъ шеголялъ равнодушіемъ къ этой жизни, онъ презиралъ ея интересы. Такая поэзія, такая была у Жуковскаго, конечно ничего здороваго не внесла въ общественную жизнь; она растлѣвала умы, дѣлала человѣка тряпкою, но ея содержаніе удивительно приходилось по сердцу тому больному, разочарованному поколѣнію русскихъ людей, которое, послѣ потрясающихъ событій, послѣ великихъ жертвъ и напряженій, очутилось въ тискахъ реакціи. Только сильные и практическіе умы старались освободиться изъ нихъ и не поддавались дѣйствительности, боролись съ этою одуряющею поэзіею. Среднимъ же людямъ, большинству поколѣнія, оставалась только надежда на „очарованное тамъ“. Таковъ былъ романтизмъ, который ввелъ къ намъ Жуковскій; съ другимъ родомъ его, но тоже обязательнымъ началомъ своимъ Европѣ, мы познакомимся въ поэзіи Пушкина.

Передѣлывая „Ленору“ на русскіе нравы, подъ именемъ „Людмила“, Жуковскій сгладилъ въ этомъ произведеніи всѣ народныя черты, но и своей „Людмилѣ“ не далъ опредѣленнаго очерка. Самое характеристическое въ этой балладѣ, что, вѣроятно, соответствовало личному настроенію поэта—это выраженіе скорби разлуки. Ропотъ Людмилы на Провидѣніе за смерть своего волюбленнаго называется тотчасъ же въ русской балладѣ, но этотъ скорый судъ вредитъ ея поэтическому впечатлѣнію. Зато вѣра въ чудесное вполнѣ удовлетворялась и описаніе скачки Людмилы съ мертвецомъ на далекое кладбище производило въ современникахъ и въ особенности современницахъ трепетъ и замираніе сердца. Успѣхъ „Людмилы“ какъ будто воодушевилъ Жуковскаго къ поэтическимъ переводамъ и передѣлкамъ. Рядомъ съ незначительными, впрочемъ, собственными

его произведениями стали съ 1809 года одинъ за другимъ являться переводы нѣмецкихъ поэтовъ, изъ которыхъ замѣчательнѣе то, что переводилось изъ Гёте и Шиллера.

Между тѣмъ, несмотря на свои литературные успѣхи и редакторство журнала, который отнималъ много времени, Жуковский порывался опять въ деревню къ своимъ роднымъ. По всей вѣроятности, теперь влекло его туда реальное чувство любви къ ученицѣ его—старшей Протасовой. Уже на другой годъ изданія „Вѣстника Европы“ онъ взялъ въ помощники себѣ Каченовскаго; въ концѣ 1810 года мы находимъ уже Жуковского на родинѣ, въ Мишенскомъ, въ усиленныхъ занятіяхъ поэзіей, которую онъ считалъ теперь своимъ призваніемъ, и въ стремленіяхъ приобрести побольше свѣдѣній и тѣмъ исполнить пробѣлы, оставленные школой. Въ письмѣ къ А. Тургеневу Жуковский раскрываетъ всѣ тогдашніе свои планы и наклоненія. Онъ хочетъ много учиться, чтобы сдѣлаться славнымъ авторомъ, и обѣщаетъ „дѣлать только минутные набѣги на парнасскую область, съ тѣмъ однако, чтобы со временемъ занять въ ней выгодное мѣсто, поближе къ храму славы. Три года будутъ посвящены труду приготовительному, необходимому, тяжелому, но улаждаемому высокою мыслию быть прямо тѣмъ, что должно. Авторство почитаю службою отечеству, въ которой надобно быть или отличнымъ или презрѣннымъ: промежутка нѣтъ, но съ тѣми свѣдѣніями, которыя имѣю теперь, нельзя надѣяться достигнуть до перваго“¹⁾. Серьезно смотря на свое призваніе, Жуковский хочетъ серьезно приготовиться къ нему. Въ то время (1810 г.) его особенно занимала исторія. Тургеневу, который любилъ исторію и занимался ею, Жуковский признается, что въ ней онъ совершенный неумѣжда. „Но я хочу, пишетъ онъ, получить объ исторіи хорошее понятіе; не быть въ ней ученымъ, ибо я не располагаюсь писать исторію, но приобрести философскій взглядъ на происшествія въ связи“. И онъ совѣтуется съ Тургеневымъ о выборѣ книгъ историческихъ и сообщаетъ, какъ онъ читаетъ Герена и Гаттерера, входитъ въ подробности. На занятія русской исторіей, съ которою онъ вовсе не знакомъ, Жуковский смотритъ иначе. „Тутъ уже нечего думать о классикахъ и надобно добираться самому до источниковъ“.

Въ это время, да и нѣсколько лѣтъ послѣ, Жуковский мечталъ о большой эпической поэмѣ „Владимиръ“, для которой онъ даже хотѣлъ ѣхать въ Кіевъ. „Владимиръ“—говоритъ онъ, будетъ мой фаросомъ (въ морѣ русской исторіи); но чтобы плыть прямо и безопасно при свѣтѣ этого фароса, надобно научиться искусству море-

¹⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 796.

плаванія. Вотъ что я теперь и дѣлаю“. Жуковский весь въ трудѣ— для собственнаго образованія, а ему уже было 27 лѣтъ. „Я нахожу удовольствіе, пишетъ онъ, даже и въ томъ, чтобы учить наизусть примѣры изъ латинскаго синтаксиса, воображая, что со временемъ буду читать Виргилія и Тацита“. Онъ проситъ Тургенева безъ отлагательства прислать ему латинскую и греческую грамматики, проситъ и другихъ книгъ. Часы занятій его распредѣлены „со всею точностью трудолюбиваго нѣмца. Для cadaго есть особенное, непремѣнное занятіе“; даже „восхищенію стихотворному назначенъ часъ особый, свой“. Повидимому, онъ совершенно доволенъ своею обстановкою и началомъ трудолюбивой и дѣятельной жизни. „Я всегда говорю себѣ: настоящая минута труда уже сама по себѣ есть плодъ прекрасный. Такъ, милый другъ, дѣятельность и предметъ ея польза— вотъ что меня теперь одушевляетъ“. Но эта преданность и увлеченіе трудомъ вдругъ нарушается сомнѣніемъ: „Что, если предпринятая мною дѣятельность будетъ бесплодна?“ Жуковский жалѣетъ о томъ, что онъ не умѣлъ воспользоваться временемъ: „Ахъ, братъ и другъ, сколько погибло времени! Вся моя прошедшая жизнь покрыта какииъ-то туманомъ *недѣятельности душевной*, который ничего не даетъ мнѣ различить въ ней. Причина этой недѣятельности тебѣ извѣстна“¹⁾.

Причина недѣятельности, на которую жалуется Жуковский въ дружескомъ письмѣ къ Тургеневу, заключалась въ любви къ Протасовой: „Если романтическая любовь, говоритъ онъ, можетъ спасти душу отъ порчи, за то она уничтожаетъ въ ней и дѣятельность, привлекая ее къ одному предмету, который удаляетъ ее отъ всѣхъ другихъ. Этотъ одинъ убійственный предметъ какъ царь сидѣлъ въ душѣ моей по сіе время“²⁾. Мы видѣли, какъ онъ желалъ всѣми силами избавиться отъ своей бездѣятельности, какъ онъ хлопоталъ о своемъ самообразованіи, какъ распредѣлялъ планы своихъ занятій и собиралъ со всѣхъ сторонъ матеріалы. Кажется, это было самое бодрое время въ жизни Жуковскаго. Онъ надѣялся на будущее, смотрѣлъ на него съ довѣріемъ. Успѣхъ „Людмилы“ побудилъ его продолжать въ томъ же направленіи. Въ 1810 году была имъ написана первая часть повѣсти „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“, подъ особеннымъ названіемъ „Громобои“. Баллада эта, основанная на распространенной у всѣхъ народовъ средневѣковой легендѣ о грѣшникѣ, продавшемъ свою душу сатанѣ за земныя наслажденія, была заимствована Жуковскимъ не прямо изъ народныхъ преданій, а изъ нѣмецкаго современнаго ро-

¹⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 790—799.

²⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 794.

мана Шписа „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“, произведенія самаго романтическаго свойства. Жуковский перенесъ, впрочемъ, дѣйствіе въ Россію, на берега Днѣпра, хотя сдѣлано это весьма неопредѣленно.

Съ задушевнымъ міромъ поэта баллада эта была связана главнымъ героемъ ея. „Вадимъ“ (это вторая часть повѣсти, написанная гдѣтъ черезъ шесть послѣ первой) — искупитель спящихъ дѣвъ, — идеаль Жуковскаго:

...„Тотъ, кто чистъ душою,
Кто, ихъ не врѣвши, распаленъ
Одной изъ нихъ красою,
Придетъ, *житейское призрѣтъ*,
Въ забвенну ихъ обитель,
Есть обреченный спящихъ дѣвъ
Отъ неба искупитель“.

Въ Вадимѣ заключено все, что нравилось Жуковскому въ то время, что составляло для него призваніе человѣка:

...„скорбь о неизвѣстномъ,
Стремленье вдаль, любви тоска,
Томленіе разлуки“.

Это фигура романтическая; это образъ средневѣковаго рыцаря изъ круга бретонскихъ романовъ о Граалѣ. Этотъ идеаль выражалъ сердечное стремленіе Жуковскаго, его романтическую любовь, о которой онъ много говорилъ въ неясныхъ стихахъ, хотя у него уже созрѣло желаніе жениться на предметѣ своей любви:

„Есть *одна* во всей вселенной,
Къ *ней* душа, и мысль объ *ней*;
Къ *ней* стремлю, забывшись, руки—
Милый призракъ прочь летитъ“¹⁾

Вотъ то чувство, которое наполняло душу Жуковскаго, рядомъ съ занятіями наукой и переводами нѣмецкихъ балладъ, преимущественно изъ Шиллера и Гете, — по личному его выбору. Однообразіе таланта Жуковскаго доказывается и тѣмъ, что, передѣлавъ „Ленору“ въ Людмилу, онъ снова повторилъ ее въ своей „Свѣтланѣ“, прибавивъ только описаніе русскихъ гаданій на святкахъ.

Что касается до матеріальныхъ условій жизни до 1812 года, то Жуковский не могъ пожаловаться на судьбу. Обстановка его была вполне благоприятна. Онъ купилъ себѣ имѣніе недалеко отъ родныхъ; у него было много сосѣдей; жизнь была веселая, довольная,

¹⁾ „Жалоба“.

въ которой удовлетворялись даже эстетическіе вкусы. Всему этому средства давались конечно крѣпостнымъ нравомъ. Какъ самодовольна была эта жизнь, видно изъ разсказа біографа Жуковскаго Зейдлица ¹⁾ объ отношеніяхъ поэта къ сосѣду своему и Протасовыхъ—помѣщику Плещееву. Этотъ Плещеевъ, родственникъ и сынъ друга Карамзина, человѣкъ съ значительнымъ состояніемъ, былъ большой любитель искусствъ, въ особенности музыки и театра. Онъ самъ прекрасно игралъ на виолончели и писалъ музыку, не только на романсы Жуковскаго, но и цѣлыя оперы. Кромѣ того, онъ былъ превосходнымъ актеромъ и отлично читалъ по-русски и по-французски, славясь вообще умѣньемъ подражать разнымъ лицамъ и разнымъ голосамъ. Это умѣнье доставило ему впоследствии мѣсто чтеца при императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ. У Плещеева была своя труппа актеровъ, свои крѣпостные музыканты, — такъ что эстетическія наслажденія стоили недорого. Къ нему, какъ человѣку богатому, веселому и гостепріимному, съѣзжалось множество сосѣдей и Жуковскій часто бывалъ въ ихъ числѣ. Съ Плещеевымъ велъ онъ дружескую переписку въ стихахъ; Жуковскій писалъ по-русски, а другъ его по-французски. Стихи Жуковскаго, согласно воспоминаніямъ князя Вяземскаго ²⁾ и судя по образцамъ нѣсколько позднѣйшаго времени, не заключали въ себѣ ничего меланхолическаго; напротивъ, они отличались полнымъ, свободнымъ юморомъ, конечно не широкаго свойства, юморомъ, выросшимъ въ домашней обстановкѣ. На домашнемъ театрѣ Плещеева ставились и забавныя драматическія произведенія Жуковскаго, которыя, впрочемъ, не дошли до насъ. Эта веселая жизнь такъ занимала тогда все общество помѣщиковъ, собиравшееся у Плещеевыхъ, что еще 3 Августа 1812 года, въ то время, когда войско Наполеона шло по большой московской дорогѣ слѣдомъ за отступающею русскою арміею, у Плещеева, въ Орловской губерніи, гдѣ праздновался день рожденія хозяина, собрались веселые сосѣди на концертъ и театральное представленіе на домашней сценѣ. Такъ мало было въ этихъ людяхъ совнательнаго чувства, такъ полна была по своему ихъ жизнь, что буря не была имъ страшною, что она шумѣла, казалось, далеко. Здѣсь, на этомъ праздникѣ, Жуковскій пѣлъ свое стихотвореніе „Пловецъ“, положенное на музыку другомъ его Плещеевымъ. Въ этомъ романсѣ выражалась скорбь—личное чувство поэта, вѣроятно, понятное и извѣстное въ кругу знакомыхъ и родныхъ. Не задолго до того времени его ученицѣ исполнилось 19 лѣтъ и Жуковскій рѣшился просить у ея матери согласія на бракъ, но получилъ рѣшительный и

¹⁾ Зейдлицъ, изд. 1883 г., стр. 44.

²⁾ Русск. Арх. 1866 г., стр. 875—876.

суровый отказъ. Причина отказа, со стороны Протасовой, выставлялась та, что Жуковский приходится роднымъ дядею ея дочерямъ.

Въ томъ же августѣ 1812 года Жуковский, вѣроятно подъ вліяніемъ полученнаго отказа, а не патриотическаго чувства, какъ привыкли говорить его биографы, вступилъ въ московское ополченіе. Онъ присутствовалъ при Бородинѣ и Тарутинѣ, но издала и не принималъ никакого участія въ сраженіяхъ. Черезъ товарища своего по пансіону—Кайсарова, директора типографіи при главной квартирѣ Кутузова, Жуковский пошелъ въ штатъ фельдмаршала и работалъ въ его канцеляріи; помогалъ ли онъ писать реляціи Скобелеву (?)¹⁾ или нѣтъ — неизвѣстно. Еще до Тарутинскаго сраженія Жуковский успѣлъ побывать на нѣсколько дней въ Муратовѣ у Протасовой и снова вернуться въ армію. Подъ Тарутиннымъ, подъ вліяніемъ тогдашняго настроенія войска и общественнаго мнѣнія, былъ задуманъ имъ планъ „Пѣвца въ станѣ“ и тогда же вѣроятно написаны черныя строфы. Жуковский пошелъ вмѣстѣ съ арміей за отступающими французами, но въ Вильнѣ захворалъ горячкою, пролежалъ тамъ въ госпиталѣ и только въ январѣ 1813 года вернулся на родину, къ роднымъ и друзьямъ. Этимъ кончилась его военная карьера, продолжавшаяся такимъ образомъ менѣе полугода.

„Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ“, написанный, по словамъ Жуковскаго, въ лагерѣ подъ Тарутиннымъ, выражаетъ собою то патриотическое настроеніе, ту ненависть къ врагу, жажду мщенія и надежду на побѣду, которыя послѣ отчаянія были теперь въ сердцахъ у большинства. Одушевленіе и вѣра въ побѣду проникаетъ все это довольно длинное стихотвореніе, которое и появилось въ печати въ концѣ 12-го года; встрѣченное общимъ восторгомъ, оно было выучено наизусть тогдашнимъ поколѣніемъ.

„Сокровищъ нѣтъ у насъ въ домахъ;
Тамъ стрѣлы и кольчуги;
Мы села въ пепель; грады въ прахъ;
Въ мечи—серпы и плуги“.

Это были чувства всѣхъ въ то время. Впереди уже видѣлись избавленіе и побѣда:

Веди-жь своихъ царей-рабовъ,

обращается поэтъ къ Наполеону,

Съ ихъ стаей въ область хлада;
Пробей трону среди снѣговъ
Во срѣтеніе глада....

¹⁾ Русск. Арх. 1863 г., стр. 857; 1866 г., стр. 1348.

Зима, союзникъ нашъ, гряди!
 Имъ запертъ путь возвратный;
 Пустыни въ пещлѣ позади;
 Предъ ними сонмы ратны.
 Отвѣдай, хищникъ, что сильнѣй:
 Духъ агчности, иль мщенье?
 Пришлецъ, мы въ родинѣ своей;
 За правыхъ Провидѣнье“.

Пѣвецъ въ станѣ, окруженный товарищами, подымая кубокъ, возглашаетъ одинъ за другимъ разные тосты: въ честь историческихъ воспоминаній, за родину, за царя, за побѣдителей-героевъ, за падшихъ въ сраженіи, перечисляя ихъ по именамъ и указывая на главные ихъ подвиги; затѣмъ слѣдуютъ тосты: мщенью, братству, любви, музамъ, пѣвцамъ и, наконецъ—прощанью передъ сраженіемъ. Современники были не строги въ своихъ требованіяхъ и въ общемъ восторгѣ отъ событій, къ которымъ относились звучные стихи, не замѣтили разныхъ недостатковъ ихъ. Какъ въ прежней патріотической пьесѣ своей, такъ и здѣсь, Жуковскій вставилъ дѣйствительность въ чуждыя рамки, которыя требовались поэтической теоріей времени. Снова передъ нами щиты, копья, кольчуги, стрѣлы и т. п. вмѣсто современной военной обстановки. Воспоминанія Оссіана попрежнему не покидаютъ поэта: „по міеологій сѣверныхъ народовъ, говоритъ онъ въ примѣчаніи, витязи, сраженные во браняхъ, переселялись въ Валгаллу, къ отцу своему Одену. Стихотворецъ замѣнилъ здѣсь баснословнаго Одена безсмертнымъ Суворовымъ..... Герой Италійскій съ отеческою нѣжностію приѣмлетъ въ жилища небесныя вождей, запечатлѣвшихъ кровію своею одержанныя побѣды“... Говоритъ ли о томъ, что Жуковскій ни разу не вспомнилъ о русскомъ народѣ, какъ будто война эта была не народная, какъ будто не народъ этотъ вынесъ на плечахъ своихъ всѣ ея бѣдствія? Но вспоминалъ ли тогда кто-нибудь о народѣ? Самое понятіе объ отечествѣ, родинѣ не отличается широкихъ чувствомъ, а сдѣлано до личныхъ воспоминаній:

„Отчизнѣ кубокъ сей, друзья!
 Страна, гдѣ мы впервые
 Вкусили сладость бытія,
 Поля, холмы родные,
 Родного неба милнй свѣтъ,
 Знакомые потоки,
 Златыя игры первыхъ лѣтъ
 И первыхъ лѣтъ уроки,
 Чтѣ вашу прелесть замѣнить?
 О, родина святая,
 Какое сердце не дрожитъ,
 Тебя благословляя?“

Это была дань сентиментальному направленію. Какъ-то плохо вьжуются съ торжественнымъ тономъ „Пѣвца“ и представленія романтической любви, любопытныя для біографіи Жуковскаго:

„Кому здѣсь жребій удѣлень
Знать тайну страсти милой,
Кто сердцемъ сердцу обручень:
Тотъ смѣло, съ бодрой силой
На все великое летить;
Нѣтъ страха, нѣтъ преграды;
Чего, чего ни совершить
Для сладостной награды....
Ахъ! мысль о той, кто все для насъ,
Намъ спутникъ неизмѣнный,
Вездѣ знакомый слышимъ гласъ,
Зримъ образъ незабвенный;
Она на бранныхъ знаменахъ;
Она въ пылу сраженья;
И въ шумѣ стана, и въ мечтахъ
Веселыхъ сновидѣнья.
Отвѣдай, врагъ, исторгнуть щить,
Рукою данный милой;
Святой обѣтъ на немъ горить:
Твоя и за могилой!....
О, сладость тайныя мечты!
Тамъ, тамъ за синей далью
Твой ангель, дѣва красоты,
Одна съ своей печалью,
Груститъ; о другъ слезы льетъ;
Душа ея въ молитвѣ,
Бонся вѣсти, вѣсти ждетъ;
„Увы! не палъ ли въ битвѣ?“
И мыслить: „Скоро ль дружныя гласъ,
Твой мнѣ слышать звуки?
Леги, лети, свиданья часъ,
Смѣнить тоску разлука“.

Это было рыцарское чувство, возрожденное тогдашнимъ романтическимъ направленіемъ, но въ немъ заключалось и личное настроеніе Жуковскаго. „Пѣвецъ въ станѣ“, появившійся въ печати въ концѣ 1812 или январѣ 1813 года, былъ причиною и первой извѣстности Жуковскаго при дворѣ, что въ ту пору имѣло большое значеніе. Императрица Марія Ѳеодоровна расхвалила Дмитріеву эту пьесу и поручила ему достать отъ Жуковскаго экземпляръ его рукописи, съ тѣмъ чтобъ сдѣлать на свой счетъ великолѣпное изданіе; кромѣ того ова подарила ему драгоценный перстень, но отказала въ позволеніи напечатать при второмъ изданіи особое ей посвященіе Жуковскаго. Поэтъ, какъ мы увидимъ, любилъ покровительство.

Между тѣмъ, по возвращеніи на родину изъ похода, Жуковскій исключительно и тревожно былъ занятъ своими сердечными дѣлами, которыя не подвигались впередъ, хотя предметъ его страсти Марья Андреевна и узнала о чувствахъ его. Она подчинялась совершенно волѣ матери, но это еще болѣе затруднительными сдѣлало взаимныя отношенія. Чтобы подѣйствовать на мать, Жуковскій прибѣгалъ къ такимъ авторитетамъ, какъ И. В. Лопухинъ и Филаретъ, впоследствии митрополитъ московскій; но все было напрасно. Жизнь Жуковского въ этомъ семействѣ сдѣлалась чрезвычайно затруднительною, особенно когда въ немъ появилось новое лицо въ качествѣ жениха младшей Протасовой — Александры. Это былъ товарищъ Жуковского по пансіону Алекс. Фед. Воейковъ, впоследствии профессоръ русской словесности въ Дерптскомъ университетѣ, переводчикъ Делиля и Виргилія, издатель разныхъ журналовъ и остроумный сатирикъ. Тогда онъ ничѣмъ еще не былъ извѣстенъ въ литературѣ, кромѣ изданія хрестоматіи прозаической изъ русскихъ писателей,¹⁾ которая появилась около того же времени, когда Жуковскій, въ тѣхъ же разѣбрахъ, издалъ хрестоматію поэтическую²⁾. Воейковъ случайно заѣхалъ къ Жуковскому на пути съ Кавказа; тотъ познакомилъ его съ родными и сосѣдами, открылъ ему свою сердечную печаль, но Воейковъ, сдѣлавшись вскорѣ женихомъ меньшей Протасовой, сталъ на сторону матери и измѣнилъ дружбѣ. По собственнымъ признаніямъ Жуковского, то было для него самое тяжелое время, полное даже оскорбленій со стороны близвизъ родныхъ. „Одно холодное *жестокосердіе* въ монашеской рясѣ, говоритъ онъ, съ кровавою надписью на лбу: *должность* (выправленною весьма неискусно изъ словъ *суетніе*), сидѣло противъ меня и страшно сверкало на меня глазами“...³⁾ Оскорбленія дошли до того, что Жуковскій долженъ былъ уѣхать изъ сосѣдства Протасовыхъ въ Калужскую губернію, но его привязанность къ роднымъ была такъ сильна, что когда свадьба Воейкова замедлилась по недостатку приданого у невесты, онъ продалъ свою деревню въ сосѣдствѣ Протасовыхъ и всѣ полученныя деньги 11 т. отдалъ на приданое. Теперь у него не было ничего и нужно было работать и писать.

Жуковскій уѣхалъ въ концѣ 1814 года къ родственницамъ своимъ Юшковымъ, которыя покровительствовали его сердечной привязанности. Одна изъ нихъ Авдотья Петровна, тогда уже овдовѣвшая,

¹⁾ Собраніе образцовыхъ сочиненій въ прозѣ 5 ч. М. 1811.

²⁾ Собраніе русск. стихотвореній, изд. В. Жуковскимъ въ 5 част. М. 1810—1811. Дополненіе къ собр. (6-ой томъ) вышло въ Москвѣ въ 1815 г.

³⁾ Зейдлицъ, стр. 61—62.

была замужем за Кирѣевскимъ, отцемъ писателя, и въ имѣніи ея Долбинѣ, Калужской губерніи, Лихвинскаго уѣзда, Жуковский прожилъ два года.

Долбино было недалеко однакожь отъ Бѣлева и Муратова, имѣнія Протасовыхъ, и Жуковский ѣздилъ туда. Существуетъ цѣлый рядъ такъ называемыхъ *Долбинскихъ* стихотвореній его, въ которыхъ вполне раскрывается веселая сторона характера поэта, его радостное отношеніе къ жизни. Здѣсь онъ какъ будто совсѣмъ забылъ свою тоску и страданія; жизнь улыбается ему; онъ доволенъ собою и всѣмъ окружающимъ и такъ добродушно смотритъ на всѣхъ.

Долбинскія стихотворенія носятъ интимный характеръ; поэтъ не печаталъ ихъ при жизни и они дороги были преимущественно по воспоминаніямъ его роднымъ и друзьямъ. Даже къ Воейкову, который, по разсказу Зейдлица ¹⁾, надѣлалъ ему незадолго до того столько неприятностей, Жуковский пишетъ самыя веселыя и добродушныя посланія, наполняя ихъ насмѣшками надъ литературными друзьями Шишкова—членами „Бесѣды“. Уединеніе и дружба какъ-будто возстановили упавшія нравственныя силы Жуковскаго и онъ благословлялъ „Долбинскій уголокъ“ за то спокойное вдохновеніе, которое онъ испыталъ въ немъ.

„Мои уединенны дни—

пишетъ онъ въ стихахъ къ Плещееву,

Довольно сладко протекаютъ!
Меня и музы посѣщаютъ
И Аполлонъ доволенъ мной!
И подъ перстомъ моимъ напой
Трещить,—и планъ и мысли есть,
И мнѣ осталось лишь присѣсть,
Да и писать къ царю посланье!
Жди славнаго, мой милый другъ,
И не обманетъ ожиданье!
Присыпало все къ сердцу вдругъ!
И напередъ я, въ восхищеньи,
Предчувствую то наслажденье,
Съ какимъ безъ лести, въ простотѣ,
Я буду говорить стихами
О той небесной красотѣ,
Которая въ вѣнцѣхъ предъ нами“...

Эти послѣднія строки въ дружеской перепискѣ, никогда не предназначавшейся въ печать, доказываютъ, съ какимъ искреннимъ чув-

¹⁾ Півет., стр. 62.

ствомъ Жуковскій писалъ свое знаменитое „Посланіе къ императору Александру“. Мы уже говорили, почему современники были полны восторга и почему имя царя произносилось тогда всѣми съ энтузіазмомъ.

Посланіе это, которое онъ писалъ довольно долго, Жуковскій послалъ въ рукописи на просмотръ къ своимъ друзьямъ въ Петербургъ. Батюшковъ и кн. Вяземскій сдѣлали нѣсколько критическихъ замѣчаній; Жуковскій написалъ по этому поводу большую стихотворную пьесу „Ареопагу“, въ которой одни изъ замѣчаній опровергалъ шуточно, другія же принималъ. Въ письмѣ къ Тургеневу Жуковскій говорить, что это „Посланіе“ было „написано съ искреннимъ, безкорыстнымъ чувствомъ, безъ всякой другой побудительной причины, кромѣ удовольствія писать“¹⁾.

„Сохрани Богъ, продолжаетъ онъ, мою чистую, посвященную благороднымъ друзьямъ моимъ лиру отъ всякой заразы корысти!“ Намъ надобно вѣрить этимъ словамъ Жуковского, тѣмъ болѣе, что „Посланіе“ выражало собою общія тогдашнія чувства Европы и Россіи, восторгъ при имени Александра, о которомъ мы уже говорили. Поэтъ соединилъ свой голосъ съ общимъ голосомъ и въ первый и въ послѣдній разъ выражалъ дѣйствительность:

Когда леташіе отвсюду шумны влики,
Въ одинъ сливаясь гласъ, Тебя зовутъ: Великій!
Что скажетъ лирою незнаемый цѣвецъ?
Дерзнетъ ли свой листокъ онъ въ тотъ влести вѣнецъ,
Который для тебя вселенная сплетаетъ?..

Все „Посланіе“ старается выразить величіе исторической роли, которая выпала на долю Александра, смотреть на него, какъ на орудіе Промысла:

„Съ благоговѣніемъ смотрю на высоту,
Которой ты достигъ по тернамъ испытанья...
Намъ обреченный вождь ко счастью и славѣ“...

Когда въ страшный годъ погибъ на поляхъ Россіи Наполеонъ, и Александръ впереди своего войска двинулся на освобожденіе Европы,—тогда

„Какъ къ возвѣстителю небесной благодати
Во срѣтеніе тебѣ народы потекли,
И вайями твой путь смиренный облекли“...

Среди рукоплесканій народныхъ онъ былъ

„... не гордый побѣдитель,
Но воли Промысла смиренный совершитель“...

¹⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 802.

Жуковский представляет его молящимся Богу такою молитвою,—
за Россію и свой народъ:

„Творецъ, всѣ блага имъ!
Не за величіе, не за вѣнецъ ужасный—
За власть благотворить, удѣлъ царей прекрасный,
Склоняю, царь земли, колѣна предъ тобою,
Безстрашный подъ твоей невидимою рукою,
Твоихъ намѣреній надъ ними совершитель!..“

„Послание“ Жуковского есть торжественный гимнъ самодержавію;
никогда потомъ въ русской поэзіи не говорилось о царѣ съ такимъ
неподдѣльнымъ увлеченіемъ и съ такою красотою выраженія. Самое
время удивительно способствовало этому увлеченію, никогда Россія
не стояла на такой высотѣ, какъ въ ту пору, и никогда любимый ею
царь не могъ такъ много сдѣлать для ея счастья, какъ въ то время.
Жуковский былъ вполне увѣренъ, что онъ говоритъ правду, а не
обычную лесть царю:

„О, дивный вѣкъ, когда пѣвецъ царя—не льстецъ,
Когда хвала—восторгъ, гласъ лиры—гласъ народа,
Когда все сладкое для сердца: честь, свобода,
Великость, слава, миръ, отечество, алтарь,
Все, все слилось въ одно святое слово: царь!..“

Но это поклоненіе царю есть уваженіе, свободная дань сердца:

„Не власти, не вѣнцу, но человѣку дань“.

Это было общее чувство минуты, общій голосъ:

„Въ чертогѣ, въ хижинѣ, вездѣ одинъ языкъ:
На праздникахъ семей, украшенный твой ликъ,—
Лиеющихъ родныхъ родной благотворитель—
Стоитъ на пиршескомъ столѣ веселья зритель,
И чаша первая, и первый гимнъ тебѣ“..

Разказавъ въ очень звучныхъ стихахъ и въ образахъ, которые
были почти повторены многозначительнымъ манифестомъ 1816 года,
нами упомянутымъ—новое доказательство, что „Послание“ нашло от-
голосокъ въ современныхъ умахъ—начало революціи, возвышеніе На-
полеона, его завоеванія и самовластительство, исполненное глубокаго
презрѣнія къ народамъ,—Жуковский изображаетъ общее состояніе
Европы въ лучшую пору владычества Наполеона:

„Погибло все,—окрестъ одинъ лишь стукъ оковъ
Смуцалъ угрюмое молчаніе гробовъ
Да ратей изрѣдка шумѣли переходы
Спѣшавшихъ истребить еще пріютъ свободы;
Унылость на сердца народовъ налегла“..

Но вотъ насталь 12-й годъ и съ нимъ всемірное владычество Наполеона пало.

Орудіемъ Промысла явился русскій народъ и Жуковскій впервые заговорилъ о немъ, хотя и съ своей точки зрѣнія:

„За сей могилою народовъ двѣлъ народъ—
О царь нашъ, твой народъ—могущій и смиренный,
Не крѣпостью твердынь громовыхъ огражденный,
Но вѣрностью къ царю и въ славѣ тишиной“...
„Тогда явилось все величіе народа,
Спасающаго тронъ и святость алтарей
И тихій гробъ отцевъ и колыбель дѣтей“...

Александръ въ этомъ „Посланіи“ является благовѣстникомъ свободы міра.

Понятно, что „Посланіе“, въ которомъ такими прекрасными стихами былъ возвеличенъ Александръ и его историческое призваніе въ то время, должно было имѣть чрезвычайный успѣхъ при дворѣ въ ту пору общихъ восторговъ.

Самъ императоръ былъ на Вѣнскомъ конгрессѣ, но друзья Жуковского поднесли экземпляръ этого стихотворенія императрицѣ Маріи Феодоровнѣ. А Тургеневъ, въ письмѣ своемъ къ поэту, передаетъ подробно о томъ, какъ происходило чтеніе „Посланія“ при дворѣ ¹⁾. Восторгъ царской семьи былъ полный. Императрица пожаловала Жуковскому перстень, сама вызвалась послать къ сыну это стихотвореніе, приказала сдѣлать великолѣпное изданіе „Посланія“ все въ пользу Жуковского и назначила его своимъ лекторомъ, требуя непременно пріѣзда его въ Петербургъ.

Этимъ собственно началась придворная служба Жуковского. Самъ онъ конечно былъ чрезвычайно доволенъ своимъ успѣхомъ и сообщая о немъ своимъ роднымъ, переписалъ все письмо Тургенева.

Въ томъ же настроеніи духа онъ написалъ тогда же столь извѣстное „Боже Царя храни!“ и началъ большую лирическую пьесу „Пѣвецъ въ Кремлѣ“, которую впрочемъ онъ кончилъ нескоро. Въ ней онъ хотѣлъ представить пѣвца, поющаго славу и торжество Россіи послѣ минувшихъ испытаній, но у него не достало вдохновенія и пьеса, по его собственному сознанію, вышла слабою ²⁾. Это было вялое повтореніе прежняго. Воспѣвая славу Россіи, онъ говоритъ и о ея будущемъ, но чрезвычайно сентиментально:

„Да на святыхъ ея поляхъ
Сіяеть миръ веселый;

¹⁾ Русск. Арх. 1864 г., стр. 884—888.

²⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 801.

Да правовъ *древнихъ* чистотой
Союзъ семей хранится;
Да въ нихъ съ *невинной простотой*
Свѣтъ знаній водворится“

Русскому народу онъ рекомендуетъ „уѣренность, покорность“...

„Ты, мудрость смертныхъ, усмирись
Предъ мудростію Бога“...

Это собственно значило соединеніе знаній съ невинною простотою. Съ этихъ поръ Жуковскій чаще и чаще развиваетъ въ стихахъ программу и желанія „Записки“ Карамзина.

Императрица и друзья требовали непремѣнно, чтобъ Жуковскій ѣхалъ въ Петербургъ. Основываясь на своихъ успѣхахъ, онъ еще разъ попытался уговорить Протасову-мать дать согласіе и опять не имѣлъ успѣха. Воейковы, а съ ними и Протасова съ дочерью поѣхали въ Дерптъ и Жуковскій насилу выпросилъ у нея позволеніе проводить ихъ, но Протасова успѣшила выпроводить его изъ Дерпта въ Петербургъ и съ этихъ поръ прежняя, спокойная и свободная жизнь Жуковского кончилась. О деревнѣ не было уже и рѣчи. Въ маѣ 1815 года онъ пріѣхалъ въ Петербургъ и Уваровъ тотчасъ же представилъ его Маріи Θεодоровнѣ, нетерпѣливо желавшей его видѣть. Это представленіе въ первый разъ ко двору Жуковскій описалъ въ письмѣ къ роднымъ ¹⁾.

ЛЕКЦІЯ VIII.

Жуковскій въ Петербургъ и Дерптѣ.—Придворная жизнь.

Представившись ко двору въ маѣ 1815 года, Жуковскій тотчасъ же воротился въ Дерптъ, гдѣ жили Протасовы въ домѣ Воейкова, уже профессора. Петербургскіе друзья его, особенно Уваровъ и Тургеневъ, привыкшіе къ придворной жизни и искавшіе всего въ ней, были недовольны Жуковскимъ за его пренебреженіе къ земнымъ благамъ, звали его воротиться въ Петербургъ и хлопотали очень усердно, чтобы пристроить его при дворѣ.

„Лови день“—пишетъ ему тогда очень ловкій придворный Уваровъ, переводя Гораціево правило, а Тургеневъ прибавляетъ: „лови день тамъ, гдѣ твое солнце. Здѣсь, въ потемкахъ мы за тебя ловить будемъ. Мы привыкли играть въ жмурки. Будь увѣренъ, что я и за

¹⁾ Русск. Арх. 1865 г., стр. 1297 сл. Письмо отъ 11 іюня 1815 г.

тебя и для тебя ловить буду; этотъ разъ постараюсь быть проворнѣе ¹⁾“. Но Жуковскій въ то время, сдаваясь на милостивое предложеніе императрицы Маріи Ѳеодоровны, которая велѣла ему сообщить, что у нея въ головѣ *des grands projets* на счетъ Жуковского, колебался, опасаясь придворной жизни и боялся за свою независимость. „Боюсь я этихъ *grands projets*,—пишетъ онъ къ А. Тургеневу. Могутъ составить себѣ за меня какой-нибудь планъ моей жизни, да и убьютъ все“... ²⁾ Свои тогдашнія желанія, онъ формулируетъ опредѣленно, разумѣется, не отказываясь отъ помощи двора, но даже разсчитывая на нее:

„Тебѣ кажется не нужно имѣть отъ меня комментарія на то, что мнѣ надобно. Независимость да и только. Способъ писать, не заботясь о завтрашнемъ днѣ. Что и гдѣ и когда писать—мнѣ на волю. Я не буду жильцемъ петербургскимъ; но каждый годъ буду въ Петербургѣ непремѣнно... Если писать сдѣлается для меня обязанностью непремѣнно, то сказываю напередъ, что написано ничего не будетъ“... ³⁾ Мысли его по прежнему заняты будущаею поэмою—„Владимиръ“; онъ думаетъ о ней много.

„Мнѣ бы хотѣлось въ половинѣ будущаго года сдѣлать путешествіе въ Кіевъ и Крымъ. Это нужно для Владимира. Первые полгода я употребилъ бы на приготовленіе, а послѣдніе на путешествіе; но еще уговоръ, чтобы не давать чувствовать, что я пишу Владимира, ищу покровительства для Владимира“ ⁴⁾.

Тѣмъ не менѣе осенью того же 1815 года Жуковскій сдался на убѣжденія друзей своихъ, снова пріѣхалъ въ Петербургъ и явился при дворѣ, но столица и жизнь въ ней сильно были не по сердцу ему, сколько можно судить по интимному письму его къ роднымъ (Юшковымъ) въ Бѣлевѣ. „Неужели намъ никогда на томъ мѣстѣ не будетъ хорошо, на которомъ мы находимся! Неужели вѣчно намъ бѣжать за этимъ недостижимымъ *тамъ*, которое никогда „здесь не будетъ!..“ „Мое *теперь* хуже прежняго. Здѣшняя жизнь мнѣ тяжела и я не знаю, когда отсюда вырвусь... Работать безъ всякаго разсѣянія въ кругу *своихъ*, отдѣляясь отъ прошедшаго и будущаго (слѣдовательно и отъ жизни и дѣйствительности)—вотъ чего мнѣ хочется“... Родные просили Жуковского писать къ нимъ о его петербургскихъ впечатлѣніяхъ, увѣряя, что все его окружающее интересно...

Жуковскій опровергаетъ эти взгляды на прелести и интересы

¹⁾ Русск. Арх. 1871 г., стр. 165—166.

²⁾ Русск. Арх. 1864 г., стр. 891.

³⁾ Ibidem.

⁴⁾ Ibidem, стр. 891—892.

Петербурга: „Или *все*, меня окружающее ничтожно; или я самъ ничто, потому что у меня ни къ чему не лежитъ сердце, и рука не подымается взяться за перо, чтобы описывать то, что мнѣ какъ чужое. И воображеніе поблѣднѣло—такъ пишеть ко мнѣ и Батюшковъ. Поэзія отворотилась. Не знаю, когда она опять на меня взглянетъ. Думаю, что она бродить теперь или около Васьковой горы, или у Гремячаго, или въ какой нибудь Долбинской рошѣ, несмотря на снѣгъ и холодъ! Когда-то я начну ее тамъ отыскивать! А здѣсь она отеликается рѣдко, да и то осиплымъ голосомъ“ ¹⁾...

Онъ жалуется на расцѣянность, которой у него много, несмотря на уединенную жизнь, на неспособность заниматься, которая его „давить“ и отъ которой онъ не можетъ отдѣлаться. „О рощи, о друзья, когда увижу васъ!“ Всѣ желанія и всѣ исканія Жуковского заключались въ томъ, чтобы добиться независимаго положенія въ жизни, для того, чтобы имѣть средства писать. Положеніе писателя въ обществѣ было въ ту пору незавидно, хотя оно немногимъ возвысилось и въ наше время; жить доходами съ стихотвореній нельзя было и думать (тогда писали больше для славы и для высочайшихъ подарковъ; служить—службою, чуждою убѣжденіямъ ума и сердца развитому человѣку не слишкомъ хотѣлось: вотъ источникъ заботъ и огорченій Жуковского въ то время: „Что же, если не удастся сгородить себѣ какого нибудь состоянія? Если надобно будетъ рѣшиться здѣсь оставаться и служить для того, чтобы чѣмъ нибудь жить, тогда прощай поэзія и все! Авось!“ ²⁾). Такая жизнь въ высшей степени тяжела для Жуковского: „О, Петербургъ, проклятый Петербургъ съ своими мелкими, убійственными расцѣянностями! Здѣсь право нельзя имѣть души! Здѣшняя жизнь давить меня и душить! Радъ бы все бросить и убѣжать къ вамъ, чтобы приняться за *доброе будущее*, котораго у меня здѣсь нѣтъ и быть не можетъ... Здѣсь у меня нѣтъ настоящаго, но возвратясь къ вамъ, я буду имѣть его“ ³⁾... Только очень рѣдко слетаетъ на него вдохновеніе.

Противодѣйствіемъ пустой и расцѣянной петербургской жизни, на которую такъ жаловался Жуковскій, была для него жизнь въ Дерптѣ, гдѣ онъ находился вблизи къ предмету любви своей и въ хорошей умственной атмосферѣ небольшого, чисто нѣмецкаго университетскаго города. Этотъ уголокъ въ то время характеромъ жизни, нравами лицъ, принадлежавшихъ къ университету, умственными, литературными и художественными интересами, совершенно напоминалъ собою Гер-

¹⁾ Ibid., стр. 893—894.

²⁾ Ibid., стр. 896.

³⁾ Ibid., стр. 899—900.

манію, и Жуковскій, хорошо знакомый съ нѣмецкимъ языкомъ и литературою, какъ человѣкъ образованный и умный, совершенно освоился съ этими интересами и всею душою вошелъ въ новый, вполне удовлетворявшій его кругъ общества. Скоро стало у него много знакомыхъ между нѣмецкими дворянами, профессорами, студентами. Вліяніе нѣмецкой науки и поэзіи стало сказываться на него еще сильнѣе; знакомство съ ними сдѣлалось еще глубже. Это общество и эти духовные интересы тѣмъ болѣе удовлетворяли Жуковского, что въ нихъ въ ту пору не было ничего политическаго; всѣ стремленія носили вполне идеальный характеръ. Жуковскій поэтому искренно радовался, „вступая въ кругъ счастливецъ молодыхъ“, т.-е. студентовъ и смотрѣлъ съ глубокимъ уваженіемъ на 80-лѣтняго профессора богословія Эверса, который на студенческомъ праздникѣ, пилъ съ нимъ на *ты*. Жуковскій написалъ ему поэтическое привѣтствіе ¹⁾. Онъ явился даже защитникомъ университета, когда въ Петербургѣ, въ министерствѣ народнаго просвѣщенія разсердились на весь университетъ за неправильности, допущенныя при выдачѣ дипломовъ въ юридическомъ факультетѣ: „Если можно спасти честныхъ людей отъ тяжкаго незаслуженнаго поношенія, не нарушая справедливости, то ты это сдѣлать долженъ—пишетъ онъ къ А. Тургеневу. Обвиняй профессоровъ (виноватыхъ), называй ихъ какъ хочешь, но чтобы эта анаѣма не падала на всѣхъ безъ изытія и на весь университетъ. Здѣсь есть прекрасные люди (онъ называетъ Шаррота, Эверса историка, Мойера и др.)... Самъ университетъ долженъ быть для васъ святынь: за что разрушать его?“ ²⁾.

Подъ вліяніемъ нѣмецкой науки и зародившагося тогда въ ней стремленія къ старинѣ и народности, Жуковскій въ Дерптѣ узналъ, что такое народная поэзія и ея значеніе. Съ этою цѣлью онъ предлагалъ Долбинскимъ роднымъ своимъ собирать народныя русскія сказки и русскія преданія. Дѣло это и самому ему казалось слишкомъ новымъ. „Не смѣйтесь—пишетъ онъ. Это—національная поэзія, которая у насъ пропадаетъ, потому что никто не обращаетъ на нее вниманія: въ сказкахъ заключаются народныя мнѣнія; суевѣрныя преданія даютъ понятіе о нравахъ ихъ и степени просвѣщенія и о старинѣ“ ³⁾. Можно полагать, что это предложеніе Жуковского дало первый толчокъ Кирѣевскому.

Два года прожилъ Жуковскій въ Дерптѣ, уѣзжая на короткое время въ Петербургъ. Конечно не одни только занятія нѣмецкой

¹⁾ „Старцу Эверсу“.

²⁾ Русск. Арх., 1867 г., стр. 809—810.

³⁾ Русск. Арх., 1864 г., стр. 902.

наукой и литературой и не одно общество профессоровъ были причиною жизни Жуковскаго въ Дерптѣ. Его влекла сюда и привязанность, попрежнему безнадежная. Протасова мать не была однако довольна близостью Жуковскаго къ дочери, она не довѣряла обоимъ; Восойковъ, за котораго Жуковскій всегда являлся ходатаемъ и прежде и послѣ, поддерживалъ подозрѣнія Протасовой. Напрасно увѣрялъ Жуковскій въ своихъ братскихъ чувствахъ; ему не вѣрили; отношенія были натянуты; жизнь казалась въ высшей степени невыносимой. Жуковскій приходилъ въ полное отчаянiе.

„О себѣ ничего не пишу, сообщаетъ онъ изъ этого времени. Старое все миновалось, а новое никуда не годится. Съ тѣхъ поръ какъ мы расстались (съ Тургеневымъ), я не оживалъ. Душа какъ будто деревянная! Что изъ меня будетъ, не знаю! А часто, часто хотѣлось бы и совсѣмъ не быть. Поэзія молчитъ! Для нея еще нѣтъ у меня души. Прежняя вся истрепалась, а новой я еще не нажилъ. Мыкаюсь, какъ когтя“¹⁾).

Это душевное состоянiе Жуковскаго отразилось и на его произведенiяхъ изъ этого времени. „Пѣвецъ въ Кремлѣ“ вышелъ очень слабъ. Другія поэтическія произведенiя его, переводы, сдѣланные большею частью въ эти три года, не велики числомъ и объемомъ и незначительны по содержанію. Жуковскій, уѣзжая изъ Дерпта въ Петербургъ, твердо рѣшился не возвращаться туда болѣе, но это было выше нравственныхъ его силъ. „Тамъ быть невозможно“. Но судьба его, послѣ непрерывно возрождающейся надежды и отчаянiя, слѣдующаго за нею, рѣшилась наконецъ. Съ Протасовыми сблизился недавній дерптскій знакомецъ Жуковскаго—профессоръ Мойеръ, ихъ домашній врачъ, которому Жуковскій поручилъ это семейство и откровенно разсказалъ всѣ свои отношенія. Этотъ Мойеръ, человекъ съ рѣшительнымъ характеромъ и большими научными свѣдѣнiями въ своей спеціальности—хирургіи, очень скоро посватался за Протасову; мать дала полное согласіе, но молодая невѣста рѣшила еще посоветоваться съ Жуковскимъ и написала ему письмо въ Петербургъ о сватовствѣ Мойера и о своемъ намѣренiи выйти за него замужъ, находя въ этомъ замужествѣ единственный и спокойный исходъ изъ того неопредѣленнаго и тяжелаго положенiя, въ которомъ оба они находились. Она рассчитывала теперь только на одно спокойствіе и тихую дружбу съ Жуковскимъ. Получивъ письмо, Жуковскій не вѣрилъ искренности словъ молодой Протасовой, думалъ, что на нее дѣйствовали принудительно, старался разувѣрить ее, молилъ объ

¹⁾ Русск. Арх., 1867 г., стр. 813.

отсрочкѣ на годъ и пр. Между ними по этому поводу завязалась дѣятельная переписка, которой біографъ ¹⁾ приписываетъ высокое художественное значеніе. Только воротившись въ Дерптъ, Жуковскій убѣдился, что намѣреніе невѣсты вполне обдуманно и неизмѣнно, что свадьба необходима для счастья ихъ обоихъ. Онъ вполне и даже радостно примирился съ этою необходимостью. „У меня теперь прекрасная цѣль въ жизни, пишетъ онъ къ невѣстѣ. У меня руки связаны дѣлать все, что отъ меня зависитъ, для Машина счастья. Маша, смотри же, не обмани меня! Чтобы намъ непременно вѣстѣ сострять твое счастье, тогда и все прекрасно“ ²⁾. Съ матерью Протасовой Жуковскій совершенно и искренно помирился; на Мойера смотрѣлъ, какъ на друга и товарища. Всякое личное желаніе онъ, казалось, побѣдилъ въ себѣ, хотя конечно не безъ горечи. „Тяжелыя минуты были и будутъ, говорить онъ, но славное чувство пропасть не можетъ“ ³⁾. Глубокое примиреніе онъ находилъ въ просвѣтленномъ, спокойномъ взглядѣ на жизнь, въ томъ греческомъ міросозерцаніи, которое онъ выразилъ въ слѣдующихъ стихахъ изъ баллады Шиллера:

Все въ жизни къ великому средство!
И горестъ, и радость—все къ цѣли одной!
Хвала живодавцу Зевесу!⁴⁾

а также и въ поэзіи. „Поэзія—славный громовой отводъ, говорить онъ. Теперь мнѣ будетъ легче бесѣдовать съ моею музою. Даже и все, что есть печальнаго въ моей судьбѣ, теперь не убійственно и близко своею порою къ безсмертной музѣ. Поэзія, идущая рядомъ съ жизнью, — товарищъ несравненный! Вотъ мое расположеніе!“ ⁵⁾... Когда наконецъ прошелъ и срокъ свадьбы, Жуковскій долженъ былъ успокоиться: „Вокругъ меня все устроено,—пишетъ онъ къ А. Тургеневу.—Свадьба кончена (14 января 1817 г.) и душа совсѣмъ утихла. Думаю только объ одной работѣ. Благослови Господи!“ ⁶⁾.

Такъ кончилась эта долголѣтняя романтическая привязанность, которой самъ Жуковскій приписывалъ большое влияніе на свою жизнь и которая находится въ непосредственной связи, какъ съ направлениемъ его поэзіи, такъ и съ ея содержаніемъ. Она, по своей неудовлетворенности, еще болѣе способствовала развитію въ немъ сентиментальнаго чувства, еще больше удаляла его отъ дѣйствительности.

¹⁾ Зейдлицъ, стр. 98.

²⁾ Ibidem, стр. 99.

³⁾ Ibidem, стр. 102.

⁴⁾ „Теонъ и Эсхинъ“.

⁵⁾ Зейдлицъ, стр. 103.

⁶⁾ Русск. Арх., 1867 г., стр. 816.

Между тѣмъ его матеріальное положеніе значительно улучшилось: съ помощію своихъ дѣятельныхъ и преданныхъ друзей, Жуковский, пристроившись къ двору, добился того, чего желалъ — и средствъ, и независимости. Въ 1815 г. онъ сблизился съ царскимъ семействомъ. Пробывъ три дня въ Павловскѣ, у императрицы Маріи Ѳеодоровны, Жуковский вернулся оттуда „съ сердечною къ ней привязанностію“. Онъ повѣрилъ на слово придворной любезности и былъ въ восторгѣ отъ вниманія и высочайшихъ ласкъ. Надобно замѣтить, что Марія Ѳеодоровна любила русскую литературу или, по крайней мѣрѣ, покровительствовала писателямъ и собирала вокругъ себя въ Павловскѣ тѣхъ изъ нихъ, конечно, которые, сверхъ литературнаго имени, имѣли положеніе въ свѣтѣ и отличались благонамѣренностію.

Ея главнымъ приближеннымъ лицомъ и чтецомъ былъ Нелединскій-Мелецкій, извѣстный своими пѣснями и чувствительными романсами въ концѣ прошлаго вѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ и статсъ-секретарь. Она приглашала къ себѣ Дмитріева—министра, Карамзина—официальнаго историографа, Крылова, Гнѣдича. Разумѣется, въ этотъ кругъ не допускались люди, жившіе журнальною критикою, на которую въ аристократическомъ кругу смотрѣли съ презрѣніемъ и разные нечесанные поэты, какихъ тогда было довольно между мелкими чиновниками.

Жуковский, понавѣ въ придворный кругъ, скоро получилъ официальное положеніе: онъ былъ назначенъ чтецомъ при императрицѣ. Мы видѣли однако, что онъ жаловался роднымъ на свою петербургскую жизнь и тосковалъ по деревенскимъ рощамъ: причина этихъ жалобъ вѣроятно заключалась въ послѣдней борьбѣ за независимость поэта и въ томъ, что, несмотря на полученіе званія лектора, положеніе его не было упрочено. Вскорѣ однако и этотъ вопросъ былъ рѣшенъ. По совѣту своихъ вліятельныхъ друзей Жуковский издалъ въ двухъ томахъ (Спб. 1815) лучшія свои произведенія, до того имъ написанныя.

Это изданіе сопровождалось письмомъ Жуковскаго къ императору Александрю, въ которомъ заключался очень тонкій намекъ о необходимости одобренія, означеннаго для писателя высочайшаго покровительства:

„Смѣю думать, всемилостивѣйшій государь, что писатель, уважающій свое званіе, есть такъ же полезный слуга своего отечества, какъ и воинъ, его защищающій, какъ и судья, блюститель закона. Одобреніе государя освящаетъ трудъ его: быть достойнымъ сей награды есть добродѣтель писателя; стремиться къ сей прекрасной цѣли есть обязанность. Въ священномъ одобреніи государя заключено одобреніе отечества: оно даетъ право на уваженіе современниковъ и потомства“ ¹⁾.

¹⁾ Русск. Арх., 1867 г., стр. 801.

Слова любовитныя для насъ и въ высшей степени замѣчательныя. Они даютъ понятіе о положеніи писателя въ тогдашнемъ обществѣ, объ отношеніи его къ правительству и къ обществу и къ народу и вмѣстѣ съ тѣмъ знакомятъ насъ съ тѣмъ взглядомъ, какой имѣлъ самъ Жуковскій на свое поэтическое призваніе.

Это первое собраніе стихотвореній Жуковскаго было поднесено, при настойчивомъ ходатайствѣ друга его А. Тургенева, чрезъ министра народнаго просвѣщенія князя Голицина — императору Александру. Въ концѣ 1816 г. Жуковскому назначена пенсія по смерти въ 4.000 рублей, что давало ему возможность не служить и писать стихи, когда ему вздумается. Еще не задолго до полученія этой милости, онъ жаловался на свое положеніе, на то, что его „странническая жизнь еще не кончилась“; теперь онъ совершенно доволенъ своимъ положеніемъ и сознательно смотритъ на свое призваніе. „Вниманіе государя есть святое дѣло“ — пишетъ онъ въ дружескомъ письмѣ къ Тургеневу. „Имѣть на него право могу и я, если буду русскимъ поэтомъ въ благородномъ смыслѣ сего имени. А я буду! Поэзія часть отъ часу становится для меня чѣмъ-то возвышеннѣе... Не надобно думать, что она только забава воображенія! Этимъ она можегъ быть только для петербургскаго свѣта. Но она должна имѣть вліяніе на душу всего народа, и она будетъ имѣть это благотворное вліяніе, если поэтъ обратитъ свой даръ къ этой цѣли. Поэзія принадлежитъ къ народному воспитанію. И дай Богъ въ теченіе жизни сдѣлать хоть шагъ къ этой прекрасной цѣли. Имѣть ее позволено, а стремиться къ ней, значитъ заслуживать одобреніе государя. Это стремленіе всегда будетъ въ душѣ моей. Работать съ такою цѣлью — есть счастье, а друзья будутъ знать, что я имѣю эту цѣль — вотъ награда!“¹⁾

Таково было понятіе Жуковскаго о своемъ призваніи. Что такое поэзія, какъ народное воспитаніе и къ какой цѣли ведетъ это воспитаніе? Жуковскій высказывается неясно, но для насъ очевидно, что онъ стоитъ на нравственной точкѣ зрѣнія; для него поэзія, по его собственному выраженію, есть добродѣтель. Въ этихъ словахъ высказывается вліяніе сентиментальной, отвлеченной морали Карамзина. Жуковскій никогда не выходилъ изъ круга идей послѣдняго; для него Карамзинъ былъ предметомъ сердечнаго поклоненія. Въ это время, въ 1816 году, историкъ государства російскаго пріѣхалъ въ Петербургъ съ 8-ю томами исторіи — хлопотать о ихъ напечатаніи. Неблагоприятное впечатлѣніе, произведенное на умъ Александра нѣсколько лѣтъ тому назадъ его „Запискою“, теперь изгладилось. Императоръ Александръ

¹⁾ Русск. Арх., 1867 г., стр. 803—804.

смотрѣлъ теперь на русскую жизнь, на свое призваніе и на свой народъ—его глазами.

Карамзинъ былъ обласканъ дворомъ, между нимъ и государемъ начиналась сердечная дружба, основанная на одинаковости убѣжденій. И для Жуковского вліяніе Карамзина какъ будто обновилось; о немъ онъ не можетъ говорить безъ особеннаго чувства любви и pietas.

„Карамзинъ тебя любитъ—мудрено ли?—пишетъ онъ къ Тургеневу. Но любовь его есть счастье. И для меня она также нужна, какъ счастье. Скажи ему при первомъ случаѣ, что я, сколько могъ, сдержалъ свое обѣщаніе, что мнѣ будетъ можно спокойно показаться на его глаза и позать отъ всей души ему руку. Время, которое мы провели розно съ послѣдняго нашего разставанія, не оставило на мнѣ пятна. Я бывалъ недоволенъ собою; но поступки и побудительныя ихъ причины были чисты. Теперь все устроилось. Дай Богъ чисто будущаго! Кажется, что оно теперь для меня вѣрнѣе. Писать какъ можно лучше, съ доброю цѣлью, и жить какъ пишешь—вотъ и все!“¹⁾

„Мнѣ весело необыкновенно объ немъ (Карамзинѣ) говорить и думать—сообщаетъ Жуковский въ то же время И. И. Дмитріеву.—Я благодаренъ ему за счастье особеннаго рода: за счастье знать и (что еще болѣе) чувствовать настоящую ему цѣну. Это болѣе, нежели чтонибудь, дружить меня съ самимъ собою. И можно сказать, что у меня въ душѣ есть особенное хорошее свойство, которое называется *Карамзинимъ*: тутъ соединено все, что есть во мнѣ добраго и лучшаго²⁾. Я желаю быть ему подобнымъ въ стремленіи къ хорошему. Во мнѣ живо желаніе произвести что-нибудь такое, что бы осталось памятникомъ доброй жизни. По сію пору ни дѣятельность, ни обстоятельства не соотвѣтствовали желанію; но оно не умирало, а только иногда засыпало“³⁾.

Къ работѣ, по его словамъ, обязываетъ его и полученный имъ пенсіонъ.

„Я принялся за работу и шутить не хочу... Я чувствую новую необходимость дѣятельности, а это побужденіе святое: благодарность къ государю, который далъ мнѣ лучшее благо — независимость и имѣть на меня надежду! Этой надежды обмануть не надобно! Я теперь въ службѣ и долженъ служить по совѣсти!“⁴⁾

Но поэтическіе планы и намѣренія Жуковского не должны были

¹⁾ Русск. Арх., 1867 г., стр. 806—807.

²⁾ Русск. Арх., 1866 г., стр. 1630.

³⁾ Ibidem, стр. 1631.

⁴⁾ Русск. Арх., 1867 г., стр. 815—816.

осуществиться: онъ не писалъ ничего болѣе самостоятельнаго, ничего имѣвшаго отношеніе къ дѣйствительности, ничего такого, что бы, по его собственнымъ словамъ, имѣло воспитательное вліяніе на народъ. Общество восхищалось его „Вадимомъ“, т. е. второю частью „Двѣнадцати спящихъ дѣвъ“, который написанъ былъ имъ въ 1817 году. Это было высшее выраженіе той туманной романтической поэзіи, которую перенесъ къ намъ Жуковскій, и за которую онъ едва ли заслуживалъ имя воспитателя народа. Съ другой стороны онъ начиналъ въ это время рядъ художественныхъ переводовъ, въ которыхъ для общества тоже ничего, кромѣ художественности, не давалось. Таковъ былъ знаменитый „Овсяный кисель“, которымъ самъ Жуковскій былъ чрезвычайно доволенъ:

„Это переводъ изъ Гебеля, вѣроятно, тебѣ не извѣстнаго поэта,— пишетъ онъ Тургеневу,—ибо онъ писалъ на швабскомъ діалектѣ и для поселянъ. Но я ничего лучше не знаю! Поэзія во всемъ совершенствѣ простоты и непорочности. Переведу еще многое. Совершенно новый и намъ еще неизвѣстный родъ“¹⁾.

Но скоро и эти художественные переводы должны были прекратиться; Жуковскій надолго забылъ поэзію, возвращаясь къ ней только въ дни семейной радости или семейнаго горя двора и до 1840 года, когда онъ освободился отъ своихъ обязанностей, выпуская весьма немногіе и то незначительные стихотворные переводы. Въ концѣ 1817 г. онъ сдѣланъ былъ учителемъ русскаго языка при великой княгинѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, сначала невѣстѣ, а потомъ супругѣ Николая Павловича. Своимъ новымъ обязанностямъ онъ отдался съ полнымъ увлеченіемъ; имъ посвящаетъ онъ свое время, не жалѣя даже о своей независимости и свободѣ.

„Должность, мнѣ теперь порученная, есть счастливая должность,— пишетъ онъ къ И. И. Дмитріеву,—счастливая не по тѣмъ выгодамъ, которыя могутъ быть соединены съ нею, но по той необыкновенно пріятной дѣятельности, которой она меня подчиняетъ. Для поэта это главное. Имѣю передъ собою цѣль прекрасную, къ которой буду идти безъ всякихъ постороннихъ беспокойныхъ видовъ, могу быть обезпеченъ насчетъ всего, кромѣ моего долга, а этотъ долгъ привлекательный“²⁾.

Мечты о уединенной жизни въ деревнѣ,—навсегда покинули его. Жуковскій дѣлается членомъ царской семьи и вездѣ сопровождаетъ ее. Только изрѣдка въ стихахъ его попрежнему слы-

¹⁾ Ibidem, стр. 805.

²⁾ Русск. Арх., 1870 г., стр. 1704.

нится скорбь о минувшемъ; воспоминанія о друзьяхъ, ихъ образы воскресаютъ въ его сердцѣ и какъ живые стоятъ передъ нимъ:

И всѣхъ друзей душа моя узнала...
Но гдѣ-жъ они? На мигъ съ путей земныхъ
На сѣверъ мой мечта васъ приликала
Сопутниковъ младенчества родныхъ...
Васъ жадная рука не удержала
И голосъ вашъ, плѣнивъ меня, затихъ.
О, будь же вамъ замѣною свиданья
Мой сѣверный цвѣтокъ воспоминанья¹⁾.

Это были минутныя воспоминанія; они не надолго нарушали довольство настоящимъ у Жуковского. Настоящее казалось ему теперь тѣмъ „очарованнымъ тамъ“, о которомъ онъ мечталъ въ годы своей молодости:

„Изъ сѣверной, любовію избранный,
И промысломъ указанной страны,
Къ вамъ нынѣ шлю мой даръ обѣтованный;
Да скажетъ онъ друзьямъ моей весны,
Что выпалъ мнѣ на часть удѣлъ желанный;
Что младости мечты совершены;
Что не вотще довѣренность къ надеждѣ,
И что *теперь* плѣнительно какъ *прежде*“²⁾.

Стихи эти, которые Жуковский влагаетъ въ уста своей высокой ученицы, могутъ быть отнесены къ нему. Жуковский сталъ писать теперь „Для немногихъ“, какъ назывались книжки его стихотворныхъ переводовъ, печатаемыя въ немногихъ экземплярахъ для царской семьи и высокихъ придворныхъ лицъ. Самый выборъ прежнихъ переводныхъ пьесъ не имѣетъ уже прежняго близкаго отношенія къ внутреннему міру поэта, хотя онъ и выражаетъ характеръ его. Зато переводъ дѣлается точнѣе и художественнѣе, и Жуковский не позволяетъ уже себѣ въ чужую пьесу вводить стихи съ чисто личнымъ свойствомъ, личные намеки.

Внѣшняя сторона его стиха достигаетъ удивительнаго совершенства; въ этомъ онъ оказываетъ сильное вліяніе на русскую поэзію того времени и въ особенности на молодого Пушкина, который смотритъ на него съ глубокимъ уваженіемъ и часто называетъ его, за участіе къ бурной судьбѣ своей, своимъ гениемъ-хранителемъ. Но для содержанія русской поэзіи Жуковский уже ничего болѣе не сдѣлалъ;

¹⁾ „Цвѣтъ завѣта“.

²⁾ Ibidem.

его историческая роль, вмѣстѣ съ началомъ придворной жизни, кончилась. Поэзія стала являться Жуковскому въ видѣ „Лалла Рукъ“, т.-е. великой княгини Александры Ѳеодоровны, которая изображала лицо этой героини поэмы Т. Мура въ берлинскомъ придворномъ маскарадѣ. Онъ сталъ писать стихи вродѣ „Посланія о Луиѣ“ къ императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, гдѣ перечисляетъ, когда и въ какомъ видѣ является луна въ его произведеніяхъ или, подчиняясь господствующему тогда мистицизму, переводить такія пьесы, какъ „Смерть Іисуса“—Рамлера, въ которой уже виденъ мрачный піэтизмъ послѣднихъ дней его жизни.

ЛЕКЦІЯ IX.

Отношеніе къ Жуковскому его друзей. — Батюшковъ. — Его дѣтскіе и юношескіе годы.

Какъ ни слабо было развито въ тогдашнихъ нашихъ писателяхъ чувство самостоятельности и независимости, какъ ни неопредѣленно смотрѣли они на свое литературное призваніе, на отношеніе его къ власти, къ обществу, къ народу, причемъ каждый изъ нихъ конечно съ охотою промѣнялъ бы свое жалкое бумагомарательство, не дававшее ни извѣстности, ни денегъ, на блестящее придворное положеніе Жуковскаго—все же, хотя главнымъ образомъ въ кругу друзей его, этотъ переходъ къ придворной жизни и къ званію учителя казался измѣною поэзіи. Дѣло ограничивалось, впрочемъ, одною шуткою. Жуковскаго называютъ „эксъ-балладникомъ“, смѣются надъ тѣмъ, что онъ учитъ грамотѣ принцессъ, а самъ учится придворному искусству ¹⁾).

Дмитріевъ жалуется, что Жуковскій, пріѣхавъ въ Москву съ дворомъ, въ началѣ 1818 года, рѣдко посѣщаетъ его. „Ревность друзей его почти достигла своей цѣли—пишетъ онъ: кажется, поэтъ мало по-малу превращается въ придворнаго; кажется, новость въ знакомствахъ, въ образѣ жизни начинаетъ прельщать его. Увидимъ, въ чемъ найдетъ болѣе выгоды“ ²⁾). Все время первоначальныхъ занятій его съ великою княгинею посвящено было грамматикѣ и составленію „грамматическихъ таблицъ“ для облегченія ея изученія; ихъ Жуковскій ставилъ очень высоко. Онъ даже написалъ для этой цѣли по-французски русскую грамматику, которая была напечатана только въ десяти экземплярахъ. „Трудно повѣрить, чтобы въ грамматиче-

¹⁾ Русск. Арх. 1866 г., стр. 1653, 1657.

²⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 1092.

скихъ его таблицахъ было много поэзи^а — съ ироніей говорить Дашковъ ¹⁾. Даже Карамзинъ насмѣшливо отзывается о новомъ положеніи Жуковскаго: „Жуковскій не можетъ нахвалиться своею Августѣйшею ученицею — сообщаетъ онъ Дмитріеву; но между тѣмъ пишетъ однѣ грамматическія таблицы“ ²⁾ или „Жуковскій пишетъ стихи къ фрейлинамъ“ ³⁾. Самое опредѣленное выраженіе этого недовольства придворною жизнью Жуковскаго, забывшаго поэзію, находится въ эпиграммѣ А. Бестужева, приписанной Пушкину, который только въ дружескихъ письмахъ называлъ его „покойникомъ“. Бестужевъ принадлежалъ къ либеральному кружку, который мало видѣлъ значенія въ произведеніяхъ Жуковскаго:

„Изъ савана одѣлся онъ въ ливрею,
На ленту промѣнялъ лавровый свой вѣнецъ,
Не подражалъ больше Грею,
Съ указкой втерся во дворецъ—
И что же вышло наконецъ?
Предъ знатными сгибая шею,
Онъ руку жметъ камеръ-лакею,
Бѣдный пѣвецъ“.

Но Жуковскій, впрочемъ, и не подавалъ либеральныхъ надеждъ; не имъ измѣнилъ онъ, а поэзіи. Другіе люди, чуждые литературы, искренно жалѣли его. „Какъ живо я чувствую всѣ неудобства его положенія, пишетъ Сперанскій къ своей дочери, когда та сообщила отцу о свиданіи съ Жуковскимъ, всю страдательность его жизни. Я слишкомъ близко видѣлъ сей родъ неволи, чтобъ не сострадать, и что всего хуже, нѣтъ почти средства пособить ему“ ⁴⁾. Но всѣ эти сожалѣнія и друзей и людей постороннихъ относились больше къ тому обстоятельству, что Жуковскій, сдѣлавшись придворнымъ и взявъ на себя обязанности, которыя отвлекали его отъ поэзи, долженъ былъ забыть послѣднюю, составлявшую его истинное призваніе. О самомъ содержаніи и направленіи его поэтическихъ произведеній, о томъ, что давалъ онъ ими современности и русскому обществу и много ли потери въ томъ, что онъ сталъ менѣ писать — объ этомъ не говорили; о немъ сожалѣли, какъ о поэтѣ, поэзіей котораго наслаждались. „Его стиховъ пѣвнительная сладость пройдетъ въковъ завистливую даль“ повторяли всѣ съ увлеченіемъ слова Пушкина ⁵⁾. Отъ поэзи тогда и не тре-

¹⁾ Русск. Арх. 1868 г., стр. 593.

²⁾ Письма Карамзина къ Дмитріеву. Спб. 1866 г., стр. 253.

³⁾ Ibidem, стр. 269.

⁴⁾ „Русск. Арх.“, 1868 г., стр. 1699—1700.

⁵⁾ „Къ портрету Жуковскаго“.

бовали ничего другого, кромѣ художественности выраженія, а ея было довольно у Жуковского. Какъ писатель, обязанный по своему таланту, внести новую мысль въ общественное развитіе своей страны, Жуковский ничего не сдѣлалъ въ этомъ отношеніи. Онъ не пошелъ дальше Карамзина, пожалуй сдѣлалъ нѣсколько шаговъ назадъ. Его міросозерцаніе было слишкомъ узко, слишкомъ несвободно; его мораль не выходила изъ догматическихъ рамокъ. Этого не могли разглядѣть современники и друзья его. Только въ лагерѣ такъ называемыхъ „либералистовъ“ того времени составилось уже тогда правильное понятіе о значеніи поэзіи Жуковского. „Не совѣшь правъ ты и во мнѣніи о Жуковскомъ—писать къ Пушкину Рыгѣевъ.—Неоспоримо, что Жуковский принесъ важныя пользы языку нашему; онъ имѣлъ рѣшительное вліяніе на стихотворный слогъ нашъ—и мы за это навсегда должны остаться ему благодарными, но отнюдь не за „вліяніе его на духъ нашей словесности“, какъ пишешь ты. Къ несчастію, вліяніе это было слишкомъ пагубно: мистицизмъ, которымъ проникнута большая часть его стихотвореній, мечтательность, неопредѣленность и какая-то туманность, которая въ немъ иногда даже прелестны, растлила многих и много зла надѣлали. Зачѣмъ не продолжаетъ онъ дарить насъ прекрасными переводами изъ Байрона, Шиллера и другихъ великановъ чужеземныхъ. Это болѣе можетъ упрочить славу“ ¹⁾).

Въ то самое время, какъ Жуковский уходилъ постепенно отъ дѣйствительности въ придворную жизнь, которая мало-помалу сдѣлала его глухимъ къ требованіямъ русской жизни и общества, совершенно скрыла отъ него ихъ стремленія и желанія,—другой поэтъ, его современникъ, человѣкъ съ замѣчательнымъ талантомъ внѣшняго выраженія, съ болѣе обработанною формою по точности и опредѣленности, чѣмъ даже у Жуковского, уходилъ тоже отъ дѣйствительности и погибалъ для русской жизни, но не добровольно, какъ Жуковский, а вслѣдствіе душевнаго недуга, который былъ удѣломъ его жалкаго существованія болѣе тридцати лѣтъ. Мы говоримъ о Батюшковѣ, человѣкѣ того же поколѣнія, что и Жуковский, даже нѣсколько моложе его. Его трагическая печальная судьба, эта темная долгая ночь сумасшествія, которая постигла его въ цвѣтъ лѣтъ и развитія,—невольно приковываютъ къ нему вниманіе. Но и въ исторіи русской поэзіи Батюшковъ занимаетъ видное мѣсто; для современниковъ, для ближайшихъ поэтическихъ потомковъ онъ былъ классическимъ писателемъ; ему подражали; его стихъ имѣлъ вліяніе; безъ него не могъ бы сформироваться легкій и чрезвычайно опредѣ-

¹⁾ Соч. К. Рыгѣева, стр. 234.

ленный стихъ молодого Пушкина, который еще на лицейской скамейкѣ подражалъ ему. Батюшкова въ нашихъ курсахъ исторіи литературы обыкновенно выставляютъ по способу и формѣ выраженія, какъ противоположность Жуковскому. Если послѣдняго называютъ романтикомъ, то Батюшковъ является классикомъ, представителемъ яснаго, спокойнаго и умѣющаго наслаждаться жизнью міросозерцанія древнихъ. Ему приписываютъ возрожденіе древне-греческой поэзіи въ нашей литературѣ „во всей ея художественной простотѣ, съ ея пластическимъ представленіемъ жизни и природы“, ему приписываютъ самостоятельное творчество въ духѣ древней греческой поэзіи. Пушкинъ, въ своемъ лицейскомъ посланіи къ нему (1814 г.) считаетъ необходимою употреблять имена классическихъ боговъ и древнихъ поэтовъ, хотя и называетъ его „Парни російскій“.

„Муза Батюшкова была сродни древней музѣ“, говоритъ о поэзіи Батюшкова Бѣлинскій. Жаль только, что духъ времени и французская эстетика лишили этого поэта свободнаго и самобытнаго развитія. До Пушкина не было у насъ ни одного поэта съ такимъ классическимъ тактомъ, съ такою пластичною образностью въ выраженіи, съ такою скульптурною музыкальностью, если можно такъ выразиться, какъ Батюшковъ „... Съ своею искреннею, даже слишкомъ горячею любовью къ русской литературѣ, Бѣлинскій, особенно въ позднѣйшихъ статьяхъ своихъ, напр., въ обширномъ введеніи къ разбору Пушкина, приписывалъ Батюшкову слишкомъ большое художественное значеніе, забывая вполне, что при всемъ реализмѣ, при всей естественности и простотѣ чувства, выражаемаго въ его поэзіи, эта послѣдняя была совершенно чужда жизни и дѣйствительности и что Батюшковъ, несмотря на классическіе образы и предметы, на имена мифологическихъ боговъ, богинь, нимфъ и геніевъ и пластичность выраженія, не былъ однако знакомъ съ классическимъ міромъ непосредственно, а черезъ французскихъ поэтовъ, которые давно уже подражали древнему міру, и это подражаніе въ концѣ XVIII вѣка и началѣ XIX еще болѣе усилилось, вслѣдствіе того, что французская революція пародировала внѣшнія формы древнихъ республикъ. Но Батюшковъ, несмотря на то, что онъ ничего не подарилъ русской жизни, все-таки крупная личность въ нашей литературѣ. На ней и его произведеніяхъ стоитъ остановиться, чтобъ познакомиться съ тѣмъ, какимъ образомъ могъ развиваться такой классическій поэтъ посреди русской дѣйствительности.

Батюшковъ происходилъ изъ довольно стариннаго дворянскаго рода, который жилъ въ Новгородской и Вологодской губерніи. Отецъ его былъ образованный по тогдашнему времени человекъ, т. е. воспитанный на французскихъ классикахъ прошлаго вѣка и знакомый, ко-

нечно поверхностно, съ свободною мыслию энциклопедистовъ и другихъ философовъ того времени. Но на нравственное и духовное развитіе своего сына онъ не имѣлъ никакого вліянія. Мать писателя умерла, когда ему было только десять лѣтъ, но сынъ еще раньше былъ лишенъ ея: она умерла въ сумасшествіи. Надобно замѣтить, что, вѣроятно, психическая болѣзнь была наследственною въ семьѣ: кромѣ матери и самого писателя, одна изъ сестеръ его, наиболѣе любимая имъ—Александра—умерла въ дѣвцахъ, тоже въ помѣшательствѣ. Поэтому очень можетъ быть, что сумасшествіе самого Батюшкова, представляемое чрезвычайно таинственно въ нашихъ литературныхъ воспоминаніяхъ и объясняемое самыми разнообразными причинами, такъ что нѣкоторые сравнивали судьбу его даже съ судьбою любимого имъ поэта — Тасса, — объясняется очень просто и естественно.

Константинъ Николаевичъ Батюшковъ родился въ Вологдѣ 18 мая 1787 года, слѣдовательно онъ былъ четырьмя или пятью годами моложе Жуковскаго, но онъ не воспитывался и не росъ подобно ему въ домашней обстановкѣ. Отецъ его, вслѣдствіе упомѣшательства жены, еще до ея смерти, отвезъ четырехъ дочерей и единственнаго сына въ петербургскіе пансіоны, а самъ по смерти жены, женился въ другой разъ, что еще болѣе сдѣлало его чуждымъ дѣтямъ отъ перваго брака. Сынъ попалъ въ пансіонъ француза Жакино, у котораго воспитывались дѣти богатыхъ и знатныхъ семействъ; содержаніе и обстановка соотвѣтствовали ихъ положенію въ обществѣ, такъ что Батюшкова можно назвать въ этомъ отношеніи баловнемъ; школа жизни у него была вовсе не трудная. Воспитаніе, конечно, было во французскомъ духѣ; ученіе тоже происходило на языкѣ французскомъ, такъ что даже первый печатный литературный опытъ Батюшкова, изданный во время пребыванія его въ пансіонѣ Жакино, когда ему было только четырнадцать лѣтъ, былъ французскій переводъ извѣстной рѣчи митрополита Платона на коронацію императора Александра ¹⁾).

Въ пансіонѣ Жакино, кромѣ французскаго языка, какъ видно изъ письма его къ отцу, онъ занимался также итальянскимъ языкомъ или по крайней мѣрѣ училъ его грамматику. Ученіе, разумѣется, носило общій характеръ и приготавлило богатаго мальчика только къ свѣтской жизни и ничего не давало серьезнаго. То же самое повторилось и въ другомъ пансіонѣ учителя морского училища Триполи, куда Батюшковъ перешелъ, будучи уже четырнадцати лѣтъ,—не извѣстно, по какой причинѣ. Онъ занимался и геометріей, и рисованіемъ, и игрою на гитарѣ; сталъ знакомиться и съ нѣмецкимъ языкомъ; но

¹⁾ Слб. 1801.

въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ не подчинился нисколько вліанію нѣмецкой романтической поэзіи, какъ Жуковскій. Въ качествѣ коренного русскаго, Батюшковъ высказывалъ какую-то слѣпую даже ненависть къ нѣмцамъ: „Хозяинъ мой нѣмецъ, не поколотить ли его?“—пишетъ онъ въ дружескомъ письмѣ къ Гнѣдичу съ похода изъ Риги. Или въ другомъ мѣстѣ: „Я теперь въ Ригѣ, царствѣ табака и чудаковъ,—нѣмцевъ иначе называть и не можно... Я нѣмцевъ болѣе еще возненавидѣлъ: ни души, ни ума у этихъ тварей нѣтъ“¹⁾.

Говорятъ, что въ пансіонѣ у Триполи онъ узналъ и латинскій языкъ, но едва ли познанія его въ этомъ языкѣ были значительны; переводы Тибулловыхъ элегій ничего не доказываютъ; они могли быть сдѣланы и съ французскаго языка, а какъ мало онъ былъ знакомъ съ латынью, доказываетъ трижды повторенный имъ Гнѣдичу уже въ 1809 году въ письмѣ вопросъ: „Что значить *ex fulgore?*“²⁾.

Стихотворные русскіе опыты свои Батюшковъ началъ очень рано, еще будучи въ пансіонѣ. Стремленіе къ писательству было возбуждено въ немъ безъ всякаго сомнѣнія родственнымъ близостію и частымъ посѣщеніемъ имъ дома и семейства двоюроднаго брата его отца, извѣстнаго писателя и преподавателя русскаго языка великому князю Александру Павловичу—Михаила Никитича Муравьева, чело-вѣка весьма замѣчательнаго по своему уму, образованію, доброму сердцу и авторскому таланту, напоминающему собою чрезвычайно манеру и талантъ Карамзина. Батюшковъ въ письмѣ къ другому родственнику своему И. М. Муравьеву-Апостолу, извѣстному въ нашей литературѣ своимъ дѣйствительнымъ знакомствомъ съ классическимъ міромъ и своими переводами съ греческаго, говоря о сочиненіяхъ своего двоюроднаго дяди, самъ сознается, какъ онъ много обязанъ ему и что память этого чело-вѣка будетъ ему драгоценна „до позднихъ дней жизни и украситъ ихъ горестнымъ и вѣстѣ сладкимъ воспоминаніемъ протекшаго!“³⁾

Батюшковъ выражается о немъ съ глубокимъ уваженіемъ: „Кто зналъ сего мужа въ гражданской и семейственной его жизни, тотъ могъ легко угадывать самыя тайныя помышленія его души. Они клонились къ пользѣ общественной, къ любви изящнаго во всѣхъ родахъ, и особенно къ успѣхамъ отечественной словесности. Онъ любилъ отечество и славу его, какъ Цицеронъ любилъ Римъ; онъ любилъ добродѣтель, какъ пламенный ея любовникъ, и всегда, во всѣхъ случаяхъ жизни, оставался вѣренъ своей благородной страсти“⁴⁾.

¹⁾ „Русск. Стар.“, 1870 г., I, стр. 549—550.

²⁾ „Русск. Стар.“ 1871 г., III, стр. 219—220.

³⁾ Письмо къ И. М. М.-А. о сочиненіяхъ Г. Муравьева, стр. 123.

⁴⁾ Ibidem, стр. 104—105.

Муравьевъ является такимъ образомъ воспитателемъ Батюшкова въ литературѣ; отъ него, говорятъ, перешла къ нему любовь къ произведеніямъ классической и итальянской поэзіи. Отъ Муравьева Батюшковъ заимствовалъ, по словамъ Бартенева, лучшіе свои гражданскіе и литературные идеалы ¹⁾).

Въ домѣ Муравьева сначала, пока онъ не переѣхалъ въ Москву, развились литературные вкусы Батюшкова и въ немъ же онъ познакомился съ литературными представителями того времени. Жена Муравьева любила Батюшкова какъ сына и въ ихъ семействѣ онъ забывалъ свое сиротское положеніе.

Семнадцати лѣтъ Батюшковъ кончилъ курсъ своего пансіонскаго ученія. Онъ вынесъ изъ него немного свѣдѣній, кое-какія знанія въ языкахъ и въ особенности французскомъ, которымъ владѣлъ въ одинаковой степени съ русскимъ, и любовь къ литературнымъ занятіямъ, развиваемую всѣми тогдашними учебными заведеніями. Кончивъ ученіе, Батюшковъ началъ служить, но въ противность господствующему обычаю, не въ военной, а гражданской службѣ. Служба эта была, однако, только номинальная, она не требовала отъ Батюшкова труда и оставляла ему полную свободу и много времени для литературныхъ занятій и для собственнаго дальнѣйшаго образованія. Батюшковъ, по протекціи дяди своего Муравьева, поступилъ на службу въ канцелярію тогдашняго министра народнаго просвѣщенія, графа Завадовскаго, а оттуда уже прямо къ дядѣ—письмоводителемъ. Тотчасъ же по поступленіи на службу, Батюшковъ сталъ печатать въ 1805 г. свои первые поэтическіе опыты. Не безъ вліяній на развитіе классическихъ вкусовъ Батюшкова остался И. И. Мартыновъ, извѣстный впослѣдствіи переводчикъ греческихъ классиковъ, а тогда директоръ канцеляріи министра народнаго просвѣщенія, гдѣ служилъ Батюшковъ, и издатель журнала „Сѣверный Вѣстникъ“, гдѣ сталъ печатать свои стихи молодой поэтъ. Самостоятельнаго въ нихъ было мало. Первымъ французскимъ поэтомъ, въ особенности любимымъ Батюшковымъ, изъ котораго онъ много переводилъ и любовь къ которому онъ передалъ молодому Пушкину, былъ Парни (1753—1814). Это былъ поэтъ переходнаго времени, съ замѣчательнымъ талантомъ и красотой стиха. Въ немъ уже слышатся звуки новаго времени; элегическое настроеніе дѣлало его любимцемъ людей молодого поколѣнія—онъ ближе подходилъ къ нимъ; Парни можно бы, пожалуй, назвать и романтикомъ, еслибъ въ его поэзіи было побольше мечтательныхъ элементовъ и, еслибъ свойственная французамъ любовь къ опредѣленной формѣ и чувственность не удерживали его на землѣ. Въ

¹⁾ „Русск. Арх.“, 1867 г., стр. 1350.

Парни осталось много слѣдовъ скептицизма прошлаго вѣка; это былъ прямой наслѣдникъ Вольтера и его насмѣшки надъ мифологіями всѣхъ странъ, а также надъ христіанствомъ, въ духѣ своего учителя, отличаются рѣзкою насмѣшливостію и весьма нескромными выраженіями, хотя и заключенными въ изящный стихъ. Въ особености Парни былъ большой мастеръ на сладострастныя картины изъ жизни боговъ и богинь классическаго міра. Картины эти сильно нравились нашимъ поэтамъ и переводились ими, хотя и съ большими пропусками, сдѣланными русскою цензурою. Первая переводная пьеса, сдѣланная Батюшковымъ изъ Парни въ 1805 году, была элегія. Въ ней выражается полное разочарованіе жизни, говорится о ея утратахъ и пр. Но Батюшковъ не поддался этому направленію, подобно Жуковскому. Рядомъ съ элегическимъ настроеніемъ, въ немъ сказалось и сатирическое. Въ „Посланіи къ моимъ сочиненіямъ“ онъ смѣется надъ множествомъ расплодившихся у насъ поэтовъ, надъ ихъ одами, посланіями, пѣснями, драмами и т. п., надъ всею этою стихотворною страпнею, въ которой не было вовсе дѣйствительнаго содержанія. Не безъ вліянія на эту сатиру былъ „Чужой толкъ“ — Дмитріева. Кромѣ „Сѣвернаго Вѣстника“ первые стихотворные опыты Батюшкова помѣщались и въ другомъ журналѣ его начальника Мартынова „Лицей“ въ 1806 году. Связи Батюшкова ограничивались тогда петербургскими литераторами. Онъ былъ знакомъ, напр., съ Пнинимъ, рано умершимъ, и напечаталъ по поводу его смерти стихи, въ которыхъ отзывается о немъ съ большимъ уваженіемъ, какъ и другіе звавшіе его люди.

Въ 1807 году и начавшаяся служба Батюшкова и его поэтическіе опыты были вдругъ прерваны по собственному его желанію. Когда въ ноябрѣ 1806 года манифестомъ была объявлена милиція, дворянское сердце Батюшкова не выдержало, и онъ поступилъ въ стрѣлковый батальонъ петербургскаго ополченія, а въ началѣ 1807 года выступилъ въ походъ въ западный край. Батюшковъ отдался тревогамъ военной жизни со всѣмъ пыломъ молодости; ему было только двадцать лѣтъ; онъ былъ полонъ силъ и здоровья. Его письма, которыя онъ писалъ съ этого похода къ другу своему и сослуживцу Гнѣдичу, оказавшему значительное вліяніе на классическое образованіе Батюшкова, и къ нѣкоторымъ другимъ лицамъ, письма, исполненные веселости, юмора и молодого задора, свидѣтельствуютъ, что молодой Батюшковъ былъ въ эту пору вполне доволенъ собой и своимъ положеніемъ. „Мнѣ очень нравится военное ремесло—пишетъ онъ Гнѣдичу. Что будетъ впередъ, Богъ вѣсть. Брани меня, а я штатскую службу ненавижу, чернила надоѣли, а стихи все люблю, хотя они меня не любятъ“¹⁾... Ему хочется соединить ремесло война

1) Русск. Стар. 1870 г. т. I, стр. 550.

съ ремесломъ поэта; въ эту пору онъ только что познакомился съ поэмою Торквато Тассо, которая вообще была любимымъ его произведеніемъ. Отрывки изъ нея, и прозой и стихами, онъ печаталъ часто и хотѣлъ издать полный переводъ. Поэма Тасса была съ нимъ въ походѣ. „Вообрази себѣ меня ѣдущаго на рыжакѣ—сообщаетъ онъ Гнѣдичу, по чистымъ полямъ, и я счастливѣе всѣхъ, всѣхъ королей; ибо дорогою читаю Тасса или что подобное. Случалось, что раскричишься и съ словомъ „о доблесть дивная, о подвиги геройски“! прямо на бокъ и съ лошади долой. Но это не бѣда! лучше упасть съ буцефала, нежели падать, подобно Боброву—съ пегаса“¹⁾. Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что „вздѣлъ кафтанъ Ареевъ“ невзначай. Главные интересы его въ письмахъ сосредоточены почти исключительно на литературѣ и въ особенности на современныхъ ея явленіяхъ въ Россіи. На походѣ онъ непремѣнно хотѣлъ знать, что дѣлается въ этомъ мірѣ въ Петербургѣ. Онъ спрашиваетъ объ Озеровѣ, о врагахъ его, о представленіи Донского, о Капнистѣ, о переводѣ Гнѣдичемъ Гомера, проситъ о присылкѣ новыхъ русскихъ книгъ, посылаетъ поклоны, кромѣ упомянутыхъ лицъ, Крылову, Шаховскому и др. Видно, что у него были уже значительныя литературныя связи. Но съ другой стороны, въ этихъ же письмахъ, совершенно откровенныхъ и дружескихъ, высказывается Батюшковымъ полный восторгъ при впечатлѣніяхъ военной и бивачной жизни; поэтическіе отрывки, сообщаемые въ этихъ письмахъ, говорятъ только о ней. Напрасно стали бы искать въ этихъ письмахъ Батюшкова какихъ-нибудь политическихъ чувствъ, болѣе глубокихъ наблюденій надъ положеніемъ тогдашнихъ дѣлъ, свѣдѣній о краѣ, которымъ онъ шелъ походомъ, и т. п. Ничего подобнаго не найдемъ мы здѣсь. Батюшковъ былъ слишкомъ молодъ и съ самозабвеніемъ отдавался тревогамъ войны; она вполне удовлетворяла его. Только мимоходомъ можно найти у него свѣдѣнія о незавидномъ положеніи нашей арміи, о томъ, какъ нерасположены къ намъ поляки въ своемъ краѣ и пр. Письма пересыпаны поэтическими отрывками, въ которыхъ иногда случайно проскользнетъ картина дѣйствительности, напр. это изображеніе несчастнаго финна около Нарвы:

„Тамъ финна бѣднаго сума
 Съ усталыхъ плечь валится;
 Несчастный къ уголку садится
 И, слезы утеревъ раздраннѣмъ рукавомъ,
 Догадываетъ хлѣбъ мякиной и голодной...
 Несчастный сынъ страны холодной!
 Онъ съ голодомъ, войной и русскими знакомъ“²⁾.

¹⁾ Ibidem, стр. 551.

²⁾ Ibidem.

Скоро однакожъ къ пріятностямъ переходовъ и бивачной жизни, радовавшей Батюшкова, присоединились и трудности и невыгодныя стороны войны. Въ сраженіи подъ Гейльсбергомъ, въ Сѣверо-Восточной Пруссіи, въ маѣ 1807 года, Батюшковъ былъ тяжело раненъ пулею на вылетъ въ ногу. Надобно вспомнить тогдашнее устройство медицины въ нашей арміи, чтобъ представить себѣ какія страданія долженъ былъ вынести Батюшковъ вслѣдствіе этой раны. Его привезли въ Ригу. „Что могъ вытерпѣть дорогою, лежа на телѣгѣ, того и понять не могу“¹⁾. Голодъ, боль и ни гроша денегъ въ карманѣ—должны были разочаровать Батюшкова въ прелестяхъ военной жизни, но онъ былъ молодъ и здоровъ, а потому легко переносилъ невзгоды. Что онъ вытерпѣлъ, легко составить себѣ представленіе по его собственному разсказу о другѣ его Петинѣ, которому посвящено нѣсколько лучшихъ стихотвореній и цѣлая статья воспоминаній, свидѣтельствующая о томъ нѣжномъ чувствѣ, которое соединяло обоихъ, не смотря на всю противоположность ихъ наклонностей и вкусовъ. Петинъ учился въ Московскомъ благородномъ пансіонѣ при университетѣ, а потомъ въ Пажескомъ корпусѣ. Его занятія направлены были къ изученію наукъ математическихъ, и Батюшковъ говоритъ, что въ нихъ онъ показывалъ рѣдкую гибкость ума. Онъ служилъ въ гвардейскомъ егерскомъ полку и вмѣстѣ съ Батюшковымъ выступилъ въ походъ. Въ одно почти время оба они были ранены. „Въ тѣсной лачугѣ, на берегахъ Нѣмана, безъ денегъ, безъ помощи, безъ хлѣба (это не вымыселъ), въ жестокихъ мученіяхъ, я лежалъ на соломѣ и глядѣлъ на Петина, которому перевязывали рану... Кругомъ жизни толпились раненые солдаты, пришедшіе съ полей несчастнаго Фридланда, и съ ними множество нлѣнныхъ... Весь берегъ покрытъ ранеными; множество русскихъ валется на сыромъ песку, на дождѣ, многіе товарищи умираютъ безъ помощи, ибо всѣ дома наполнены“²⁾. Батюшковъ скоро поправился отъ своей раны при хорошемъ уходѣ, который онъ нашелъ въ Ригѣ. „Меня принимаютъ въ прекрасныхъ покояхъ, кормятъ, поятъ изъ прекрасныхъ рукъ, я на розахъ!.. Я пью изъ чаши радостей и наслаждаюсь“—пишетъ онъ Гнѣдичу³⁾. При такой обстановкѣ легко было вылѣчиться скоро молодому и крѣпкому Батюшкову. Совершенно автобіографическимъ интересомъ проникнуто стихотвореніе „Воспоминаніе“, написанное въ 1807 году, въ которомъ, разсказавъ о Гейльсбергскомъ сраженіи, о ранѣ, о восторгѣ, съ какимъ онъ переплылъ на родную границу

¹⁾ Ibidem, стр. 552.

²⁾ Воспоминанія мѣсть, сраженій и путешествій, Москвитининъ 1851 г. № 5 стр. 13—14.

³⁾ Русск. Стар. 1870 г., т. I, стр. 553.

чрезъ Нѣманъ, Батюшковъ воспоминаетъ тотъ мирный и гостепріимный кровъ, который пріютилъ его въ Ригѣ:

Семейство мирное! ужель тебя забуду,
И дружбѣ и любви неблагодаренъ буду?...
Ахъ, мнѣ ли позабыть гостепріимный кровъ,
Въ сѣни домашнихъ гдѣ боговъ
Усердный Эскулапъ божественной наукой
Исторгъ изъ-подъ косы и дивно исцѣлилъ
Меня, борющагося уже съ смертельной мукой*...

Въ этомъ гостепріимномъ пріютѣ ждала его и молодая любовь, которая оставила довольно продолжительное впечатлѣніе на его сердце:

„Ужели я тебя, красавица, забылъ,
Тебя, которую я зрѣлъ передъ собою
У ложа горькихъ мукъ, отчаянья и слезъ,
Какъ утѣшителя, какъ вѣстника небесъ,
Ты, Геба юная, лилейною рукою
Сосудъ мнѣ подала: пей здравье и любовь!“

И въ послѣдующіе годы Батюшкову были дороги эти воспоминанія:

„Воспоминанія!
Липъ вами окрыленный,
Къ ней мыслію лечу
И въ часъ полуночи туманной
Мечтой очарованной,
Я слышу въ вѣтеркѣ, принесемъ на крылахъ
Цвѣтовъ благоуханье—
Эмилипъ дыханье*... и пр.

Впрочемъ любовь эта, повидимому, недолго задержала Батюшкова въ Ригѣ; еще въ 1807 году онъ воротился въ Петербургъ; не совсѣмъ оправившись отъ раны, онъ долженъ былъ снова лѣчиться. Муравьевы въ это время были въ Москвѣ, но Батюшковъ нашелъ другой совершенно родной пріютъ въ семьѣ Олениныхъ.

ЛЕКЦІЯ X.

Батюшковъ въ Финляндіи. — Отставка и жизнь въ деревнѣ. — Увлеченіе Торивато Тассо. — Отношеніе къ спору о слогахъ и патриотическому направленію въ литературѣ. — „Видѣніе на берегахъ Леты“. — Переѣздъ въ Москву. — Сближеніе съ литературными кружками.

По возвращеніи въ Петербургъ изъ похода 1807 года, Батюшковъ не оставлялъ военной службѣ; напротивъ, онъ сдѣлался настоящимъ гвардейскимъ офицеромъ, будучи переведенъ въ тотъ полкъ, гдѣ служилъ другъ его Петинъ и получивъ награды за свою рану. Недолго, однако, онъ жилъ въ Петербургѣ на покоѣ; началась финляндская

война, и Батюшковъ снова долженъ былъ выступить въ походъ. Это было весной 1808 года, и въ Финляндіи Батюшковъ оставался до лѣта слѣдующаго года. Въ войнѣ этой онъ не отличился ничѣмъ и кажется, насколько можно судить по его дружескимъ письмамъ къ Гнѣдичу, война эта порядочно надоѣла ему, и съ самаго ея начала онъ сталъ думать объ отставкѣ. „Мнѣ такъ грустно, такъ я собой недоволенъ и окружающими меня,—пишетъ онъ,—что не знаю, куда дѣваться. Повѣришь ли? Дни такъ единообразны, такъ длинны, что самая вѣчность едва ли скучнѣе. А вы, баловни, жалуетесь на свое состояніе“¹⁾. Повидимому, онъ былъ боленъ и физически и нравственно и скоро подалъ въ отставку. „Такъ нездоровъ,—жалуется онъ,— что къ службѣ вовсе не гошусь, хотя и желалъ бы продолжать“... Съ другой стороны и „люди мнѣ такъ надоѣли и все такъ наскучило, а сердце такъ пусто, надежды такъ мало, что я желалъ бы уничтожиться, уменьшиться, сдѣлаться атомомъ“²⁾... Онъ мечталъ и стремился въ эти минуты грусти и тоски поскорѣе въ деревню; тогда же онъ просилъ сестеръ шить ему „щеголеватый халатъ на ватѣ“. Даже вопросы его о явленіяхъ петербургской литературы и просьбы къ Гнѣдичу о присылкѣ новыхъ книгъ встрѣчаются гораздо рѣже и лишены прежней энергіи.

Природа Финляндіи, довольно грандіозная, но бѣдная, не произвела повидимому никакого впечатлѣнія на Батюшкова. „Ужасное единообразіе!—пишетъ онъ къ Оленину:—Скука стелется по снѣгу, и безъ затѣй сказать, такъ грустно въ сей дикой, бесплодной пустынѣ, безъ книгъ, безъ общества и часто безъ вина, что мы середи съ воскресеньемъ различить не умѣемъ“³⁾. Какъ объяснить послѣ этого его восторженное описаніе природы Финляндіи, которое онъ назвалъ отрывкомъ изъ писемъ русскаго офицера. Оказывается, что отрывокъ этотъ, напечатанный Батюшковымъ въ „Вѣстникѣ Европы“ 1810 года, есть не что иное, какъ переводъ изъ описанія „общей фязіогноміи Скандинавскаго Сѣвера“, сдѣланнаго французскимъ естествоиспытателемъ Ласепедомъ въ его „Ages de la Nature“. Батюшковъ все, что говорится здѣсь о Скандинавіи, о характерѣ природы и ея жителей, о поэзіи скальдовъ и міеологіи Одина—отнесъ къ Финляндіи. Невзыскательные современники не замѣтили этого наивнаго подлога и твердили наизусть знаменитое описаніе Финляндіи: „Я видѣлъ страну, близкую къ полюсу, сосѣдную Гиперборейскому морю, гдѣ природа бѣдна и угрюма“,—вошедшее потомъ во всѣ риторики.

1) „Русск. Стар.“, 1871 г., т. III, стр. 211.

2) Ib., стр. 212—213.

3) „Русск. Арх.“ 1867 г., стр. 1444.

Отъ себя Батюшковъ прибавилъ только нѣсколько строкъ, какъ общее воспоминаніе о трудностяхъ финляндской войны, о рядахъ русскихъ могилъ, обозначенныхъ крестами, которые тянутся вдоль дороги или вдоль песчаного морского берега. Самая война потеряла для Батюшкова всѣ свои пріятности; въ его стихотвореніяхъ почти нѣтъ о ней воспоминаній:

„Помнишь ли, питомецъ славы,
Индесальми страшну ночь?
Не люблю такой забавы,
Молвилъ я, и съ музой прочь!
Между тѣмъ, какъ ты штыками
Шведовъ за гѣсъ провожалъ,
Я геройскими руками...
Ужинъ вамъ приготовлялъ“¹⁾...

Но и здѣсь, въ этой негостепрѣимной Финляндіи, которая ему такъ не нравится,

„Средь добрей каменныхъ, средь ужасовъ природы,
Гдѣ плещуть о скалы ботническія воды,
Въ краяхъ изгнанниковъ“²⁾...

Батюшковъ вспоминаетъ, что онъ былъ вполне счастливъ мечтой, т.-е. поэзіей. Тассо и Петрарка сопровождали его.

Вышедши въ отставку, изъ Финляндіи Батюшковъ уѣхалъ въ вологодскую деревню къ отцу. Здѣсь пробылъ онъ мѣсяцевъ пять, весь конецъ 1809 года, въ большомъ уединеніи, радуясь только письмамъ, которыя получалъ по временамъ. Сначала, повидимому, онъ былъ доволенъ своею жизнію

„Въ странѣ безвѣстной,
Въ тѣни лѣсовъ густыхъ“³⁾,

доволенъ „безвѣстностью въ сабинскомъ домиѣ своемъ, посреди глиняныхъ пенатовъ“⁴⁾; онъ приглашалъ сюда пріятеля своего Гнѣдича:

„Тебя и нимфы ждуть, объята простирая,
И фавны дикіе, кроталами играя,
Придешь—и всѣ къ тебѣ навстрѣчу прибѣгутъ
Изъ дровъ гамадріады,
Изъ рѣкъ обмытыя наяды!
И даже сельскій попъ, сатиръ и пьяный плутъ“⁵⁾.

1) „Къ П. А. Петину“.

2) „Мечта“.

3) „Мои пенаты. Посланіе къ М. и В.“.

4) Отвѣтъ Н. И. Гнѣдичу“.

5) Русск. Стар. 1877, т. III, стр. 214.

Но мало-по-малу деревенская жизнь одолевала его скукой и однообразием своимъ, а онъ не могъ изъ нея вырваться, ожидая, какъ кажется, оброка съ крестьянъ. Онъ проситъ о присылкѣ ему книги о псовой охотѣ. Онъ жалуется на то, что не знаетъ чѣмъ наполнить свое время въ деревнѣ: „Если бѣ зналъ, что здѣсь время за вещь? Что крылья его—свинцовыя? Что убить нечѣмъ? Ужъ я принужденъ читать *трляники* Долгорукова, за неизвѣннѣмъ лучшаго“ ¹⁾. Въ деревнѣ онъ перечитываетъ старыхъ писателей: „Я читалъ все это время Книжнина сочиненія. [Сколько хорошаго, сколько ума и соли!—и какое холодное, мерзлое дарованіе!“ ²⁾. Чтеніе иныхъ произведеній приводитъ Батюшкова иногда въ полное довольство: „Я иногда весель, весель, какъ царь... Недавно читалъ Державина „Описание Потемкинскаго праздника“. Тишина, безмолвіе ночи, сильное устремленіе мыслей, пораженное воображеніе, все это произвело чудесное дѣйствіе. Я вдругъ увидѣлъ передъ собой людей, толпу людей, свѣчки, апельсины, брилліанты, царицу, Потемкина, рыбу, и Богъ знаетъ чего не увидѣлъ, такъ былъ пораженъ мною прочитаннымъ. Виѣ себя побѣждалъ къ сестрѣ... Что съ тобой?.. Оно! Они! Перекрестись голубчикъ! Тутъ-то я насилу опомнился. Но это описаніе сильно вѣзалось въ мою память. Какіе стихи! Прочитай, прочитай, Бога ради, со вниманіемъ. Ничѣмъ никогда я такъ пораженъ не былъ!..“ ³⁾. Не смотря на бездѣйствіе и скуку, на которыя жалуется Батюшковъ въ деревнѣ, съ этого именно времени начинается болѣе плодотворная дѣятельность его и въ стихахъ и въ прозѣ. Изъ деревни посылаетъ онъ свои произведенія для помѣщенія въ два журнала: „Цвѣтникъ“ и „Вѣстникъ Европы“. Торевато Тасса, — попрежнему любимый поэтъ Батюшкова. Онъ помѣщаетъ въ журналахъ отрывки въ прозѣ и стихахъ своего перевода его поэмы. Несчастія и слава Тасса преслѣдуютъ его воображеніе. Въ своемъ Посланіи „Къ Тассу“ онъ рассказываетъ эту судьбу:

„Торевато! Кто испилъ всѣ горькія отравы
Печалей и любви, и въ храмъ безсмертной славы,
Ведомый музами, въ дни юности проникъ,
Тотъ преждевременно несчастливъ и великъ“.

Повидимому онъ доволенъ, этою дѣятельностью: „Я весь итальянецъ, т.-е. перевожу Тасса въ прозу,—пишетъ онъ къ Гнѣдичу (хотя онъ переводилъ отрывки и стихами).—Хочу учиться и дѣлаю исполнскіе успѣхи. Стихи свои переправилъ такъ, что самому любо.

¹⁾ *Ib.*, стр. 218.

²⁾ *Ib.*, стр. 219.

³⁾ *Ib.*, стр. 225.

Право, лучший судья, послѣ двухъ или трехъ лѣтъ, самъ сочинитель, если онъ не зараженъ величайшимъ порокомъ и величайшею добродѣтелью—самолюбіемъ“¹⁾). Но было и въ эту пору какое-то раздвоеніе въ натурѣ Батюшкова, не позволявшее ему надолго оставаться довольнымъ и собою и своими трудами. Такъ было и съ переводомъ Тасса. Болѣе скромный въ своихъ желаніяхъ, болѣе ограниченный въ жизненныхъ требованіяхъ, пріятель его Гнѣдичъ нѣсколько лѣтъ сидѣлъ надъ переводомъ Иліады, продолжая сначала трудъ Кострова александрійскими стихами, а потомъ уже перевода самостоятельно — гекзаметрами и былъ вполне доволенъ своей работой. Не таковъ былъ Батюшковъ; самолюбіе его, повидимому, было всегда развито въ высшей степени. Онъ скоро разочаровался въ достоинствѣ и значеніи своего перевода и отзывался о немъ уже саркастически. „Ты мнѣ твердишь объ Тассѣ или Тазѣ, — пишетъ онъ къ Гнѣдичу, — какъ-будто я сотворенъ по образу и подобию Божьему затѣмъ, чтобы переводить Тасса. Какая слава, какая польза отъ этого? Никакой. Только время потерянное, золотое время для сна и лѣни“²⁾)... Чѣмъ былъ недоволенъ Батюшковъ—мы не знаемъ: такъ неопредѣленны его жалобы, хотя въ основѣ ихъ, вѣроятно, заключено сильно развитое самолюбіе. Но чѣмъ было задѣто оно—тоже не извѣстно. „И я могъ думать, что у насъ дарованіе безъ интригъ, безъ ползанья, безъ какой-то расчётливости, можетъ быть полезно! И я могъ еще дѣлать на воздухѣ замки и ловить дымъ“!³⁾ „А ты мнѣ совѣтуешь переводить Тасса въ этомъ состояніи! Я не знаю, но и этотъ Тассъ меня огорчаетъ... Знаю и то, что мой Тассъ или Тазъ не такъ хорошъ, какъ ты думаешь... Но, если онъ и хорошъ, то какая мнѣ отъ него польза? Лучше ли пойдутъ мои дѣла (о которыхъ мнѣ не только говорить, но и слышать гадко), болѣе или менѣе я буду счастливъ“?..³⁾ Впослѣдствіи Батюшковъ однако снова обратился къ прежнему любимцу своему Тассу и въ своей знаменитой элегіи „Умирающій Тассъ“ (1817 г.), написанной превосходными стихами, изобразилъ блестящую, глубоко прочувствованную его апотеозу.

Принадлежа къ молодому поколѣнію, Батюшковъ конечно не могъ остаться вдали отъ того литературнаго спора, который именно въ это время съ болѣею ожесточенностью происходилъ между представителями древняго и новаго слога. Между Карамзинистами были у него пріятель, хотя самъ онъ въ то время вовсе не былъ такимъ набожнымъ поклонникомъ Карамзина, какъ Жуковскій, и въ друже-

¹⁾ *Иб.*, стр. 219.

²⁾ *Иб.*, стр. 230.

³⁾ *Иб.*, стр. 231.

скихъ письмахъ зло смѣялся надъ его манерою. Впрочемъ не видно, чтобъ онъ уважалъ и высоко ставилъ современную русскую словесность — и справедливо. Батюшковъ очень хорошо понималъ всю ея мелочность, всю ея ничтожность, и извѣстность, пріобрѣтенная въ этой области, вовсе не казалась ему завидною. Но особенно не расположенъ онъ былъ конечно къ представителямъ стараго слога, которые въ то время не собирались еще въ „Бесѣду“, а были только членами Россійской Академіи. „У меня есть сосѣдъ, который пишетъ, читаетъ церковную подъ титлами и гражданскую печать, не пригнутъ ли его въ академію? Знаешь ли какія этимъ членамъ надобны кресла? Стульчаки. О варвары, о Крашенинниковы, о Тредіаковскіе!.. Эта академія не всегда была запакощена, въ ней были, сіяли люди, истинно съ дарованіями“¹⁾. Съ какою заботою Батюшковъ старается удалить Гнѣдича отъ этихъ людей, литературные вкусы которыхъ должны, по его мнѣнію, вредно повліять на переводъ Иліады: „Разстанься, удались отъ писателей. Повѣрь мнѣ, это нужно. Я знаю этихъ людей; они вблизи гораздо болѣе завидуютъ. Хорошо съ ними водиться тому, кто ищетъ одной извѣстности, а не славы... Я думаю, что вечеръ проведенный у Самариной, или съ умными людьми, наставить болѣе въ искусствѣ писать, нежели чтеніе нашихъ варваровъ... Я не знаю, поймешь ли меня, но мнѣ кажется, что лучше прочесть страницу стихотворной прозы изъ Мары Посадницы, нежели Шишкова холодныя творенія“²⁾... Я слогъ ихъ сравниваю съ рѣкой, въ которую нельзя погрузиться, не омочивъ себя... Мнѣ кажется, что гораздо полезнѣе чтеніе Библии, нежели всѣхъ нашихъ академическихъ сочиненій, ибо въ первой есть поэзія“³⁾... Въ эту пору господствовало въ литературѣ патріотическое направленіе. РаSTOPчинъ печаталъ свои „Мысли на Красномъ Крыльцѣ“; С. Глинка шумѣлъ съ своимъ журналомъ. Батюшковъ очень хорошо разглядѣлъ всю фальшь этого направленія. Вотъ что онъ пишетъ Гнѣдичу: „Любить отечество должно. Кто не любитъ его, тотъ извергъ. Но можно ли любить невѣжество? Можно ли любить нравы, обычаи, отъ которыхъ мы отдалены вѣками, и что еще болѣе—цѣлымъ вѣкомъ просвѣщенія? Зачѣмъ же эти усердные маратели выхваляютъ все старое? Я умѣю разрѣшить эту задачу, знаю, что и ты умѣешь, и такъ, ни слова. Но повѣрь мнѣ, что эти патріоты, жаркіе декламаторы — не любятъ, или не умѣютъ любить русской земли. Имѣю право связать это, и всякій пусть скажетъ, кто добровольно хотѣлъ принести

¹⁾ Ib., стр. 220.

²⁾ Ib., стр. 221.

³⁾ Ibidem.

жизнь на жертву отечеству... Да дѣло не о томъ: Глинка называетъ Вѣстникъ свой „Русскимъ“, какъ будто пишетъ въ Китаѣ, для миссіонеровъ или пекинскаго архимандрита. Другіе, а ихъ тысячи, жужжать, нашептываютъ: русское, русское, русское... а я потерялъ вовсе терпѣніе“¹⁾... Естественно, что при такомъ разладѣ съ господствовавшимъ въ тогдашней литературѣ патриотическимъ направленіемъ, Батюшковъ и на всю русскую исторію смотрѣлъ не ихъ глазами. Она начиналась для него только съ вѣка нашего просвѣщенія. „Невозможно читать русской исторіи хладнокровно, т.-е. съ разсужденіемъ,— говоритъ онъ.— Я сто разъ принимался; все напрасно. Она дѣлается интересной только со времени Петра Великаго. Подивись, подивимся мелкимъ людямъ, вторяще роятся въ этой пыли. Читай римскую, читай греческую исторію, и сердце чувствуетъ, и разумъ находитъ нищу. Читай исторію среднихъ вѣковъ; читай басни, ложь, невѣжество нашихъ праотцевъ, читай набѣги половцевъ, татаръ, литвы и пр. и если книга не выпадетъ изъ рукъ твоихъ, то я скажу: или ты великій, или малый человѣкъ. Нѣтъ середины. *Великій*, ибо видишь, чувствуешь то, чего я не вижу, *малый*, ибо занимаешься пустяками“²⁾... Батюшковъ смѣется надъ такими любителями исторіи, какъ тогдашній литераторъ Писаревъ, издатель сборника „Балужскіе Вечера“, который „пишетъ себѣ, что такой-то царь, такой-то князь игралъ на *скомонтьхъ*, былъ лицомъ бѣлъ, сѣвъ рынду батогами и пр.“³⁾.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что Батюшковъ имѣлъ свои опредѣленные политическія убѣжденія, былъ вообще человѣкъ очень развитой и относился ко многому вовсе не равнодушно, не предпочитая всему свой стихотворный талантъ; напротивъ, онъ много разъ высказывалъ, какъ онъ мало цѣнитъ этотъ талантъ свой. Что же мѣшало Батюшкову, человѣку съ умомъ и литературнымъ талантомъ, какъ мы видѣли, излагать свои мнѣнія и убѣжденія тамъ, гдѣ они могли сдѣлаться достоинствомъ цѣлаго общества, а не беречь ихъ про себя или для интимной бесѣды вдвоемъ? Въ литературѣ онъ являлся только какъ поэтъ-проповѣдникъ эпикурейскаго наслажденія жизнью или въ прозѣ высказывалъ незначительныя общія мѣста и разсуждалъ о вопросахъ, не имѣющихъ вовсе прямого отношенія къ русской жизни; ее онъ почти игнорировалъ. Причина такого обстоятельства заключалась конечно во-первыхъ, въ томъ, что литература наша не привыкла сколько-нибудь съ участіемъ обращаться къ дѣйстви-

¹⁾ Ib., стр. 228—229.

²⁾ Ibidem, стр. 227.

³⁾ Ibidem.

ности и въ вопросахъ общественной жизни, что она преимущественно занята была формальною стороною, что она только тогда обращалась къ дѣйствительности и къ общественнымъ вопросамъ, когда на нихъ указывала власть, а при молчаніи власти литературѣ не было никакого дѣла до жизни. Съ другой стороны, это происходило и отъ того нестойкаго стѣсненія русской мысли, которое она испытывала отъ цензуры. Подъ ея парализующимъ вліаніемъ мысль въ печати являлась совершенно безучастною къ жизни, приличною, но безсодержательною; ея энергія и сила сохранялись только для интимной бесѣды съ друзьями и здѣсь надобно искать происхождение и необходимость существованія тѣхъ кружковъ, которые поддерживали свободныя преданія мысли нашей и не дозволяли ей совсѣмъ заглухнуть. Тамъ и Батюшковъ жилъ въ кружкѣ лучшихъ умственныхъ представителей того поколѣнія, къ которому принадлежалъ онъ. Конечно не одна формальная сторона литературы, но отдѣлка стиха соединила въ одинъ кружокъ съ Батюшковымъ и Жуковскимъ такихъ людей, какъ Блудовъ, Дашковъ, Вяземскій и др., которые слѣдили за духовнымъ развитіемъ Европы и были въ ней, какъ дома. Если бъ они оставались при однихъ вопросахъ литературы, то нѣкоторые изъ нихъ не могли бы сдѣлаться такими замѣчательными государственными людьми, какими они были. Къ сожалѣнію, въ печати отъ этой умственной жизни кружка остался ничтожный слѣдъ.

Батюшковъ поэтому цѣнилъ свободную мысль, которой впрочемъ не давали хода. Однимъ изъ издателей журнала „Цвѣтникъ“, въ которомъ онъ помѣстилъ нѣсколько эпиграммъ, въ то время былъ Беницкій, молодой человекъ съ большимъ дарованіемъ, умершій въ 1809 г. отъ чахотки. Получивъ извѣстіе о его смерти, Батюшковъ искренно пожалѣлъ его: „Больно жаль Беницкаго!—пишетъ онъ Гнѣдичу. Жильбертъ въ немъ воскресъ и умеръ. Большія дарованія, рѣдкій, свѣтлый умъ; жаль, что залилось желчью; а его болѣзнь, я думаю, превратилась въ нервическую; а на себѣ испыталъ это ужасное положеніе: чувствовать все гораздо сильнѣе, но съ меньшими тѣлесными силами!“¹⁾ „Я читалъ нынѣ „умнаго и дурака“ въ „Таліа““. Онъ какъ предвидѣлъ конецъ свой. Все, что ни написано, сильно, даже ужасно, слишкомъ сильно, написано желчью.“²⁾ „Талія“, о которой говоритъ Батюшковъ, былъ сборникъ въ стихахъ и прозѣ, котораго первую часть Беницкій издалъ въ 1807 году; вторая часть была отпечатана, незадолго до смерти издателя, въ 1809 году, но задержана цензурой.

¹⁾ *Ив.*, стр. 210.

²⁾ *Ив.*, стр. 222.

Естественно, что при такомъ взглядѣ на литературу, Батюшковъ смѣялся надъ современными ея представителями, особенно надъ тѣми, которые принадлежали къ отживающему поколѣнію, къ партіи Шишкова. Кромѣ эпиграммъ на нихъ, Батюшковъ написалъ тогда въ деревнѣ довольно большое стихотвореніе „Видѣніе на берегахъ Леты“, которое не было тогда напечатано, вѣроятно, по цензурнымъ условіямъ и сдѣлалось извѣстно въ полномъ видѣ только въ 1861 году. ¹⁾ Батюшковъ переслалъ его къ Гвѣдичу изъ деревни и тотъ распространилъ его въ петербургскомъ кружкѣ литераторовъ. Авторъ рассказываетъ свой фантастическій сонъ, который тяжело спустился на него вслѣдствіе утомленія отъ чтенія поэмъ Боброва. Ему мерещится, что внезапная смерть постигла нашихъ писателей, вѣсть объ этой смерти Меркурій приноситъ въ Элизіумъ, гдѣ находятся тѣни нашихъ писателей прошлаго вѣка и говоритъ, что всѣ они сейчасъ придутъ на берега тихой Леты и будутъ погружать въ ея волнахъ свои сочиненія:‡

„Они въ рѣкѣ сей погружать
Себя и вмѣстѣ юныхъ чадъ.
Здѣсь опытъ будетъ правосудевъ:
Стихи и проза безразсудны
Потонуть въ мигъ“...

Всѣ они собираются на встрѣчу своихъ новыхъ сотоварищей:

„Вотъ они

говоритъ Батюшковъ, пародируя рассказъ о тѣняхъ изъ VI пѣсни Энеиды:

„Подобно, какъ въ осенни дни,
Поблѣвши листія древесны
Что буря въ долахъ разнесла,
Такъ тѣнямъ симъ не вѣсть числа!
Идутъ толпой въ ущелья тѣсны
Къ рѣкѣ забвенія стиховъ;
Идутъ подъ бременемъ трудовъ,
Безгласны, блѣдны приступаютъ,
Любезныхъ дѣтишей купаютъ
И болѣе не врятъ въ волнахъ...“

Изъ массы этихъ тѣней видѣляются: Мерзляковъ, какъ переводчикъ Виргилія („Эвлоги“ 1807 г.), Захаровъ, Князь Шаликовъ и Макаровъ, какъ представители карамзинской сентиментальности:

„Какія странныя обшвы!
Отъ самыхъ ногъ до головы

Обшиты платья ихъ ластами.
Гдѣ провой дѣтской и стихами
Иной кладбище, мавзолеей,
Другой журвалъ души своей,
Другой Меланию, Зюльмису,
Глафиру, Хлою, Милитрису,
Луну, Веспера, голубковъ,
Барановъ, кошекъ и котовъ
Воспѣлъ въ стихахъ своихъ умыслхъ
На всякій ладъ, для женщинъ *милыхъ*“.

Затѣмъ выступаетъ С. Глинка съ своимъ хвастливымъ патриотизмомъ, потомъ три женщины-писательницы, изъ которыхъ одна Бунина, потомъ Бобровъ „виноносный геній“. За нимъ

„Привракъ чудесный и великій
Въ обширномъ дѣдовскомъ возкѣ
Тихонько таяется къ рѣкѣ.
На мѣсто ключей запряжены
Тамъ люди, въ хомуты вложены,
И тянутъ кое-какъ гужомъ“

На вопросъ адскаго судьи: кто они—

„Мы академіи поэты русскіи“—

отвѣчаетъ главная тѣнь, а несчастные, превращенные въ ключей

„Сочлены юные мои (т.-е. Шишкова):
Любовью къ славѣ воспаленны,
Они Пожарскаго поютъ
И топятъ старца Гермогена.
Ихъ мысль на небеса вперевна,
Слова жъ изъ Библии берутъ.
Стихи ихъ хоть немного жестки,
Но истинно варяго-русскіи“.

Самъ Шишковъ говоритъ о себѣ:

„Я также членъ;
Кургановымъ писать ученъ,
Извѣстенъ сталъ не пустяками,
Терпѣньемъ, потомъ и трудами.
Я есмь вѣло Славенофиль!
Сказалъ и книгу растворилъ“...

Изъ всѣхъ сочиненій не утонули въ рѣкѣ забвенія только сочиненія Крылова, личность котораго выставилъ Батюшковъ очень забавно, зная его хорошо и часто встрѣчая его у Олениныхъ:

„Тутъ тѣнь къ Миносу подошла
Неряхой и въ нарядѣ странномъ:

Въ широкомъ плафорѣ издранномъ,
Въ пуху, съ нечесаной главой,
Съ салфеткой, съ книгой подъ рукой;
„Меня врасплохъ, она сказала,
Въ обѣдъ нарочно смерть застала;
Но съ вами я опять готовъ
Еще хотъ съизнова отвѣдать
Вина и адскихъ пироговъ;
Теперь же часъ, друзья, обѣдать,
Я вамъ знакомый, я Крыловъ!“

Баснописецъ прямо пошелъ обѣдать въ рай. На это шуточное произведеніе, которое должно было разсердить многихъ, Батюшковъ и смотрѣлъ какъ на шутку. „Этакіе стихи слишкомъ легко писать и чести большой не приносятъ“—говорилъ онъ ¹⁾. Но онъ интересовался тѣмъ впечатлѣніемъ, которое должно было произвести „Видѣніе“ между петербургскими литераторами и спрашивалъ о томъ Гнѣдича. „Замѣть, кто всѣхъ глупѣе, тотъ болѣе и прогнѣвается“ ²⁾. Онъ собирався помѣстить въ „Видѣніи“ Висковатаго, Станевича, Захарова, Шаховскаго и др., „но Карамзина, писалъ онъ, я топить не смѣю, ибо его почитаю...“ ²⁾ Я бы могъ написать все гораздо алѣе..., но убожался, ибо тогда не было бы смѣшно“ ³⁾.

Естественно, что Батюшковъ не могъ высоко ставить свое литературное призваніе, именно потому, что оно было безцвѣтно и не могло приносить пользы обществу, которому вовсе не нужны были стихи въ классическомъ вкусѣ: „Я гривны не дамъ за то, чтобы быть славнымъ писателемъ, ниже Расиномъ, а хочу быть счастливымъ“ ⁴⁾. Оттого, что литературная дѣятельность не имѣла у Батюшкова определенной цѣли, на него находять сомнѣніе и тоска: „Я теперь-то чувствую, что дарованію нужно побужденіе и одобреніе; бѣда, если самолюбіе заснетъ, а у меня вздремало. Я становлюсь въ тягость себѣ и ни къ чему не способенъ. Не знаю, въ прокъ ли то раннія несчастія и опытность? Бѣда, когда разумка не прибавятъ, а сердце высушатъ. Я пилъ горести, пью и буду пить. Если бъ ты зналъ, какъ мнѣ скучно“ ⁵⁾. Въ выборѣ дѣятельности онъ не знаетъ на чемъ остановиться, а ему только 22 года. Служить онъ считаетъ необходимою, ибо безъ службы у него нѣтъ средствъ для жизни; но гдѣ и какъ? Просить и хлопотать о себѣ препятствуетъ гордость. То ему хочется въ иностранную миссію, въ Италію, то просто путе-

¹⁾ Ib., стр. 227.

²⁾ Ibidem, стр. 230.

³⁾ Ibidem, стр. 230.

⁴⁾ Ib., стр. 234.

⁵⁾ Ib., стр. 220.

шествовать, то снова смѣется онъ надъ своими планами и намѣреніями. „Съ моею *дѣятельностію* и лѣтнью, говоритъ Батюшковъ, я буду совершенно несчастливъ въ деревнѣ, и въ Москвѣ и вездѣ“... ¹⁾ Онъ жалуется, что предъ этимъ служилъ онъ неочастливо, служилъ изъ за креста и того не получилъ. „Если я проживу еще десять лѣтъ, то сойду съ ума. Право жизнь скучна, ничего не утѣшаетъ. Время летитъ то скоро, то тихо, ала болѣе, нежели добра; глупости болѣе, нежели ума; да что и въ умѣ?.. Въ домѣ у меня такъ тихо, собака дремлетъ у ногъ моихъ, глядя на огонь въ печкѣ; сестра въ другихъ комнатахъ перечитываетъ, я думаю, старыя письма... Я сто разъ бралъ книгу и книга падала изъ рукъ. Мнѣ не грустно, не скучно, а чувствую что-то необыкновенное, какую-то душевную пустоту... Что дѣлать?..“ ²⁾ Холодомъ грусти и безотраднымъ отчаяніемъ вѣетъ отъ этой небольшой картинки въ русскомъ вкусѣ, гдѣ изображается тоска души, неудовлетворяемой дѣйствительностію. А еще говорятъ, что Батюшковъ былъ потомъ изящнаго довольства и наслажденія жизни. Скорѣе передъ нами крупный образчикъ представителя тоскующихъ поколѣній, какихъ немало выработывала русская жизнь. Это полная неудовлетворенность: ни дѣятельности, ни цѣли, ни намѣреній. Батюшковъ, отъ скуки, начинаетъ читать метафизику. Онъ собирается въ Москву, затѣмъ на Кавказскія минеральныя воды. „Путешествіе сдѣлалось потребностію души моею,“—пишетъ онъ къ Гнѣдичу ³⁾. Это убѣжище отъ скуки.

Получивъ, какъ кажется, деревенскій оброкъ, что давало ему средства и освобождало отъ необходимости жить въ глуши, Батюшковъ въ декабрѣ 1809 года поѣхалъ въ Москву, гдѣ жило родственное ему семейство Муравьевыхъ: вдова его дяди съ дѣтьми. Муравьева давно вызывала его изъ деревенскаго бездѣйствія; дѣти ея были еще малы и Батюшковъ, въ качествѣ родственника былъ необходимъ въ семьѣ, къ которой привязывала его благодарность за заботы о дѣтствѣ его. На К. Ѳ. Муравьеву онъ смотрѣлъ, какъ любящій сынъ, а письма его къ ней изъ послѣдующаго времени свидѣтельствуютъ о той глубокой привязанности, какую питалъ онъ къ ней и ея дѣтямъ. Священнымъ долгомъ считалъ онъ изданіе сочиненій своего дяди, которое и выполнилъ потомъ. Кромѣ Муравьевой, Батюшковъ нашелъ въ Москвѣ въ эту пору Жуковского, Вяземскаго, которые потомъ познакомили его съ Дашковымъ, Блудовымъ, ввели къ Карамзину и Дмитріеву.

¹⁾ Ibidem. стр. 223.

²⁾ Ib., стр. 224.

³⁾ Ib., стр. 234.

ЛЕБЦІЯ XI.

Батюшковъ въ Москвѣ. — Поступленіе въ военную службу. — Посланіе къ Дашкову. — Походъ въ Европу.

Съ годъ прозялъ Батюшковъ въ Москвѣ и это время считалъ счастливѣйшимъ въ своей жизни, всегда вспоминая его и сожалея о немъ: „Какъ мы перемѣнились съ онаго счастливаго времени, пишетъ онъ въ 1814 году къ Жуковскому, когда у Дѣвичьяго монастыря ты жидъ съ музами въ сладкой бесѣдѣ! Не узнаю, былъ ли ты тогда счастливъ, но я думаю, что это время моей жизни было счастливѣйшее: ни заботъ, ни попеченій, ни предвидѣнія! Всегда съ удовольствіемъ живѣйшимъ вспоминаю и тебя, и Вяземскаго, и вечера наши, и споры, и шалости, и проказы. Два вѣка мы прожили съ того благополучнаго времени“...¹⁾ Въ самомъ дѣлѣ, послѣ однообразія и скуки деревенской жизни, съ достаточными средствами въ карманѣ, Батюшковъ, очутився въ тогдашней веселой Москвѣ, а ему было только 23 года! Его ждали здѣсь новыя литературныя связи и дружба. Въ домѣ Муравьевой онъ познакомился съ Карамзинимъ, который смотрѣлъ на эту замѣчательную женщину, мать трехъ братьевъ декабристовъ, съ чувствомъ глубокаго уваженія, какъ на жену своего благодѣтеля. Карамзинъ познакомилъ его съ Дмитріевимъ, Жуковскій и Вяземскій—съ Блудовимъ и Дашковымъ. Составился такимъ образомъ близкій и тѣсный кружокъ писателей-друзей, вдали однако отъ другихъ представителей литературы, кружковъ съ болѣе возвышенными стремленіями людей единомысленныхъ. Этотъ кружокъ людей мыслящихъ и преданныхъ литературѣ былъ дороже всѣхъ удовольствій Москвы для Батюшкова,

„Который посреди разсѣяній столицы
Тихонько замѣчалъ характеры и лица
Забавныхъ москвичей,
Который съ годъ зѣвалъ на балахъ богачей.
Зѣвалъ въ концертѣ и въ собраніи,
Зѣвалъ на скачкѣ, на гуляньи,
Вездѣ равно зѣвалъ,
Но дружбы и тебя нигдѣ не забывалъ“²⁾.

И съ прежнимъ петербургскимъ другомъ своимъ и товарищемъ походовъ—Петинимъ, который лѣчился отъ ранъ, встрѣтился Батюшковъ въ Москвѣ³⁾. Плодомъ этого пребыванія Батюшкова въ Москвѣ,

¹⁾ Рус. Арх. 1867 г. стр. 1468.

²⁾ „Прогулка по Москвѣ“.

³⁾ Москвитянинъ 1851 г., № 5, стр. 14.

может служить небольшое произведение, не вошедшее въ собраніе его сочиненій и найденное впоследствии въ бумагахъ, оставшихся послѣ Оленина. „Прогулка по Москвѣ“¹⁾ По всей вѣроятности это было письмо къ Гнѣдичу, который и передалъ его Оленину.

Умъ и наблюдательность, съ замѣчательнымъ искусствомъ представившіе контрасты Москвы и ея общества, которыми она всегда отличалась, сквозятъ здѣсь въ каждой строчкѣ, не смотря на то, что Батюшковъ вовсе не думалъ объ описаніи Москвы, и сообщилъ другу въ письмѣ нѣсколько отрывочныхъ наблюденій. Онъ оправдывается тѣмъ, что не имѣетъ никакихъ свѣдѣній для подробнаго описанія Москвы и притомъ страшно лѣнивъ для этого дѣла: „И такъ, мимоходомъ, странствуя изъ дома въ домъ, съ гулянья на гулянье, съ ужина на ужинъ, я напишу нѣсколько замѣчаній о городѣ и о нравахъ жителей, не соблюдая ни связи, ни порядку“... Но сколько въ этихъ наброскахъ ума и таланта! Въ такихъ-то именно сочиненіяхъ и въ письмахъ въ особенности надобно искать Батюшкова настоящаго; а не въ стихотворныхъ изліяніяхъ классическаго эпикуреизма, въ которыхъ не было ничего общаго съ окружавшемъ его русскою жизнію.

Москва, какъ всегда, представляла и въ то время для Батюшкова, странное смѣшеніе противоположностей. Мѣстное наблюденіе ихъ составляетъ всю сущность характеристики. „Странное смѣшеніе древняго и новѣйшаго зодчества, нищеты и богатства, нравовъ европейскихъ съ нравами и обычаями восточными! Дивное, непостижимое сліяніе суетности, тщеславія и истинной славы и великолѣпія, невѣжества и просвѣщенія, людскости и варварства. Не удивляйся, мой другъ. Москва есть вывѣска или живая картина нашего отечества... Петръ Великій много сдѣлалъ и ничего не кончилъ“. Съ удивительною наблюдательностію, Батюшковъ подмѣтилъ ту общую подражательность Европѣ, которой страдало тогдашнее русское общество и выставилъ нѣсколько типовъ этихъ подражателей англичанамъ нѣмцамъ, французамъ... „Отчего же они всѣ хотятъ прослыть иностранцами, спрашиваетъ онъ, картавятъ и кривляются? — отчего? Я на это буду отвѣчать послѣ“... Къ сожалѣнію этого отвѣта нѣтъ въ сочиненіяхъ Батюшкова, а очевидно, что онъ могъ бы дать его. „Вотъ большая карета, которую насилу тянетъ четверня: въ ней чудотворный образъ, передъ нимъ монахъ съ большою свѣчей. Вотъ старинная Москва и остатки древняго обряда прародителей... Посторонись! Этотъ ландо насъ задавить: въ немъ сидитъ щеголь и красавица; лошади, лакей, кучера — все въ послѣднемъ вкусѣ.

¹⁾ Рус. Арх. 1869 г. стр. 1191—1208.

Вотъ и новая Москва, новѣйшіе обычаи!.. Москва до пожара 12 года представляла много оригинальныхъ типовъ, теперь давно исчезнувшихъ. Сюда прѣзжали на отдыхъ послѣ честолюбивой карьеры въ Петербургѣ, которая вдругъ почему либо прекратилась; сюда прѣзжали наслаждаться жизнью послѣ широкаго и безнаказаннаго грабительства въ провинціи. „Здѣсь мы видимъ тѣни великихъ людей, говоритъ Батюшковъ, которые, отыгравъ важныя роли въ свѣтѣ, заново прогуливаются въ Москвѣ. Многие изъ нихъ пережили свою славу. Eheu fugaces“!.. Вотъ изображеніе одного изъ этихъ великихъ людей, проживающаго громадное состояніе: „Здѣсь предъ нами огромныя палаты, съ высокими, мраморными столбами, съ большимъ подъѣздомъ. Этотъ домъ открытъ для всякаго... Хозяинъ цѣлый день зѣваетъ у камина, между тѣмъ, какъ вокругъ его все въ движеніи, роговая музыка гремитъ на хорахъ, вся челядь въ гадунахъ, и роскошь опрокинула на столъ полный рогъ изобилія. Въ этомъ человѣкѣ всѣ страсти исчезли, его сердце, его умъ и душа вносились и обветшали“... Или вотъ еще картина изъ жизни старинныхъ москвичей: „Большой дворъ, заваленный сорожъ и дровами, позади огородъ съ простыми овощами, а подъ домомъ большой подъѣздъ съ перилами, какъ водилось у нашихъ дѣдовъ. Войдя въ домъ, мы могли бы увидать въ прихожей слугъ оборванныхъ, грубыхъ и пьяныхъ, которые отъ утра до ночи играютъ въ карты. Комнаты безъ обоевъ, стулья безъ подушекъ, на одной стѣнѣ большіе портреты въ ростъ царей русскихъ, а напротивъ Юдью, держащая окровавленную голову Олоферна надъ большимъ серебрянымъ блюдомъ, и обнаженная Клеопатра съ большой змѣей—чудесныя произведенія кисти домашняго маляра. Сквозь окна мы можемъ видѣть столъ, на которомъ стоятъ щи, каша въ горшкахъ, грибы и бутылки съ квасомъ. Хозяинъ въ тулупѣ, козляка въ салопѣ, по правую сторону приходской попъ, приходской учитель и шутъ, а по лѣвую толпа дѣтей, старуха колдунья, мадамъ и гувернеръ изъ нѣмцевъ. О! Это домъ стараго москвича, богомольнаго князя, который помнитъ страхъ Божій и воеводство“... Или вотъ еще старинный московскій типъ: „Посторонитесь! Посторонитесь! Дайте дорогу кумъ-болтунѣ—спорщицѣ, пожилой бригадиршѣ, жарко нарумяненной, набѣленной и закутанной въ черную мантилью. Посторонитесь, вы господа, и вы, молодые дѣвушки! Она вашъ Аргусъ неуспынный, вапа совѣсть, все знаетъ, все замѣчаетъ и завтра же поѣдетъ рассказывать по монастырямъ“... Еще нѣсколько подобныхъ типовъ замѣчаетъ Батюшковъ; ихъ было конечно множество: „Самый Лондонъ бѣднѣе Москвы по части нравственныхъ карриатуръ—замѣчаетъ онъ. Здѣсь всякій можетъ дурачиться, какъ хочетъ, жить и умереть чулакомъ“... Москва

въ ту пору была рудникомъ для комедіи нравовъ и Батюшковъ не пропустилъ замѣтить это: „Какое обширное поле для комическихъ авторовъ, говоритъ онъ и какъ они мало чувствуютъ цѣну собственной неистощимой руды!“ Къ сожалѣнію, русская литература была далека тогда отъ жизни и не понимала ея; только лѣтъ тринадцать спустя комедія Грибоѣдова овладѣла нѣкоторыми московскими типами. Въ ту пору господствовало сентиментальное направленіе, которое витало въ заоблачныхъ сферахъ и презрительно относилось къ жизни. Батюшковъ очень умно смѣется надъ тогдашними „модными писателями, которые, по словамъ его, проводятъ цѣлыя ночи на гробахъ и бѣдное человѣчество пугаютъ привидѣніями, духами, страшнымъ судомъ, а болѣе всего своимъ слогомъ... и предаются мрачнымъ разсужденіямъ о бренности вещей, которыя позволено дѣлать всякому въ *мышиномъ отъкъ меланхоли*“... О книжной торговлѣ въ Москвѣ Батюшковъ говоритъ, что въ этомъ городѣ есть „фабрика переводовъ, фабрика журналовъ и фабрика романовъ“, и что онъ боится заглянуть въ книжную лавку, „ибо къ стыду нашему думаю, что ни у одного народа нѣтъ и никогда не бывало столь безобразной словесности“... Признаніе весьма печальное для писателя, но вѣстѣ съ тѣмъ справедливое. Какъ же послѣ этого Батюшковъ смотрѣлъ на собственное свое призваніе и могъ ли онъ сколько-нибудь цѣнить его?

Москва для Батюшкова была самымъ своеобразнымъ городомъ; она не похожа ни на какой другой въ мірѣ. Это городъ крайностей и контрастовъ. „Здѣсь роскошь и нищета, изобиліе и крайняя бѣдность, набожность и невѣріе, постоянство дѣдовскихъ временъ и вѣтренность неимовѣрная, какъ враждебныя стихіи въ вѣчномъ несогласіи и составляютъ сіе чудное, безобразное, исполинское цѣлое, которое мы знаемъ подъ общимъ именемъ: *Москва*“...

Но эта безобразная масса страннаго города и общества жила только фиветивною, а не настоящею жизнію; послѣдняя только дается болѣе свободными государственными учрежденіями и участіемъ въ общихъ дѣлахъ. Избытокъ жизни уходилъ въ безобразія разнаго рода и кутежи, которыми славилась старинная Москва, о которыхъ оставили воспоминанія современники. Подъ этою фиветивною жизнію, подъ этими кутежами, какъ справедливо замѣтилъ и Батюшковъ, скрывались два фактора нашей жизни, издавна ее сопровождающіе: праздность и скука. „Праздность есть нѣчто общее, исключительно принадлежащее сему городу, говоритъ онъ; она болѣе всего примѣтна въ какомъ-то безпокойномъ любопытствѣ жителей, которые безпрестанно ищутъ новаго разсѣянія. Въ Москвѣ отдыхаютъ; въ другихъ городахъ трудятся менѣе или болѣе, и потому-то въ Москвѣ знаютъ скуку, со всѣми ея мученіями... Однимъ словомъ, здѣсь скуку можно

назвать великою пружиною: она поясняет много странныхъ обстоятельствъ“. Батюшковъ говоритъ, что недавно прїѣзжавшая въ Москву знаменитая трагическая актриса, госпожа Жоржъ, очень скоро наскучила большому московскому свѣту. „Сію холодность въ дарованіи издатель Русскаго Вѣстника готовъ приписать къ патриотизму; онъ весьма грубо ошибается“...

Надобно согласиться, что эти очерки Москвы, сдѣланные Батюшковымъ, даютъ намъ довольно ясное представленіе о его талантѣ и показываютъ, какъ могъ бы онъ обращаться съ дѣйствительностію и изображать ее, если бъ не мѣшали тому условія тогдашней литературы. Но не смотря на недовольство Москвою, не смотря на томившую его скуку, Батюшковъ былъ доволенъ своимъ пребываніемъ въ Москвѣ. Большая часть его прозаическихъ и стихотворныхъ переводовъ были напечатаны въ московскомъ журналѣ „Вѣстникъ Европы“ 1810 года. Но, вѣроятно, онъ не могъ найти въ Москвѣ приличной для себя дѣятельности и съ намѣреніемъ служить переѣхалъ въ Петербургъ въ январѣ 1812 года. По старой связи своей съ Оленинымъ, который былъ директоромъ Публичной библіотеки, Батюшковъ скоро получилъ въ ней мѣсто библіотекаря и сдѣлался товарищемъ по службѣ друга своего Гнѣдича и Крылова. Служба эта конечно была номинальная, что было легко при покровительствѣ Оленина. Нельзя же предположить, что Батюшковъ усердно занимался составленіемъ каталоговъ и разстановкою книгъ по полкамъ. Въ домѣ Олениныхъ, гдѣ собиралась та часть высшаго петербургскаго общества, которая интересовалась словесностію и искусствами, Батюшковъ сблизился, особенно при посредствѣ московскихъ друзей своихъ, съ Блудовымъ, Тургеневыми и Уваровымъ. Въ этомъ же домѣ онъ встрѣтилъ небогатую дѣвицу Фурманъ, которая скоро сдѣлалась предметомъ его сердечнаго влеченія. Последнее осталось неудовлетвореннымъ, намъ не извѣстно по какой причинѣ, и эта неудовлетворенность въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ имѣла свое невыгодное вліяніе на душу Батюшкова и бесполезно только раздражала его. Не былъ доволенъ Батюшковъ также и своею службою. Повидимому, она не удовлетворила его дѣятельности и недостаточно обезпечивала его, такъ какъ его отецъ, управляя материнскимъ имѣніемъ, немного вообще давалъ дѣтямъ отъ перваго брака.

Долго ли онъ служилъ въ библіотекѣ и когда вышелъ въ отставку—мы не знаемъ; извѣстно только, что въ августѣ 1812 года, незадолго до занятія Москвы французами, Батюшковъ былъ въ этомъ городѣ, вѣроятно для того, чтобъ быть при Муравьевой и оказать ей и ея семейству помощь, столь необходимую въ то трудное время, которое переживала Россія. Его друзей ужъ не было въ

Москвѣ. Батюшкову, что совершенно понятно, очень хотѣлось ска-
зать въ ту горячую пору въ армию, но ему нельзя было бросить на
произволь судьбы Муравьеву, какъ онъ писалъ вскорѣ послѣ Боро-
дина къ князю Вяземскому, который въ это время уѣхалъ съ своимъ
семьею отъ французовъ въ Вологду ¹⁾). Батюшкову пришлось прово-
жать Муравьеву изъ Москвы до Нижняго. Въ этомъ городѣ онъ про-
жилъ недолго, порываясь въ армию, гдѣ онъ, по словамъ его „хо-
тѣлъ жить физически“, гдѣ онъ надѣялся „забыть на время соб-
ственныя горести и горести друзей“ ²⁾).

Паденіе Москвы сильно отозвалось въ его сердцѣ. Подъ вліяніемъ
этого впечатлѣнія, онъ становился даже несправедливымъ: „Москвы
нѣтъ. Потери невозвратны! Гибель друзей, святини, мирное убѣ-
жище наукъ, все осквернено шайкою варваровъ. Вотъ плоды просвѣ-
щенія или, лучше сказать, разврата остроумнѣйшаго народа, кото-
рый гордился именами Генриха и Фенелона. Сколько зла! Когда бу-
детъ ему конецъ? На чемъ основать надежды? Чѣмъ насла-
ждаться“? ³⁾). Оставивъ и устроивъ Муравьеву и семейство ея въ Ниж-
немъ, Батюшковъ поѣхалъ въ Вологду, вѣроятно для свиданія съ
отцемъ и сестрами и для полученія денегъ, съ которыми надобно
было ѣхать въ армию. Ему довольно долго пришлось тогда по воз-
вратѣ прожить въ Нижнемъ, гдѣ собрались московскіе эмигранты.
Скука мучила его; его бездѣйствіе объясняется тѣмъ, что, поступивъ
снова въ военную службу, Батюшковъ назначенъ былъ адъютантомъ
къ генералу Бахметеву и долженъ былъ ждать, пока онъ вылѣчится
отъ ранъ, полученныхъ имъ въ Бородинскомъ сраженіи. Въ это время
написано было Батюшковымъ знаменитое посланіе къ Дашкову, въ
которомъ яркими красками выражается дѣйствительность и глубокое
чувство любви къ родинѣ, жившее въ груди поэта и стоявшее для
него тогда выше наслажденія и поэзіи:

„Мой другъ! Я видѣлъ море зла
И неба мстительнаго кары;
Враговъ неистовыхъ дѣла,
Войну и гибельныя пожары;
Я видѣлъ сонмы богачей,
Бѣгущихъ въ рубищахъ издранныхъ;
Я видѣлъ блѣдныхъ матерей,
Изъ милой родины изгнанныхъ!
Я на распутьи видѣлъ ихъ,

¹⁾ Русс. Арх. 1866 г., стр. 222.

²⁾ *Ib.*, стр. 223.

³⁾ *Ibidem.*

Какъ, къ персямъ чадъ прижавъ грудныхъ,
Онъ въ отчаяннѣ рыдалъ,
И съ новымъ трепетомъ взиралъ
На небо рдяное кругомъ“...

Разсказавъ свои ужасныя московскія впечатлѣнiя, когда онъ увидѣлъ Москву, опустошенную, разоренную, обгорѣлую, и тамъ, гдѣ прежде было величiе, роскошь и торжествующая святыня —

„Лишь угли, прахъ и камней горы,
Лишь груды тѣлъ кругомъ рѣки,
Лишь нищихъ блѣдныя полки
Вездѣ мои встрѣчали взоры!“...

Батюшковъ обращается съ упрекомъ къ своему другу за то, что онъ велитъ ему

...„пѣть любовь и радость,
Безпечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость;
Среди военныхъ непогодъ,
При страшномъ заревѣ столицы
На голось мнрвннхъ цѣвннцъ
Сзывать пастушекъ хороводъ“...

Подобный совѣтъ, если онъ дѣйствительно былъ данъ поэту Дашковымъ въ ту тяжелую пору, вовсе не рекомендуетъ послѣдняго и его развитiе. Дашковъ не понималъ Батюшкова, и поэтъ имѣлъ полное право презрительно отнестись къ его совѣту:

„Мнѣ пѣть коварныя забавы —
говорить онъ съ глубокимъ чувствомъ —

Армидъ и вѣтреныхъ цирцей
Среди могилъ моихъ друзей,
Утраченныхъ на полѣ славы!...
Нѣтъ, нѣтъ! талантъ погибни мой
И лира, дружбѣ драгоцѣнна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нѣтъ, нѣтъ! пока на полѣ чести
За древнiй градъ моихъ отцовъ
Не понесу я въ жертву мести
И жизнь и къ родинѣ любовь;
Пока съ избраненнымъ героемъ,
Кому извѣстенъ къ славы путьъ,
Три раза не поставлю грудь
Передъ враговъ сомкнутымъ строемъ
— Мой другъ, дотогдѣ будутъ мнѣ
Всѣ чужды музы и Хариты,
Вѣнки, рукой любви свиты,
И радость шумная въ винѣ!“

Но „израженный герой“, съ которымъ Батюшковъ долженъ былъ ѣхать къ арміи, т. е. Бахметевъ, не поправлялся; бездѣйствіе томилъ его и, по согласію съ своимъ начальникомъ, получивъ отъ него письмо, Батюшковъ рѣшился ѣхать въ извѣстному въ войну 1812 года генералу Раевскому, котораго и нагналъ въ Германіи. Остальную часть похода онъ сдѣлалъ при немъ, въ качествѣ его адъютанта. Ему пришлось участвовать въ сраженіи подъ Кульмомъ и при Лейпцигѣ. Въ последнемъ онъ потерялъ друга своей молодости Петина, который былъ убитъ на 26 году жизни. Эта смерть глубоко поразила его. Какъ нашелъ Батюшковъ мертвое тѣло своего друга и какъ онъ похоронилъ его въ небольшой нѣмецкой деревнѣ, по близости Лейпцига, обо всемъ этомъ онъ разсказалъ подробно въ своемъ „воспоминаніи о Петинѣ“¹⁾. Петинъ былъ дорогъ для Батюшкова „памятью сердца“; съ нимъ свѣдѣя онъ былъ не литературными и художественными интересами, а молодостью и воспоминаніями бывающей жизни. Его молодая смерть правилась Батюшкову. „Что терпимъ мы, умирая въ полнотѣ жизни, на полѣ чести, славы, въ виду тысячи людей, раздѣляющихъ съ нами опасность? спрашиваетъ онъ. Нѣсколько наслажденій краткихъ, но зато лишаемся съ ними и терзаній честолюбія, и сей опытности, которая встрѣчаетъ насъ на среднѣхъ путяхъ, подобно страшному призраку. Мы умираемъ; но зато память о насъ долго живетъ въ сердцахъ друзей, не помраченная ни однимъ облакомъ, чистая, свѣтлая, какъ розовое утро майскаго дня“...

Воспоминаніе о немъ осталось на всю жизнь. На кораблѣ, когда онъ плылъ на родину изъ Англіи, онъ вспомнилъ о немъ въ прекрасной элегіи „Тѣнь друга“, которая явилась ему въ мечтахъ:

„Но видъ не страшень былъ:
Чело глубокихъ ранъ не сохрaviaло,
Какъ утро майское веселіемъ цвѣло
И все небесное душѣ напоминало“...

Онъ вспомнилъ, какъ онъ хоронилъ Петина „съ мольбой, рыданьемъ и слезами“...

„Я ношу сей образъ въ душѣ, какъ залогъ священный; онъ будетъ путеводителемъ къ добру — говорилъ Батюшковъ впоследствии; съ нимъ неразлучный, я не стану блѣднѣть подъ ядрами, не измѣню чести, не оставлю ея знамени; здѣсь мнѣ осталось одно воспоминаніе о другѣ: воспоминаніе—прелестный цвѣтъ посреди пустыней, могилъ и развалинъ жизни.“

¹⁾ Москв. 1851 г., № 5 стр. 11—20.

Еслибы не скорбь о потерѣ друга, Батюшковъ былъ бы вполне доволенъ и окружающимъ его міромъ и своими впечатлѣніями и своею службою, въ которой онъ видѣлъ тогда высокое призваніе. Онъ шелъ за арміей, идущею освобождать Европу отъ рабства и отмстить кровную народную обиду. Передъ его глазами развѣртывались картины новыхъ, никогда не виданныхъ странъ, въ ушахъ звенѣлъ народный восторгъ. Съ какимъ чувствомъ онъ говоритъ о томъ, какъ поилъ своего боевого коня историческою волною Рейна въ торжественной элегіи „Переходъ черезъ Рейнъ“; передъ нимъ возникаютъ вѣковыя историческія воспоминанія:

„О, радости! Я стою при Рейнскихъ водахъ!
И жадные съ холмовъ въ окрестность бросаю взоры,
Привѣтствую поля и горы
И замки рыцарей въ туманныхъ облакахъ,
И всю страну, обильную славой,
Воспоминаемъ древнихъ дней,
Гдѣ съ Альповъ вѣчною струей
Ты льнешся Рейнъ величавый!“

Человѣку (однообразныхъ равнинъ и пустынныхъ пространствъ, который не натывается въ нихъ ни на какія историческія воспоминанія, были особенно дороги эти берега и волны Рейна, полные широкою жизнію прошедшаго. И передъ его жадными взорами мелькаютъ тѣни этого прошлаго: и римскіе легіоны, переходящіе, съ Цезаремъ во главѣ, его волны, и суровые рыцари подъ знаменемъ креста, и турниры, и пѣсни трубадуровъ въ нагорныхъ замкахъ. Все, на этихъ берегахъ

„И видъ полей, и видъ священныхъ водъ...
Для чувствъ и мыслей дерзновенныхъ,
И силу новую и крылья придаетъ“...

Но все это прошлое исчезаетъ для Батюшкова въ величіи настоящаго, того, что онъ самъ съ такою радостію переживаетъ въ душѣ:

„Мы здѣсь, сыны снѣговъ,
Подъ знаменемъ Москвы съ свободой и громами
Стеклись съ морей, покрытыхъ льдами,
Отъ струй полуденныхъ, отъ Каспія валовъ,
Отъ волнъ Улеи и Байкала,
Отъ Волги, Дона и Днѣпра,
Отъ града нашего Петра,
Съ вершинъ Кавказа и Урала!
Стеклись, нагрянули за честь твоихъ гражданъ,
За честь твердынь и сѣль и нивъ опустошенныхъ
И береговъ благословенныхъ“...

Надобно замѣтить, что для Батюшкова, да и вообще для того молодого поколѣнія, походъ этотъ, кровавый и торжественный, имѣлъ много образовательныхъ свойствъ. Люди сражались и учились въ Европѣ. Европейскій миръ дѣйствовалъ на побѣдителей своими политическими и образовательными началами, какъ порабощенная Греція на древнихъ Римлянъ. „Знаешь ли новую страсть? — пишетъ Батюшковъ къ сестрѣ — нѣмецкій языкъ. Я нынѣ, живучи въ Германіи, выучился говорить по-нѣмецки, и читаю все нѣмецкія книги; не удивляйся тому: Веймаръ есть отчина Гёте — сочинителя Вертера, славнаго Шиллера и Виланда“. Точно такъ же, едва войско вступило въ Шампаню, какъ Батюшковъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми пріятелями, отдѣлился отъ отряда и поскакалъ въ замокъ Сирей, гдѣ когда-то у Марквизы Шатле жилъ Вольтеръ, занимаясь Ньютоновой философіей и поэзіей подъ покровительствомъ дружбы своей прекрасной хозяйки, „чтобъ поклониться тѣнямъ Вольтера и его пріятельницы“. Имена ихъ „отъ дѣтства намъ драгоцѣнны“ — говоритъ Батюшковъ. Столовая Вольтера, гдѣ обѣдали русскіе офицеры, была украшена русскими знаменами. „Но мы утѣшили пугливыя тѣни сирейской нимфы и ея друга — говоритъ Батюшковъ, прочитавъ нѣсколько стиховъ изъ „Альзиры“. Послѣ обѣда они читали письма Вольтера, гдѣ онъ говоритъ о маркизѣ. Такимъ образомъ на исторической почвѣ Европы они находили дорогое ихъ духу — воспоминавія своего образованія и идеалы молодости. Еще больше впечатлѣній доставилъ Батюшкову Парижъ, куда въ теченіе двухъ вѣковъ, со времени Петровской реформы, стремились мысли всѣхъ образованныхъ нашихъ людей. Въ Парижъ вступилъ онъ торжественно съ войсками союзниковъ, на которыхъ сыпались тогда благословія вѣтренныхъ Парижанъ, измѣнившихъ побѣжденному и развѣнчанному корсиканцу, когда русскій генералъ былъ губернаторомъ Парижа и когда по бульварамъ его, по выраженію Батюшкова, „леталъ съ нагайкою козакъ“. Русскимъ французы невольно отдавали преимущество и ласкали ихъ, какъ побѣдителей: „Я, вашъ маленькій Тибуллъ, или проще капитанъ русской императорской службы, пишетъ Батюшковъ къ пріятелю своему Дашкову, что въ нынѣшнее время важнѣе, нежели бывший кавалеръ или всадникъ римскій (ибо, по словамъ Соломона, „живой воробей лучше мертваго льва“) ¹⁾... Эти люди, восторгаясь Парижемъ, гуляя по его бульварамъ, садамъ и площадямъ, посѣщая театры и музеи, куда Наполеонъ во время своего могущества свезъ всѣ лучшія художественныя произведенія всѣхъ завоеванныхъ странъ, присутствуя на засѣданіяхъ академій, эти люди, слѣпныя орудія исторической Немезиды, сами хорошенько не по-

¹⁾ Р. Архивъ 1867 г., стр. 1459.

нимали, что происходитъ передъ ними; они были какъ бы въ чадѣ. „Повѣрите-ли, пишетъ Батюшковъ, мы, которые участвовали во всѣхъ важныхъ происшествіяхъ, мы едва ли до сихъ поръ вѣримъ, что Наполеонъ исчезъ, что Парижъ нашъ, что Лудовикъ на тронѣ и что сумашедшіе соотечественники Монтескье, Расина, Фенелона, Робеспьера, Бутона, Дантона и Наполеона, поютъ по улицамъ: „Vive Henry quatre, vive le roi vaillant!“ Такія чудеса превосходятъ всякое понятіе. И въ какое короткое время, и съ какими странными подробностями, съ какимъ кровопролитіемъ, съ какою легкостію и легкомысліемъ! Чудны дѣла твоя, Господи!“ ¹⁾ Событія слѣдовали быстро другъ за другомъ и не давали опомниться. Батюшковъ жаловался на усталость, но жизнь его была полна и онъ доволенъ ею: „Ни одного дня истинно покойнаго не имѣлъ, пишетъ онъ Вяземскому. Безпрестанные марши, bivаки, сраженія, ретирады,... однимъ словомъ вѣчное безпокойство: вотъ моя исторія“ ²⁾... Изъ Парижа Батюшковъ проѣхалъ въ Англію, гдѣ пробылъ недолго, успѣвъ однако замѣтить консерватизмъ страны, которая „заваленная богатствами всего міра, иначе не можетъ поддержать себя, какъ совершеннымъ почитаніемъ нравовъ, законовъ гражданскихъ и божественныхъ“ ³⁾. И въ Англіи, и на кораблѣ его чувствовали, какъ русскаго. На морѣ онъ читалъ Гомера и Тасса „вѣрныхъ спутниковъ война“. Попавъ на берегъ Швеціи, онъ проѣхалъ по странѣ (тогда написалъ Батюшковъ элегію „На развалинахъ замка въ Швеціи“) и изъ Стокгольма, вмѣстѣ съ Блудовымъ, воротился въ іюль 1814 года въ Петербургъ.

ЛЕКЦІЯ XII.

Причины душевной тоски Батюшкова.—Выходъ въ отставку.—Арзамасъ.—Сближеніе съ Уваровымъ.—Поѣздка въ Италію.

Едва только Батюшковъ, послѣ участія въ мировыхъ событіяхъ и послѣ европейской жизни, столь полной для него новыми и глубокими впечатлѣніями, воротился въ Петербургъ, какъ имъ снова овладѣла та душевная тоска, которая его мучила въ деревнѣ, и томительная пустота жизни. Не думаю, чтобъ Батюшковъ относился сознательно и понималъ то реакціонное движеніе, которое начиналось тогда въ обществѣ и поддерживалось властію. Оно явилось нѣсколько

¹⁾ Ibidem, стр. 1457.

²⁾ Ibidem 1866 г., стр. 859—860.

³⁾ Письмо къ С. изъ Готенбурга отъ 19 іюня 1814 г.

поднѣ и не имѣло никакого отношенія къ литературной дѣятельности Батюшкова. Последнюю, какъ мы знаемъ, онъ почти вовсе не цѣнилъ, и не былъ доволенъ вообще своими литературными успѣхами, считая ихъ ничтожными. Его недовольство жизнью и обстановкою имѣло чисто личную причину. „Меня здѣсь (въ С.-Петербургѣ) ласкаютъ добрые люди, пишетъ онъ къ кому-то, а на розахъ, какъ авторъ, и на шипахъ, какъ человѣкъ. Успѣхи словесности ни къ чему не ведутъ, и ими восхищаться не должно. Тѣ, которые хвалятъ, завтра бранить будутъ. Ничего вѣрнаго не имѣю, кромѣ 400 р. дохода“ ¹⁾. Онъ числился все еще въ военной службѣ, но не имѣлъ никакихъ опредѣленныхъ занятій, а потому конечно тосковалъ, не удовлетворяясь своимъ положеніемъ. „Развѣ ты не знаешь, что мнѣ не посидится на мѣстѣ, что я сдѣлался совершеннымъ Калмыкомъ съ нѣкотораго времени,—пишетъ онъ къ Жуковскому,—и что другу твоему нуженъ *оюдолокъ*, какъ говоритъ Шишковъ, приставище, гдѣ онъ могъ бы дышать свободнѣе, въ кругу такихъ людей, какъ ты, напримѣръ. И много ли мнѣ надобно?“ ²⁾ Между тѣмъ Батюшковъ жалуется, что у него и этого немногаго нѣтъ и что на долю его выпали „однѣ заботы житейскія и горести душевныя, которыя лишаютъ всѣхъ силъ и способовъ быть полезнымъ себѣ и другимъ“ ³⁾. Недавно пережитое представляется ему неизмѣримо великимъ по сравненію съ тѣмъ, что его теперь окружаетъ: „Въ Парижѣ я вошелъ съ мечемъ въ рукѣ, говоритъ онъ. Славная минута. Она стоитъ цѣлой жизни“ ⁴⁾. Батюшковъ сравниваетъ судьбу лицъ, участвовавшихъ въ великихъ событіяхъ того времени, съ судьбою героевъ Гомера, постигнувъ ихъ послѣ поворенія Трои: „По истинѣ Одиссея! Мы подобны теперь Гомеровымъ воинамъ, разсѣяннымъ по лицу земному. Каждого изъ насъ гонитъ какой-нибудь мститель-богъ. Кого Марсъ, кого Аполлонъ, кого Венера, кого Фурии, а меня Скука. Самое маленькое дарованіе мое, которымъ подарила меня судьба, конечно въ гнѣвъ своею, сдѣлалось моимъ мучителемъ. Я вижу его бесполезность для общества и для себя. Что въ немъ, мой милый другъ? И чѣмъ замѣню утраченное время?“ ⁵⁾... [Онъ проситъ совѣта для жизни у Жуковского: „Скажи мнѣ, къ чему прибѣгнуть, чѣмъ занять пустоту душевную; скажи мнѣ, какъ могу быть полезенъ обществу, себѣ, друзьямъ?“ ⁶⁾. Удивительное и печальное

¹⁾ Р. Архивъ 1867 г., стр. 1467.

²⁾ Ibidem.

³⁾ Ibidem.

⁴⁾ Ibidem, стр. 1468.

⁵⁾ Ibidem.

⁶⁾ Ibidem, стр. 1469

время, когда человекъ съ умомъ, съ талантомъ, съ образованіемъ, не знаетъ, какую пользу онъ можетъ принести обществу, на какое полезное дѣло употребить свои духовныя силы. „Я оставляю службу по многимъ важнымъ для меня причинамъ, и не останусь въ Петербургѣ. Къ гражданской службѣ я не способенъ. Плутархъ не стыдился считать кирпичи въ маленькой Хероней: я не Плутархъ, къ несчастію, и не имѣю довольно философіи, чтобъ заняться бездѣлками. Что жъ дѣлать? Писать стихи? Но для того нужна сила душевная, спокойствіе, тысяча надеждъ, тысяча очарованій и въ себѣ, и кругомъ себя“¹⁾... Самое дорогое, по его словамъ, для него дѣло, были хлопоты объ изданіи сочиненій его дяди и благодѣтеля Муравьева, котораго онъ ставилъ очень высоко и какъ писателя и какъ человѣка, называя его Фенеломомъ. Онъ приглашалъ настойчиво къ этому дѣлу друга своего Жуковского. Не могли же удовлетворять его такіе стихи, какъ написанные имъ въ 1812 году, по заказу Нелединскаго-Мелецкаго „На выпускъ воспитанницъ Смольнаго монастыря“. Деревня, гдѣ жили его сестры и отецъ, также не могла наполнить той душевной тоски, которой страдалъ Батюшковъ. А между тѣмъ ему необходимо нужно было служить для того только, чтобъ имѣть средства. Въ Петербургѣ оставаться ему не хотѣлось, тѣмъ болѣе, что онъ сталъ жаловаться на испорченное здоровье, да и нужно было отказаться отъ женитьбы на любимой дѣвушкѣ, потому что, по собственному сознанію Батюшкова, онъ не могъ сдѣлать ее счастливою и по своему характеру, и по небольшому состоянію своему. Тотъ знакомый ему генералъ, съ которымъ онъ намѣревался въ 1812 году ѣхать изъ Нижняго въ армію, Бахметевъ, былъ въ это время генералъ-губернаторомъ на югѣ Россіи, въ Каменецъ-Подольскѣ. Батюшковъ поѣхалъ къ нему въ качествѣ адъютанта и уже съ начала іюля 1815 года былъ въ городѣ совершенно для него новымъ, но и здѣсь онъ даже на первыхъ порахъ не былъ доволенъ своимъ положеніемъ и повторялъ прежнія жалобы въ письмахъ къ близкимъ. Сначала, по европейскимъ привычкамъ, Батюшковъ и здѣсь обратилъ было вниманіе на мѣстность города, ея характеръ, на историческія воспоминанія, которыми довольно богатъ тотъ край: „Здѣсь, въ Каменцѣ, я вижу развалины замка и укрѣпленій турецкихъ, польскихъ и русскихъ; прогуливаюсь по ветхимъ бастионамъ и замѣчаю ихъ живописныя стороны. Виды развалинъ старой крѣпости и новыхъ укрѣпленій прелестны. ...Сколько воспоминаній историческихъ!“²⁾ говоритъ Батюшковъ, но они не удовлетворяютъ его,

¹⁾ Ibidem.

²⁾ Воспоминаніе мѣстъ, сраженій и путешествій.

и онъ переходитъ отъ нихъ къ болѣе свѣжимъ и къ болѣе дорогимъ ему воспоминаніямъ о недавнемъ европейскомъ походѣ. Скука начинаетъ его мучить снова; онъ жалуется, что „тянетъ день за днемъ, что читаетъ очень рѣдко, что тѣ книги, которыя онъ привезъ съ собою, составляютъ для него только тягость, что онъ всѣ перечиталъ ихъ, а въ Каменцѣ ничего, кромѣ календаря, достать нельзя. Онъ жалуется на недостатокъ общества, на то, что онъ въ теченіе шести недѣль не говорилъ ни съ одною женщиной.

„Всѣ мои радости и удовольствія въ воспоминаніи“ — пишетъ онъ къ Муравьевой. „Настоящее скучно, будущее Богу извѣстно, а прошедшее наше“ ¹⁾. А тоска по любимой дѣвушкѣ, которую онъ покинулъ добровольно, еще болѣе подливала горечи въ его сердце. Недовольный всѣмъ, онъ подалъ въ отставку и въ началѣ 1816 года выѣхалъ изъ Каменца. „Горестно я провелъ этотъ годъ“ ²⁾ — говоритъ онъ. Служебныя неудачи мучили его, а онъ самъ сознается и въ честолюбіи и въ суетности. Служить онъ хотѣлъ непремѣнно, но не умѣлъ ни на что рѣшиться и откровенно признавался, что самъ не знаетъ что будетъ дѣлать ³⁾.

Въ этотъ пріѣздъ въ Петербургъ, случайное счастье, казалось улыгнулось ему; онъ получилъ награду за походъ и былъ зачисленъ въ гвардейскій Измайловскій полкъ; говорили даже, что онъ будетъ назначенъ адъютантомъ къ в. к. Николаю Павловичу, но это не состоялось почему-то и снова въ письмахъ Батюшкова, единственномъ источникѣ для его біографіи, появляются непрерывныя, однообразныя жалобы на судьбу и на службу и нерѣшительныя заботы о томъ, чтобъ какъ-нибудь устроиться. Если судить по этимъ письмамъ, то у него не было въ эту пору никакого другого интереса, кромѣ совершенно личнаго. Продолжать военную службу Батюшковъ не желаетъ: „По всѣмъ моимъ расчетамъ я долженъ оставить службу, если захочу сохранить кусокъ насущнаго хлѣба и искру здоровья“ ⁴⁾... Это было понятно: съ раненою ногою онъ насилу могъ ходить. Служить на войнѣ онъ еще согласенъ, но „въ мирное время лучше заниматься своимъ дѣломъ, нежели безпрестанными бездѣлицами“ ⁵⁾... Онъ желалъ отставки, чтобъ „заниматься книгами и мараніемъ бумаги“ ⁶⁾. Его главное затрудненіе заключалось въ необезпеченности состоянія. Вышедши въ отставку изъ военной службы и получивъ

¹⁾ Русск. Арх. 1867, стр. 1480.

²⁾ Ibidem, стр. 1485.

³⁾ Ibidem.

⁴⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 1486.

⁵⁾ Ibidem, стр. 1488.

⁶⁾ Ibidem, стр. 1489.

мѣсто почетнаго бібліотекаря Публичной бібліотеки, Батюшковъ сдѣлался совершенно свободенъ для литературныхъ занятій, но не обезпеченъ въ денежномъ отношеніи. Въ это время онъ сталъ собирать свои стихи и прозу, которые и были изданы въ 1817 году подъ редакціей Гнѣдича, подъ названіемъ „Опыты“ — 2 т. Въ 1817 году Батюшковъ довольно долго прожилъ въ своей Вологодской деревнѣ. Онъ намѣревался тамъ писать и много писать: „Авось напишу что-нибудь путное и достойное людей, которые меня любятъ“¹⁾, но планы остались безъ исполненія. У него умеръ отецъ, оставившій разстроенныя дѣла; нужны были хлопоты, не имѣвшіе ничего общаго съ поэзіей; необходимо было устроить наслѣдство сестеръ. „До стиховъ ли?“ — спрашиваетъ Батюшковъ. Издавши свои „Опыты“, онъ интересовался мнѣніемъ Жуковскаго о нихъ и спрашивалъ его о томъ или другомъ произведеніи: „Понравился ли мой Тассъ? Я желалъ бы этого. Я писалъ его сгоряча, исполненный всѣмъ, что прочелъ объ этомъ великомъ челоѣкѣ. А Рейнъ?“²⁾. Очевидно, онъ считалъ эти поэтическія произведенія лучшими и въ самомъ дѣлѣ они были таковы. Впрочемъ, вообще онъ былъ правильнаго мнѣнія о своихъ произведеніяхъ и не обольщался ихъ достоинствами. „Что скажешь о моей прозѣ? спрашиваетъ онъ Жуковскаго. Съ ужасомъ дѣлаю этотъ вопросъ. Зачѣмъ я вздумалъ это печатать? Чувствую, знаю, что много дряни; самые стихи, которые мнѣ стоили столько, меня мучать. Но могло ли быть лучше? Какую жизнь я велъ для стиховъ! Три войны, все на конѣ, и въ мирѣ на большой дорогѣ. Спрашиваю себя: въ такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное? Совѣсть отвѣчаетъ: нѣтъ. Такъ зачѣмъ же печатать? Бѣда, конечно, не велика: побранять и забудутъ. Но эта мысль для меня убійственна; убійственна, ибо я люблю славу и желалъ бы заслужить ее, вырвать изъ рукъ Фортуны. Не великую славу, нѣтъ, а ту маленькую, которую доставляютъ намъ и бездѣлки, когда онѣ совершенны. Если Богъ позволитъ предпринять другое изданіе, то я все переправлю; можетъ быть напишу что-нибудь новое. Мнѣ хотѣлось бы дать новое направленіе моей крохотной Музѣ и область элегій расширить“³⁾... Скоро однакожъ заботы о здоровьи и желаніе убѣжать какъ можно дальше отъ всего окружающаго стали преобладать въ намѣреніяхъ Батюшкова. Постоянно жалуется онъ на свои болѣзни: то на грудь, то на ногу; говоритъ, что сѣверная зима убиваетъ его, и собирается лѣчиться на югъ Россіи: или на кавказскихъ водахъ или въ Крыму, а потомъ

¹⁾ Ibidem, стр. 1494.

²⁾ Русск. Арх. 1870, стр. 1712.

³⁾ Ibidem, стр. 1713.

мечтаетъ о путешествіи по Италіи. „Здѣсь, право, холодно во всѣхъ отношеніяхъ“—пишетъ онъ. Мысль объ Италіи стала въ особенности занимать его и, пріѣхавъ въ концѣ 1817 года въ Петербургъ, Батюшковъ началъ черезъ друзей своихъ хлопотать о томъ, чтобъ пристроиться къ какой-нибудь итальянской миссіи. Дѣло это, впрочемъ, не скоро было приведено къ желанному концу.

Въ Петербургѣ Батюшкова снова окружили литературные интересы. Въ это время туда переселился уже Карамзинъ, собиравшій вокругъ себя писателей однихъ съ нимъ убѣжденных. Арзамасское общество, куда приняли Батюшкова съ распростертыми объятіями, подъ именемъ Ахилла, было въ полномъ разгарѣ своей шутилой дѣятельности. У Жуковскаго тоже собирались по субботамъ друзья писатели и Батюшковъ познакомился на этихъ собраніяхъ съ новою, возникающею славою Пушкина, который писалъ тогда свою поэму „Русланъ и Людмила“ и читалъ изъ нея отрывки. Батюшковъ скоро замѣтилъ въ немъ поэтическій талантъ и, говорить, съ досадою слушалъ пьесы его, написанныя въ антологическомъ родѣ, томъ самомъ, въ которомъ и онъ былъ первымъ мастеромъ. Батюшковъ разглядѣлъ и всю вѣтренность Пушкина, и весь недостатокъ того пустого образованія, которое онъ вынесъ изъ Лицея и его увлеченіе разсѣянною жизнію въ свѣтѣ. „Сверчокъ что дѣлаетъ, спрашиваетъ онъ у Н. Тургенева. Кончилъ ли свою поэму? Не худо бы его запереть въ Геттингенъ и кормить года три молочнымъ супомъ и логикою. Изъ него ничего не будетъ путнаго, если онъ самъ не захочетъ. Потомство не отличить его отъ двухъ однофамильцевъ, если онъ забудетъ, что для поэта и человѣка должно быть потомство... Какъ ни великъ талантъ Сверчка, онъ его промотаетъ, если... Но да спасутъ его Музы и молитвы наши!“¹⁾ Къ этому же времени относится сближеніе Батюшкова съ Уваровымъ по одинаковости вкусовъ и любви къ изящной формѣ древняго классическаго, въ особенности греческаго міра. Уваровъ былъ дѣятельнымъ членомъ Арзамаса и въ его домѣ собирались его члены. Въ этихъ собраніяхъ, среди своихъ товарищей и друзей молодости, онъ забывалъ свое высокое положеніе въ свѣтѣ и оставилъ о нихъ живыя и теплыя, хотя, къ сожалѣнію, краткія воспоминанія. Между Арзамасцами Уваровъ былъ безспорно самый блестящій, самый ученый и самый богатый членъ, для котораго жизнь вполнѣ улыбалась: онъ съ дѣтства былъ ея баловнемъ. Говоря объ его учености, Батюшковъ въ стихотворномъ посланіи къ Уварову, пишетъ:

„Отъ древней Спарты до Аѣны,
Отъ гордыхъ памятниковъ Рима

¹⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 1534—35.

До стѣвъ Пальмиры и Солима
Умомъ ты міра гражданинъ“...

а о счастіи въ жизни:

„Тебѣ легко, ты награжденъ,
Благословенъ, взлетѣвъ Фебомъ;
Подъ сумрачнымъ родился небомъ,
Но будто въ Аттиѣ рожденъ“...

Этотъ впоследствии столь извѣстный въ царствованіе Николая Павловича министръ народнаго просвѣщенія, первый вводителъ у насъ системы классическаго образованія, въ широкомъ и благороднѣйшемъ ея значеніи, былъ и въ то время лицомъ важнымъ, сановникомъ, не смотря на свою молодость. Счастіе, казалось, стало улыбаться ему съ колыбели.

Происходя изъ не очень знатной, но богатой фамиліи, Сергѣй Семеновичъ Уваровъ имѣлъ дальнимъ родственникомъ своимъ любимца императоровъ Павла и Александра—Ө. П. Уварова и съ его помощію очень рано сдѣлалъ чрезвычайно блестящую карьеру. Уваровъ родился въ Петербургѣ, въ 1786 году и былъ воспитанъ дома, на французскій манеръ, аббатомъ Мантенеюмъ, собственно для жизни въ высшемъ кругу общества, къ которому принадлежалъ по рожденію. Красивый по наружности, ловкій въ обращеніи, онъ славился умнѣньемъ владѣть французскимъ языкомъ и писалъ на немъ съ удивительною легкостью и прозу и блестящіе стихи. Уваровъ вообще былъ одаренъ способностію къ изученію языковъ, но, владѣя обширнымъ умомъ, онъ рано понялъ, что изученіе языковъ даетъ прекрасныя средства для цѣлей болѣе широкихъ. Его любимымъ предметомъ сдѣлалась исторія, понимаемая вовсе не въ узкомъ смыслѣ, а какъ полная картина разносторонней цивилизаціи народовъ. Въ такомъ широкомъ смыслѣ онъ и изучалъ исторію. Не знаемъ, какими путями и какими средствами его молодое вниманіе остановилось на языкахъ классическихъ, которые, какъ средство для изученія древняго міра, сдѣлались его любимымъ занятіемъ. Новые языки, французскій, нѣмецкій, Уваровъ усвоилъ легко, съ дѣтства, въ домашнемъ воспитаніи. На нихъ онъ писалъ съ одинаковою легкостью; древніе языки пришлось изучать уже съ большимъ трудомъ и не вдругъ.

Свое служебное поприще Уваровъ началъ пятнадцати лѣтъ въ иностранной коллегіи. Въ 1806 году онъ былъ уже чиновникомъ по-сольства въ Вѣнѣ, а въ 1809 году секретаремъ при миссіи въ Парижѣ. Богатый, умный, образованный Уваровъ вездѣ за границею старался сближаться съ представителями науки и литературы, съ писателями, съ академиками. Какъ звалъ онъ современныхъ требова-

нія науки и на какой политической высотѣ стоялъ онъ, доказывается тѣмъ, что, подъ вліаніемъ тогдашняго стремленія филологіи къ Востоку, Уваровъ, понимая вмѣстѣ съ тѣмъ цивилизирующее призваніе Россіи на Востокъ, издалъ въ 1810 году по-французски: „Essai d'une académie asiatique“, мысли котораго онъ постоянно потомъ, будучи министромъ народнаго просвѣщенія, приводилъ въ исполненіе, основывая въ нашихъ университетахъ кафедръ восточныхъ языковъ и литературъ и поощряя занятія ими въ молодыхъ людяхъ. Сочиненіе это обратило на него вниманіе европейскихъ ученыхъ обществъ.

Въ русскомъ высшемъ обществѣ и по службѣ онъ сталъ выигрывать чрезвычайно выгодною женитьбою на дочери тогдашняго министра народнаго просвѣщенія, графа Разумовскаго, которая принесла ему, вмѣстѣ съ громаднымъ богатствомъ, блестящее положеніе въ служебной карьерѣ. Двадцати пяти лѣтъ отъ роду онъ былъ назначенъ попечителемъ Петербургскаго университета, въ 1811 году Петербургская академія наукъ выбрала его въ почетные члены свои, а въ 1818 году онъ получилъ званіе ея президента.

Сближеніе съ Академіей Наукъ, въ качествѣ ея почетнаго члена съ начала, а потомъ въ званіи президента, еще болѣе увеличили въ Уваровѣ любовь къ научнымъ занятіямъ и желаніе составить себѣ имя въ наукѣ. Всестороннее изученіе классическаго міра сдѣлалось любимымъ его занятіемъ. Издавая въ 1812 году свое новое сочиненіе, „Объ Элевзинскихъ таинствахъ“, Уваровъ высказалъ слѣдующій взглядъ свой на изученіе классическихъ языковъ, взглядъ, замѣчательный по глубинѣ своей и по широкому содержанію. „Изученіе древности, говоритъ онъ, не есть занятіе отдѣленное отъ другихъ: всякій разъ, когда оно поднимается выше мертвой буквы, это благородное изученіе становится исторією ума человѣческаго. Оно не только умѣстно во всѣхъ возрастахъ и во всѣхъ положеніяхъ жизни, но еще открываетъ уму столь обширное поле, что мысль съ удовольствіемъ тутъ останавливается, и хоть на короткое время забываетъ дѣйствія, неразлучныя съ великими переворотами политическими и нравственными“¹⁾. Въ Петербургскомъ университетѣ и въ Академіи Уваровъ сблизился съ профессоромъ греческаго языка и словесности Грефе, вызваннымъ имъ изъ-за границы. Плодомъ занятій Уварова съ нимъ явилось новое его сочиненіе въ 1817 году на нѣмецкомъ языкѣ „*Nonnos von Panopolis der Dichter*“, посвященное Гѣте. Это было историко-критическое изслѣдованіе объ александрийскомъ поэтѣ V вѣка, послѣднемъ греческомъ поэтѣ, въ которомъ умерла греческая поэзія въ избыткѣ силы и выраженія, а не въ старческомъ безиліи. Сочиненіе это было на-

¹⁾ Essai sur les mystères d'Eleusis. S.-Petersbourg 1812, Préface XI.

писано съ большою ученостію и прекраснымъ языкомъ. На другой годъ Уваровъ назначенъ былъ президентомъ Академіи Наукъ,—званіе чрезвычайно важное въ его лѣта, когда ему было только 32 года. Понятно, что человекъ съ такимъ пониманіемъ формъ классическаго міра и съ такимъ умомъ долженъ былъ обратить вниманіе на талантъ Батюшкова, именно съ его художественной стороны и подмѣтить въ Батюшковѣ особенное умѣнье выражать изящную, пластическую форму древней Греціи. Батюшковъ и Уваровъ встрѣтились въ домѣ Оленина, а сблизились на веселыхъ собраніяхъ Арзамаса. Плодомъ этого сближенія обоихъ была статья „О греческой Антологіи“, предназначавшаяся, по словамъ Уварова, для журнала предполагаемаго Арзамасомъ къ изданію, которое впрочемъ, не состоялось¹⁾. Статья вышла однако въ 1820 году отдѣльною брошюрою и потомъ стала помѣщаться въ изданіяхъ сочиненій Батюшкова, хотя текстъ въ ней, заключающій въ себѣ глубокое пониманіе мелкой антологической поэзіи древнихъ грековъ,—принадлежитъ Уварову. Батюшковъ собственно перевелъ 12 небольшихъ антологическихъ стихотвореній—съ французскаго; въ нихъ стихъ его и сочувствіе къ изящной греческой формѣ достигаетъ самаго блестящаго выраженія. Между тѣмъ Батюшковъ собирався въ Италію, надѣясь, что хлопоты друзей его доставятъ ему тамъ мѣсто при посольствѣ, хотя и смотрѣлъ на эту страну разочарованными глазами: „Я знаю Италію, не побывавъ въ ней—пишетъ онъ въ концѣ 1818 года къ Муравьевой. Тамъ не найду счастья: его нигдѣ нѣтъ; увѣренъ даже, что буду грустить о свѣгахъ родины и о людяхъ мнѣ драгоцѣнныхъ... Но первое условіе жить, а здѣсь холодно, и я умираю ежедневно“²⁾. Лѣтомъ этого года, по смерти отца своего, Батюшковъ весь занятъ былъ устройствомъ своихъ дѣлъ передъ предполагаемою поѣздкою. Она все-таки была отрадна для него. Но пока согласился на его опредѣленіе тогдашній министръ иностранныхъ дѣлъ, графъ Капо д'Истрія, пока это опредѣленіе было утверждено государемъ, время уходило и Батюшковъ, больной и тревожимый ожиданіями, рѣшился воспользоваться лѣтомъ для поѣздки въ Крымъ съ цѣлію излѣченія болѣзни. Эту поѣздку онъ сдѣлалъ съ Сергѣемъ Муравьевымъ-Апостоломъ, который провожалъ его до Одессы. Батюшкова, кромѣ вліянія и возможности вылѣчиться, манили въ Крымъ и на берега Чернаго моря воспоминанія исчезнувшихъ греческихъ городовъ, памятники древности, которые онъ надѣялся найти тамъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что развитію въ немъ любви къ классическому міру и пониманія его много содѣй-

¹⁾ Современ. 1851 г., № 6, стр. 38.

²⁾ Рус. Арх. 1867 г., стр. 532.

ствовавъ своими разговорами Уваровъ. Батюшковъ самъ сознаеть это: „Поклонитесь Уварову—пишетъ онъ къ А. Тургеневу изъ Полтавы.— Не могу утаить передъ вами, сколько я ему благодаренъ! Сколько я ему обязанъ за его вниманіе и снисхожденіе! Онъ ободрялъ меня, какъ поэта и человѣка, хвалилъ меня прежде чѣмъ узналъ, и узнавъ, конечно, полюбилъ. Ему обязанъ я лучшими минутами въ вашемъ Питерѣ, и воспоминаваніе о нихъ сохранию долго въ умѣ и сердцѣ“¹⁾. Въ Крымъ, впрочемъ, Батюшковъ не поѣхалъ и ограничился только купаньемъ въ морѣ въ Одессѣ, гдѣ ему было весело, и гдѣ у него было много знакомыхъ. Но и въ окрестностяхъ Одессы онъ нашелъ много классическихъ воспоминаній и древностей, о которыхъ пишетъ съ большимъ увлеченіемъ: „Здѣсь недавно я бродилъ по развалинамъ Ольвіи: сколько воспоминаній! Если успѣю, то сплещу сіи священные останки, сію могилу города, и покажу вамъ въ Петербургѣ... Я срисовалъ все, что могъ и успѣлъ. Жалѣю, что нашъ Карамзинъ не былъ въ этомъ краю. Какая для него пища! Можно гулять съ мѣста на мѣсто съ однимъ Геродотомъ въ рукахъ. Я невѣжда, и мнѣ весело. Что же должны чувствовать люди ученые на землѣ классической? Угадываю ихъ наслажденія“²⁾... Въ другомъ письмѣ Батюшковъ сообщаетъ Муравьевой: „Я недавно былъ на могилѣ Ольвіи; нашелъ множество медалей, вазъ, обломковъ и дышалъ тѣмъ воздухомъ, которымъ дышали Мелезійцы, Аѳинцы Азіи“³⁾. Оленину Батюшковъ предлагаетъ покупать для библіотеки вазы, медали и пр. Когда пришло, наконецъ, столь долго ожидаемое имъ опредѣленіе его при неаполитанскомъ посольствѣ, Батюшковъ успѣшилъ оставить Одессу и, заѣхавъ на короткое время въ деревню, чтобы проститься съ сестрами, пріѣхалъ въ Петербургъ. Къ Италиі и къ новой службѣ своей Батюшковъ готовился весьма добросовѣстно. Онъ покупалъ книги по географіи, исторіи, литературѣ Италиі, просилъ о помощи въ этомъ отношеніи у Н. Тургенева и у чрезвычайно развитого молодого родственника своего, Никиты Муравьева. Въ ноябрѣ того же года онъ уѣхалъ въ Неаполь.

О трехлѣтнемъ почти пребываніи Батюшкова въ Неаполѣ, о томъ, что онъ могъ написать тамъ, мы не имѣемъ положительныхъ свѣдѣній. Съ отъѣздомъ его въ Неаполь, повидимому, прекратилась его литературная дѣятельность. Передъ нами только три короткія письма его къ А. Тургеневу, Уварову и Жуковскому, написанныя еще въ 1819 году, т.-е. первомъ году неаполитанской жизни Батюшкова; далѣе уже недостаетъ извѣстій.

¹⁾ Ibidem, стр. 1518.

²⁾ Ibidem, стр. 1519—20.

³⁾ Ibidem, стр. 1523

Изъ писемъ этихъ видно, что Батюшковъ, кажется, былъ доволенъ своею неаполитанскою жизнью, хотя ни слова не говорилъ о своей службѣ и о своихъ занятіяхъ. Письма главнымъ образомъ наполнены вопросами о томъ, что дѣлается съ друзьями его на родинѣ, и о русской словесности. Батюшковъ жалѣеть, что не можетъ слѣдить за нею. Онъ проситъ Тургенева прислать „чего-нибудь русскаго, новостей книжныхъ, стиховъ и прозы“¹⁾... Онъ интересуется узнать, вышла ли въ свѣтъ поэма Пушкина, съ которою онъ познакомился въ отрывкахъ. Симпатіи его все направлены въ сторону родины и ея литературы. „Въ общества я заглядываю, какъ въ маскарадъ; живу дома, съ книгами; посѣщаю Помпею и берега залива, наставительные, какъ книга; страшусь только забыть русскую грамоту“— пишетъ Батюшковъ къ Уварову²⁾. „Я здѣсь, милый другъ, въ страхѣ забыть языкъ отечественный—пишетъ онъ то же самое къ Жуковскому—совершенно безъ книгъ русскихъ, и по нынѣшнему образу занятій моихъ, не часто заглядываю въ двѣ или три книги русскія, которыя ненарокомъ взялъ съ собою“³⁾... Описывая Жуковскому красоты неаполитанскихъ видовъ, которыя приводятъ его въ восхищеніе, Батюшковъ жалуется, что талантъ его слишкомъ слабъ, чтобы достойно описать эти великія зрѣлища. „Посреди сихъ чудесъ удивись переищѣ, которая во мнѣ сдѣлалась: я вовсе не могу писать стиховъ!“⁴⁾ Сохранился, но только въ памяти друзей, однако, отрывокъ, писанный въ 1819 году, гдѣ Батюшковъ поэтически обращается къ развалинамъ Байи, на берегу Неаполитанскаго залива⁵⁾. За то онъ рассказываетъ, что пишетъ „записки о древностяхъ окрестностей Неаполя“. „Мнѣ когда-нибудь послужить этотъ трудъ,—говоритъ онъ, ибо трудъ, я увѣренъ въ этомъ, никогда не потеряю“⁶⁾... Здоровье его не поправляется, не смотря на климатъ Италіи. Въ ней жалуется онъ на холодъ, но, повидимому, доволенъ собою и окружающимъ его. „Если прибавить, что я совершенно доволенъ моею участью, безъ роскоши, но выше нужды, ничего не желаю въ мірѣ; имѣю или питаю по крайней мѣрѣ надежду возвратиться въ отечество, обнять васъ и быть еще полезнымъ гражданиномъ, и это меня поддерживаетъ въ часы унынія“⁷⁾...

1) Соч. Батюшкова. Изд. 1850 г. т. I, стр. 358.

2) Ibidem, стр. 361—362.

3) Ibidem, стр. 364.

4) Ibidem, стр. 365.

5) Лонгиновъ. Библ. Зап. XXXV. Современ. 1857 г., № 3, стр. 823.

6) Соч. Батюшкова, изд. 1850 г., т. I, стр. 367.

7) Ibidem.

ЛЕКЦІЯ XII.

Душевная болѣзнь Батюшкова.—Причины ея.—Арзамасъ.—Шаховской и полемика противъ него.

Съ отъѣздомъ Батюшкова въ Италію въ 1818 году, т.-е. одновременно съ тѣмъ, какъ Жуковскій вступилъ въ свои придворныя обязанности, литературная дѣятельность его прекращается, и если что-нибудь и было имъ написано въ Италіи, то не дошло до насъ. Какъ извѣстно, скоро постигла его душевная болѣзнь, наслѣдственная въ семьѣ, но, вѣроятно, были къ ней и ближайшіе поводы, и объ этихъ-то поводахъ существуютъ разнорѣчивыя показанія. Мы не знаемъ даже опредѣленно, сколько времени прожилъ Батюшковъ въ Неаполѣ. Въ половинѣ 1820 года въ Неаполѣ, вслѣдствіе усилій карбонаровъ, произошло возстаніе. Король Фердинандъ I, изъ дома Бурбоновъ, возстановленный чужеземными штыками въ своемъ достоинствѣ въ 1815 году, послѣ казни Мюрата, долженъ былъ уступить теперь народному движенію и выдать либеральную конституцію. Но это не могло быть терпимо тѣми великими державами, которыя составляли Священный Союзъ. На конгрессахъ въ Троппау и Лайбахѣ, собравшихся именно по поводу революціи въ Неаполѣ, рѣшено было вооруженное вмѣшательство въ дѣла этого королевства. Короля пригласили въ Лайбахъ и въ мартѣ 1821 года онъ вступилъ, подкрѣпляемый австрійскими войсками въ свое королевство. Народное движеніе было подавлено, либеральная конституція уничтожена и началась самая сильная реакція, съ казнями и прочими ужасами, обыкновенно ее сопровождающими. Это время неаполитанской революціи было, конечно, весьма любопытнымъ временемъ для жизни и наблюденій. Но Батюшковъ въ началѣ 1821 года былъ уже въ Римѣ, выѣхавъ туда вѣроятно съ миссіей. „Батюшковъ пишетъ изъ Рима, сообщаетъ Карамзину Дмитріеву, что революція *малая* надоѣла ему до крайности. Хорошо, что онъ убрался изъ Неаполя бурнаго, гдѣ уже было, какъ сказываютъ, рѣзанье“¹⁾...

Италія не поправила его здоровья и, выѣхавъ въ началѣ 1821 г. изъ нея, онъ долженъ былъ лечиться на богемскихъ водахъ и вѣроятно не возвращался болѣе въ Неаполь. Съ водъ онъ переѣхалъ въ Дрезденъ, гдѣ прожилъ всю зиму, занимаясь мистикой и астрономіей и перевода трагедію Шиллера „Мессинскую невѣсту“, изъ которой въ его сочиненіяхъ напечатанъ только отрывокъ²⁾.

¹⁾ Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 304.

²⁾ König. H. Literarische Bilder aus Russland. 1837, S. 125.

Въ началѣ 1822 года онъ явился въ Петербургъ, полный болѣзненнаго раздраженія, въ состояніи близкомъ къ помѣшательству, подозрѣвая вездѣ враговъ, составившихъ противъ него союзъ, чтобъ уронить его славу. Онъ говорилъ, что ѣдетъ на Кавказъ или Крымъ. „Странный и жалкій меланхоликъ Батюшковъ ѣдетъ на Кавказъ“ — пишетъ къ Дмитріеву Карамзинъ въ маѣ 1822 г. ¹⁾. Въ петербургскомъ обществѣ говорили тогда, что помѣшательство Батюшкова произошло вслѣдствіе служебныхъ непріятностей; въ чемъ они состояли—неизвѣстно. „Недавно возвратился сюда изъ чужихъ краевъ К. Н. Батюшковъ, — пишетъ А. Е. Измайловъ 6 апрѣля 1822 года къ Дмитріеву въ Москву. Съ нимъ случилось величайшее несчастіе. Онъ, какъ говорятъ, почти помѣшался и даже не узнаеть коротко знакомыхъ. Это слѣдствіе полученныхъ имъ по послѣднему мѣсту непріятностей отъ начальства. Его упрекали тѣмъ, что онъ писалъ стихи, и потому считали неспособнымъ къ дипломатической службѣ“... ²⁾. Это извѣстіе подтверждается и послѣднею запискою Батюшкова къ Жуковскому, написанною, очевидно, уже въ болѣзненномъ состояніи, если подобная записка можетъ служить доказательствомъ. Въ ней Батюшковъ называетъ Нессельроде, тогда управляющаго министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, т.-е. своего главнаго начальника—своимъ убійцею. „Я ему никогда не прощу,—ни я, ни Богъ правосудный, ни люди добрые и честные“ ³⁾. Въ такомъ душевномъ состояніи Батюшковъ въ маѣ 1822 года вмѣсто Кавказа поѣхалъ въ Крымъ, гдѣ пробылъ около года. Что онъ тамъ дѣлалъ — намъ неизвѣстно. Есть извѣстія, что именно въ Крыму сумашествіе его достигло полнаго развитія, такъ что онъ нѣсколько разъ покушался на свою жизнь; но есть и другія противоположныя извѣстія. Пушкинъ пишетъ въ 1823 году брату своему изъ Кишинева: „Батюшковъ въ Крыму. Орловъ съ нимъ видался часто. Кажется мнѣ онъ *изъ ума шутитъ*“ ⁴⁾. Какъ бы то ни было изъ Крыма вернулся онъ въ безнадержномъ состояніи. Говорятъ, что употребляли много усилій для его излѣченія; пробовали музыку, но при ея звукахъ онъ приходилъ въ бѣшенство; возили его въ Пирну, въ извѣстное заведеніе для умалишенныхъ Зонненштейна, и все напрасно. Какъ извѣстно онъ прожилъ до 1855 года въ тихомъ помѣшательствѣ въ Вологдѣ у родныхъ. Пенсіонъ, назначенный ему государемъ Николаемъ Павловичемъ обезпечивалъ его положеніе.

¹⁾ Ibidem, стр. 329.

²⁾ Русск. Арх., 1871, 7 и 8, стр. 970—971.

³⁾ Ibidem, 1870 г., стр. 1718.

⁴⁾ Библиогр. Зап., I, стр. 14.

Существуютъ въ разказахъ и чисто нравственныя поводы къ его помѣшательству. Говорятъ, что онъ узналъ о существованіи заговора, который разразился черезъ нѣсколько лѣтъ катастрофою 14 декабря. Въ тайномъ обществѣ участвовали всѣ дѣти К. Ѳ. Муравьевой, на которую онъ смотрѣлъ какъ на родную мать и благотѣльницу и всѣ дѣти И. М. Муравьева-Апостола, котораго онъ уважалъ и какъ человѣка и какъ писателя. Всѣхъ этихъ молодыхъ людей, которые выросли на глазахъ его, ближайшихъ родственниковъ своихъ, Батюшковъ любилъ какъ родныхъ братьевъ, хотя они были нѣсколько моложе его. Его положеніе было затруднительно. Повидимому онъ не раздѣлялъ либеральныхъ стремленій своихъ родственниковъ, а выдать ихъ не могъ и по чувствамъ къ нимъ и по благородству своего характера ¹⁾. Впрочемъ въ такомъ разладѣ съ самими собою и съ убѣжденіями находились тогда многіе. Батюшковъ принадлежалъ, какъ мы знаемъ къ впечатлительнымъ и раздражительнымъ натурамъ; онъ и прежде пророчилъ себѣ сумашествіе, да и во времени, и въ обстоятельствахъ было такъ много элементовъ для того, чтобы помѣшательство казалось естественнымъ.

Какъ бы то ни было, нельзя не пожалѣть, что такая несчастная судьба постигла Батюшкова въ то время, когда ему было только 34 года и когда при лучшихъ, болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, онъ могъ бы многое еще сдѣлать для русской поэзіи и русской литературы. Мы нарочно останавливались на разнообразныхъ обстоятельствахъ его жизни, которыя тогда никому не казались странными въ обществѣ, останавливались для того, чтобы показать, какъ отъ этихъ обстоятельствъ зависѣлъ и талантъ его, и самое содержаніе его произведеній. Званіе писателя еще не пользовалось почетомъ и уваженіемъ въ обществѣ. Оно не давало собственно говоря ничего существеннаго человѣку, кромѣ развѣ уваженія и привязанности въ томъ интимномъ кругу друзей, одинаково настроенныхъ, который любилъ искусство и литературу. Человѣку-писателю нужно было искать другую какую-либо профессію, чтобы получить средства для жизни, но какую найти, чтобы она удовлетворяла писателя, чтобы онъ былъ доволенъ ею? Вопросъ затруднительный и мы видимъ, что Батюшковъ нѣсколько лѣтъ жизни посвящаетъ его разрѣшенію и все напрасно. Отсюда его постоянныя колебанія, недовольство собою и окружающимъ. Мы видѣли, что въ немъ былъ сильный, самобытный талантъ, что нельзя отказать ему ни въ умѣ, ни въ пониманіи дѣйствительности. Но различныя обстоятельства, житейскія и общественныя, мѣшали ему въ спокойномъ созерцаніи жизни, дѣлали это со-

¹⁾ Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 149.

зерцаніе порывистымъ, неустановившимся. Обстоятельства житейскія еще больше имѣли вліянія на Батюшкова, чѣмъ положеніе дѣль общественныхъ, въ которое онъ, повидимому, не вдумывался. Вѣчно безпокойная жизнь съ волненіями, происходящими то отъ болѣзни, то отъ неудовлетвореннаго честолюбія, выпала на его долю и помѣшала полному развитію его таланта. Онъ растратилъ свой талантъ то въ тревогахъ бивачной жизни, которая давала ему только мимолетныя впечатлѣнія, то въ кибиткѣ, скача изъ одного конца Россіи въ другой противоположный. Отъ того въ стихахъ Батюшкова, во всемъ направленіи его таланта замѣчается что-то недодѣланное, недосказанное. Сочувствіе его къ классическимъ формамъ и образамъ было случайное; оно вытекало не изъ его собственнаго непосредственнаго знакомства съ классическимъ міромъ, а подъ вліяніемъ личностей, близко знакомыхъ съ нимъ, съ которыми Батюшковъ сближался: Гнѣдича, И. М. Муравьева-Апостола, Уварова. Наслажденіе любовью и паеосъ сладострастія, которые обыкновенно считаютъ признаками „классической Музы“ Батюшкова, заимствованы имъ не изъ классическихъ, а изъ французскихъ поэтовъ, въ родѣ Парни, и какъ-то плохо вяжутся со всѣмъ знакомымъ намъ содержаніемъ его жизни. Образование его вообще было незавидно, какъ и у прочихъ нашихъ писателей. Саморазвитіемъ сдѣлаешь вообще мало, если школа не дала никакихъ идеаловъ, ни умственныхъ, ни нравственныхъ, ни политическихъ, а Батюшкову учиться приходилось или въ лагерѣ или въ кибиткѣ. Отъ этого въ его прозѣ, тамъ гдѣ онъ начинаетъ разсуждать о предметахъ общихъ, сколько-нибудь отвлеченныхъ, его рѣчь страдаетъ ограниченностію и пониманія и сужденія. Онъ обязанъ своими идеалами Карамзину, хотя и менѣе чѣмъ Жуковский. Въ то время, какъ молодой его родственникъ Никита Муравьевъ благородно и смѣло разбиралъ политическія тенденціи „исторіи государства російскаго“, Батюшковъ сравниваетъ свое впечатлѣніе при чтеніи исторіи Карамзина съ впечатлѣніемъ Фукидида, слушавшаго на Олимпійскихъ играхъ—Геродота:

„И я такъ плакалъ въ восхищеніи,
Когда скрижалъ твою читалъ,
И гевій твой благословлялъ
Въ глубокомъ сладкомъ умленьи“¹⁾.

Собственныя понятія о поэзіи у Батюшкова удаляли его отъ дѣйствительности: „Удались отъ общества, окружи себя природою, совѣтуетъ онъ поэту: въ тишинѣ сельской, посреди грубыхъ, неисторическихъ правовъ, читай исторію временъ протекшихъ, поучайся

¹⁾ „Карамзину“.

въ печальныхъ лѣтописяхъ міра, узнавай человѣка и страсти его, но исполнись любви и благоволенія ко всему человѣчеству: да будутъ мысли твои важны и величественны, движенія души твоей нѣжны и страстны, но всегда покорены разсудку, спокойному властелину ихъ"...¹⁾). Самое значеніе писателя у него только художественное; онъ пишетъ не для народа, не для общества. „Мы прибѣгаемъ къ искусству выражать мысли свои, говорить онъ, въ сладостной надеждѣ, что есть на землѣ сердца добрыя, умы образованные, для которыхъ сильное и благородное чувство, счастливое выраженіе, прекрасный стихъ и страница живой, краснорѣчивой прозы—суть сокровища истинныя"...²⁾). Такое убѣжденіе было общимъ, господствовавшимъ между лучшими образованными людьми нашими въ то время, между талантливыми, передовыми писателями.

Лучшимъ примѣромъ этой мысли и пустоты того содержанія, которое разрабатывала тогдашняя литература, совершенно чуждавшаяся общественныхъ вопросовъ, можетъ служить литературное общество „Арзамасъ“, о которомъ мы уже не разъ упоминали. Его обыкновенно связываютъ съ дѣятельностію Жуковского, и дѣйствительно, насколько можно судить по печатнымъ документамъ, Жуковский былъ самымъ дѣятельнымъ членомъ въ этомъ обществѣ, хотя первая мысль о немъ и оригинальное устройство принадлежатъ Блудову. Происхожденіе этого общества надобно искать въ тѣхъ литературно-критическихъ спорахъ, которые давно велись по поводу нападеній Шишкова на слогъ Карамзина; Арзамасъ былъ продолженіемъ этихъ споровъ и возникъ тогда, когда нападеніе противной стороны, къ которой принадлежали всѣ члены Шишковской и Державинской „Бесѣды“, принялъ личный характеръ. Самый Арзамасъ вслѣдствіе этого получилъ также личный характеръ, а потому преобладающими свойствами его были насмѣшливость и пародія. Напрасно поэтому современники, участвовавшіе въ этомъ обществѣ, стараются придать ему какое-то научное значеніе, сдѣлать его выраженіемъ строгой критики и пр. „Направленіе этого общества или, лучше сказать, этихъ пріятельскихъ бесѣдъ, было преимущественно критическое, говоритъ графъ Уваровъ. Лица, составлявшія его, занимались: строгимъ разборомъ литературныхъ произведеній, примѣненіемъ къ языку и словесности отечественной всѣхъ источниковъ древней и иностранныхъ литературъ, изысканіемъ началъ, служащихъ основаніемъ твердой, самостоятельной теоріи языка и пр.“³⁾ Такое представленіе о трудахъ

¹⁾ „Нѣчто о поэтѣ и поэзін“.

²⁾ Ibidem.

³⁾ Современ. 1851 г. № 6, II, стр. 38.

этого дружескаго общества, которое сохранилось въ памяти одного изъ вліятельнѣйшихъ членовъ его, преувеличено значительно. Конечно, большинство участниковъ Арзамаса были люди умные и образованные, но серьезной цѣли они не имѣли.

Арзамасское общество образовалось, какъ противодѣйствіе „Бесѣдъ любителей русскаго слова“, въ то время, когда послѣднія оканчивала уже свое существованіе и образовалось въ средѣ поклонниковъ Карамзина, котораго выбрали какъ бы невидимымъ вождемъ своимъ. Слѣдовательно, это было продолженіе прежняго спора между двумя литературными партіями старой и новой. Ближайшимъ поводомъ къ возникновенію самаго общества и къ выбору для него оригинальнаго названія „Арзамасъ“ послужили слѣдующія обстоятельства.

Между писателями, принадлежавшими къ партіи Шишкова и „Бесѣды“ — самымъ оригинальнымъ и самымъ живымъ лицомъ былъ князь Шаховскій, чрезвычайно плодовитый драматическій писатель, дѣйствовавшій на этомъ поприщѣ около полувѣка. О немъ намъ уже случалось говорить нѣсколько прежде. И Шаховскій воспитывался въ томъ же благородномъ пансіонѣ при Московскомъ университетѣ, гдѣ учился и Жуковскій, но былъ нѣсколько старше его (род. въ 1777 г.). Въротно, и онъ въ пансіонѣ получилъ любовь къ литературнымъ занятіямъ, подобно прочимъ, хотя и вышелъ изъ него для поступленія въ военную службу на шестнадцатомъ году. Въ гвардейскомъ полку, гдѣ Шаховскій служилъ, онъ продолжалъ образовывать себя, по его собственнымъ признаніямъ. Тогда уже онъ полюбилъ театръ и эта страсть заставила его оставить военную службу и поступить въ другую, которая вполне удовлетворяла его наклонностямъ — въ театральную дирекцію по репертуарной части. Русскій театръ и труппа въ Петербургѣ были тогда въ незавидномъ положеніи. Главное вниманіе театральнаго начальства, конечно, въ угоду большинства образованнаго общества, было обращено на французскій театръ, улучшить и устроить который заботились сильно. Эти заботы дирекціи дали возможность князю Шаховскому въ 1801 и 1803 годахъ сѣздить на казенный счетъ за границу, съ цѣлью приглашенія нѣкоторыхъ французскихъ актеровъ для пополненія труппы; это путешествіе развило и укрѣпило театральные вкусы князя Шаховскаго. Онъ видѣлъ лучшихъ представителей театральнаго искусства и съ тѣхъ поръ приобрѣлъ авторитетность въ этомъ дѣлѣ. Съ этихъ поръ онъ съ большою энергіею отдался усовершенствованію русскаго театра, который дѣйствительно любилъ. Имъ была задумана и устроена театральная школа, которая должна была приготавливать молодые таланты. Въ 1812 году Шаховскій снова поступилъ въ военную службу — въ ополченіе, но заграничныхъ походовъ не дѣлалъ и вскорѣ снова за-

чалъ прежнее мѣсто. Къ русскому театру онъ былъ привязанъ службою до 1826 года, но, и вышедши тогда въ отставку, до самой смерти своей въ 1846 году не охлаждѣвалъ къ драматической литературѣ и къ театральному искусству. Его литературная дѣятельность въ драмѣ, начавшаяся въ 1807 году, продолжалась почти до самой смерти его. Онъ писалъ много комедій и драмъ, число которыхъ доходить до ста и хотя эти театральныя пьесы Шаховскаго потеряли теперь всякое значеніе, въ виду, какъ измѣнившихся вкусовъ, такъ и самаго общества, но онѣ долго давались на сценѣ и были любимы. Не имѣя большихъ художественныхъ достоинствъ, все онѣ служатъ, однако, доказательствомъ какъ прекраснаго знанія условій театра, такъ и значительной наблюдательности со стороны Шаховскаго. Все они любопытны для исторіи общества.

Имя Шаховскаго, который сталъ писать въ самый разгаръ литературной и полемической борьбы между Шишковымъ и Карамзинистами, будучи членомъ Шишковскихъ собраний, а потомъ „Бесѣды“, сдѣлалось въ первый разъ извѣстнымъ въ литературѣ шуточною эпико-комическою поэмю „Расхищенные Шубы“, написанною довольно легкими стихами и не безъ одушевленной веселости. Такихъ пародій на эпическія поэмы писалось довольно въ XVIII вѣкѣ. Въ началѣ нашего вѣка появленіе ихъ у насъ, какъ и настоящей поэмы Шаховскаго объясняется вообще бѣдностью литературнаго содержанія. Содержаніе поэмы высказывается въ заглавіи. Это шуточный рассказъ о происшествіи, бывшемъ въ нѣмецкомъ клубѣ вълѣдствіе ссоры старшинъ между собою. По своему содержанію, поэма эта могла быть только прочитана и забыта, но нѣкоторую долговѣчность ей придали находящіяся въ ней выходы Шаховскаго противъ Карамзинистовъ и пародированіе стиховъ В. Пушкина въ посланіи его къ Жуковскому, что, конечно, не могло понравиться противной партіи, которая истила за себя также эниграммами и насмѣшливыми намеками на Шаховскаго въ своихъ стихотвореніяхъ. Въ эниграммахъ князь Шаховскій сталъ называться „злымъ Гашпаромъ“, по имени главнаго дѣйствующаго лица его поэмы, но общее его названіе было обыкновенно Шутовской.

Еще болѣе нерасположенія къ себѣ возбудилъ Шаховскій своею комедію „Новый Стернь“ (1805 г), въ которой онъ старался осмѣять не столько самого Карамзина, сколько малоталантливыхъ подражателей его чувствительности, именно родъ „сентиментальныхъ возжеровъ“ и въ особенности князя Шаликова. Слабая сторона карамзинскаго направленія, даже вычурный слогъ писателей этой школы, ихъ любимыя выраженія осмѣяны были довольно удачно. Конечно, въ сентиментальности, господствовавшей тогда въ литературѣ, былъ

дальнѣйшій шагъ въ развитіи гуманности, общество дѣлало нравственный успѣхъ и съ этой точки зрѣнія и защищались совершенно справедливо Карамзинисты, но здравый смыслъ не могъ не видѣть въ немъ и слабыхъ сторонъ.

Полемика послѣдователей Карамзина съ Шишковымъ прекратилась на время войны и великихъ событій, слѣдовавшихъ за 1812 годомъ, когда самъ основатель „Весѣды“, первый врагъ Карамзина былъ занятъ не тѣмъ. Но она неминуемо должна была возобновиться снова, такъ какъ порядокъ вещей остался все тотъ же и литературѣ не откуда было взять болѣе живое и глубокое содержаніе. Взаимные нападки продолжались, но остроуміе и настоящая насмѣшливость были на сторонѣ Карамзинистовъ, къ лагерю которыхъ невольно и естественно приставало все, что было талантливо и смотрѣло впередъ. Въ этомъ же лагерѣ появилось теперь два лица, получившія вдругъ большую извѣстность въ литературѣ: Батюшковъ и Жуковский, которые должны были скоро присоединить и свой голосъ къ прежней полемикѣ, потому что и образованіе ихъ и литературные вкусы — дѣлали ихъ сторонниками реформы, произведенной Карамзинимъ. Мы познакомились уже съ тѣми горячими нападками, которые въ дружескихъ письмахъ высказывалъ Батюшковъ на счетъ Шишкова и членовъ тогдашней Россійской Академіи. Въ его „Видѣніи на берегахъ Леты“ Шишковъ съ своею свитою игралъ главную роль. Конечно во всемъ этомъ не высказывалось полной приверженности къ манерѣ Карамзина, надъ преувеличеніями которой Батюшковъ смѣялся довольно зло, но за то очевидно было, что онъ вовсе не былъ на сторонѣ „Весѣды“. Съ другой стороны и Жуковский, до своего пріѣзда въ Петербургъ и до распространенія своей славы, воспитанный вѣстѣ съ сторонниками Карамзина—Блудовымъ, Дашковымъ, А. Тургеневымъ, и самъ привыкшій смотрѣть съ глубокимъ уваженіемъ на главу и вводителя у насъ сентиментальнаго направленія, съ которымъ его собственная мечтательность была въ непосредственной связи, необходимо долженъ былъ пристать къ противникамъ Шишкова и смѣяться надъ членами „Весѣды“ и ихъ сочиненіями. Онъ былъ соединенъ дружескими связями съ В. Пушкинымъ, который одновременно съ полемикою Дашкова въ журналѣ „Цвѣтникъ“ принялъ печатное участіе въ общемъ спорѣ своими двумя стихотвореніями „Посланіями“ (къ Жуковскому, 1810 г. и къ Дашкову—1811 года) и съ Вяземскимъ, зятемъ Карамзина, преслѣдовавшимъ враговъ его эпиграммами; въ своихъ дружескихъ посланіяхъ онъ и самъ не отказывалъ себѣ дѣлать злыя выходки противъ враждебной партіи. Шишковъ и въ его воображеніи представлялся противникомъ всего новаго и бессмысленнымъ приверженцемъ старины. Въ шутливомъ посланіи

къ Воейкову, написанномъ имъ въ 1814 году въ Долбинѣ, Жуковскій, рассказывая свои литературные сны и изображая въ забавномъ видѣ всю старую литературную партію, дольше всего останавливается на Шишковѣ и на его членахъ „Бесѣды“:

„Зрѣлъ въ ночи, какъ въ высотѣ,
Кто-то грозный и унылый,
Избоченясь на котѣ,
Ъхалъ рысью — въ шуйцѣ вилы,
А въ десницѣ грозный Икъ.
По-славянски котъ мяукалъ,
А внимающій старикъ,
Въ тактъ съ усмѣшкой Икомъ стукалъ!“¹⁾

Парнасъ забавно представленъ въ русскомъ вкусѣ и въ русской обстановкѣ:

„Фебъ въ ужасныхъ рукавицахъ,
Въ русской шапкѣ и котакъ,
Кичка на его сестрицахъ (т.-е. музахъ)!“

Амуры—въ стихаряхъ, хариты—въ черевичахъ; рядомъ съ старикомъ въ овчинѣ (т.-е. Шишковымъ) стоитъ Вкусъ съ бѣльмомъ, Фебъ играетъ въ гудокъ, а Мельпомена и Купидонъ пляшутъ голубца... Къ престолу старика... „подошли стихотворцы для присяги (все изъ „Бесѣды“):

Тѣ подъ мышками несли
Расписныя съ квасомъ флаги;
Тотъ тащилъ вису морщинъ,
Тотъ прабабушкину мушку,
Тотъ старинныхъ словъ кувшинъ,
Тотъ кавыкъ и юсовъ кружку,
Тотъ перину изъ бородъ,
Древле бритыхъ въ Петроградѣ,
Тотъ славянскій переводъ
Басенъ Дмитрева въ окладѣ.
Всѣ возрѣвъ на старину,
Персты въ верхъ и ставши рядомъ,
„Брань и смерть Карамзину!“
Грянули, сверкая взглядомъ.
„Зубы грѣшнику порвемъ;
Осрамимъ хребетъ строптивый,
Задъ во утро избѣемъ,
Намъ обиды сотворивый!“²⁾

¹⁾ Русск. Арх. 1864 г. стр. 920.

²⁾ Ibidem, стр. 919—922.

Насмѣшки эти доходили разумѣется до тѣхъ, къ кому онѣ относились и безъ сомнѣнія возбуждали въ врагахъ ненависть къ насмѣшнику.

Самое направленіе Жуковскаго въ поэзіи, которое принесло ему извѣстность, — мечтательность и такъ называемый романтизмъ не могли нравиться тѣмъ, которые нападали уже на Карамзина. Они справедливо видѣли въ Жуковскомъ не только сторонника Карамзина, но и продолжателя его направленія. Для друзей же своихъ Жуковскій сдѣлался новымъ кумиромъ, и они поклонялись ему.

Въ то время, когда Жуковскій, послѣ чрезвычайнаго успѣха своего „Пѣвца въ станѣ“ и патріотическаго „Послания къ императору Александру“, явился окруженный извѣстностію въ Петербургѣ, вызванный друзьями для придворной карьеры и обласканный дворомъ, у него было много тайныхъ и явныхъ враговъ. Жуковскій по внѣшнему виду и по характеру своего обращенія представлялъ изъ себя чрезвычайно скромную, даже запуганную натуру. Къ ней шло мечтательное содержаніе его поэзіи, и все это невольно вызывало насмѣшку въ тѣхъ, которые смѣялись надъ чувствительностію Карамзина. Самый злой ударъ нанесъ князь Шаховской въ своей комедіи „Урокъ кокеткамъ или Липецкія Воды“ (1815 г.), написанной и поставленной на сцену въ то самое время, когда Жуковскій наслаждался первою своею славой въ Петербургѣ. Поэтъ выставленъ въ смѣшной, хотя нѣсколько утрированной, какъ всякая пародія, фигурѣ жалкаго *балладника* Фіалкина, бесполезно ухаживающаго за петербургскою графиней — кокеткою и являющагося на сцену всегда со вздохами, стихами и гитарою за плечами. „Я выбралъ модный родъ балладъ“, говоритъ онъ графинѣ, желая прочитать посвященное ей свое стихотвореніе. Онъ даже поетъ на сценѣ балладу, очень напоминающую „Ахилла“ Жуковскаго и по размѣру и по выраженіямъ. Довольно близко изложено и то, что нужно автору, по понятіямъ Карамзина и Жуковскаго. Для поэта мало таланта, воображенія, познаній:

„Въ немъ сердце быть должно, которо бы изливало
Слезу горячую въ грудь друга своего;
Чтобы онъ чувствовалъ, чтобы чувствовалъ—какъ бьется
Любовью вѣщее; чтобы въ природѣ всей
Онъ видѣлъ милую, чтобы жилъ одною ей,
Чтобы тонкій вкусъ имѣлъ...
Чтобы въ скромной хижинѣ вмѣщалъ онъ цѣлый міръ;
И утро бы ему наивно улыбалось,
И веселилъ его одной природы пиръ“...

Баллады, родъ поэтическихъ произведеній, введенный въ вашу

поэзію Жуковскимъ, были жестоко осмѣяны. Фіалкинъ говоритъ про баллады:

„Ими я свой нѣжный вкусъ питаю;
И полночь и пѣтухъ, и звонъ костей въ гробахъ,
И чу! все страшно въ нихъ, но милымъ все приятно,
Все восхитительно, хотя невѣроятно“...

„И въ сказкахъ тоже гиль“—говоритъ на это слуга Семень. Это нападеніе было уже не въ бровь, а прямо въ глазъ.

Содержаніе новой комедіи Шаховскаго, примѣчательной, какъ многія изъ его драматическихъ произведеній и по языку и по характерамъ лицъ и по сценическому искусству, вѣроятно, было извѣстно въ литературныхъ кружкахъ. И Жуковский и друзья его рѣшились встрѣтить ударъ противника, какъ рыцари, лицомъ къ лицу. Вигель, въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ рассказываетъ, что всѣ они собрались въ театръ на первое представленіе, что положеніе Жуковскаго было весьма незавидно ¹⁾. Онъ старался казаться равнодушнымъ. Въ письмѣ къ роднымъ тогда же онъ пишетъ: „Здѣсь есть авторъ князь Шаховской. Извѣстно, что авторы не охотники до авторовъ. И овъ поэтому не охотникъ до меня. Вздумалъ онъ написать комедію и въ этой комедіи смѣяться надо мною. Друзья за меня вступились... Теперь страшная война на Парнасѣ. Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда бы и всѣ молчали—городъ раздѣлился на двѣ партіи, и французскія волненія забыты при шумѣ парнасской бури“ ²⁾...

ЛЕКЦІЯ XIV.

Возникновеніе и занятія Арзамаса.—Члены его.

Комедія князя Шаховскаго „Липецкія Воды или урокъ кокеткамъ“, въ которой довольно остроумно, хотя и преувеличенно, задѣта была личность Жуковскаго и его баллады, произвела въ 1815 году, за неимѣніемъ другого, болѣе живого и дѣйствительнаго содержанія, цѣлую литературную бурю. Друзья Жуковскаго взялись отомстить за оскорбленнаго поэта, и личность комика въ свою очередь подверглась ихъ нападеніямъ. Такъ, князь Вяземскій въ одномъ изъ тогдашнихъ петербургскихъ журналовъ ³⁾ въ статьѣ подъ названіемъ: „Письмо съ Липецкихъ водъ“, рассказавши скучное, по мнѣнію автора, со-

¹⁾ Русск. Вѣстникъ, т. LIV, стр. 172—173.

²⁾ Русск. Арх. 1864 г., стр. 894.

³⁾ *Россійскій Музеумъ*, 1815 года, № 12, стр. 257—265.

держаніе комедіи князя Шаховскаго, подѣ очень прозрачными намеками рисуетъ даже наружность комика, какъ лицо, пріѣхавшее вѣсть съ прочими на воды, его плѣшивый лобъ, его толстую фигуру и глумится надъ его литературными трудами и надъ тѣмъ обществомъ писателей, къ которому онъ принадлежалъ, т.-е. „Бесѣдою“, называя ихъ гагарами. Дашковъ также написалъ статью, подѣ названіемъ „Письмо къ новѣйшему Аристофану“¹⁾, гдѣ онъ на Шаховскаго вводитъ общее обвиненіе въ зависти къ литературнымъ успѣхамъ и къ талантамъ, говоритъ, что эта зависть погубила Озерова, что Шаховской, по своему вліанію на управленіе театромъ, заставляетъ всего чаще играть свои пьесы и мѣшаетъ успѣху другихъ²⁾. Множество эпиграммъ посыпалось тогда на Шаховскаго, какъ водится въ этихъ случаяхъ, и остроумныхъ и пошлыхъ; нашлись и защитники у него. Даже молодой Пушкинъ, который не оставлялъ еще тогда Лицея, принялъ, вѣроятно, по существовавшимъ уже у него тогда литературнымъ связямъ съ Жуковскимъ и друзьями его, участіе въ этой чернильной войнѣ, но впоследствии совершенно благоразумно отказался отъ этого увлеченія и раскаялся въ задорѣ³⁾.

Какъ бы то ни было, но изъ этой полемики, болѣе личной, чѣмъ общей, очевидно, что комедія Шаховскаго имѣла большой успѣхъ на сценѣ и давалась въ теченіе многихъ лѣтъ, хотя и потому возбуждала постоянно неблагопріятные отзывы молодыхъ литераторовъ⁴⁾. Друзья Жуковскаго даже, кажется, принудили Шаховскаго извиниться публично передъ оскорбленнымъ поэтомъ⁵⁾. Но Шаховской все-таки остался побѣдителемъ: публика была на его сторонѣ и наполняла театръ, когда давались „Липецкія воды“. „Бесѣда“ торжествовала.

Друзья Карамзина и Жуковскаго и сторонники новаго литературнаго направленія видѣли, что противники ихъ представляютъ компактное общество и дѣйствуютъ соединенными силами, въ которыхъ больше значенія, чѣмъ въ единичныхъ усиліяхъ. Тогда образовался „Арзамасъ“, названіе котораго произошло отъ шуточной статьи Блудова, которая не была напечатана: „Видѣніе во градѣ“; она была написана въ подражаніе пьесы аббата Мореле *La Vision*, направленной противъ комедіи Палиссо *Les philosophes*, гдѣ послѣдній осмѣивалъ личности и мнѣнія энциклопедистовъ. Вигель рассказываетъ, что Блудовъ ѣздилъ въ Оренбургскую губернію для полученія

¹⁾ *Сынъ Отеч.* 1815 г., № 42, стр. 140 и сл.

²⁾ *Лотниковъ*, „Библи. Зап.“ XIX, *Современникъ* 1856 г., № 7, стр. 11—15.

³⁾ *П. Антенковъ*. Матеріалы для біограф. Пушкина, т. I, стр. 22—23 и 56.

⁴⁾ *А. Бестужевъ*, въ *Сынѣ Отеч.* 1819, № 6, стр. 252—273.

⁵⁾ *Вяземскій*, „Мнѣніе посторонняго“. *Сынъ Отеч.* 1815 г., № 46, стр. 35.

наслѣдства и по дорогѣ, въ Арзамасѣ, гдѣ онъ остановился въ какомъ-то трактирѣ, въ смежной съ нимъ комнатѣ, собралось нѣсколько людей, и ему показалось, что они разсуждаютъ о литературѣ. Воспоминаніе объ этихъ разсужденіяхъ, конечно, забавныхъ, Арзамасскихъ, послужило содержаніемъ статьи. Она была написана библейскимъ слогомъ. Главное дѣйствующее лицо въ ней былъ князь Шаховской, рассказывающій въ магнетическомъ снѣ свои забавныя видѣнія о томъ, что происходило въ пустой залѣ дома Державина, т.-е. въ томъ мѣстѣ, гдѣ собирались члены „Бесѣды“. Сочиненіе это быстро распространилось и разумѣется дошло по адресу, особенно при существованіи и въ обществѣ литераторовъ, какъ и вездѣ, сплетниковъ. Оно, вѣроятно, и дало названіе обществу друзей Карамзина и Жуковскаго. Усиленію въ немъ вражды къ Шаховскому послужила еще смерть Озерова въ сумашествіи, которое объяснили интригами противъ него Шаховскаго.

Весьма дѣятельнымъ лицомъ въ этомъ начинавшемся походѣ противъ представителей старой литературной партіи, несмотря на свои спеціальныя занятія и высокое тогда положеніе въ обществѣ, оказался Уваровъ, который и безъ того былъ близокъ съ карамзинистами. Онъ также былъ немного задѣтъ въ комедіи Шаховскаго и имѣлъ право считать себя обиженнымъ. При томъ, ему хотѣлось и здѣсь первенствовать. Онъ и сдѣлалъ начало. Въ его домѣ было первое засѣданіе общества, собравшееся по его приглашенію и состоявшее изъ немногихъ сначала членовъ — въ октябрѣ 1815 года. На немъ составленъ былъ уставъ общества, не писанный, но сохранявшійся въ памяти; уставъ этотъ, въ противоположность уставамъ многихъ существовавшихъ въ ту пору литературныхъ обществъ и въ столицахъ и въ провинціи, отличался шутливостью и скорѣе походилъ на ихъ пародію. Прочія общества были утверждены властію; это, напротивъ, составляло свободное соединеніе людей, имѣвшихъ цѣлю позабавиться на счетъ литературныхъ своихъ противниковъ. Въ шуткѣ и пародіи самое дѣятельное участіе принималъ Жуковскій. Онъ придумывалъ забавныя параграфы устава и онъ же былъ чаще всего избираемъ въ секретари. По словамъ друзей его, онъ „какъ бы нарочно сотворенъ для сего званія“ ¹⁾. Жуковскій говорилъ, что „арзамасская критика должна ѣхать верхомъ на галиматьѣ“ ²⁾, — это уже даетъ понятіе о характерѣ засѣданій дружескаго общества. Сохранился даже одинъ протоколъ засѣданія Арзамаса, написанный Жуковскимъ стихами, разиѣромъ гекзаметра, но это было одно изъ послѣднихъ засѣданій ³⁾.

¹⁾ Дашковъ, Русск. Арх. 1866 г., стр. 499.

²⁾ Ibidem, стр. 500.

³⁾ Русск. Арх., 1868 г., стр. 830—838.

Другимъ, чаще прочихъ избираемымъ секретаремъ Арзамаса былъ главный виновникъ его Блудовъ. Что касается до предсѣдателя, то онъ выбирался по жребію въ каждое собраніе и не былъ безсмѣльнымъ. Чаще всего имъ бывали Уваровъ и Блудовъ, въ квартирахъ которыхъ, какъ людей женатыхъ, и собирались члены. Для поступленія въ члены Арзамаса, требовались: рекомендація одного изъ принятыхъ уже членовъ, знакомства въ этомъ кружкѣ и, вѣроятно, главнымъ образомъ, литературный талантъ и убѣжденія, противоположныя „Бесѣдѣ“. Число членовъ увеличивалось постепенно; Лонгиновъ въ статьѣ своей объ этомъ обществѣ насчитываетъ ихъ 19 дѣйствительныхъ и 5 почетныхъ. Всѣ они принадлежали къ поклонникамъ Карамзина и Жуковского, къ среднему поколѣнію того времени, но между ними не было ни одного, который бы принадлежалъ къ болѣе молодому поколѣнію умовъ либеральныхъ, мечтавшихъ о преобразованіяхъ и о политической дѣятельности. Послѣдніе, правда, выступившіе нѣсколько поздиѣе, не нашли бы предмета для своего вниманія въ собраніяхъ Арзамаса, которыя по характеру и по направленію всѣхъ своихъ членовъ, были совершенно чужды политическимъ тенденціямъ. Повидимому, Арзамасцы сознательно избѣгали послѣднихъ и занимались невинною пародіею и шутками. Самымъ младшимъ членомъ между Арзамасцами былъ А. С. Пушкинъ, принятый въ собраніе по рекомендаціи Жуковского, тогда уже оцѣнившаго талантъ, и потому еще, что онъ былъ роднымъ племянникомъ В. Л. Пушкина, который носилъ названіе „старосты Арзамаса“. Впрочемъ, онъ успѣлъ уже и тогда напечатать много стиховъ, написанныхъ имъ въ Лицеѣ, и свою вступительную рѣчь въ собраніи Арзамаса онъ произнесъ также стихами. Всѣ члены Арзамаса носили имена, заимствованныя изъ балладъ Жуковского. Самъ онъ, напр., назывался Свѣтланю, Блудовъ—Кассандрою, Дашковъ—чу! Уваровъ—старушкою и пр.

Арзамасское общество было пародіей на ученія академіи, на другія литературныя общества того времени, имѣвшія опредѣленный уставъ, пожалуй, какъ сообщаетъ Вигель, и на масонскія ложи и тайныя политическія общества, въ то время уже образовавшіяся. Изъ членовъ Арзамаса, Орловъ Михаилъ и Тургеневъ Николай перешли въ послѣднія, вѣроятно, сознавая всю бесплодность и однообразіе пародіи. Ближайшею цѣлію пародіи и насмѣшливыхъ выходокъ была Шипшовская „Бесѣда“ и ея члены. Принято было, чтобы каждый новый членъ выбиралъ для первой рѣчи своей, какъ это заведено въ академіи французской, научныя и литературныя заслуги своего покойнаго предшественника, но такъ какъ въ Арзамасѣ всѣ члены были налицо и не умирали, то брали *живыхъ покойниковъ* „Бесѣды“ или Россійской Академіи „заимообразно и на прокатъ“ и говорили

имъ похвальныя надгробныя рѣчи, разумѣется, въ насмѣшливомъ родѣ. Такъ Жуковский говорилъ подобную рѣчь въ честь Хвостова, и современники были въ восторгѣ отъ его юмора. Какъ пародія тайныхъ обществъ, были введены въ Арзамасъ и испытаніи и отбирание клятвеннаго обѣщанія со стороны вступающаго. Собраніе, полное шутокъ и веселости, потому что людямъ этимъ не было надъ чѣмъ задумываться (всѣ они были люди со средствами, часто даже очень большими, или имѣли на службѣ прекрасное содержаніе) обыкновенно оканчивалось хорошимъ ужиномъ, на которомъ непремѣнно требовался жареный гусь, представитель города Арзамаса, славащагося этими птицами. Ясно, что все дѣло ограничивалось шуткою. „Съ каждымъ засѣданіемъ общество становилось веселѣе, рассказываетъ современникъ, за каждой шуткой слѣдовала новая, на каждое острое слово отвѣчало другое. Съ какою цѣлію составилось это общество, теперь бы этого не поняли. Оно составилось невзначай, съ тѣмъ, чтобы проводить время пріятнымъ образомъ и про себя смѣяться глупостямъ человѣческимъ. Не совсѣмъ прошелъ еще вѣкъ, въ который молодые люди, какъ умныя дѣти, отъ души умѣли смѣяться, но конецъ его уже близился“¹⁾. Современникъ, повидимому, жалѣеть объ этомъ „доброе старое время“, но онъ забываетъ, что эта беззаветная веселость тогдашнихъ людей происходила отъ пустоты жизни и дѣятельности. Самая веселая пародія, прочитанная въ собраніи Арзамаса, принадлежала Батюшкову. Намъ неизвѣстно, впрочемъ, какъ смотрѣлъ на нее Жуковский, ибо это было пародія на его любимое и прославленное произведеніе „Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ“. Пародія называлась „Пѣвецъ въ бесѣдѣ Славянороссовъ“ и заключала въ себѣ обычную насмѣшку надъ Бесѣдою“. Ея куплеты, впрочемъ, не всѣ извѣстны²⁾. Остроуміе пародіи заключалось и въ томъ, что Батюшковъ подсмѣялся и надъ пафосомъ Жуковского. Его „Пѣвецъ“ въ Бесѣдѣ говорить, напр., такимъ образомъ:

„Сей кубокъ чадамъ древнихъ дѣты!
Вамъ слава, наши дѣды!
Друзья! уже покойныхъ нѣтъ
Пѣвцовъ среди бесѣды.
Ихъ вирши сгнили въ кладовыхъ
Иль съѣдены мышами,
Иль продаютъ на рынкѣ въ нихъ
Салакушку съ сельдами.
Но духъ отцовъ воскресъ въ сынахъ:

¹⁾ Вигель, Русск. Вѣстникъ, ч. LIV, стр. 177.

²⁾ Лонгиновъ, Библ. Зап. Современ. 1856 г., № 5.

Мы всё для славы дышемъ,
Равно здѣсь въ прозѣ и стихахъ,
Какъ Тредьяковскій, пишемъ“.

Или слѣдующее мѣсто, гдѣ пародируются извѣстные стихи Жуковского о родинѣ:

Друзья! большой бокаль отцовъ
За лавку Глазунова!
Тамъ царство вѣчное стиховъ
Шахматова лхова.
Роднаго крова милый свѣтъ,
Знакомые подвалы,
Златыя игры первыхъ лѣтъ—
Невинны мадригалы.
Что вашу прелесть замѣнить?
О, лавка дорогая!
Какое сердце не дрожить,
Тебя благославляя?“

и проч.

Но шутка, какъ ни бываетъ она остроумною, подъ конецъ надобѣдаетъ, какъ сладкое блюдо прѣдается и дѣлается приторнымъ. Вѣроятно, для многихъ членовъ Арзамасскаго общества, истина эта скоро уяснилась, особенно, когда стали въ него вступать новые члены, приготовленные послѣднимъ развитіемъ общества, для которыхъ въ жизни не все казалось шуткою, и которые смотрѣли на литературу не какъ на одно только забавное препровожденіе времени. Арзамасъ естественно не могъ долго просуществовать на прежнихъ началахъ, но былъ ли онъ въ состояніи принять въ себя новыя начала и идти впередъ вмѣстѣ съ требованіями времени? Уже самъ Жуковский, уѣхавшій въ Дерптъ, вскорѣ послѣ открытія общества, писалъ оттуда Арзамасскимъ друзьямъ своимъ упреки за ихъ неподвижность въ оказаніи помощи несчастному писателю; слѣдовательно, онъ сознавалъ, что у общества могла быть и благотворительная цѣль. „Вы хвастаете своимъ Арзамасомъ!—пишетъ онъ.—Хвастайте, хвастайте, голубчики!... Но, милые друзья! Надобно помнить и о томъ, что ближе къ Арзамасу. Мещевскій въ Сибири, а вы, друзья, очень веселоживаете въ Петербургѣ! (Мещевскій—поэтъ, который, кажется, былъ товарищемъ по пансіону Жуковскому и Воейкову; онъ печаталъ свои стихотворенія съ 1809 года, но мы знаемъ изъ нихъ только одно—1817 года, приведенное Шишковымъ въ своихъ запискахъ ¹⁾) подъ названіемъ „Посланіе къ артельнымъ друзьямъ“; Шишковъ разбираетъ его, какъ призывъ къ революціи и ищетъ въ немъ указаній

¹⁾ II, стр. 266—267.

на тайное общество; это стихотвореніе выставляется однако за написанное человѣкомъ, уже четыре года умершимъ ¹⁾). За что онъ былъ сосланъ въ Сибирь также намъ неизвѣстно). Если вы не собрались еще о немъ вспомнить отъ разсѣянности, то это срамъ и ребячество! Если-жъ отъ холодности къ его судьбѣ, то это... что это? Я не знаю, какъ назвать это! На что-жъ намъ толковать о добрѣ, объ общей пользѣ, о хорошихъ, возвышающихъ душу стихахъ? На что смѣяться надъ Шаховскими... Какъ не взбѣситься, подумавъ, что десять человѣкъ добрыхъ, имѣющихъ чувство и дружныхъ между собою, не могутъ найти свободной минуты, чтобы подумать о судьбѣ несчастнаго человѣка, ожидающаго отъ нихъ помощи и можетъ быть спасенія?²⁾

Арзамасцы дѣлали, какъ кажется, сборъ для изданія въ 1817 г. какой-то поэмы этого Мещевскаго, но она не явилась въ печати и тѣмъ кончились хлопоты Жуковскаго—не знаемъ. Жуковскій же, какъ кажется, въ 1817 году думалъ пригласить Арзамасцевъ къ составленію періодическаго изданія, но предлагаемый имъ планъ изданія представлялъ что-то въ родѣ альманаха, съ содержаніемъ исключительно литературнымъ, и изданіе не состоялось. Этотъ 1817 годъ былъ, какъ кажется, послѣднимъ въ существованіи самаго Арзамасскаго общества. Забава не могла долго продолжаться въ прежнемъ своемъ видѣ, тѣмъ болѣе, что еще въ 1816 году, со смертію Державина, прекратила свои собранія и враждебная Арзамасу „Бесѣда“. Арзамасъ необходимо долженъ былъ или уступить новымъ требованіямъ вѣка, которыя приносились въ него вновь завербованными членами, и тѣмъ отказаться отъ первоначальной, вовсе не серьезной цѣли своихъ собраний, или разойтись. При томъ большинство первоначальныхъ основателей Арзамаса, все болѣе и болѣе успѣвавшее въ государственной службѣ, давно перестало смотрѣть на литературу, какъ на свое призваніе; она была вовсе не дорога ему. Эти основатели Арзамаса приходили въ его собранія для отдохновенія, для остроумной забавы, а вовсе не изъ участія къ литературѣ. Самъ Жуковскій, членъ самый дѣятельный, обезпеченный теперь пенсіономъ и получившій придворныя обязанности, на которыя онъ смотрѣлъ серьезно, сталъ писать гораздо меньше прежняго и рѣже являлся на собранія. Съ другой стороны всѣ эти первоначальные члены Арзамаса, люди высшаго общества, старались вводить въ него своихъ друзей, изъ которыхъ нѣкоторые не имѣли почти никакого понятія о русской литературѣ и нисколько не интересовались ею, живя очень долго по служебнымъ обязанностямъ за границею, какъ

¹⁾ Русск. Арх., 1868 г., стр. 938—939.

²⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 511—513.

напр. два дипломата—Съверинъ и Полетика. Для нихъ, какъ и для другихъ, болѣе развитыхъ членовъ, плоскія шутки надъ В. Л. Пушкинымъ, который былъ въ Арзамасѣ чѣмъ-то въ родѣ шута, могли казаться вовсе не забавными. Новые члены, которыхъ, благодаря усиліямъ Жуковскаго, непрерывно прибывало, должны были поселить разладъ въ обществѣ. Кавелинъ, напр., впоследствии извѣстный клеветникъ Магницкаго—человѣкъ, почти ничего не писавшій и принятый только потому, что былъ товарищемъ Жуковскаго въ пансіонѣ—что было общаго у него съ прежними членами Арзамаса? Но еще менѣе общаго можно было найти съ шутливыми тенденціями Арзамаса у новыхъ членовъ, которые были представителями тогдашней либеральной партіи, мечтавшей о реформахъ и практической дѣятельности. Подъ именемъ Варвика былъ введенъ въ общество меньшей изъ братьевъ Тургеневыхъ, Николай, тотъ самый, котораго постигла бы жестокая судьба послѣ 14 декабря, еслибъ его не спасло пребываніе во время катастрофы и слѣдствія за границею. Это былъ чловѣкъ съ серьезнымъ закаломъ мысли, съ очень солиднымъ образованіемъ, полученнымъ имъ въ Геттингенскомъ университетѣ, направленнымъ болѣе къ вопросамъ экономическимъ и финансовымъ, что доказываетъ его считавшееся классическимъ сочиненіе „Опытъ теоріи налоговъ“¹⁾.

Въ теченіе всей долгой жизни Николая Тургенева, его любимую мечту, которую онъ разрабатывалъ въ теоріи, было освобожденіе крестьянъ и планъ конституціоннаго устройства государства. Онъ учился въ Германіи въ то тяжелое время, когда она стояла подъ игомъ Наполеона и когда мечты объ освобожденіи отечества проникали во всѣ сколько-нибудь чувствующія головы, когда профессора съ каедръ, несмотря на преслѣдованія французской полиціи, призывали молодежь къ патриотической борьбѣ за свободу, а студенты образовывали съ тою же цѣлью тайныя общества. Нѣсколько лѣтъ въ этой экзальтированной сферѣ, вдали отъ ничтожныхъ интересовъ русской жизни, должны были оказать сильное вліяніе на умъ и убѣжденія Тургенева, а сближеніе его съ великимъ прусскимъ патриотомъ, впоследствии знаменитымъ министромъ Пруссіи и настоящимъ основателемъ этого государства, Штейномъ, съ которымъ Тургеневъ познакомился въ Германіи и при которомъ состоялъ официально въ 1818 году, когда Штейнъ былъ въ Россіи, открыло ему широкіе горизонты современнаго политическаго міра. Въ качествѣ дипломатическаго чиновника онъ сопровождалъ русскую армію въ ея освободительномъ походѣ по Европѣ и воротился въ Россію съ могучими впечатлѣніями и съ планами преобразованій. Тургеневъ

¹⁾ Спб., 1818.

отличался сильнымъ характеромъ и упорною волею; онъ имѣлъ большое вліяніе на людей, умѣлъ подчинять ихъ себѣ и управлять ими. Не будь онъ замѣшанъ въ дѣло, Россія вѣрно имѣла бы въ немъ блестящаго государственнаго человѣка, который оставилъ бы глубокій слѣдъ въ ея исторіи. Вступивши въ общество Арзамаса, въ которомъ былъ уже членомъ его старшій братъ и гдѣ было у него много близкихъ людей, Николай Тургеневъ, конечно, долженъ былъ смотрѣть на Арзамасъ, какъ на пустую забаву и не могъ ожидать отъ него ничего серьезнаго, сколько нибудь соответствовавшаго его тайнымъ планамъ и надеждамъ. Ихъ осуществленія онъ искалъ потомъ, подобно другимъ, въ тайномъ обществѣ.

Другой новый членъ, вступившій въ Арзамасъ вмѣстѣ съ Николаемъ Тургеневымъ и раздѣлявшій его убѣжденія, былъ блестящій гвардейскій полковникъ Михаилъ Орловъ; Это былъ любимецъ императора Александра, принимавшій уже довольно важное участіе въ событіяхъ нашего европейскаго похода, кончившагося взятіемъ Парижа. Въ Арзамасѣ его приняли подъ именемъ Рейна. Онъ былъ воспитанъ совершенно на европейскій ладъ, и мечталъ и о конституціонномъ устройствѣ, и о политической дѣятельности. Вступивъ въ Арзамасъ и найдя въ немъ довольно много талантливыхъ и, какъ казалось ему тогда, людей съ свободными убѣжденіями, Орловъ задумалъ придать этому безобидному и невинному обществу политическій характеръ. Вигель довольно подробно и какъ очевидецъ, рассказываетъ, какъ принялся Орловъ за осуществленіе своего плана ¹⁾. Его одушевленная рѣчь въ собраніи, бывшемъ на дачѣ Уварова, клонилась къ тому, чтобъ расширить число членовъ общества, чтобы предоставить также каждому члену право заводить тамъ, гдѣ онъ живетъ, новое общество, которое подчинено было бы главному, находящемуся въ столицѣ; разумѣется, съ этимъ расширеніемъ общество теряло уже первоначальный характеръ свой; оно превращалось въ систему распространенія свободныхъ идей и должно было возбуждать и готовить общественное мнѣніе. Съ этою же цѣлью приготовленія общественнаго мнѣнія, Орловъ предлагалъ издавать журналъ съ либеральнымъ направленіемъ. Но Орловъ ошибся; онъ не понималъ тѣхъ людей, къ которымъ обращался съ этими планами и естественно встрѣтилъ въ нихъ притиводѣйствіе. Его противникомъ явился Блудовъ, который не желалъ никакихъ преобразованій въ Арзамасѣ и упорно стоялъ за первоначальный характеръ этого общества, намекая даже на предосудительность, противозаконность намѣреній Орлова. „Когда вспомнишь это преніе, приба-

¹⁾ „Русск. Вѣстн.“, т. LV, стр. 204—206.

власть Вигель, кажется, что будущій жребій сихъ людей былъ написанъ въ ихъ рѣчахъ" ¹⁾). Въ самомъ дѣлѣ Блудовъ умеръ графомъ и всѣми уважаемымъ первымъ государственнымъ членомъ Россіи, а Орловъ, котораго блестящая карьера была приостановлена въ 1826 году и который спасся отъ болѣе жестокой судьбы благодаря своему происхожденію, доживалъ дни свои въ Москвѣ, скучающій и больной. Неудача Орлова въ преобразованіи Арзамаса повела къ выходу его изъ членовъ. Съ этого засѣданія Арзамасъ сталъ быстро клониться къ упадку; его дни были сочтены. „Неистощимая веселость скоро прискутила тѣмъ, у коихъ голова полна была замысловъ,— говоритъ современникъ; тѣмъ же, кои шути хотѣли заниматься литературой, странно показалось вдругъ перейти отъ нея къ чисто политическимъ вопросамъ" ²⁾). Само время и развивающееся общественное сознаніе должны были устранить Арзамасъ съ его шутивными литературными дѣлами, какъ это же время устранило рондо, тріолеты, мадригалы и тому подобныя литературныя забавы.

Къ этому послѣднему времени существованія Арзамасскаго общества, когда въ немъ происходили толки о журналѣ и о необходимости дѣйствовать на общественное мнѣніе, вѣроятно, относится „протоколъ двадцатаго засѣданія въ Арзамасѣ“, написанный стихами Жуковскимъ ³⁾). Несмотря на образы имъ введенные, которые тогда друзьямъ членамъ казались можетъ быть весьма остроумными, а теперь кажутся только пошлыми, напр., брюхо толстаго Тургенева, съ котораго „какъ Моисей съ горы Синая“, говоритъ свою рѣчь Блудовъ, прозванный Кассандрою, въ этомъ протоколѣ довольно опредѣленно выражается характеръ тогдашнихъ толковъ, а равно и безплодіе, какъ видно уже надоѣвшей всѣмъ шутки. По протоколу однако видно, что мысль о журналѣ первоначально принадлежала Тургеневу. Вотъ какъ излагаетъ ее Блудовъ, въ качествѣ секретаря:

„Полно тебѣ, Арзамасъ, слоняться бездѣльникомъ! Полно Намъ, какъ портнымъ, сидѣть на катѣхъ и шить на халдеевъ, Сгорбась, дурацкія шапки изъ пестрыхъ лоскутьевъ Бесѣдныхъ. Время проснуться!.. Время, время летить. Насъ доселѣ собирала безпечная шутка; Нѣсколько ясныхъ мигутокъ украли она у *безплодной* Жизни. Но что же? Ова ужъ устала, иль скоро устанетъ! *Смѣхъ безъ веселости* только кривлянье! Старыя шутки — Старыя дѣвки! Время прошло, когда по слѣдамъ ихъ Рой обожателей мчался!..“

¹⁾ Ibidem.

²⁾ Ibidem.

³⁾ Русск. Арх., 1868 г., стр. 829—838.

И ораторъ предсказываетъ такую же судьбу Арзамасу, если онъ останется при старой шуткѣ и не сочтается законнымъ бракомъ со славой, т.-е. не уступитъ новому времени и его требованіямъ. Повидному, въ этой рѣчи высказывалась и необходимость расширенія общества для другой, лучшей и плодотворнѣйшей дѣятельности:

„О, Арзамасцы! Всѣ мы судьбу испытали. У всѣхъ насъ
Въ сердцахъ хранится добра и прекраснаго тайна. Но каждый,
Жизнью своей охлажденный, къ сей тайнѣ ужъ вѣру теряетъ.
Въ каждомъ душа, какъ свѣтильникъ, горящій въ пустынѣ,
Свѣтъ одинокой окрестныя мги не освѣтитъ. Напрасно
Намъ онъ горитъ; онъ лишь мрачность для нашихъ очей озаряетъ.
Что за отрада намъ знать, что гдѣ-то, въ такой же пустынѣ,
Также тускло и тщетно братскій пылаетъ свѣтильникъ?
Намъ отъ того не свѣтлѣе“.

И онъ взываетъ къ соединенію разрозненныхъ силъ въ одно цѣ-
лое. Превосходно рисуется бесплодіе одиночныхъ усилій:

„Иной, самому себѣ незнакомецъ,
Полный жизни мертвецъ, себя и свой даръ загвоздившій въ гробъ,
Имъ самимъ сотворенный, бьется въ своемъ заточеньи:
Силенъ свой гробъ разложить, но силъ не вѣрить — и гибнуть.
Тотъ, великимъ желаньемъ волнуемый, силой богатый,
Радъ бы разлить по вселенной, въ сянвы-ль, въ пожаръ-ль, свой пламень,
Къ смѣлому дѣлу съмываетъ дружину, но... голосъ въ пустынѣ.
Отъѣва нѣтъ“...

Это голосъ дѣйствительности и чувствующихъ и мыслящихъ лю-
дей времени, когда было обмануто столько прекрасныхъ надеждъ,
когда

„Предъ нами во дни упованья
Жизнь необъятная, полная блеска, вдали разстигалась“...

И все покрылось туманомъ.

ЛЕКЦІЯ XV.

Намѣреніе арзамасцевъ издавать журналъ.—Милюновъ.

Судя по стихотворному протоколу этого послѣдняго Арзамасскаго
засѣданія, составленному Жуковскимъ, планъ будущаго журнала изло-
женъ былъ Михайломъ Орловымъ. Это былъ только общій планъ,
который въ протоколѣ называется воротами. На нихъ изъ звѣздъ
сіала надпись: „Журналъ Арзамасскій“.

„За ними (воротами) киѣли
Въ свѣтломъ хаосѣ призраки вѣковъ; какъ гиганты смотрѣли
Лица славныхъ изъ сей оживленной тучи; надъ нею

историч. обзораніе, т. хш.

Съ яркой звѣздой на главѣ гениемъ тихимъ неслошь,
Въ свѣжемъ гражданскомъ вѣнкѣ, божество: *Простыщене*
Къ грозной и мирной богинѣ: *Свободѣ*“.

Протоколъ говорить, что по поводу этого предложенія были споры въ собраніи:

„Совѣщанье начали члены.

Пріятно было послушать, какъ вѣсть

Всѣ голоса слилися въ одну безтолковщину“.

Рѣшено было, быть Арзамасскому журналу. Могли ли, однако, члены этого по большей части шутилаго общества, каждый занятый своимъ дѣломъ, которое онъ считалъ гораздо важнѣе литературы, представляющей для него только минутную забаву, въ самомъ дѣлѣ издавать журналъ? На вопросъ этотъ приходится отвѣчать отрицательно. Немногіе изъ членовъ Арзамаса понимали настоящее значеніе журнала, какъ органа общественнаго развитія, какъ такое орудіе, которымъ создается общественное мнѣніе, но они очень хорошо понимали также, что журналъ съ подобнымъ направленіемъ и съ подобнымъ содержаніемъ, т.-е. въ европейскомъ смыслѣ этого слова, былъ невозможенъ въ то время въ Россіи, при характерѣ правительственной власти и при безсмысленной цензурѣ, которая тогда существовала. Большинство членовъ однако оставалось при старыхъ понятіяхъ; они не сходили съ точки зрѣнія Карамзина, слишкомъ общей, сентиментальной и неопредѣленной, и программа задумываемаго въ Арзамасѣ журнала, казалось, была повтореніемъ, только въ другихъ словахъ, программы Карамзинскаго „Вѣстника Европы“. Вотъ какъ одинъ изъ членовъ (А. Тургеневъ, тотъ самый, въ уста котораго Жуковскій влагааетъ поэтическія рѣчи объ единеніи), говорилъ о содержаніи предполагаемаго журнала: „Я вижу ваше, наше будущее; я вижу Арзамасъ въ величественномъ собраніи. Онъ опредѣляетъ образъ занятій, общій для всѣхъ, но разнообразный, какъ различны вкусы и таланты. Единство и разнообразіе—вотъ девизъ Арзамаса и журнала его; единство въ правилахъ, ибо всѣ арзамасцы горятъ любовью къ добру и изящному... Все принадлежитъ намъ, пока можетъ принадлежать словесности и—не заблуждайтесь, друзья мои!—литератору открыто не тѣсное поле. Его область—мысли и чувства, а въ нихъ—мы сказали—весь нравственный міръ, и работа его есть не безплодная побѣда надъ трудностью. Нѣтъ! Нѣтъ! Кто объясняетъ и умножаетъ повятія, кто дѣйствуетъ на сердца умиленіемъ и восторгомъ, тотъ исправляетъ природу въ человѣкѣ, тотъ полезенъ не одному народу, не одному поколѣнію и такую да будетъ судьба Арзамаса... Наше скромное правило: *истина и справедливость* въ карти-

нахъ и сужденіяхъ, цѣль — удовольствіе современниковъ, и, можетъ быть, польза потомства“... Едва ли на этихъ неопредѣленныхъ и нѣскольکو туманныхъ фразахъ можно было основать программу журнала? За журналъ брались и о журналѣ толковали въ Арзамасскихъ собраніяхъ, безъ сомнѣнія, подѣ влияніемъ убѣжденія, что собранія эти становились съ каждымъ днемъ безцвѣтнѣе и однообразнѣе, что нужно было создать себѣ какое-нибудь дѣло, но для журнальной цѣли едва ли были и способны эти члены Арзамаса, взысканные въ жизни счастіемъ и только забавлявшіеся литературой? Арзамасъ не могъ продолжать свое существованіе дальше на прежнихъ началахъ; онъ былъ живъ, когда была жива „Бесѣда“, и умеръ вмѣстѣ съ нею. Его призваніе—была борьба съ старыми литературными преданіями, съ представителями отживающаго поколѣнія литераторовъ, которые, не имѣя таланта, поддерживали всѣми способами эти старыя преданія. Какъ только сошли со сцены эти лица, новое должно было восторжествовать; борьба становилась ненужною. Но Арзамасъ въ дватри года своего существованія успѣлъ однако пережить самого себя. Онъ понималъ, что вокругъ него, воспитаннаго мыслью и талантомъ Карамзина, зарождалось что то новое, чего онъ порядочно и не понималъ и чему онъ никакимъ образомъ не могъ сочувствовать. Рано ли поздно — этому новому было предоставлено будущее, и Арзамасъ въ пору разошелся подѣ разѣдающимъ влияніемъ времени. По своему интимному, исключительному характеру, по своей замкнутости, Арзамасъ не могъ имѣть вліянія на общество. Его настоящее мѣсто—въ литературныхъ преданіяхъ... Но для участвовавшихъ въ немъ онъ представлялъ самую дорогія воспоминанія.

Лица, принадлежавшія къ обществу Арзамаса, были или высоко-даровитыя натуры, съ признаннымъ всѣми талантомъ или любители-дилетанты, обладающіе и наследственными средствами къ жизни и общественными связями и такимъ выгоднымъ положеніемъ въ службѣ, что имъ ничего не стоило бросить для нея свои временныя занятія поэзіей и вообще литературнымъ дѣломъ. Это общество носило аристократическій характеръ; не даромъ же они сами себя въ шутку называли „ихъ прѣвосходительства геніи Арзамаса“. Но какъ жили и къ чему стремились другіе люди, не осыпанные, подобно „геніямъ Арзамаса“, дарами фортуны и вмѣстѣ съ тѣмъ принадлежавшіе также къ литературѣ, писавшіе много и стихами и прозой, преимущественно стихами? Какое значеніе имѣло для нихъ литературное дѣло; было ли оно ихъ настоящимъ призваніемъ или тоже совершалось между другимъ, болѣе важнымъ жизненнымъ дѣломъ? А такихъ людей было много. Мы уже говорили, что въ учебныхъ заведеніяхъ нашихъ, съ конца прошлаго вѣка, господствовало пре-

имущественно литературное образованіе, причѣмъ обращалось большое вниманіе на искусство выразить свои мысли и писать стихами и прозой. Едва ли не каждый студентъ нашихъ университетовъ въ десятнхъ годахъ писалъ стихи, хотя послѣдніе не были ни потребностью души его, ни выраженіемъ его пониманія дѣйствительности. Высшая фактура стиховъ была усвоена и писать можно было о чемъ угодно: поэзія была раздѣлена на извѣстные теоретическіе роды и виды; условія каждаго, требованія каждаго были заранѣе опредѣлены строго теоріей, и поэту стоило только присѣсть, чтобы въ готовыя уже рамки ввести болѣе или менѣе удачно придуманное имъ содержаніе. Отъ этого въ ту пору расплодилось у насъ такое множество поэтовъ во всѣхъ вѣдомствахъ. Надобно замѣтить, что литературные труды открывали молодому человѣку путь къ службѣ и способствовали нѣкоторымъ образомъ успѣхамъ въ ней, на что было много достаточныхъ причинъ. Съ примѣра императрицъ Елисаветы и Екатерины, въ нашемъ обществѣ господствовала покровительственная система по отношенію къ литературѣ; въ тѣ годы, о которыхъ говоримъ мы, она была еще въ значительной силѣ. Поэты еще подносили свои стихотворенія лицамъ знатнымъ и высокимъ, писали въ стихахъ о гражданскихъ заслугахъ своихъ начальниковъ, прославляли ихъ доблести и т. п. Поддержавшія власти смотрѣли снисходительно на подобную невинную литературу, даже поощряли ее наградами и повышеніемъ по службѣ. Съ другой стороны и новыя преобразованія вызывали отчасти избыліе литературныхъ талантовъ; именно въ это время Сперанскій въ своихъ реформахъ администраціи и вообще чиновничьяго міра требовалъ отъ вновь поступающихъ на службу образованія и свѣдѣній; ему хотѣлось истребить, вывести столько лѣтъ существовавшее „красивное сѣмя“, существованіе котораго обусловливалось невѣжествомъ. Человѣкъ, окончившій курсъ въ тогдашнемъ университетѣ, очень скоро и охотно принимался на службу въ Петербургѣ, если онъ успѣлъ написать какое-нибудь, хоть даже плохонькое стихотвореніе, басню, идиллію или похвальное слово. Административныя реформы Сперанскаго требовали чиновниковъ, умѣющихъ излагать ясно и правильно свои мысли на бумагѣ; чего же лучше, если попадался юноша, пишущій стихи, что считалось тогда труднымъ дѣломъ и вотъ стихи составляли юношѣ служебную карьеру. Случалось, что даже грубые, необразованные генералы обращали вниманіе на литературный талантъ молодого человѣка и приглашали его къ себѣ на службу, зная, что онъ напишетъ хорошимъ слогомъ, ясно и правильно, что требовалось въ тѣхъ высшихъ сферахъ власти, куда пойдетъ эта бумага. Только впоследствии, когда разлетѣлись всѣ эти иллюзіи Александровскаго времени и въ житейскихъ отношеніяхъ стала господство-

вать проза, на поэтовъ-чиновниковъ распространился другой, совершенно противоположный взглядъ: ихъ почти перестали терпѣть на службѣ. Но въ описываемое время произведеніи ихъ наполняли тогдашніе жалкіе журналы и газеты, они считались дюжинами, но изъ множества именъ ихъ немногіе, весьма немногіе, развѣ только для характеристики времени могутъ быть упомянуты въ исторіи.

Поэтомъ называли и какъ поэта помѣщали обыкновенно въ исторію русской литературы *Милонова*, дѣятельность котораго относится именно къ описываемому нами времени. Современники, но не тѣ, которые принадлежали къ Арзамасу, смотрѣли на него, какъ на настоящаго поэта и чрезвычайно уважали талантъ его. У него было довольно друзей въ литературныхъ кружкахъ, которые очень любили его и по поводу ранней смерти Милонова высказывали искреннее сожалѣніе о томъ, что обстоятельства его кратковременной жизни, „назначили слишкомъ ограниченныя предѣлы его дѣйствіямъ“¹⁾. „Дружба была кумиромъ души его“²⁾, говорятъ эти современники, но довольно ли дружбы для того, чтобъ получить названіе настоящаго поэта? Милонова обыкновенно причисляютъ къ нашимъ сатирическимъ поэтамъ. „Онъ привыкъ быть грозой порока, — говорили скоро послѣ смерти его, — и не можетъ говорить о немъ мало или равнодушно“³⁾. Такое мнѣніе основано на томъ, что Милоновъ написалъ шесть сатиръ; всѣ онѣ суть только подражанія и отчасти передѣлки; но тогда находили, что онѣ передѣланы на наши нравы и видѣли въ нихъ черты современности. Такой взглядъ происходилъ отъ господства классической теоріи; на русскую словесность смотрѣли съ ея точки зрѣнія; мѣсто сатирика было вакантно и его предоставили Милонову. Въ сатирахъ Милоновъ является передъ нами человекомъ съ честнымъ характеромъ и умомъ, но едва ли найдемъ въ его сатирахъ живое негодованіе на современность, ту „злобу дня“, которая составляетъ достоинство настоящаго сатирика. Всѣ они скорѣе похожи на безцвѣтныя общія мѣста. „Къ Рубеллію“, сатира, написанная въ подражаніе Персію⁴⁾, говорятъ, намекаетъ на Аракчеева. Но какое дѣло послѣднему, что когда-то въ Римѣ былъ

„Царя коварный льстецъ, вельможа напыщенный,
Въ сердечной глубинѣ таящій злобы ядъ,
Не доблестями души — пронырствомъ вознесенный“...

¹⁾ Благонамѣренный, 1821 г. XVI, стр. 207.

²⁾ Ibidem, стр. 212

³⁾ Ibidem, стр. 233.

⁴⁾ Соч., изд. Смирдяна, стр. 15—18.

Подобныя явленія встрѣчались въ исторіи миллионы разъ и будутъ еще встрѣчаться; могъ ли Аракчеевъ принять слова эти на свой счетъ? Содержаніе второй сатиры „Къ Луказію“ ¹⁾, гдѣ Милоновъ говоритъ о множествѣ современныхъ ришотворцевъ и, разумеется, смѣется надъ ними, было уже достаточно исчерпано сатирою Дмитриева и представляетъ только слабое подражаніе ему. Можетъ быть современники находили и здѣсь указанія на дѣйствительныя лица, но всѣ эти Балдусы, Вралевы, Бавин, Мидасы, Мевин и пр. были отвлеченными только аллегоріями и дѣлали сатиру Милонова весьма невинною. Что литературное покровительство было тогда въ нравахъ и существовало по прежнему, можно заключить изъ слѣдующихъ стиховъ Милонова:

„Съ огромною своею поэмою спѣши
Въ домъ Кнута, и ему усердно припиши:
Онъ знатный господинъ, талантовъ покровитель,
И просвѣщенія въ отечествѣ ревнитель.
Страницей лести лишь пожертвуй — и твой трудъ
На счетъ его казны тисненью предадутъ!
Лишь книга добрая явится въ свѣтъ не смѣтъ“... ²⁾

Какъ и прежде, во время Дмитриева, было и теперь множество поэтовъ:

„У насъ кто захотѣлъ — въ поэты записался,
Хоть новый рекрутъ сей съ грамматикой не знался,
Нѣтъ нужды до того! отвага, дерзость, лезть,
Невѣждъ и подлецовъ нерѣдко вводить въ чести!“ ³⁾

Но всѣ эти черты были высказываемы много разъ и многими. Это блѣдныя образы. При томъ самъ Милоновъ, какъ впрочемъ и всѣ сатирики, очень хорошо понималъ всю бесполезность этого ремесла.

„Сатира для людей худое наставленье“...

— говоритъ онъ:

„Исправишь ли порокъ насмѣшкою одною?
Стихи-ль подѣйствуютъ надъ звѣрскою душою?“... ⁴⁾

Другіе предметы сатиры Милонова, напр. „На модныхъ болтуновъ“, „На женитбу въ большомъ свѣтѣ“ — были еще безобиднѣе. Нѣтъ, тутъ нѣтъ ни русскихъ нравовъ, ни очерковъ современности, и сатирикѣ Милоновѣ сдѣлался потому, что въ пинтигахъ, по которымъ

¹⁾ Ibidem, стр. 23--29.

²⁾ Ibidem, стр. 24--25.

³⁾ Ibidem, стр. 25.

⁴⁾ Къ моему разсудку (сатира третья), стр. 42.

онъ усердно учился, стояла рубрика: Сатира. Онъ и взялся за этотъ родъ, не имѣя къ нему вовсе призванія.

«Выражалось ли въ стихахъ Милонова какое-нибудь личное чувство, ему принадлежащее? И на это надобно отвѣчать отрицательно. Въ его стихотвореніяхъ отражалась общая чувствительность, начало которой было положено Карамзинимъ, и Милоновъ весьма рѣдко могъ отдѣлаться отъ нея. Милоновъ подражалъ или переводилъ. Образцами ему были преимущественно мелкіе французскіе поэты того времени. Лучшими подражаніями его могутъ назваться пьесы: „Паденіе листьевъ“ изъ Мильвуа, которой подражалъ и Батюшковъ и которую мастерски перевелъ потомъ Баратынскій, и „Бѣдный Поэтъ“ изъ Сентъ-Жильбера, самое удачное подражаніе его, потому что въ участіи французскаго поэта Милоновъ находилъ много общаго со своею. Есть у него переводы изъ Шиллера — доказательство, что онъ зналъ нѣмецкій языкъ, но его „Къ юности“, какъ онъ озаглавилъ извѣстную пьесу Шиллера „Die Ideale“—еще слабѣе слабаго перевода этого стихотворенія, сдѣланнаго Жуковскимъ. Большое стихотвореніе его „Монастырь“ ¹⁾ есть очевидное подражаніе „Сельскому Кладбищу“ Жуковскаго. Болѣе задушевнымъ чувствомъ проникнуто стихотвореніе Милонова „Къ сестрѣ моей“ ²⁾, гдѣ онъ жалуется на судьбу свою и на погибшую молодость. Все остальное не стоитъ упоминанія. Талантъ Милонова былъ невеликъ и не разнообразенъ; не будь теоріи, съ которою онъ познакомился въ школѣ, не получи онъ общаго литературнаго образованія, о вліяніи котораго мы уже говорили, едва ли бы сталъ онъ писать стихи и воображать себя поэтомъ, а былъ бы простымъ и честнымъ дѣльцомъ-чиновникомъ. Разладъ, сознаваемый имъ между своимъ поэтическимъ талантомъ и дѣйствительностію, кажется и былъ причиною его житейскихъ неудачъ и ранней смерти, о которой жалѣли его друзья.

Милоновъ, Михаилъ Васильевичъ, родился въ 1792 году въ Задонскомъ уѣздѣ Воронежской губерніи въ деревнѣ своего отца. Объ этой степной родинѣ Милоновъ вспоминалъ иногда въ стихахъ своихъ, писанныхъ среди невзгодъ петербургской служебной карьеры. Онъ мечталъ кончить жизнь свою на родныхъ берегахъ Дона ³⁾, быть похороненнымъ въ монастырѣ, „среди обители отцовъ“ ⁴⁾. Онъ вспоминалъ о томъ времени, когда съ любимою сестрою онъ шелъ

„На брегъ высокій и крутой,
Гдѣ Донъ, вспоившій насъ, свѣтлѣеть,

¹⁾ Сочиненія, стр. 80—83.

²⁾ Ibidem, стр. 67—69.

³⁾ „Къ Н. Ф. Г. у“.

⁴⁾ „Ночь на могилѣ друга“.

Раставь широко змби водь,
Гдѣ жатвой нива богатѣетъ,
Родныхъ полей обильный плодъ! 1)

Учился Милоновъ въ благородномъ пансіонѣ при Московскомъ университетѣ, гдѣ кончилъ въ 1809 году курсъ со степенью кандидата. Товарищи его были Грамматинъ, Мещевскій, Родзянко, Петинъ— всѣ писавшіе стихи. Первый, бывший самымъ близкимъ другомъ Милонова, въ перепискѣ съ которымъ сохранилось нѣсколько биографическихкихъ свѣдѣній о Милоновѣ, занялся-было усердно литературою; въ 1809 году онъ издалъ „Разсужденіе о древней русской словесности“, а въ 1811 году первую часть собранія своихъ сочиненій, подъ названіемъ „Досуги“, но потомъ бросилъ литературное дѣло и поселился безвыѣздно въ деревнѣ, занимаясь только хозяйствомъ. Всѣ эти молодые люди своею любовью къ словесности и общимъ стремленіемъ къ авторству обязаны были урокамъ профессора Мерзлякова.

По окончаніи курса Милоновъ, который еще въ пансіонѣ сталъ печатать стихи свои въ „Утренней Зарѣ“ и „Вѣстникѣ Европы“, долженъ былъ служить и по желанію отца своего и потому, что у него не было другихъ средствъ для жизни. Съ этою цѣлію онъ и поѣхалъ въ Петербургъ въ томъ же 1809 году. Какъ кончившему курсъ въ университетѣ, и съ отличіемъ, Милонову было легко найти службу, но нелегко было ему со своимъ исключительно литературнымъ образованіемъ и съ претензіями на поэтическое призваніе, примириться съ нею. Разладъ съ дѣйствительностію сказался тотчасъ же. Милоновъ началъ свою службу въ какой-то экспедиціи министерства внутреннихъ дѣлъ и уже на первыхъ порахъ сталъ на нее жаловаться: „Я попрежнему хожу въ экспедицію, и счастливые дни, въ которые въ ней не бываю—весьма рѣдки. Братецъ твой открылъ недавно самую неоспоримую истину, „что служба дѣлаетъ людей пустыми и бессмысленными“—пишетъ Милоновъ къ Грамматину 2). Служба производила на него отталкивающее впечатлѣніе; сидѣть каждый день „между приказною челядью“ кажется Милонову убійственнымъ бездѣліемъ, „терять самое драгоценное и лучшее въ жизни время“. Необходимость служить онъ называетъ „проклятыми предрасудками“. Департаментъ кажется ему „ненавистнымъ“, дежурство въ немъ „адскимъ“ 3). Служба для Милонова была невыносима и производила на него самое тягостное впечатлѣніе. „Рѣдкій день проходитъ, чтобы не было непріятностей, — пишетъ онъ къ Грамматину, — и я часъ отъ часу

1) „Къ сестрѣ моей“.

2) Библиогр. Записки, II, стр. 289.

3) Ibidem, стр. 289—292.

деревенѣю. За всякій вздоръ оглушаются уши отъ брани. Что дѣлать! Если уже судьба не даетъ жить, то доживать надобно“ ¹⁾). Сослуживцевъ своихъ Милоновъ называетъ „мерзавцами“ и говоритъ, что онъ отмстилъ имъ въ своихъ стихахъ, которые, безъ сомнѣнія, остались только въ рукописи. Неудовольствія служебныя не прекратились и тогда, когда онъ, кажется по рекомендаціи Дашкова, поступилъ на службу къ И. И. Дмитріеву, бывшему тогда министромъ юстиціи и знавшему его еще въ Москвѣ, какъ писателя. Это видно изъ того, что Милоновъ скоро поссорился съ Дашковымъ изъ-за чего-то и, встрѣчаясь съ нимъ на службѣ, не кланялся ему. Онъ говоритъ, что ему противно видѣть „его обезображенную надменностью харю“ ²⁾). Когда послѣ московскаго пожара, на Дмитріева, уже вышедшаго тогда въ отставку, возложено было раздавать пособія пострадавшимъ жителямъ, онъ взялъ къ себѣ въ правители канцеляріи этого комитета—Милонова. Передъ этимъ, въ 1812 году, Милоновъ, слѣдуя общему чувству, взялъ-было отпускъ и хотѣлъ поступить въ военную службу, считая, что „это необходимо для безопасности“ ³⁾, но воротился въ Петербургъ. Въ московской комиссіи служба его продолжалась не долго; онъ вышелъ въ отставку въ 1815 году. Года черезъ три Милоновъ снова пріѣхалъ на службу въ Петербургъ; Дмитріевъ и Жуковскій принимали въ немъ и теперь участіе, и при ихъ посредствѣ въ концѣ 1819 года онъ поступилъ въ департаментъ духовныхъ исповѣданій, гдѣ директоромъ былъ А. Тургеневъ. Тогда же онъ издалъ свои стихотворенія. Но и въ этой службѣ Милоновъ оставался очень не долго. Тургеневъ опредѣлилъ его къ себѣ изъ сожалѣнія, но принужденъ былъ скоро прогнать его. Тогда поступилъ Милоновъ еще разъ и въ послѣдній къ генераль-провіантмейстеру Абакумову, который обходился съ нимъ не какъ начальникъ съ подчиненнымъ, а какъ отецъ съ сыномъ. „Человѣкъ простой и добрый, безъ дальнихъ общаній сдѣлалъ для меня больше, чѣмъ всѣ прежніе мои начальники, покровители, меценаты словесности, не исключая высокопревосходительнаго И. И. Дмитріева“ ⁴⁾). Здѣсь служилъ Милоновъ недолго, однако уже не по своей винѣ. Онъ умеръ въ октябрѣ 1821 года.

Причина этихъ служебныхъ неудачъ заключалась не въ неуживчивости Милонова. По временамъ онъ очень здраво и разумно смотрѣлъ на свои служебныя обязанности. „Съ службою своею пони-

¹⁾ Ibidem, стр. 302.

²⁾ Ibidem, стр. 301.

³⁾ Ibidem, стр. 298.

⁴⁾ Ibidem, стр. 303.

рился, пишетъ онъ къ Грамматину, потому что пересталъ искать въ ней химерныхъ отличій, а должно нести ее, какъ вещь полезную и нужную въ обществѣ. Нѣкоторыя неудовольствія и непріятности, въ ней встрѣчаемыя, переношу съ возможнымъ равнодушіемъ и хладнокровіемъ, почитаю сіи качества настоящею мудростію жизни, въ которой необходимо должны быть разнообразія“¹⁾). Причина, которая мѣшала службѣ Милонова, несмотря на всю необходимость служить, и дѣлала въ ней такіе большіе перерывы, заключалась въ несчастной страсти къ вину. Милоновъ былъ горькій пьяница. Онъ самъ сознается, что любитъ выпить лишнюю чарку и за нею объятія жриць Венериныхъ²⁾). Пьянство и развратъ были причиною его болѣзней, служебныхъ неудачъ и наконецъ смерти. „Онъ умеръ отъ невоздержанія, — пишетъ о немъ хорошо и давно его знавшій Е. А. Исмаиловъ, — за два только часа передъ смертью, какъ пришелъ священникъ исповѣдывать его и приобщать, пересталъ онъ пить“. По свидѣтельству Исмаилова, Милоновъ сдѣлался пьяницею еще въ училищѣ. Нѣсколько разъ онъ допивался до сумашествія, до религіозной маніи, „только молился да пилъ“, — говоритъ Исмаиловъ. Увѣщанія друзей и самыхъ близкихъ родныхъ на него не дѣйствовали³⁾). Такова была несчастная судьба этого человѣка, сдѣлавшагося поэтомъ случайно, только потому, что онъ получилъ исключительно литературное образованіе и привыкъ еще въ училищѣ писать стихи, не имѣя никакихъ положительныхъ знаній. Современники видѣли въ элегическомъ настроеніи нѣкоторыхъ стихотвореній Милонова отголоски его жизни. „Онъ страдаетъ, — говоритъ одинъ критикъ того времени, — отъ жизни, въ которой нѣтъ того, чего онъ искалъ“⁴⁾). Это можно сказать развѣ объ общемъ направленіи, но самыя его стихотворенія были или переводы или подражанія. Какъ версификаторъ по слогу и выраженію, Милоновъ стоитъ ниже современниковъ своихъ, Батюшкова и Жуковского; онъ второстепенный поэтъ и его относительная извѣстность зависѣла отъ бѣдности нашей литературы.

Милоновъ не могъ принадлежать къ литературному кружку Арзамаса ни по таланту своему, ни по общественному положенію, ни, наконецъ, по беспорядочному образу своей жизни. У него однако былъ свой кружокъ литературный, даже цѣлое общество людей, занимавшихся словесностію и въ особенности поэзіей, общество, которое подъ разными названіями существовало съ самаго начала царствованія

¹⁾ Ibidem, стр. 294.

²⁾ Ibidem, стр. 291.

³⁾ Русск. Арх. 1871 г., стр. 967—968.

⁴⁾ Плетневъ, Соревнователь просв. 1822 г. XVII, стр. 45.

Александра и издавало даже свои журналы. И Милоновъ участвовалъ своими стихами въ этихъ журналахъ: „С.-Петербургскомъ Вѣстникѣ“ и „Соревнователѣ Просвѣщенія“. Впрочемъ онъ считалъ небольшою честью быть членомъ этого общества: „Меня выбираютъ членомъ здѣшняго Императорскаго общества любителей наукъ и словесности,— пишетъ онъ къ Грамматину,—хотя оно и пустое, но все лучше быть его членомъ, нежели засѣдателемъ какого-нибудь нижняго суда“¹⁾. Не прошло и двухъ лѣтъ, какъ Милоновъ вышелъ изъ него неизвестно по какой причинѣ, и говорилъ, что хорошо сдѣлалъ. Изъ литераторовъ, кромѣ молодыхъ, совершенно неизвестныхъ, которыхъ стишки канули въ Лету, Милоновъ былъ знакомъ съ Измайловымъ, Воейковымъ и съ сыномъ известнаго Радищева, который тоже писалъ. Онъ и жилъ, слѣдовательно, въ обществѣ второстепенныхъ литераторовъ. Намъ неизвестенъ даже образъ мыслей Милонова, его взгляды, то, чѣмъ онъ интересовался. Едва ли онъ интересовался многимъ. Другъ просилъ его о сообщеніи новыхъ политическихъ извѣстій и Милоновъ отвѣчаетъ ему слогомъ Брюсова Календаря: „Политическія вѣсти такъ непріятны, что и писать объ нихъ больно: все еще войны, новые короли, наши сосѣди, отклоненіе мира; не желалъ бы этого и слышать“²⁾. Положимъ, что это шутка, но всѣ письма Милонова свидѣтельствуютъ, что его ничто не интересовало, кромѣ самого себя...

Если Милонову поэтической талантъ и умѣнье писать стихи не доставили дальнѣйшаго хода по служебной карьерѣ, въ чемъ онъ самъ былъ виноватъ, то были и такіе писатели, которые именно стихами составляли себѣ первоначальную служебную карьеру и выигрывали въ ней, несмотря на то, что ихъ поэтической талантъ былъ вполне чуждъ жизни и дѣйствительности и также, какъ у Милонова, образовался только вслѣдствіе исключительнаго литературнаго образованія и усерднаго изученія теоріи. Въ примѣръ этого можно привести В. И. Панаева, который извѣстенъ былъ въ двадцатыхъ годахъ въ качествѣ идиоллика, какъ Милоновъ слылъ сатирикомъ. Его довольно любопытныя „Воспоминанія“, напечатанныя послѣ смерти его, позволяютъ познакомиться подробно съ типомъ подобнаго рода поэта. Панаевъ родился въ Тетюшахъ, Казанской губерніи, въ 1792 году. Отецъ его принадлежалъ къ числу самыхъ образованныхъ людей XVIII вѣка; бывалъ въ кругу Новикова и въ дружескихъ отношеніяхъ ко всѣмъ замѣчательнымъ людямъ этого общества и ко многимъ профессорамъ Московскаго университета, хотя самъ не

¹⁾ Библиогр. Зап., II, стр. 296.

²⁾ Ibidem, стр. 293.

учился тамъ. По женѣ онъ сдѣлался родственникомъ Державина и черезъ него познакомился съ петербургскими литераторами. Когда онъ былъ прокуроромъ въ Перми, то въ народномъ училищѣ этого города отыскалъ даровитаго мальчика, пишущаго стихи и доставилъ ему возможность получить дальнѣйшее образованіе и извѣстность подъ именемъ профессора Мерзлякова. Отецъ Панаева, впрочемъ, умеръ, когда сыну его, идиаллику, было только четыре года.

ЛЕКЦІЯ XVI.

В. И. Панаевъ. — Казанское общество любителей отечественной словесности. — „Идиалли“ Панаева.

Панаевъ учился въ Казанской гимназіи. И здѣсь исключительно господствовало литературное образованіе, такъ что, будучи еще мальчикомъ, онъ сталъ писать стихи. Въ университетѣ это направленіе еще болѣе укрѣпилось. Университетъ не давалъ тогда никакихъ положительныхъ знаній, а одно только общее образованіе. „Все свободное время отъ классовъ и забавъ посвящали мы сужденіямъ о предметахъ высокихъ или изящныхъ, — говоритъ Панаевъ: — подвиги героевъ, черты самоотверженія, торжество добродѣтели, творенія великихъ писателей и поэтовъ, — вотъ что составляло преимущественно предметъ нашихъ разговоровъ, нашихъ помышленій, наполняло сердца наши и души...“¹⁾ Другое любимое занятіе Панаева и его товарищескихъ студентовъ было собираніе растений, бабочекъ, букашекъ. Строго научной цѣли и тутъ не было, хотя таково было тогда направленіе естественныхъ наукъ въ Казанскомъ университетѣ. Все это располагало молодого человѣка къ идиаллическому настроенію. Къ этому нужно присоединить сентиментальное направленіе, господствовавшее тогда въ литературѣ, которое развивало мечтательность и приторную чувствительность. Чтеніе Карамзина и переводныхъ сентиментальныхъ журналовъ Лафонтена, Жанлисъ было любимымъ чтеніемъ. Панаевъ самъ рассказываетъ, какъ подъ вліяніемъ такихъ произведеній возникла его первая платоническая любовь къ дочери профессора Яковкина и какъ, вслѣдствіе ея, увеличилась склонность его къ поэзии и сочувствіе къ природѣ. Тогда онъ сталъ писать *идиалли*. Но еще болѣе расположило Панаева къ этому неестественному роду

¹⁾ Вѣстн. Европы 1867 г., III, стр. 220—221.

познѣи существовавшее тогда въ Казанскомъ, какъ и въ другихъ университетахъ нашихъ, „общество любителей отечественной словесности“.

Общество это, которое вполне отвѣчало духу и направленію того времени и выражало собою стремленіе къ общенію, къ единенію силъ, которымъ было провинуто все время царствованія Александра, образовалось скоро, на другой годъ существованія молодого университета. Тогда оно не было еще утверждено, но зато собиралось часто и работало на первыхъ порахъ больше, чѣмъ въ послѣдующіе официальные годы своей жизни, не смотря на весьма ограниченное число своихъ первыхъ сочленовъ, которыхъ тогда было всего пять членовъ. Въ числѣ этихъ пятерыхъ были и старшіе братья Панаева. Аксаковъ, какъ видно изъ его „Хроникъ“, былъ также въ ихъ числѣ и тогда уже получилъ любовь къ литературѣ ¹⁾.

Общество это приостановилось было въ своей закрытой дѣятельности во время отечественной войны, хотя съ 1811 года при университетѣ стали издаваться „Казанскія Извѣстія“, выходившія еженедѣльно и заключавшія въ себѣ и литературныя статьи, даже отчасти сатирическаго содержанія. Въ 1814 году послѣдовало преобразование университета и тогда же полученъ былъ отъ министра народнаго просвѣщенія уставъ общества, который давно былъ посланъ на утверждение, въ болѣе расширенномъ видѣ, такъ что въ немъ уже могли принимать участіе не одни только члены университета или гимназій, а и лица постороннія. Въ декабрѣ этого года было торжественное собраніе общества, которое привлекло въ университетскую залу много постороннихъ слушателей и на которомъ Панаевъ читалъ свое „Похвальное слово императору Александру“, отзывавшееся общими восторгомъ того времени. Въ отчетѣ секретаря общества и въ историческомъ обзорѣнн его дѣйствій съ самаго начала до времени официально утвержденного устава перечисляются занятія общества, высчитываются всѣ засѣданія его и сколько въ какомъ году было прочитано сочиненій, но не говорится, въ чемъ они состояли, хотя и можно составить о нихъ представленіе по содержанію первой и единственной книги „Трудовъ Казанскаго общества любителей отечественной словесности“ ²⁾. Самый характеръ общества хорошо выражается въ слѣдующихъ словахъ секретаря его: „Хотя общество наше и не принесло еще особенной пользы для публики, однако же оно многихъ любителей словесности соединяя дружественно бесѣдовать о своихъ

¹⁾ Изд. 1870 г., стр. 284.

²⁾ Казань 1815—17 гг.

занятіяхъ, чрезъ то возбуждало въ нихъ большую любовь къ изящному и непримѣтно содѣйствовало къ распространенію *правильнаго и лучшаго вкуса*, равномерно поощряло нѣкоторыхъ молодыхъ людей къ дальнѣйшему себя усовершенію и старалось не быть безнолеанымъ для высшаго ученаго мѣста, при коемъ находится¹⁾.

Общество это, какъ видно изъ словъ его секретаря Кондырева, задавалось въ то время разнообразными цѣлями, изъ которыхъ главною было оближеніе университета съ публикою и развитіе „въ согражданахъ любви къ учености“.

Кругъ собственныхъ занятій общества любителей отечественной словесности былъ очерченъ очень широко; въ него входило и то, что не предоставлено было по уставу даже Россійской Академіи, т.-е. „ислѣдованіе россійскаго языка и касательно россійской грамматики, истолкованіе сослововъ или синонимовъ, значеній разныхъ словъ, изобрѣтеніе техническихъ терминовъ, переводы и разборъ твореній классическихъ древнихъ и новыхъ писателей, критическій разборъ примѣчательнѣйшихъ сочиненій, извѣстія о таковыхъ твореніяхъ, о знаменитыхъ писателяхъ, свѣдѣніи по части исторіи словесности нашей и иностранной, въ разсужденіи обществъ словесности (?), отечественная и часто чужеземная исторія, изслѣдованіе касательно древностей и изящныхъ искусствъ, славенскій языкъ и славенская словесность вообще“²⁾. Изъ этого видно, какъ много научныхъ цѣлей, которыя были бы въ пору и по силамъ любой академіи, брало на себя общество любителей россійской словесности въ Казани. Къ сожалѣнію, однако, уровень науки въ немъ самомъ былъ довольно низокъ, а въ окружающемъ его обществѣ еще ниже, такъ что оно нѣсколько лѣтъ могло пробавляться тѣми пустячками, которые напечатаны въ первой книгѣ его трудовъ. Когда поднялась новыше наука въ нашемъ отечествѣ, когда нѣсколько поняли ея настоящее значеніе и содержаніе, широкія цѣли, которыми задавалось казанское общество, оказались только претензіями.

Кромѣ этихъ общихъ цѣлей Казанское общество словесности мечтало и о специальныхъ; оно совнавало свое географическое положеніе и думало воспользоваться имъ для этнографическихъ изслѣдованій, самыхъ разнообразныхъ и широкихъ. „Мы живемъ между многими иноплеменными народами,—говорилось въ рѣчи секретаря,—въ древнемъ татарскомъ царствѣ, въ виду бывшей древней болгарской столицы. Татары, Чуваши, Черемисы, Мордва, Вотяки, Зыряне окружаютъ насъ. Армяне, Персіане, Башкирцы, Калмыки, Бухарцы и Китайцы

1) „Труды“ стр. 38.

2) Ibidem, стр. 44.

ближе къ намъ, нежели къ другимъ обществамъ. Мы удобнѣе можемъ имѣть касательно языка или и словесности ихъ сношенія и имъ онаго дѣлать употребленіе. Какъ полезно собирать различныя пѣсни сихъ народовъ, сказанія, записки, повѣсти, книги, надписи и т. п., и все сіе еще весьма ново. Въ Астрахани можно познакомиться болѣе съ древностями кавказскихъ горъ, съ грузинскою, армянскою и персидскою словесностью; въ Оренбургѣ — съ Бухарою и Хивою; въ Иркутскѣ и Троицко-Савской крѣпости — съ китайскою словесностью; въ первомъ городѣ — съ бурятскими и другихъ народовъ памятниками. Составленіе словарей сихъ языковъ, филологическое изслѣдованіе ихъ также не бесполезно¹⁾. Выполненіе даже сотою доли этихъ широкихъ цѣлей было совершенно не по силамъ Казанскому обществу словесности. Съ его стороны это были только *ria desideria*, фразы безъ содержанія, никогда не получавшія осуществленія, такъ какъ общество не имѣло даже понятія о тѣхъ трудностяхъ и о тѣхъ требованіяхъ, которыя соединялись съ научными вопросами, такъ легко имъ выдвинутыми. Потому понятно, что главнымъ предметомъ занятій Казанскаго общества по необходимости должна была быть отечественная словесность, которою пробавлялись и другія современныя столичныя общества.

„Отечественная словесность, — говорится въ этомъ отчетѣ, — есть весьма важный предметъ не для одной народной образованности, но и для нравственности“²⁾. Она ставится въ связь съ патриотизмомъ и авторъ въ особенности призываетъ къ занятію отечественной словесностью россиянокъ, образованіе которыхъ разумѣется было ничтожно. Общество приглашало быть членами и любителями, которые ничего не печатали еще и не рѣшались печатать своихъ произведеній. Имъ оно предлагало дружескій судъ, безпристрастную критику, которая „необходима для улучшенія таковыхъ умпроизведеній“. Но въ особенности общество хлопотало о молодыхъ людяхъ „съ дарованіями по части словесности отличными: часто, какъ прекрасный цвѣтокъ въ пустынѣ, дарованія сіи увядаютъ въ неувѣстности“³⁾. Общество желало „цвѣтки сіи пересаживать въ свой садъ и воспитывать“. Тѣ же почти самыя мысли, но гораздо подробнѣе, повторялъ въ своей рѣчи „О вліяніи словесности на нравственное образованіе человѣка“ адъютантъ философіи Срезневскій, читавшій послѣ секретаря въ торжественномъ собраніи Казанскаго общества въ томъ же 1814 году. Замѣтимъ, что соединеніе слова *вліяніе* съ предлогомъ *на* сдѣлано

¹⁾ Ibidem, стр. 45.

²⁾ Ibidem, стр. 47.

³⁾ Ibidem, стр. 47.

было имъ согласно требованіямъ Шишкова, хотя самое содержаніе рѣчи напоминаетъ необходимыя тогда для всѣхъ Карамзинскія понятія. „Добродѣтель есть *единственная цѣль* всѣхъ произведеній истинно изящной словесности“ ¹⁾, говоритъ онъ. Науки словесныя способствуютъ нравственному образованію человѣка — вотъ тезисъ, доказываемый исторіею всѣхъ тогдашнихъ обществъ словесности, въ которой отражалось еще общее стремленіе къ гуманности въ предшествовавшую эпоху, когда словомъ думали поправить всякое зло, даже общественное. И Казанское общество, не смотря на свои этнографическія стремленія, могло остаться только на эстетической точкѣ зрѣнія. Торжественное собраніе общества, гдѣ прочитанъ былъ уставъ, рѣчь Срезневскаго и исторія общества, посвящено было исключительно Александру I, которому читались и оды и похвальное слово. Это было въ духѣ времени и императоръ, въ блескѣ тогдашней славы, былъ на устахъ у всякаго. Тогда еще можно было хвалить его либеральныя реформы... Послѣ того было еще нѣсколько засѣданій Казанскаго общества; одно изъ нихъ было посвящено памяти Державина, когда было получено извѣстіе о его смерти.

Въ литературѣ, однако, это общество заявило себя немногимъ. Оно издало только одну книжку „трудовъ“ своихъ и на томъ покончило. Разсматривая эту книжку, составленную изъ статей мѣстныхъ членовъ и немногихъ писателей, завербованныхъ обществомъ въ свои сочлены изъ петербургскихъ литераторовъ, напр. графа Хвостова, Капниста, Войкова, Анастасевича, мы видимъ, что общество осталось вѣрно своей эстетической или теоретической цѣли и взгляду на нравственное содержаніе словесности. Мы встрѣчаемъ здѣсь тѣ же общія разсужденія по словесности, напр. „Опытъ о средствахъ плѣнять воображеніе“ — В. Перевощикова или „О словесности“ — Анастасевича. Все остальное, кромѣ разбора синонимовъ или сослововъ русскаго языка, чѣмъ любили заниматься и общества словесности того времени и Россійская Академія, составляло стихотворную часть, распределенную по рубрикамъ теорій. Тутъ были и оды, и отрывки дидактическихъ поэмъ, и идилліи, и сатиры, и посланія, и басни, и пѣсни. Все это было, конечно, не выше посредственности; мѣстные литераторы обрадовались случаю увидѣть свои произведенія въ печати, но все это, однако, свидѣтельствовало и о потребности духовной жизни въ нашей провинціи и выражало общія стремленія времени къ образованію. На Казанскомъ обществѣ, на его цѣляхъ, планахъ и намѣреніяхъ, отразилась лучшая пора царствованія Александра, хотя, конечно, въ слишкомъ слабой степени, согласно условіямъ провинціальной жизни.

¹⁾ Ibidem, стр. 67.

Долго, однакожь, на прежнихъ основаніяхъ не могло существовать Казанское общество,—оно должно было бы уступить необходимому пожеланію и развитію научныхъ дѣлей, но въ дѣйствительности оно прекратилось и измѣнилось въ общество, не имѣвшее ничего общаго съ литературою подъ гнетомъ вскорѣ наступившей реакціи ¹⁾).

Панаевъ своею первою литературною извѣстностію обязанъ былъ этому обществу родного города. Его литературный талантъ не былъ потребностію для него необходимою, а развился, какъ и у Милонова, вслѣдствіе усерднаго занятія теоріей поэзіи и, конечно, чтенія такъ называемыхъ тогда образцовыхъ сочиненій въ разныхъ родахъ. Безъ сомнѣнія, на эти занятія и на любовь къ литературнымъ упражненіямъ долженъ былъ имѣть большое вліяніе также и профессоръ русской словесности въ университетѣ.

Панаевъ, мы сказали, читалъ на торжественномъ собраніи Казанскаго общества любителей словесности „Похвальное слово императору Александру“. Чтеніе это вызвало особенныя похвалы вріѣхавшаго въ Казань важнаго генерала Желтухина, который пригласилъ его къ себѣ въ адъютанты и послалъ сочиненіе къ разнымъ высокимъ лицамъ въ Петербургъ. Но опредѣленіе въ военную службу Панаева не состоялось. Онъ поѣхалъ въ Петербургъ. Конечно, онъ не могъ жить только для одной литературы, которая не давала ни чиновъ, ни почестей, а все русское общество ставило высоко одно служебное честолюбіе. И оно сдѣлалось цѣлью стремленій Панаева. Но между служебными обязанностями онъ занимался, однако, и литературою, которая въ свою очередь служила ему, при существованіи покровительственной системы. Весьма любопытный эпизодъ въ его „Воспоминаніяхъ“ представляетъ описаніе его перваго знакомства съ Державинымъ, который приходился ему дальнимъ родственникомъ. Въ домѣ дяди своего Страхова Панаевъ привыкъ къ глубокому уваженію къ „казанскому барду“; Казанское общество любителей словесности носило съ этимъ именемъ въ теченіе многихъ лѣтъ; первыя свои идилліи, чистенько переписанныя, Панаевъ при почтительномъ письмѣ послалъ въ Петербургъ къ Державину и удостоился получить отъ него отвѣтъ, въ которомъ онъ одобрилъ стихотворныя попытки Панаева въ идиллическомъ родѣ; называлъ талантъ его прекраснымъ, но давалъ и наставленія, которыя рисуютъ передъ нами доброе старое время и тотъ господствовавшій въ немъ взглядъ на литературное произведеніе, по которому оно являлось чѣмъ-то механическимъ. „Совѣтую дружески не торопиться,—писалъ Державинъ,—вычищать хорошенько слогъ, тѣмъ паче когда онъ въ свободныхъ (т.-е. безъ рیمъ)

¹⁾ Н. Поповъ, Русск. Вѣстникъ, XXIII, стр. 52—98.

стихахъ заключается. Въ семь родѣ у насъ мало писано. Возьмите образцы съ древнихъ, если вы знаете греческій и латинскій языки, а ежели въ нихъ неискусны, то нѣмецкія Геснера могутъ вамъ послужить достаточнымъ примѣромъ въ описаніи природы и невинности нравовъ. Хотя климатъ нашъ суровъ, но и въ немъ можно найти красоты и въ физическіи и въ морали, которыя могутъ тронуть сердце" ¹⁾. Изъ писемъ Державина, изъ объясненія самого Панаева въ его предисловіи къ „Идилліямъ" ²⁾, видно, что главное дѣло въ этомъ поэтическомъ родѣ заключалось въ „невинности нравовъ". Это требованіе удаляло идиллію вполнѣ отъ современности, и сцена дѣйствія переносилась въ золотой вѣкъ человѣчества, въ поля Аркадіи и Сициліи; главнымъ содержаніемъ ихъ была чувствительность сердца. Отчего нельзя переселить идилліи въ наши времена? — спрашиваетъ Панаевъ. „Тогда она совершенно бы лишилась своего достоинства, — отвѣчаетъ онъ, — даже правдоподобія, а писатель увидѣлъ бы себя въ самомъ затруднительномъ положеніи. Извѣстно, каковы нынѣшніе пастухи и земледѣльцы: продолжительное рабство сдѣлало ихъ грубыми и лукавыми. Такими ли привыкли воображать счастливыхъ обитателей Аркадіи?" ³⁾

Письмо Державина съ теоретическими наставленіями въ поэзіи къ молодому университетскому кандидату произвело чрезвычайный эффектъ. Нечего и говорить, что авторъ „цѣлую зимнюю ночь не могъ сомкнуть глазъ отъ пріятнаго волненія", но „и самый университетъ принялъ въ томъ участіе, профессора, товарищи, всѣ поздравляли" счастливецъ. „Такъ цѣнили тогда великихъ писателей, людей государственныхъ!" — прибавляетъ отъ себя Панаевъ въ поученіе непочтительному потомству ⁴⁾. Любопытно въ „Воспоминаніяхъ" Панаева то мѣсто, гдѣ онъ описываетъ свое первое представленіе Державину и какъ онъ хотѣлъ поцѣловать его руку ⁵⁾. Онъ былъ и на собраніяхъ „Бесѣды", и разумѣется, по убѣжденіямъ своимъ принадлежалъ къ ней. По смерти Державина, Панаевъ познакомился съ нѣкоторыми другими молодыми второстепенными литераторами, къ кругу которыхъ принадлежалъ и Милоновъ, и довольно подробно, хотя съ недѣлающею чести его уму и сердцу откровенностію останавливается въ „Воспоминаніяхъ" на своихъ отношеніяхъ къ Пономаревой, женщинѣ весьма образованной, молодой и энергичной, блестящей представительницѣ средняго круга петербургскаго общества, у которой въ ту пору

¹⁾ Вѣстн. Европы, 1867 г., III, стр. 242—243.

²⁾ СПб. 1820.

³⁾ XIII—XIV.

⁴⁾ Вѣстн. Европы 1867 г., III, стр. 242.

⁵⁾ Ibidem, стр. 246.

собиралось много писателей, привлекаемых ея характеромъ и прелестью обращенія. О ней намъ придется еще сказать нѣсколько словъ, какъ и о тогдашнихъ литературныхъ кружкахъ столицы. Вся фальшь, однако, этихъ разсказовъ Панаева о Пономаревой была обнаружена современниками тотчасъ по выходѣ его записокъ.

Службою Панаевъ не пренебрегалъ такъ, какъ Милоновъ. „По обѣимъ частямъ (своихъ служебныхъ обязанностей) занимался я съ полнымъ усердіемъ,—говоритъ онъ,—являлся къ должности въ опредѣленный часъ, отправлялъ въ свою очередь ночное въ департаментѣ дежурство, ночевалъ тамъ съ клопами, утѣшаясь одобреніемъ и ласкою Деканскаго (главнаго регистратора), но не удостоиваясь никакого вниманія со стороны исправляющаго должность директора“¹⁾. По переходѣ въ другую службу, Панаевъ не оставлялъ, однако, своихъ занятій литературою, особенно съ тѣхъ поръ, какъ онъ устроился въ департаментѣ путей сообщенія и дана была ему „казенная квартира, чистенькая, просторная“. Панаевъ помѣщалъ свои стихи и прозу въ „Вѣстникъ Европы“, „Сынъ Отечества“, а больше всего въ „Благонамѣренномъ“, журналѣ, издаваемомъ А. Е. Измайловымъ, который былъ съ нимъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ. Онъ сдѣлался членомъ двухъ литературныхъ обществъ, существовавшихъ тогда въ Петербургѣ и судя по „Воспоминаніямъ“ составилъ себѣ обширный кругъ знакомыхъ между писателями. Онъ сблизился „съ нѣкоторыми, въ которыхъ находилъ болѣе простоты и менѣе самолюбія — довольно коротко, съ другими — только слегка. Литература и тогда дѣлилась на нѣсколько партій или приходовъ. Не любя этого, я не принадлежалъ ни къ одному...“²⁾ Въ особенности Панаеву не нравились лиценсты, т. е. товарищи Пушкина, изъ которыхъ нѣсколько по окончаніи курса, тоже вслѣдствіе полученнаго ими образованія, взялись за литературу; къ нимъ примкнули другіе молодые люди одинаковыхъ съ ними лѣтъ. Это была либеральная партія и Панаевъ не благоволилъ къ ней. По его словамъ, „они были (оставляя въ сторонѣ гениальнаго Пушкина), по большей части, люди съ дарованіями, но и непомѣрнымъ самолюбіемъ. Имъ хотѣлось поскорѣе войти въ кругъ писателей, поравняться съ ними“³⁾. Въ особенности Панаевъ разошелся съ ними по отношенію къ С. Д. Пономаревой.

Въ 1820 году Панаевъ издалъ книжку своихъ „идиллій“, съ историческимъ и теоретическимъ введеніемъ объ этомъ родѣ поэзіи. Всѣ его идилліи суть подражанія Геснеру и въ этомъ отношеніи Па-

¹⁾ Ibidem, стр. 259.

²⁾ Ibidem, стр. 264.

³⁾ Ibidem.

наевъ послѣдовалъ совѣту, данному ему Державинимъ. Происхожденіе этихъ идиллій, конечно, надобно объяснять только теоріей; нужно было молодому писателю выбрать себѣ какой-нибудь родъ, какъ это дѣлалось тогда, тѣмъ болѣе, что, по словамъ Панаева, онъ видѣлъ недостатокъ этого рода въ нашей словесности, гдѣ со времени Сунарокова мало писалось идиллій. Онъ думалъ, по взгляду того времени, привести существенную пользу нашей литературѣ и наполнить своими идилліями существующій пробѣлъ. Но выборъ идиллическаго рода Панаевъ объяснял и личными причинами, собственной склонностію, „образомъ первоначальнаго своего воспитанія, мирною семейственною жизнію и частымъ пребываніемъ въ деревнѣ“¹⁾. Нечего и говорить, что образы и нравы послѣдней не встрѣчаются въ его идилліяхъ и что всѣ картины, всѣ характеры, имъ изображаемые, не имѣютъ ничего общаго съ жизнію и совершенно искусственны. Не смотря на это, идилліи были торжествомъ для Панаева: „Лучшіе писатели и большая часть читающей публики,— говоритъ онъ съ самодовольствомъ, — приняли ихъ съ отряднымъ для меня одобреніемъ; журналы отозвались благосклонно; Россійская Академія наградила меня золотою медалью; императрица Елисавета Алексѣевна—золотыми часами“²⁾. Все это не могло не содѣйствовать успѣху служебной карьеры Панаева. Въ 1823 году Панаевъ издалъ свое „Похвальное слово Кутузову“. И оно также послужило ему въ пользу, конечно не безъ хлопотъ со стороны автора. Оно сблизило его съ Шишковымъ, который вскорѣ послѣ того былъ назначенъ министромъ народнаго просвѣщенія и взялъ автора къ себѣ на службу. Одинъ экземпляръ онъ послалъ къ статсъ-секретарю Лонгинову для поднесенія императрицѣ. „Спустя недѣлю,—разсказываетъ Панаевъ,—вижу сонъ, будто входитъ ко мнѣ придворный лакей и подаетъ красную сафьянную коробочку; раскрываю—три бриллантовые кружка. Въ это самое время (въ 8 часовъ утра) человѣкъ мой будитъ меня, говоря, что пріѣхалъ придворный ѣздовой. Надѣваю халатъ; выхожу—ѣздовой подаетъ мнѣ пакетъ; распечатываю—письмо отъ Лонгинова съ препровожденіемъ фермуара, пожалованнаго императрицею моею невѣстѣ!.. Чѣмъ объяснить сей сонъ, такъ вѣрно и такъ быстро сбывшійся?“—спрашиваетъ Панаевъ. Онъ отрицаетъ, что много думалъ о посланномъ государынѣ экземплярѣ и надѣялся на новую отъ нея милость. „Выходитъ, что сонъ этотъ принадлежитъ,— говоритъ авторъ,—къ числу многихъ подобныхъ неизъяснимыхъ явленій нашей жизни, гдѣ гордый, пылливый умъ человѣческій долженъ

¹⁾ Въмѣсто предисловія, XIX.

²⁾ Русск. Арх., 1867 г., III, стр. 267.

умолкнуть и гдѣ начинается область одной вѣры¹⁾. Но и государь подарилъ за то же похвальное слово Панаеву богатый брилліантовый перстень. „Судя по тогдашнимъ цѣнамъ и небольшому чину моему— коллежскаго ассесора,—говорить Панаевъ,—милость эта была всѣми признана значительною, даже неожиданною, тѣмъ болѣе, что сочиненіе мое заключало въ себѣ мѣста щекотливыя, именно тамъ, гдѣ говорилось о постигшей Кутузова опалѣ“²⁾. Изъ этого видно, что литература была очень удачнымъ дѣломъ для Панаева и что онъ умѣлъ поступать такъ, чтобъ извлекать изъ нея всевозможныя выгоды, на что, конечно, не всякій способенъ. Литературныя труды Панаева, при невзыскательности тогдашней критики и при существованіи системы покровительства, которая не умѣла хорошенько разобрать, за что слѣдуетъ награждать, составили служебную карьеру Панаева, положили основаніе его успѣхамъ по службѣ, но по мѣрѣ разширенія этихъ успѣховъ онъ постепенно охладѣвалъ къ литературному дѣлу, которое не могло уже приносить ему прежней пользы. Литература, которая въ Панаевѣ не была сознательнымъ служеніемъ обществу и необходимою потребностію души его, а только упражненіемъ въ томъ или другомъ родѣ или просто въ слогѣ, должна была быть скоро забыта имъ. Въ высокихъ чинахъ и звѣздахъ, онъ долженъ былъ смотрѣть на нее свысока, какъ на забаву молодости, и когда въ ту канцелярію, которой онъ былъ директоромъ, поступали молодые люди съ призваніемъ къ литературѣ, съ желаніемъ заниматься ею, онъ совѣтовалъ имъ бросить это занятіе и требовалъ отъ нихъ только службы, только одной службы. И этотъ типъ писателя, который уясняется намъ, благодаря собственнымъ запискамъ Панаева, приводитъ къ тому же нѣсколько разъ повторенному заключенію о бѣдности нашей литературы въ царствованіе Александра, о ея печальномъ удаленіи отъ жизни и дѣйствительности. Одобреніе властью литературныхъ трудовъ Панаева объясняется тѣмъ, что, по всей вѣроятности, цензура не вымарала изъ нихъ ни одной строчки.

ЛЕКЦІИ XVII и XVIII.

Н. И. Гнѣдичъ. — Переводные романы. — Нарѣжный.

Между людьми, сдѣлавшимися поэтами и литераторами совершенно случайно, было весьма немного людей, смотрѣвшихъ серьезно на литературное свое призваніе, искренно преданныхъ ему во всю жизнь и получившихъ такое солидное образованіе, которое выдвигало ихъ изъ

¹⁾ Вѣстн. Европы 1867 г., IV, стр. 90—91.

²⁾ Ibidem.

ряда. Это образованіе, исключительно направленное въ одну сторону, отодвигало ихъ также отъ живыхъ интересовъ времени и общества, не давало имъ возможности хорошо понять ихъ, но за то позволило имъ оказать дѣйствительныя услуги русской литературѣ внесеніемъ въ нее элементовъ, прежде неизвѣстныхъ. Къ числу такихъ рѣдкихъ исключеній принадлежалъ Гяѣдичъ, писатель, хотя и одаренный небольшимъ поэтическимъ талантомъ, но знакомый, и вслѣдствіе полученнаго имъ первоначально образованія и потомъ вслѣдствіе усиленнаго труда почти цѣлой жизни, съ классическимъ міромъ и съ древней греческой поэзіей, что позволило ему обогатить русскую литературу замѣчательнымъ переводомъ Иліады. Вдали отъ литературныхъ партій того времени, не принадлежа всецѣло ни къ представителямъ „Весѣды“, ни къ землямъ „Арзамаса“, Гяѣдичъ одинокій и большею частію болѣзненный, дѣлалъ свое дѣло, которое любилъ всею душою. Это не мѣшало ему находить искреннихъ и преданныхъ друзей въ разныхъ партіяхъ и поколѣніяхъ писателей того времени. Его любили за прекрасное, доврчивое сердце, за свѣтлый умъ, за страстныя и искреннія увлеченія міромъ искусства, которое онъ цѣнилъ во всѣхъ формахъ и видахъ его и за готовность служить при всякихъ обстоятельствахъ друзьямъ своимъ въ литературномъ мірѣ. Это заставляло смотрѣть всѣхъ снисходительно на его странную, педантическую фигуру, съ его классическими увлеченіями и вѣчнымъ Гомеромъ, напоминавшую старика Тредьяковскаго. Гяѣдичъ былъ некрасивъ собой, но имѣлъ претензію нравиться; его лицо было изуродовано оспой, которая сдѣлала его кривымъ, но подъ этою невзрачною и отталкивающею наружностію скрывалась прекрасная душа, которая заставляла всѣхъ любить его и забывать его наружность. Гяѣдичъ нисколько не былъ ослѣпленъ на счетъ размѣровъ своего поэтическаго таланта, онъ очень вѣрно опредѣлялъ стихи свои

„Дары небогатые строго-скупой моей музы“.

Но въ этихъ немногихъ стихахъ его, повторимъ его собственныя выраженія, всакой—

„Узнаешь изъ нихъ, что въ груди моей бьется, быть можетъ,
Не общее сердце; что съ юности вѣжной оно трепетало
При чувствѣ прекрасномъ, при помыслѣ важномъ или смѣломъ,
Дрожало при имени славы или гордой свободы;
Что съ юности вѣжной, любовію къ музамъ пылая,
Оно сохраняло, во всѣхъ коловратностяхъ жизни,
Сей жаръ, хоть не пламенный, но постоянный и чистый;
Что не было видовъ, что не было мзды, для которыхъ
Душой торговалъ я, что бывши не разъ искупаемъ

Могуществомъ гордымъ, изъ опытовъ вышелъ я чистымъ;
Что жертвъ не куривъ, возжигаемыхъ идоламъ міра,
Ни словомъ однимъ я безсмертной души не унижилъ“ ¹⁾).

Дѣйствительно Гнѣдичъ, былъ глубоко честною натурою. Біографъ его, впрочемъ представившій о Гнѣдичѣ самыя скудныя свѣдѣнія, приводитъ одну фразу его, которая можетъ служить его характеристикой: „Умомъ моимъ я не всегда доволенъ: онъ нерѣдко увлекается; но душею—всегда: она ни разу меня не обманула“ ²⁾).

Николай Ивановичъ Гнѣдичъ былъ родомъ изъ Малороссіи. Онъ родился въ Полтавѣ въ 1784 году и происходилъ изъ очень небогатыхъ дворянъ того края. Первоначальное воспитаніе Гнѣдичъ получилъ въ Полтавской семинаріи, гдѣ, вѣроятно, положено было прочное основаніе для знакомства съ древними языками. Въ 1800 году онъ поступилъ въ Московскій университетъ, гдѣ прилежно продолжалъ заниматься древними языками и познакомился съ французскимъ и нѣмецкимъ. Современникъ рассказываетъ, что въ университетѣ и товарищи и профессеры любили добраго, умнаго и миролюбиваго Гнѣдича, хотя и подсмѣивались надъ его педантическимъ видомъ, надъ привычкою говорить свысока и придавать значеніе самымъ пустымъ обстоятельствамъ. Еще въ университетѣ онъ полюбилъ чтеніе гекзамеровъ въ Телемахидѣ Тредьяковскаго и выдерживалъ изъ-за нея споры съ своими товарищами, которые удивлялись его странному вкусу и не могли понять его. Тамъ же Гнѣдичъ пріучился декламировать, что продолжалъ онъ дѣлать и потомъ, славясь мастерскимъ чтеніемъ и кромѣ того получилъ искреннюю страсть къ театру, которая не оставила его до самой смерти. Гнѣдичъ полюбилъ Шекспира, хотя и не былъ знакомъ съ нимъ въ подлинникѣ, и Шиллера. Его страстью сдѣлалась трагедія. Первые литературные труды его, за которые онъ взялся еще въ университетѣ, чтобы получить деньги, были переводы трагедій: Дюссиса „Абюфаръ или Арабская семья“ ³⁾ и Шиллера „Заговоръ Фіеско въ Генуѣ“ ⁴⁾. Тогда же онъ написалъ плохой подражательный романъ: „Донъ Коррадо де Геррера или Духъ ищенія и варварства испанцевъ“ ⁵⁾. Преобладающею страстію его была однако трагедія. Основываясь на примѣрахъ мистерій среднихъ вѣковъ и Шекспировыхъ историческихъ хроникъ, которыя дѣлаются на нѣсколько частей, Гнѣдичъ задумалъ было самъ написать

¹⁾ Къ моимъ стихамъ.

²⁾ Лобановъ, Біографія Н. И. Гнѣдича. „Сынъ Отеч.“, 1842, XI, стр. 26.

³⁾ М. 1802.

⁴⁾ М. 1803.

⁵⁾ М. 1803.

драму въ 15 дѣйствіяхъ, но предпріятіе его осталось неоконченнымъ: нужно было ѣхать служить въ Петербургъ ¹⁾). На студенческомъ театрѣ Гнѣдичъ любилъ выбирать для себя трагическія роли.

По пріѣздѣ въ Петербургъ, отыскивая мѣсто, Гнѣдичъ находился въ очень стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Рассказываютъ, что не имѣя денегъ, онъ принужденъ былъ обратиться за помощью къ графу Хвостову и написалъ ему стихотворное посланіе ²⁾). Ему помогъ его соотечественникъ, тоже классикъ, извѣстный намъ И. И. Мартыновъ, давшій ему мѣсто подъ своимъ начальствомъ, въ департаментѣ народнаго просвѣщенія, гдѣ онъ оставался на службѣ до 1817 года. Съ этого времени онъ сталъ принимать дѣятельное участіе въ петербургской литературѣ и помѣщалъ свои стихи сначала въ журналахъ, издаваемыхъ Мартыновымъ: „Сѣверный Вѣстникъ“, „Лицей“, а потомъ и въ другихъ. Съ этихъ поръ онъ сближается съ разными писателями, и съ молодыми и съ старыми и живетъ постоянно въ литературномъ кругѣ. Мы уже видѣли, въ какой тѣсной дружбѣ находился онъ съ Батюшковымъ; вмѣстѣ съ нимъ онъ участвовалъ въ „Цвѣтникѣ“, издававшемся молодыми писателями. Онъ принадлежалъ къ обществу любителей русской словесности, которое подъ разными названіями существовало очень долго. Дружбу съ Батюшковымъ и поэтическія мечты съ нимъ Гнѣдичъ цѣнилъ очень высоко, какъ это видно изъ его стихотвореній ³⁾). Но и со старыми писателями онъ сблизился съ самаго пріѣзда своего въ Петербургъ. Гнѣдичъ былъ знакомъ съ Капнистомъ, тоже малороссомъ и близкимъ другомъ и родственникомъ Державина. Когда образовалась „Бесѣда“ онъ сдѣлался ея членомъ, хотя на первыхъ порахъ чуть-было не разошелся съ Державинымъ. Послѣдній, какъ и многіе другіе, любилъ въ Гнѣдичѣ талантъ отличнаго чтеца и приглашалъ его читать въ собраніяхъ свои трагедіи. Но Гнѣдичъ смѣялся надъ „Бесѣдою“ и ея членами. „У насъ заводится названное съ начала Ликей, потомъ Аоніей и наконецъ Бесѣда или общество любителей россійской словесности“, пишетъ онъ къ Капнисту... Разказавъ ея внѣшнее устройство въ домѣ Державина, Гнѣдичъ продолжаетъ: „Чтобы въ случаѣ пріѣзда вашего и посѣщенія Бесѣды не прійти вамъ въ конфузю, предупѣдомляю васъ, что слово проза называется у нихъ *юворъ*, билетъ—*значекъ*, номеръ—*число*, швейцаръ—*въстникъ*; другихъ словъ еще не вытвердилъ, ибо и самъ новичекъ. Въ залѣ Бесѣды будутъ публичныя чтенія, гдѣ будутъ совокупляться знатныя особы обоего пола—подлинное

¹⁾ Жихаревъ, Записки, стр. 158.

²⁾ Вигель, Записки, ч. III, стр. 146.

³⁾ Къ К. Н. Батюшкову и Дружба.

выраженіе одной статьи устава Бесѣды¹⁾. Бесѣда задѣла и самолюбіе Гнѣдича. Члены различныхъ разрядовъ ея въ спискахъ, составленныхъ по выбору, были разставлены по старшинству чиновъ. Это не могло понравиться Гнѣдичу: „Отдавая всю справедливость и уваженіе заслугамъ по службѣ, писалъ онъ Державину, я тогда только позволю себѣ видѣть имя свое ниже нѣкоторыхъ господъ, послѣ какихъ внесенъ я въ списокъ, когда дѣло будетъ идти о чинахъ“²⁾. Несмотря на это недоразумѣніе, кажется, однако, что Гнѣдичъ участвовалъ въ засѣданіяхъ Бесѣды и читалъ въ нихъ до самаго конца ея существованія.

Существуетъ очень мало стихотвореній Гнѣдича, въ которыхъ выражалось бы личное чувство его. Человѣкъ скромный, тихій, одинокій, любившій уединеніе, онъ рѣдко высказывался, да едва ли и могъ. Какъ во всякомъжно-русскѣ, и въ Гнѣдичѣ сильно развито было чувство любви къ своей родинѣ и въ особенности къ роднымъ. Впрочемъ, его семейныя отношенія намъ почти неизвѣстны. Изъ Петербурга онъ ѣздилъ нѣсколько разъ на родину. Такъ въ 1805 году, онъ посѣтилъ гробъ матери, которую, кажется, потерялъ еще въ дѣтствѣ:

„Отъ колыбели я остался
Въ печальномъ мірѣ сиротой,
На утрѣ дней моихъ разстался,
О мать безцѣнная, съ тобой“.

Онъ жалуется на свою печальную судьбу: ... „Оставленный тобою, говорятъ онъ о матери, я отъ пеленъ усыновленъ суровой мачихой—судьбою“³⁾. Была у Гнѣдича сестра, которой онъ передалъ небольшое отцовское наслѣдство. Она умерла молодой женщиной и Гнѣдичъ перенесъ всѣ свои сердечныя привязанности на ея единственную маленькую дочь, которую онъ называетъ своей „последней земной привязанностію“.

„Тебя далекою, невиданною мною,

говорить онъ въ исполненномъ грусти стихотвореніи, написанномъ имъ по случаю смерти племянницы,

Любилъ, легѣлъ я во глубинѣ души,
Какъ лучшую мечту, какъ сладкую надежду“⁴⁾.

¹⁾ Соч. Державина, т. VI, стр. 375.

²⁾ Ibidem, стр. 203.

³⁾ На гробъ матери.

⁴⁾ На смерть дочери покойной сестры.

Не имѣя такимъ образомъ близкихъ людей, привязанность къ которымъ могла бы наполнить его сердечную пустоту, Гнѣдичъ постоянно жаловался на свое одиночество. Оно томило его. Въ стихотвореніи „Дума“ онъ высказываетъ свою личную жалобу:

„Печаленъ мой жребій, удѣлъ мой жестокъ!
Ничьей не ласкаемъ рукою,
Отъ дѣтства я росъ одинокъ, сиротой;
Въ путь жизни пошелъ одинокъ;
Прощель одинокъ его—тощее поле,
На коемъ, какъ въ знойной Ливійской юдогѣ,
Не встрѣтились взору ни тѣнь, ни цвѣтокъ;
Мой путь одинокъ я кончаю,
И хилую старость встрѣчаю
Въ домашнемъ быту одинокъ:
Печаленъ мой жребій, удѣлъ мой жестокъ!“

Всю жизнь Гнѣдичъ мечталъ о семейномъ счастьи. Свидѣтельствомъ желаній этихъ могутъ служить разныя наброски, въ которыхъ онъ записывалъ мысли и чувства или собственные или навѣянные чтеніемъ чужихъ произведеній. Нѣсколько такихъ афоризмовъ, изъ бумагъ Гнѣдича, напечаталъ Лобановъ въ своей статьѣ о немъ. „Долго испытывая, что такое счастье, или лучше сказать — на чемъ бы хотѣлъ я основать мое счастье, нахожу, что постоянство и однообразіе жизни, спокойствіе духа и свобода, образованность сердца и раздѣленіе чувствъ его — вотъ источники счастья, мною воображаемаго. Только воображаемаго! Какъ я бѣденъ!... Главный предметъ моихъ желаній—домашнее счастье... Но увы! я бездоменъ, я безроденъ. Бругъ семейственный есть благо, котораго я никогда не вѣдалъ. Чуждый всего, что могло бы меня развеселить, ободрить, я ничего не находилъ въ пустотѣ домашней, кромѣ хлопотъ, усталости, унынія. Меня обременяли всѣ заботы жизни домашней, безъ всякаго изъ нея наслажденій“... ¹⁾). Къ тому же и здоровье Гнѣдича было плохое; онъ часто хворалъ. Но за то въ этомъ невольномъ уединеніи и отчужденіи отъ всего вѣшняго міра, Гнѣдичъ тѣмъ съ большимъ увлеченіемъ и страстію погружался въ міръ поэзіи, преимущественно классической, и въ міръ искусства. Гнѣдичъ страстно любилъ и живопись и музыку и тѣмъ сильнѣе были его увлеченія, что рѣдко удавалось ему съ кѣмъ-нибудь раздѣлять ихъ. Изъ міра поэзіи и искусства Гнѣдичъ любилъ болѣе всего театръ, это была его страсть исключительная, и хотя самъ онъ не написалъ ни одной оригинальной пьесы, но мы видѣли, что, еще будучи московскимъ студентомъ, онъ переводилъ трагедіи.

¹⁾ „Сынъ Отеч.“, 1842, XI, стр. 28—29.

Эта страсть наша еще больше удовлетворенія въ Петербургѣ. Какъ литераторъ, какъ знатокъ искусства, какъ отличный чтець и декламаторъ, Гнѣдичъ получилъ большую извѣстность въ литературныхъ и близкихъ къ театру кружкахъ. Его вкусъ и сужденія уважались. Изъ всѣхъ трагическихъ поэтовъ Гнѣдичъ выше ставилъ Шекспира и приходилъ въ восторгъ отъ характера Гамлета, хотя онъ знакомъ былъ съ произведеніями англійскаго драматурга по французскому переводу Дюссиса ¹⁾). Мнѣнія Гнѣдича вообще были правильны въ этомъ вопросѣ.

Но классическая теорія, въ которой онъ былъ воспитанъ, брала, разумѣется, перевѣсъ, и съ ея точки зрѣнія Гнѣдичъ долженъ былъ смотрѣть и на Шекспира. Въ 1807 году онъ поставилъ на петербургскую сцену, а въ слѣдующемъ году напечаталъ свою трагедію „Леаръ“, „взятую изъ Шекспира“. Конечно, съ большимъ трудомъ можно узнать въ ней знаменитаго „Короля Лира“. Это не переводъ, а подражаніе или скорѣе передѣлка. Гнѣдичъ былъ недоволенъ ни Шекспиромъ, ни переводчикомъ его Дюссисомъ. Ему не нравится сумашествіе Лира въ Шекспировомъ оригиналѣ; ему не нравится, что Дюссисъ, въ своей передѣлкѣ, сдѣлалъ Лира „легкомысленнымъ, возмутительнымъ, властолюбивымъ“. Это заставило Гнѣдича, по его собственнымъ словамъ, „прибѣгнуть къ изобрѣтенію“; даже развязка трагедіи переименована у него ²⁾). Публика, конечно, была такъ мало знакома съ настоящимъ Шекспиромъ, что Гнѣдичу не стоило и оправдываться въ своихъ передѣлкахъ; „Леаръ“ имѣлъ большой успѣхъ на сценѣ, точно такъ, какъ и другая переводная трагедія Гнѣдича, на этотъ разъ взятая изъ псевдоклассическаго театра „Танкредъ“—Вольтера ³⁾). Въ это время литературныхъ успѣховъ Гнѣдича на театрѣ, относится сближеніе его съ знаменитой трагической актрисой того времени Семеновою, которая возбуждала восторгъ публики въ пьесахъ Озерова и въ „Лирѣ“, передѣланномъ Гнѣдичемъ,—въ роли Корделіи. Скоро, впрочемъ, Семенова, сдѣлавшись благодаря своей классической красотѣ, княгиней Гагариною, оставила сцену. По словамъ современниковъ своимъ талантомъ, пониманіемъ трагическихъ сторонъ характеровъ, да и вообще своею славой Семенова обязана была исключительно Гнѣдичу. Съ глубокою преданностью, можетъ быть съ затаенною страстью къ прекрасной женщинѣ, Гнѣдичъ слѣдилъ за ея развитіемъ и проходилъ съ ней усердно главныя трагическія роли, въ которыхъ она появлялась на сценѣ. Труда и усердія

¹⁾ Жихаревъ, Записки, стр. 350.

²⁾ Леаръ, траг. въ пяти дѣйствіяхъ. Спб. 1808. Предисловіе.

³⁾ Спб. 1810.

на это любимое дѣло, въ которомъ удовлетворялась его страсть къ театру и любовь къ изящному, Гнѣдичъ положилъ очень много, за то и добился блестящихъ результатовъ. Говорятъ даже, что частая и усиленная декламація, чтеніе вслухъ и сильное напряженіе при этомъ положили въ немъ начало той болѣзни, которая свела его въ могилу — расширенію артерій сердца.

„Свершай путь начатый; онъ труденъ, но мятенъ,—

говорить Гнѣдичъ въ своемъ стихотворномъ посланіи къ Семеновой:

Дается свыше даръ, и всякій даръ священный!
Но ихъ природа намъ не вступъ посылаетъ:
Природа даръ даетъ, а трудъ усовершенствуетъ;
Цѣни его и уважай,
Искусствомъ, опытомъ, трудомъ обогащай,
И шествуй гордо въ путь, въ прекрасный путь за славою.

Скоро, однако, другая могучая, уединенная страсть наполнила душу Гнѣдича и не оставляла его до самой смерти. Мы говоримъ о его замѣчательномъ переводѣ Иліады, трудѣ, которому онъ посвятилъ много лѣтъ своей жизни и который дѣйствительно составляетъ приобритеніе нашей литературы. Переводъ этотъ, къ счастью самого Гнѣдича, даже на первыхъ порахъ, нашелъ одобреніе и матеріальную помощь, такъ что онъ безпрепятственно и спокойно могъ продолжать его. Писатели, любившіе Гнѣдича, также смотрѣли на трудъ его съ уваженіемъ и одобряли тѣ отрывки, которые появлялись въ тогдашнихъ журналахъ. А сначала Гнѣдичъ отчаявался. „Карабкаться до столбовъ Геркулесовыхъ до тѣхъ поръ, пока отъ дороги и труда упаду ободраннѣе и изнеможеннѣе? Какіе усладительные виды, а особливо для старости!“ писалъ Гнѣдичъ къ Капнисту въ 1811 году ¹⁾. Онъ собирался было ѣхать при посольствѣ въ Сѣверную Америку, но „убоялся, говоритъ онъ, чтобы при повтореніи Виргиліевой бури меня не замутило и не потерпѣть бы мнѣ судьбы Падлура“ ²⁾. Гимны Гомера въ переводѣ онъ сталъ печатать съ 1808 года и тогда же принялся за продолженіе перевода Иліады, сдѣланнаго александрійскими стихами еще въ прошломъ вѣкѣ Костровымъ. Этотъ старый переводчикъ напечаталъ при жизни своей шесть пѣсенъ; трудъ его ставили очень высоко въ литературѣ и Гнѣдичъ, хорошо знакомый съ Гомеромъ еще въ университетѣ, по совѣту ли другихъ или по собственному убѣжденію, рѣшился продолжать его. До 1812 года онъ пере-

¹⁾ Соч. Державина, т. VI, стр. 375.

²⁾ Ibidem, стр. 376.

валъ около пяти пѣсенъ, печатая отрывки ихъ въ журналахъ и читая ихъ въ разныхъ литературныхъ обществахъ, какъ вдругъ въ „Вѣстникѣ Европы“ 1811 года ¹⁾ появилось случайно найденное продолженіе перевода Кострова, состоящее изъ 7-й, 8-й и 9-й части пѣсенъ Илиады. Гнѣдичъ сталъ отчаяваться, говорилъ, что начинаніе труда его было напрасно, жаловался, что онъ суетно потерялъ на этотъ трудъ шесть лѣтъ жизни ²⁾. Незадолго до этого онъ получилъ новое служебное мѣсто и матеріальную помощь для перевода Гомера. Въ 1811 году Гнѣдичъ поступилъ на службу въ Публичную Библіотеку, не оставляя, однако, своей должности въ департаментѣ до 1817 года. Директоромъ Библіотеки былъ тогда графъ А. С. Строгановъ, большой любитель искусствъ. Онъ былъ искренно расположенъ къ Гнѣдичу и труду его и понималъ все его значеніе для русской литературы. Въ домѣ его Гнѣдичъ былъ принятъ съ истиннымъ радушіемъ. Мѣсто Строганова, скоро умершаго, занялъ Оленинъ, о которомъ намъ не разъ уже приходилось говорить. Въ его домѣ Гнѣдичъ былъ также принятъ какъ родной, вмѣстѣ съ Крыловымъ, своимъ сослуживцемъ; дружба ихъ завязалась тутъ и длилась до самой смерти Гнѣдича. Ласкамъ и радушію Оленина и жены его, известной Елизаветы Марковны, Гнѣдичъ былъ многимъ обязанъ. Въ своемъ стихотвореніи „Пріютно“ (такъ называлось имѣніе Олениныхъ подъ Петербургомъ), посвященномъ имъ женѣ своего начальника, Гнѣдичъ рассказываетъ свои уединенныя прогулки по его лѣсамъ въ теченіе многихъ лѣтъ:

„Здѣсь часто по холмамъ бродилъ съ моею мечтою,
И спящее въ глуши безжизненныхъ лѣсовъ
Я эхо сѣвера вечернею порою
Будилъ гармоніей Гомеровыхъ стиховъ“.

И тотъ и другой начальники Гнѣдича, говоритъ Лобановъ, не столько службы требовали отъ него, сколько Илиады. Безъ сомнѣнія, при ихъ посредствѣ предпринятый Гнѣдичемъ переводъ Илиады дошелъ до свѣдѣнія Высочайшихъ особъ. Покровительница Карамзина, великая княгиня]Екатерина Павловна, назначила Гнѣдичу въ 1812 году пенсію въ 1000 рублей, которую онъ получалъ по самую смерть свою. Онъ удостоился приглашенія и къ императрицѣ Маріи Феодоровнѣ и читалъ въ ея присутствіи свой переводъ. Объ этомъ онъ самъ говоритъ въ своихъ стихотвореніяхъ. По смерти великой княгини онъ написалъ „Приношеніе“, въ которомъ высказываетъ свою

¹⁾ Ч. 58, № 14.

²⁾ Соч. Державина, т. VI, стр. 376.

печаль, что ему не удалось поднести ей окончанный переводъ *Иліады*. Но Гнѣдичъ посвящаетъ его ей памяти, ея имени:

„Такъ нима твое да украсить мой свитокъ;
И пусть оно скажетъ потомкамъ, что я,
Избранный тобой проповѣдникъ Гомера,
Не вовсе пѣвцовъ недостойную жертву
Принесъ на священный отчизны алтарь“¹⁾.

Нѣсколько лѣтъ труда надъ продолженіемъ перевода *Иліады*, начатаго Костровымъ александрійскими стихами, хотя и казались сначала Гнѣдичу напрасно потерянными, не были, однако, бесплодными. Онъ успѣлъ полюбить Гомера и не могъ уже съ нимъ разстаться. Въ годъ появленія найденнаго продолженія Кострова, когда Гнѣдичъ колебался, на его трудъ обратилъ вниманіе Уваровъ, научно знакомый съ содержаніемъ и характеромъ греческой поэзіи. Онъ убѣдилъ Гнѣдича оставить совершенно александрійскій стихъ, который требовался необходимо для эпической поэмы ложно-классической теоріей, и приняться за новый переводъ *Иліады*—размѣромъ подлинника, т.-е. гекзаметромъ, неудачный опытъ котораго былъ представленъ въ прошломъ вѣкѣ Телемахидю. Кажется, и самъ Гнѣдичъ съ самаго начала сознавалъ достоинство гекзаметра для русскаго перевода Гомера: „Кончивъ шесть пѣсень, я убѣдился опытомъ, говорить онъ въ предисловіи, что переводъ Гомера, какъ я его разумѣю, въ стихахъ александрійскихъ невозможенъ, по крайней мѣрѣ для меня; что остается для этого одинъ способъ, лучший и вѣрнѣйшій—гекзаметръ... Люди образованные (Уваровъ) одобрили мой опытъ и вотъ, что дало мнѣ смѣлость отвязать отъ позорнаго столба стихъ Гомера и *Виргилія*, прикованный къ нему *Тредіаковскимъ*“²⁾. Дѣйствительно, по настоянію Уварова Гнѣдичъ сталъ переводить Гомера гекзаметрами. Уваровъ написалъ съ этою цѣлію письмо къ Гнѣдичу, помѣщенное въ „Чтеніяхъ *Бесѣды*“ вмѣстѣ съ отвѣтомъ послѣдняго и отрывками перевода уже въ новомъ размѣрѣ³⁾. Нашлись писатели, которые стояли за прежній александрійскій размѣръ, напр., *Капнистъ*, доказывавшій въ своемъ письмѣ къ Уварову, что гекзаметръ невозможенъ въ русскомъ языкѣ. Онъ предлагалъ переводить Гомера размѣромъ русской пѣсни или былинны. Его поддерживали и другіе. Эта полемика или „вопли старовѣровъ литературныхъ“—по выраженію Гнѣдича, напе-

¹⁾ Приношеніе *Екатерины Павловны*, покойной королевы *Виртембергской*.

²⁾ *Иліада*, изд. 1839 г., стр. XVI.

³⁾ Чтеніе въ *Бесѣдѣ* любителей русскаго слова. Чтеніе тринадцатое. Спб. 1813 г., стр. 56—86.

чатана также въ Читеніяхъ ¹⁾). Она вызвала даже сатирическіе стихи Воейкова:

„Вотъ ямбовъ защищая честь,
Не зная, что гекзаметръ есть,
Въ филиппикѣ многорѣчивой,
Капнисть рассказываетъ намъ,
Что въ музыкѣ Горацій самъ
Не зная ни толку, ни разиѣра,
Что ухо грубо у Гомера“ ²⁾).

Переводъ Иліады стоилъ Гнѣдичу нѣсколько лѣтъ жизни и большаго труда. Онъ изучалъ не одинъ языкъ Гомера, а все что только было писано о поэмѣхъ его въ европейской наукѣ, знакомился со всѣми разнообразными толкованіями Гомера. Гнѣдичу хотѣлось снабдить свой переводъ объясненіями, которыя онъ считалъ тѣмъ болѣе необходимыми, что наше общество совершенно незнакомо съ классическою литературою и съ содержаніемъ древняго міра. „Фоссъ могъ издать свой переводъ Гомера безъ всякихъ прииѣчаній—говорить Гнѣдичъ; онъ не опасался никакихъ недоразумѣній со стороны читателя... Но древняя тьма лежитъ на рощахъ русскаго Ликей“ ³⁾ и Гнѣдичъ жадуется на господство въ нашей литературѣ одностороннихъ французскихъ сужденій, которыя не позволяютъ правильно смотрѣть на Гомера. Свой собственный взглядъ на Гомера Гнѣдичъ достаточно высказалъ въ своемъ „предисловіи“ въ переводу. Взглядъ этотъ, конечно, соотвѣтствовалъ научному уровню того времени, но теперь онъ значительно измѣнился, какъ измѣнился самый языкъ, которымъ переводилъ Гнѣдичъ и о которомъ онъ много заботился. Какъ извѣстно, языку перевода Гнѣдича недостаетъ простоты и естественности, которыя очевидны въ подлинникѣ; на переводѣ его отразилось сильное вліяніе „Бесѣды“ и господствовавшего въ ней вкуса; Гнѣдичъ не желалъ ограничиваться „языкомъ гостинныхъ и скудными еще нашими словарями“. Онъ употреблялъ и слова малоизвѣстныхъ, областныхъ, но болѣе всего матеріала доставилъ ему языкъ церковно-славянскій. Отъ этого его Иліада имѣетъ нѣсколько торжественный тонъ, не вполне соотвѣтствующій подлиннику; въ этомъ сказался старинный теоретическій взглядъ на эпическую поэмѣ. Недостатки эти, конечно значительны, но въ нихъ надобно видѣть вліяніе времени и образованія, полученнаго Гнѣдичемъ; притомъ они не такъ важны, чтобъ читатель не могъ изъ-за нихъ познакомиться съ содержаніемъ всемірно-исторической поэмы и полюбить Гомера. Трудъ Гнѣдича во

¹⁾ Читеніе семнадцатое. Спб. 1815 г., стр. 18—42 и 47—66.

²⁾ Современ. 1857 г., № 3.

³⁾ Иліада, изд. 1839 г., стр. I—II.

всякомъ случаѣ заслуживаетъ полнаго и глубокаго уваженія, потому что онъ дѣлалъ достояніемъ русской литературы такое великое произведеніе, съ которымъ она вовсе не была до него знакома и такимъ образомъ способствовалъ обогащенію ея содержанія, развитію художественнаго вкуса. Скромный и уединенный труженикъ сдѣлалъ много. Нѣсколько десятилѣтій тому назадъ переводъ Гвѣдича ставился очень высоко. „Русскіе владѣютъ едва ли не лучшимъ въ мірѣ переводомъ „Иліады“, восторженно говоритъ Вѣлинскій. Этотъ переводъ, рано или поздно, сдѣлается книгою классическою, настольною и станетъ краеугольнымъ камнемъ эстетическаго воспитанія. Не понимая древняго искусства, нельзя глубоко и вполне понимать вообще искусство“¹⁾.

Переводъ Иліады вышелъ въ 1829 году. Современные писатели, академія россійская, власти—встрѣтили его чрезвычайно благосклонно. Въ этомъ отношеніи Гвѣдичъ не могъ пожаловаться на равнодушіе къ нему. Вотъ что писалъ между прочимъ Пушкинъ въ издаваемой пріятелемъ его Дельвигомъ „Литературной газетѣ“ о трудѣ Гвѣдича: „Наконецъ вышелъ въ свѣтъ такъ давно и такъ нетерпѣливо ожидаемый переводъ Иліады! Когда писатели, избалованные минутными успѣхами, большею частію устремились на блестящія бездѣлки; когда талантъ чуждается труда, а мода пренебрегаетъ образцами величавой древности; когда поэзія не есть благоговѣйное служеніе, но только легкомысленное занятіе: съ чувствомъ глубокимъ уваженія и благодарности взираемъ на поэта, посвятившаго гордо лучшіе годы жизни исключительному труду, безкорыстнымъ вдохновеніемъ и совершенію единаго высокаго подвига. Русская Иліада передъ нами“²⁾. Посреди романтическихъ стремленій тогдашней литературы и неестественныхъ, вычурныхъ характеровъ, которые тогда нравились всѣмъ, какъ выраженіе тогдашняго идеала—свободы гениальной личности, простой міръ Гомера, его скульптурные боги и герои—казались какимъ-то откровеніемъ. Передъ ними становилось неловко. Тотъ же Пушкинъ писалъ: „Слышу умолкнувшій звукъ божественной эллинской рѣчи, старца великаго тѣнь чую *смущенной душой*“³⁾.

Что Гвѣдичъ съ искреннею любовью и по призванію посвятилъ нѣсколько лѣтъ своей жизни Гомеру, доказываютъ его собственныя слова, что „чистѣйшими удовольствіями въ жизни онъ обязанъ былъ Гомеру“, что онъ „забывалъ труды, которые налагала на него любовь къ нему“⁴⁾. То же доказывается и его апоэеозомъ Гомера въ большомъ стихотвореніи „Рожденіе Гомера“, которое было бы лучше,

¹⁾ Вѣлинскій. Сочиненія Александра Пушкина. Гл. III.

²⁾ О выходѣ Иліады въ переводѣ Гвѣдича.

³⁾ На переводъ Иліады.

⁴⁾ Иліада. Изд. 1839 г., стр. XVIII.

еслибъ не было такъ растянута. Гнѣдичъ зналъ хорошо греческую поэзію; онъ былъ отличнымъ переводчикомъ и могъ бы много внести въ нашу литературу произведеній классическаго міра, еслибъ не умеръ сравнительно рано. У него есть прекрасный переводъ одной изъ идиллій Теокрита „Сиракузанки или Праздникъ Адониса“ съ чрезвычайно любопытнымъ предисловіемъ, въ которомъ вѣрно изложена сущность этого рода поэзіи въ древней Греціи; онъ такъ сильно подчинялся вліянію древнихъ формъ и образовъ, что въ своей собственной идилліи „Рыбаки“, дѣйствіе которой происходитъ на островахъ рѣки Невы, онъ повторилъ ихъ, и тѣмъ лишилъ свое произведеніе правды и дѣйствительности. Идиллія эта впрочемъ весьма нравилась современникамъ и Пушкинъ ставилъ ее высоко за поэтическую прелесть стиха и чувства, присутствующаго въ ней. Отрывки изъ Одиссеи Гомера и нѣсколько мелкихъ стихотвореній, воспроизводящихъ жизнь и образы древняго міра, показываютъ какъ увлеченъ былъ имъ Гнѣдичъ. Въ двадцатыхъ годахъ, когда онъ оканчивалъ свой переводъ Иліады, посреди глубокой реакціи, господствовавшей въ европейской и нашей жизни, неожиданно раздался изъ той же Греціи, столь любимой Гнѣдичемъ, тогда опустошенной и порабощенной, громкій голосъ свободы. Когда-то прекрасная страна подымалась теперь на этотъ голосъ изъ униженія и цѣпей и все, что только было въ европейскомъ обществѣ молодого и свѣжаго, что цѣнило народную свободу, съ участіемъ обратило на нее свои взоры. Имя Греціи было на устахъ у всѣхъ. Романтическая поэзія того времени повторяла ея народныя пѣсни—выраженія печальной, порабощенной жизни, но вмѣстѣ съ тѣмъ и никогда не умиравшихъ на скалахъ и островахъ Греціи чувствъ свободы и независимости. Гнѣдичъ перевелъ въ 1821 году знаменитый „Военный гимнъ грековъ“, сочиненный Риги, гдѣ порывы къ освобожденію сливались въ одно цѣлое съ славными воспоминаніями древности, а въ 1825 году издалъ отдѣльною книжкою „Простонародныя пѣсни нынѣшнихъ грековъ“, гдѣ въ введеніи онъ сравнивалъ греческія пѣсни съ русскими, но не со стороны содержанія, а со стороны поэтическаго размѣра.

При такомъ исключительномъ направленіи поэтическаго таланта Гнѣдича мы не имѣемъ права требовать отъ него живого участія къ русской современности. Онъ былъ удаленъ отъ нея своимъ воспитаніемъ, вкусами и исключительнымъ родомъ занятія. Доказательства тому мы найдемъ въ нѣкоторыхъ прозаическихъ сочиненіяхъ, гдѣ онъ по необходимости долженъ былъ коснуться современныхъ вопросовъ. Такъ въ 1814 г., при открытіи въ Петербургѣ Императорской Публичной Библіотеки, на торжествѣ устроенномъ по этому поводу, Гнѣдичъ, по порученію Оленина, долженъ былъ читать рѣчь. Рѣчь эту онъ оза-

главилъ такъ: „О причинахъ, замедляющихъ успѣхи нашей словесности“. Тема, какъ видно, весьма широкая и позволявшая оратору коснуться самыхъ живыхъ сторонъ современности. Вступленіе въ эту рѣчь посвящено, какъ и слѣдовало ожидать, побѣдамъ русскаго оружія въ Европѣ и современной славы Россіи и ея императора. Безъ такого введенія, заключающаго въ себѣ, разумѣется, общія мѣста, рѣчь не могла обойтись въ то время. Послѣ обыкновенныхъ въ такомъ случаѣ, напыщенныхъ фразъ, ораторъ переходитъ къ своей темѣ. Фактъ бѣдности или малоуспѣшности нашей литературы выставляется имъ не подверженнымъ сомнѣнію. „Сколько истинныхъ дарованій обнаруживается въ первыхъ опытахъ молодыхъ нашихъ писателей, говоритъ Гнѣдичъ, и они или исчезаютъ или остаются весьма далекими отъ того, чѣмъ бы быть могли“... ¹⁾). Причину этого Гнѣдичъ видитъ довольно справедливо, хотя и въ высшей степени односторонне въ недостаткѣ у писателей образованія или *ученія*, какъ онъ выражается, потому что ученіе, по его понятіямъ, заключается все въ знакомствѣ съ древними литературами. О томъ, въ какомъ отношеніи литература народа находится къ обществу и силамъ въ немъ дѣйствующимъ, во всей странѣ и къ ея историческимъ и социальнымъ условіямъ, въ то время никто у насъ не имѣлъ понятія, да и говорить объ этомъ предметѣ было несовсѣмъ удобно. Гнѣдичъ раздѣлялъ представленія тогдашнихъ романтиковъ о независимости поэта и писателя отъ всего его окружающаго. „Писатель, говорятъ, есть выраженіе времени, печать духа и нравовъ вѣка своего, разсуждаетъ онъ въ другой своей рѣчи, произнесенной въ собраніи петербургскаго вольнаго общества любителей россійской словесности ²⁾). Какъ? Пѣвецъ, сынъ вдохновенія небеснаго, долженъ быть только эхомъ людей? Онъ, свободный, долженъ рабски слѣдовать за вѣкомъ и, самъ увлекаясь пороками его, долженъ питать ихъ, осыпать цвѣтами и музъ превращать въ сиренъ, соблазнительницъ человѣка? Удались, мысль, недостойная разума!“ Вотъ почему и въ прежней рѣчи своей, и согласно любимымъ своимъ занятіямъ, Гнѣдичъ могъ утверждать только, что успѣхъ литературы зависитъ отъ классическаго ученія и отъ знакомства съ древними языками ³⁾. Онъ жалуется на недостатокъ въ русскомъ воспитаніи классическаго фундамента, на раннее окончаніе курса въ училищахъ, именно около 15-ти лѣтъ, что не даетъ возможности хорошо познакомиться съ языкомъ Гомера и Виргилія, и на то, что молодые люди по окон-

¹⁾ Описаніе торжественнаго открытія Импер. Публ. Библиотеки бывшаго генваря 2 дня 1814 года. Спб. 1814, стр. 61.

²⁾ Соревнователь просвѣщенія и благотворенія 1821 г., ч. XV, стр. 144—145.

³⁾ Описаніе торжественнаго открытія Импер. Публ. Библ. стр. 71.

чаніи курса, тотчасъ принимаются за службу и начинаютъ „забавляться литературою“ и сами писать „стишки“. „Начиная искать чиновъ, они ищутъ и имени писателя“¹⁾. Въ этой выходкѣ Гнѣдича противъ молодыхъ писателей его времени было много справедливаго. Если у нихъ не могло быть, по условіямъ литературы того времени, чувства дѣйствительности для содержанія ихъ произведеній; то образованія и знаній для чести самой литературы требовать отъ нихъ было необходимо. „Кто развилъ одно воображеніе, нимало еще не образовавши ума, кто въ 15 лѣтъ, напечатавъ стихи въ журналѣ, раздражилъ свое самолюбіе, прежде чѣмъ укрѣпилъ разсудокъ, тотъ не будетъ уже думать о нуждѣ такихъ познаній; ему уже некогда: онъ слѣштитъ къ безсмертію! Миеологическій словарь—вотъ его свѣдѣнія поэтическія, словарь историческій—вотъ его ученныя познанія; французская словесность — вотъ его образецъ и подражаніе“²⁾. Все это было въ извѣстной степени справедливо, но средство, предлагаемое Гнѣдичемъ, т.-е. классическое ученіе, было односторонне. А между тѣмъ оно одно, по его мнѣнію, можетъ избавить литературу отъ язвъ нашего вѣка: „развращенной философіи“ и „метафизической поэзіи“ и болѣзней новыхъ стихотворцевъ: „притворной чувствительности“ и „меланхоліи“. Гнѣдичъ искренно жалѣеть, что поэзія и краснорѣчіе древнихъ не сдѣлались образцами нашей словесности съ прошлаго вѣка и чрезвычайно наивно утверждаетъ, что еслибъ это было такъ, то „наши Гомеры и Пиндары, Софоклы и Фукидиды, силою превосходнаго нашего слова и изящностью ихъ твореній, уже восхитили-бъ всѣхъ просвѣщенныхъ народовъ, и слава языка російскаго уже носилась бы по вселенной, какъ громъ російскаго оружія“³⁾. Въ этой же рѣчи Гнѣдичъ сильно возставалъ противъ господства въ нашемъ обществѣ языка французскаго, почему и самая словесность на родномъ языкѣ не пользуется въ немъ уваженіемъ. Слова его въ этомъ смыслѣ мы имѣли уже случай приводить.

Другая рѣчь Гнѣдича, уже упомянутая, кромѣ фразъ, обычныхъ въ рѣчахъ, не представляетъ почти никакого содержанія. Она любопытна развѣ въ томъ отношеніи, что Гнѣдичъ возстаетъ противъ меценатства, тогда еще существовавшаго по отношенію къ писателямъ и совѣтуетъ поэту не измѣнять себѣ ни въ какихъ случаяхъ жизни и не рабствовать предъ фортуною. „Фортуна и меценаты, которыхъ онъ будетъ искать, говоритъ Гнѣдичъ, продаютъ благосклонности свои за такія жертвы, которыхъ почти нельзя принести не на счетъ своей чести“⁴⁾.

¹⁾ Ibidem, стр. 73.

²⁾ Ibidem, стр. 74.

³⁾ Ibidem, стр. 82—83.

⁴⁾ Соревн. просвѣщенія и благотворенія 1821 г., ч. XV, стр. 140.

Кромѣ этихъ двухъ рѣчей, Гнѣдичъ помѣстилъ еще нѣсколько статей прозаическихъ въ тогдашнихъ журналахъ; изъ нихъ заслуживаетъ вниманія статья о художественной выставкѣ 1820 года ¹⁾, гдѣ можно познакомиться съ его взглядами на искусство. Собраніе его сочиненій, изданное въ 1832 году, и потомъ Смирдинымъ въ 1854 году, не заключаетъ въ себѣ ни одной прозаической статьи, а онѣ стоятъ перепечатки.

Въ послѣдніе годы своей жизни Гнѣдичъ сблизился съ молодымъ поколѣніемъ начинающихъ писателей и всею душою былъ на ихъ сторонѣ. Онъ былъ друженъ съ Пушкинымъ, его товарищемъ Дельвигомъ и др. Когда Пушкинъ уѣхалъ въ ссылку въ южную Россію, Гнѣдичъ издалъ его поэмы „Русланъ и Людмила“ и „Кавказскій Плѣнникъ“, какъ издавалъ онъ сочиненія друга своего Батюшкова. Вообще, по словамъ его біографа, Гнѣдичъ умѣлъ служить своимъ друзьямъ. Здоровье Гнѣдича, и безъ того плохое, стало беспокоить его и друзей вскорѣ послѣ изданія имъ Иліады. Съ 1825 года онъ сталъ ѣздить на югъ Россіи, ища излѣченія, прожилъ въ Одессѣ года два, но все напрасно. Онъ страдалъ неизлѣчимою болѣзнію горла, отъ которой и умеръ въ началѣ 1833 года. Вотъ простой очеркъ дѣятельности и литературныхъ трудовъ человека, имя котораго связано съ почтеннымъ трудомъ перевода Иліады. Какъ въ жизни, такъ и въ литературѣ онъ стоялъ одиноко, что зависѣло какъ отъ свойствъ его личности, такъ и отъ характера и отъ содержанія его литературной дѣятельности. Немногіе, кромѣ людей высоко образованныхъ или литераторовъ по призванію могли интересоваться его переводомъ Иліады. Кажется это чувствовалъ съ огорченіемъ и самъ переводчикъ. Но если мы должны цѣнить рядомъ съ развитіемъ внутренняго содержанія литературы и художественную ея сторону, которая увеличиваетъ значеніе перваго, то мы обязаны указать на художественную заслугу Гнѣдича въ русской литературѣ. Внеся въ нее и Иліаду и другіе формы и образы древне-греческой поэзіи въ ихъ настоящемъ, неподдѣльномъ видѣ, Гнѣдичъ обогатилъ ея содержаніе; онъ имѣлъ вліяніе и на художественную форму стихотвореній Батюшкова, незнакомаго вовсе непосредственно съ древностью; ему подражали Пушкинъ и Дельвигъ въ своихъ антологическихъ стихотвореніяхъ, тогда какъ самъ онъ болѣе совершеннымъ видомъ избраннаго имъ гекзаметра былъ обязанъ Жуковскому, также писавшему этимъ размеромъ.

Напрасно стали бы мы искать въ ту пору въ нашей литературѣ какого-нибудь хотя бы даже слабаго отношенія къ дѣйствительности,

¹⁾ „Сынъ Отеч.“ 1820 г., №№ 38, 39 и 40.

сколько-нибудь пониманія ея и изображенія. Романъ, тотъ родъ литературы, который соприкасается ближе всего съ дѣйствительностью, почти вовсе не существовалъ у насъ въ оригинальномъ видѣ въ ту пору, о которой говоримъ мы, т.-е. въ десяти и двадцати годы нашего столѣтія или существовалъ въ самомъ ограниченномъ видѣ. Повѣсти, носящія часто названія *русскихъ* и изрѣдка попадающіяся въ тогдашнихъ журналахъ, по большей части были подражаніемъ Карамзину и имѣли весьма мало общаго съ жизнью. А между тѣмъ потребность чтенія произведеній въ романическомъ родѣ существовала значительная; огромное большинство читающей публики пробавлялось исключительно чтеніемъ переводныхъ романовъ, которые во множествѣ являлись у насъ съ конца XVIII вѣка. Читатели не искали въ нихъ ничего другого, кромѣ приключеній и походовъ, чтенія, которое бы наполняло пустоту жизни и занимало воображеніе. У публики были любимы тогда иностранные писатели, какъ были они и прежде, какъ есть они и теперь, по плечу мало образованнаго большинства. Такимъ любимымъ писателемъ у насъ былъ Коцебу, извѣстный чрезвычайно плодovitный нѣмецкій драматургъ и романистъ, за свои ретроградныя убѣжденія и за свои дѣйствія въ пользу реакціи зарѣзанный въ 1819 году студентомъ Завдомъ. „Русская публика до того къ нему привыкла, говоритъ г. Галаховъ, что почитала его какъ бы своимъ, хотя онъ писалъ на нѣмецкомъ языкѣ“¹⁾, Различныхъ изданій его театральныхъ пьесъ, какъ вмѣстѣ, такъ и отдѣльно, и его романовъ, въ русскомъ переводѣ, начиная съ конца прошлаго вѣка, въ первую четверть нынѣшняго можно насчитать до 150. Когда имя этого писателя порядочно надобно, то всѣ эти переводы у писателей стали носить названіе „Коцебутины“. Рядомъ съ нимъ можетъ быть поставленъ другой, столь же плодovitный нѣмецкій писатель Августъ Лафонтенъ, писавшій семейные романы, въ которыхъ отражалась жизнь средняго круга нѣмецкаго общества. Всѣ они проникнуты были чрезвычайно валою моралью, ложною, приторною чувствительностью, которая очень нравилась современникамъ и составляла весьма нездоровую пищу, которая не находила противодѣйствія. Сентиментальность Карамзина не могла имѣть такого сильнаго вліянія на читающую русскую публику, какъ эти романы Лафонтена, жадно читаемые и любимы, число которыхъ въ русскихъ переводахъ простирается до пятидесяти. Лафонтенъ принадлежалъ еще къ той школѣ нѣмецкихъ писателей, для которой какъ бы не существовало преобразованій, сдѣланныхъ Лессингомъ.

Совершенно въ другомъ родѣ и съ другимъ содержаніемъ пред-

¹⁾ Ист. русск. слов. т. II, изд. 1868 г., стр. 171.

ставляются многочисленные романы английской писательницы Радклифъ, умершей въ 1823 году, переведенные, впрочемъ, у насъ съ французскаго. Романы эти были написаны въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго вѣка; ихъ произвела страсть къ чудесному, таинственному и сверхъестественному, которая наполняла европейскую фантазію, потрясенную событіями французской революціи. Потому они такъ сильно и дѣйствовали на возбужденную фантазію, приводя въ трепетъ сердца читателей и въ особенности читательницъ, хотя въ концѣ романа или въ развязкѣ его все чудесное и таинственное, державшее въ напряженномъ возбужденіи читателя въ теченіе четырехъ частей, объяснялось причинами простыми и естественными. Но напряженное состояніе фантазіи нравилось полуобразованному большинству публики и романы Радклифъ читались съ жадностью. Вотъ эти-то переводные романы, появлявшіеся во множествѣ, находившіе страстныхъ читателей, потому что общество не привыкло ни къ какому другому роду чтенія, и задерживали развитіе русской литературы. Могла ли русская жизнь того времени представить читателю что-нибудь хоть отдаленно похожее на эти пестрыя сцены чужой, богатой исторіей жизни, да и могло ли быть достаточно сознанія и у русскаго писателя того времени, чтобъ дать въ романѣ вѣрную картину родной дѣйствительности и заинтересовать ею читателя? Онъ не могъ замѣнить собою европейскихъ романистовъ.

Славу и извѣстность Коцебу, Лафонтена, г-жи Радклифъ раздѣляли у насъ и другіе европейскіе романисты: г-жа Коттень, рассказавшая въ одномъ изъ романовъ своихъ трогательную исторію извѣстной Лупаловой или Параша Сибирячки, а въ другомъ „Матильда или Записки, взятая изъ исторіи Крестовыхъ походовъ“, выставившая идеаль для современныхъ героевъ въ образѣ Малекъ-Адела. За госпожею Коттень слѣдовала г-жа *Жамисъ*, повѣсти которой началъ переводить еще Карамзинъ, потомъ французскій романистъ *Дюкре-Дюментиль*, въ романахъ котораго обыкновенно выставляется торжествующая невинность и гдѣ дѣйствующими лицами являются герои въ самомъ южномъ возрастѣ. Мы назвали здѣсь только главныхъ представителей современнаго европейскаго романа; но каждый изъ нихъ имѣлъ множество подражателей и многіе изъ произведеній этихъ послѣднихъ являлись и въ русскомъ переводѣ.

При такомъ множествѣ переводныхъ романовъ въ нашей литературѣ, совершенно наводнившихъ ее, въ которыхъ русская публика знакомилась или съ чужою дѣйствительностью, или съ образами, порожденными чужой фантазіей, очень трудно ожидать чего-нибудь своего, самостоятельнаго. Мы уже говорили о причинахъ, почему это было такъ. Тѣмъ не менѣе мы можемъ однако назвать одно имя, теперь

полузабытое, которому однако принадлежит честь первых картинъ, взятыхъ изъ русской дѣйствительности и воспроизведенныхъ съ замѣчательнымъ для того темнаго времени искусствомъ. Обыкновенно привыкли называть первымъ романомъ изъ русской жизни извѣстный романъ, весьма нравившійся въ двадцатые годы „Иванъ Выжигинъ“ принадлежащій Ѡ. Булгарину. Но еще Бѣлинскій доказывалъ, что честь перваго воспроизведенія въ русскомъ романѣ нашей дѣйствительности принадлежитъ не ему, а малороссіянину *Нарѣжному* ¹⁾. Замѣчательно, что ему, какъ и другому знаменитому южноруссу Гоголю, основателю у насъ реальной школы въ поэзи, удалось первому обратить мысль на воспроизведеніе родной дѣйствительности. Это можно объяснить, какъ вѣчно присущей душѣ каждаго южнорусса струей юмора, такъ и тѣмъ обстоятельствомъ, что южно-руссу гораздо легче и естественнѣе было обращаться съ сатирической наблюдательностью къ чужой общественности, которую онъ вообще весьма мало уважалъ.

О самомъ Нарѣжномъ, о его личности, о его жизненныхъ отношеніяхъ мы имѣемъ чрезвычайно скудныя свѣдѣнія. Василій Трофимовичъ Нарѣжный родился въ 1780 году, тамъ же, гдѣ и Гоголь, въ Миргородскомъ уѣздѣ Полтавской губерніи. Въ воспитаніи его принялъ участіе родной его дядя. Онъ отвезъ его въ дворянскую гимназію въ Москву въ 1792 году, откуда Нарѣжный перешелъ въ университетъ. Курсъ окончилъ онъ въ немъ въ 1801 году и тогда же отправился въ гражданскую службу въ Грузію, что дало ему возможность потомъ въ одномъ изъ своихъ романовъ воспроизвести нравы и обычаи кавказскіе. Въ 1804 году онъ является на службѣ уже въ Петербургѣ. Въ 1813 году онъ выходитъ въ отставку и женится.

Нарѣжный сталъ писать очень рано, увлекаясь общимъ примѣромъ и полученнымъ воспитаніемъ. Онъ писалъ и стихи и прозу, которые помѣщались въ московскихъ журналахъ: „Пріятное и полезное препровожденіе времени“ и „Иппокрена“ (1798 и 1799). Въ 1804 году онъ напечаталъ написанную еще раньше трагедію „Димитрій самозванецъ“, представляющую слабое подражаніе „Разбойникамъ“ Шиллера. Нѣсколько повѣстей, совершенно подражательныхъ, вялыхъ и слабыхъ, въ духѣ Карамзина и г-жи Жанлисъ были имъ написаны въ первое десятилѣтіе нашего вѣка и писались имъ и позднѣе. Но имя его сдѣлалось извѣстнымъ только тогда, когда онъ съ большимъ тактомъ и умѣньемъ рѣшился обратиться въ романѣ къ русской дѣйствительности, хотя его роману, по цензурнымъ отношеніямъ, и не суждено было увидѣть свѣтъ въ полномъ своемъ видѣ. Примѣръ Нарѣжнаго наглядно доказываетъ вредъ, причиняемый литературѣ цензурою.

¹⁾ Русская литература въ 1841 году.

Романъ Нарѣжнаго, задуманный имъ въ шести частяхъ, изъ которыхъ послѣднія три навсегда остались въ рукописи вслѣдствіе запрещенія, носилъ названіе „Россійскій Жилблазъ или похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова“ (Спб. 1814 г.). Самое названіе показываетъ какого автора взялъ Нарѣжный за образецъ, кому желалъ онъ подражать. Это былъ извѣстный французскій романистъ конца прошлаго вѣка Лесажъ. Онъ въ своемъ знаменитомъ романѣ „Жилблазъ де Сантильяна“, дѣйствіе котораго происходитъ въ Испаніи, всталъ совершенно на реальную почву и съ замѣчательнымъ сатирическимъ тактомъ и юморомъ представилъ вѣрную картину общественныхъ нравовъ современной ему Франціи. Все дѣйствіе этого романа и оригинальнѣйшіе типы современнаго французскаго общества группируются вокругъ одной фигуры героя романа Жилблаза, ловкаго пройдохи, стоящаго головой выше окружающихъ его лицъ и событій, прототипа для послѣдующей знаменитой фигуры во французской литературѣ—Фигаро у Вомарше. Безнравственное и развѣденное пороками тогдашняго дореволюціоннаго устройства Франціи общество изображено очень вѣрно въ романѣ Лесажа, которому въ формѣ и замыслѣ, какъ и въ типѣ своего героя подражалъ нашъ первый реальный романистъ, хотя у него, само собою разумѣется, не могло быть такого глубокаго отношенія къ современному русскому обществу, какое было у француза. Нарѣжный говоритъ въ предисловіи, что онъ „вывелъ напоказъ русскимъ людямъ русскаго же человѣка, имѣя цѣлью, по примѣру Лесажа, соединить полезное съ приятнымъ, и что вѣроятность, приличіе, сходство описаній съ природою, изображеніе нравовъ въ различныхъ состояніяхъ и отношеніяхъ были тѣми правилами, которыя онъ постоянно старался не выпускать изъ виду ¹⁾. Нарѣжный желаетъ совершенно безпристрастно относиться къ дѣйствительности и говорить, что „за нѣсколько десятковъ лѣтъ и у насъ нельзя было отважиться описывать безпристрастно наши нравы“ ²⁾, а теперь можно. Радость эта была однако преждевременна. Задача Нарѣжнаго была, по его словамъ, та же, что и у Лесажа, изображеніе человѣческой жизни въ различныхъ отношеніяхъ, т.-е. русскаго человѣка въ различныхъ состояніяхъ. Могъ ли онъ однако, при существующихъ тогда литературныхъ условіяхъ, представить русскую дѣйствительность, какъ онъ намѣревался? Онъ не могъ относиться къ ней просто и естественно, понять ее такъ, какъ она есть, безъ всякихъ претензій. Для него это было слишкомъ просто. Чужая дѣйствительность, выставленная Лесажемъ, была гораздо пестрѣе, занимательнѣе,

¹⁾ Галяховъ. Ист. Хрест., ч. II, стр. 295—296.

²⁾ Россійскій Жилблазъ. Спб. 1814, стр. V.

разнообразіе своей и е-то Нарѣжный старался перевести въ Россію, придумывая русскія имена и русскую сцену дѣйствія. Ему, какъ и Лесаю, хотѣлось замысловатыхъ приключеній, которыя бы заняли вниманіе читателя и, вотъ эти-то приключенія нисколько не похожи на Россію. Авторъ, очевидно, уже слишкомъ подражалъ Лесаю: лица, характеры, дѣйствіе, интрига, однимъ словомъ, все въ романѣ далеко не похоже на русскую дѣйствительность. Я не стану останавливаться на содержаніи этого романа, такъ какъ оно подробно изложено у Галахова ¹⁾. Все въ этомъ первомъ произведеніи Нарѣжнаго неправдоподобно и неестественно: отъ лицъ и характеровъ до интриги и событій. Во всемъ видна удивительная неопытность и наивность автора. Галаховъ находитъ хорошую сторону „Россійскаго Жилблaza“ въ сатирическомъ описаніи нѣкоторыхъ современныхъ нравовъ, что выдѣляетъ выгоднымъ образомъ Нарѣжнаго изъ той густой атмосферы сентиментализма, которая со всѣхъ сторонъ окружала его. Сатира эта доходитъ до крупной и тоже неестественной карикатуры, смыслъ которой неясенъ для простодушнаго читателя. Такъ, судя по предисловію, Нарѣжные затрогиваются и осмѣиваются въ его романѣ „изступленные любители метафизики, славянскаго языка и всего, что есть нѣмецкаго“ ²⁾. Что за странное соединеніе и что подъ нимъ разумѣлъ авторъ — неясно. Любителемъ метафизики выставленъ какой-то неестественный трисмегаллосъ въ чрезвычайно неправдоподобныхъ жизненныхъ отношеніяхъ. Галаховъ видитъ въ немъ и въ его манерѣ диспутировать „подлинныя черты бывшаго схоластическаго преподаванія въ нашихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, среднихъ и высшихъ“ ³⁾. Можетъ быть это и такъ, но чрезвычайно неясно, потому ли, что самъ Нарѣжный не сознавалъ вполне цѣли своей сатиры, или въ самомъ предметѣ были такія свойства, которыя не позволяли ясно относиться къ нему въ печатной сатирѣ. Зато изображеніе общества масоновъ, со всею его виѣшною обстановкою (авторъ вводитъ читателя въ засѣданіе масонской ложи, гдѣ посвящаютъ его героя) очень вѣрно. Нарѣжный изображаетъ масоновъ впрочемъ вовсе несочувственно. Трисмегаллосъ является и славянофиломъ въ карикатурѣ. Въ немъ съ этой стороны авторъ хотѣлъ, можетъ быть, осмѣять Шишкова и его школу. Что касается до „изступленной любви къ нѣмецкому, то, выставляя въ своемъ сочиненіи преувеличенную карикатуру нѣмца, равно какъ нападая на иностранное воспитаніе русскихъ дѣтей, Нарѣжный платилъ дань общему патріотическому направленію общества нашего въ тѣ годы, когда былъ

¹⁾ Ист. русск. слов., т. II, изд. 1868 г., стр. 178—182.

²⁾ Росс. Жилблaзъ. Сиб. 1814, III.

³⁾ Ист. русск. слов., т. II, изд. 1868 г., стр. 180.

написанъ имъ романъ. Замѣтно у автора несочувствіе къ высшему кругу общества, сочувствіе къ крѣпостнымъ крестьянамъ и ихъ жалкой участи въ рукахъ помѣщиковъ, негодование на судъ несправедливый и грабительство въ немъ и пр. Всѣ эти сатирическія выходки дѣлаютъ честь уму и наблюдательности Нарѣжнаго, и намъ неизвѣстно, какъ развернулись бы они во второй половинѣ его обширнаго романа, еслибъ продолженіе его не было прекращено насильственно цензурнымъ запрещеніемъ. Въ 3-й части романа тогдашняя цензура (это было при министрѣ народнаго просвѣщенія — графѣ Разумовскомъ) нашла много предосудительныхъ мѣстъ. Самъ глава министерства высказывалъ слѣдующее мнѣніе о современныхъ романахъ: „Между издаваемыми вновь романами выходятъ многіе, которые хотя и не содержатъ въ себѣ мѣстъ, явнымъ образомъ противныхъ какой-либо статьѣ цензурнаго устава, но вообще по цѣли своей, двусмысленнымъ выраженіямъ и ложнымъ правиламъ, могутъ быть почитаемы противными нравственности. Часто бываетъ, что авторы романовъ, хотя повидимому и вооружаются противъ пороковъ, но изображаютъ ихъ такими красками или описываютъ съ такою подробностью, что тѣмъ самымъ увлекаютъ молодыхъ людей въ пороки, о которыхъ полезнѣе было бы вовсе не упоминать. Каково бы ни было литературное достоинство романовъ, они только тогда могутъ являться въ печати, когда имѣютъ истинно-нравственную цѣль“¹⁾.

Запрещеніе романа поохладило сатирическій пылъ Нарѣжнаго и повидимому имѣло вообще сильное и непріятное на него вліяніе. По разсказу сына, онъ думалъ-было совсѣмъ отказаться отъ авторства и снова приняться за службу²⁾. Вообще прошло нѣсколько лѣтъ, пока непріятности, вызванныя цензурнымъ запрещеніемъ, поулеглись, и Нарѣжный снова могъ приняться за литературные труды. Говорятъ, что ему много помогъ своимъ заступничествомъ и покровительствомъ землякъ его И. И. Мартыновъ³⁾. Только черезъ восемь лѣтъ Нарѣжный издалъ свой второй романъ „Аристѣонъ или перевоспитаніе“ (1822 г.), гдѣ нравственная цѣль разсказа совершенно покрываетъ сатирическую, отчего онъ и не имѣлъ успѣха.

¹⁾ Сухомлиновъ. Матеріалы для исторіи образованія въ Россіи въ царствованіе Имп. Александра I. Исслѣдованія и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію. Т. I. Спб. 1889. Стр. 427.

²⁾ Гал. Ист. Хр., стр. 535.

³⁾ Колбасинъ, Е. Литерат. дѣятельность прежняго времени. Стр. 66.

ЛЕКЦІЯ XIX И XX.

Нарѣжный. — Его романы. — А. Е. Измайловъ.

Гораздо замѣчательнѣе тѣ романы Нарѣжнаго, въ которыхъ онъ по природному инстинкту обратился къ изображенію нравовъ своей родной страны, ему хорошо знакомой. Большою извѣстностью въ широкомъ кругу читающей русской публики стало пользоваться имя Нарѣжнаго послѣ появленія его романа „Бурсакъ“ (1824), который былъ издаваемъ нѣсколько разъ. Въ немъ мы видимъ первую и весьма удачную попытку историческаго романа на Руси, хотя Нарѣжный не задавался историческою цѣлью, желаніемъ изобразить событія и нравы какой-либо страны въ извѣстную эпоху, какъ дѣлали это романисты наши, воспитанные въ школѣ Вальтеръ-Скотта: Загоскинъ и Лажечниковъ. У Нарѣжнаго не было такой цѣли; по тогдашнимъ понятіямъ о романѣ, онъ не могъ и думать о ней. Его желаніе заключалось только въ томъ, чтобъ заинтересовать читателя заманчивою интригою романа, болѣе или менѣе интересными приключеніями и непремѣнно любовными похождениями главныхъ лицъ романа, на которыхъ сосредоточивается главное вниманіе. Какъ во всякой эпической поэмѣ, требованія которой, конечно за исключеніемъ общаго характера лицъ и событій, сохранялись и въ романѣ, мы встрѣчаемъ въ немъ нѣсколько эпизодовъ, вставочныхъ, отдѣльныхъ рассказовъ, которые на время прерываютъ нить главнаго. Изображая характеры, авторъ не думалъ о томъ, чтобы они были вѣрны исторической дѣйствительности. Это были общіе, по большей части нравственные типы и сообразно тому они носили и имена. Несмотря, однакожъ, на такіе невыгодныя стороны тогдашняго романа, которыми онъ удовлетворялъ требованіямъ современной теоріи, въ романѣ Нарѣжнаго, независимо отъ воли автора, является передъ нами историческая дѣйствительность Малороссіи въ концѣ XVII вѣка. Лучшую сторону „Бурсака“, болѣе подробно развитую и болѣе любопытную, составляетъ изображеніе Киевской бурсы съ ея оригинальнымъ устройствомъ, заимствованнымъ изъ западныхъ схоластическихъ школъ и съ дисциплинарными мѣрами, которыя держались очень долго и въ великорусскихъ семинаріяхъ. „Почтенное сословіе бурсаковъ, говоритъ Нарѣжный, образуеъ въ маломъ видѣ великолѣпный Римъ, и консулъ управляетъ онымъ вмѣстѣ съ сенатомъ. Въ консулы избирается старшій изъ богослововъ, а прочіе богословы и философы образуютъ сенаторовъ; риторы составляютъ ликторовъ, или исполнителей приговоровъ сенатскихъ; поэты называются целе-

рами или бѣгунами, которые употребляются на разсылки; прочіе составляютъ плебеянъ или чернь—простой народъ. Еслибъ консулъ сдѣлалъ какое позорное дѣло, то сенаторы доносятъ о томъ ректору, и тотъ немедленно снимаетъ съ него сей величественный санъ, и, наказавъ, по мѣрѣ вины, палками, розгами или и батожемъ, обращаетъ въ званіе сенатора“... ¹⁾). Характеръ всего воспитанія и образъ нравовъ въ бурсѣ, которая, несмотря на свои недостатки, пользовалась большимъ уваженіемъ со стороны южно-русскаго народа, изображены чрезвычайно вѣрно Нарѣжнымъ и, что главное, безъ всякой предвзятой мысли, безъ желчи и злобы, которыми проникнуты печальные очерки Помаловскаго, вынесшаго на себѣ всю уродливую тягость прежняго бурсацкаго воспитанія. Нарѣжный относится къ бурсѣ съ какою-то наивною любовью и много-много развѣ съ добродушною насмѣшливостью. Правда, и цѣль у него была другая, не обличительная. Кромѣ бурсаковъ и бурсы, въ которой получилъ воспитаніе главный герой романа, дѣлающійся при развязкѣ изъ сына простого дьячка—внукомъ малороссійскаго гетмана, читателя вообще окружаютъ живыя лица малороссійской дѣйствительности XVII вѣка: и казаки, и польскіе паны, и жида, и шинкари. Только позднѣйшій, напр., намъ современный читатель не можетъ удовлетвориться запутаностью похождения героя и его приключеніями.

Другой романъ Нарѣжнаго, вышедшій въ годъ его смерти, „Два Ивана или страсть къ тяжбамъ“ ²⁾, заимствованъ авторомъ также изъ хорошо знакомаго ему быта Малороссіи и рисуетъ весьма извѣстную, оригинальную черту нравовъ этой страны, состоящую въ страсти къ тяжбамъ и сутяжничеству вообще, которую такъ гениально осмѣялъ потомъ Гоголь въ своей ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ. Весьма вѣроятно, что эта страсть къ тяжбамъ и процессу развилась въ Малороссіи съ того времени, какъ она потеряла свою независимость и слилась въ одно цѣлое съ политической жизнью Москвы, въ этомъ сутяжничествѣ надо видѣть какъ бы замѣну прежняго болѣе полнаго политическаго существованія, гдѣ каждый стоялъ за свои права и сознавалъ ихъ. Не изъ Москвы, однакожь, перешла въ Малороссію эта страсть къ сутяжничеству, а изъ Польши, съ которой она долго была соединена и государственными и духовными интересами. Польша страдала тою же язвою. Это явленіе было вполнѣ естественно. Развитыя формы юридическаго процесса были заимствованны Польшею изъ болѣе сложной и развитой жизни Запада; посредствомъ Литовскаго Статута

¹⁾ Бурсакъ. М. 1824. стр. 23—24.

²⁾ 3 ч. М. 1825 г.

перешли они потомъ и въ Малороссію. Чѣмъ не развитіе, проще и патриархальнѣе быть страны, тѣмъ менѣе годятся для нея формы сложнаго процесса, который представляетъ легкую возможность людямъ ловкимъ и беззащитнымъ, хорошо познакомившимся съ формами процесса, жить на счетъ обманываемыхъ ими темныхъ бѣдняковъ, какъ это зачастую случалось и во времена позднѣйшія и въ болѣе развитомъ состояніи общества. Вотъ въ чемъ заключалась историческая причина той страсти къ тяжбамъ, которую Нарѣжный старался изобразить въ своемъ романѣ „Два Ивана“. Юморъ, съ которымъ выставилъ онъ различныя перипетіи тяжбы, добродушная насмѣшливость, съ которою онъ относится къ забавно грустнымъ увлеченіямъ своихъ героевъ, весьма замѣчательны. Гораздо слабѣе собственно романическая сторона разсказа, безъ которой нельзя было обойтись, и нравственные выводы, дѣлаемые авторомъ. Эти стороны были не въ характерѣ литературнаго таланта автора. Кромѣ этихъ двухъ романовъ, которые не допускаютъ до забвенія въ исторіи русской литературы имени Нарѣжнаго, онъ написалъ нѣсколько повѣстей, которыя были собраны вмѣстѣ. Всѣ онъ гораздо слабѣе романовъ. Уже послѣ смерти его былъ напечатанъ большой романъ его „Черный годъ или горскіе князья“ ¹⁾, матеріалъ для котораго по всей вѣроятности доставила Нарѣжному служба его въ Грузіи въ молодости. Романъ этотъ однако не выдержитъ сравненія въ достоинствѣ съ первыми двумя. Обстановка Кавказа не была такъ хорошо знакома Нарѣжному, какъ родная. Притомъ романъ этотъ изобилуетъ слишкомъ грубыми картинами дѣйствительности, которыя довольно часто доходятъ до цинизма. Нарѣжный какъ бы съ любовью останавливается на нѣкоторыхъ довольно двусмысленныхъ изображеніяхъ.

Къ сожалѣнію, мы ничего не знаемъ о личности романиста. Послѣ неудачи своего „Россійскаго Жилблаза“ и послѣ непріятностей, полученныхъ имъ по поводу цензурнаго запрещенія, Нарѣжный снова вступилъ въ 1815 году на службу и служилъ очень усердно лѣтъ десять. Онъ не принадлежалъ ни къ какимъ литературнымъ кружкамъ, велъ уединенную, семейную, сидячую жизнь и проводилъ все утро на службѣ. Нарѣжный умеръ сорока пяти лѣтъ.

Рядомъ съ Нарѣжнымъ по непосредственному отношенію къ дѣйствительности, отношенію нѣсколько грубому, которое онъ самъ понималъ, говоря о себѣ, что онъ „писатель не для дамъ“, даже по сатирѣ на современность, его окружавшую, насколько сатиру эту допускала цензура, можетъ быть поставленъ писатель уже чисто русскаго происхожденія, довольно плодовитый, дѣйствовавшій въ лите-

¹⁾ 4 ч. М. 1829 г.

ратурѣ долго, пережившій въ теченіе этихъ долгихъ лѣтъ нѣсколько направлений русской словесности и писавшій въ самыхъ разнообразныхъ видахъ. Мы говоримъ объ А. Е. Измайловѣ. Онъ былъ баснописецъ, писалъ сказки, сатиры и множество мелкихъ произведеній въ стихахъ; онъ писалъ въ прозѣ романы, критическія статьи и т. п. Больше, впрочемъ, Измайловъ писалъ стихи, потому что его литературная дѣятельность происходила въ то время, когда всѣ писали стихи. Главное направленіе его литературной дѣятельности было сатирическое, и оказывая имъ противодѣйствіе сентиментальности карамзинистовъ, Измайловъ оказалъ дѣйствительную услугу русской литературѣ. Какъ человекъ долго жившій, подвижной по натурѣ своей и впечатлительный, онъ отзывался на многія явленія жизни.

Биографическія свѣдѣнія объ Александрѣ Ефимовичѣ Измайловѣ чрезвычайно скудны, особенно за первое время его жизни, когда онъ только-что началъ писать. Потомъ, въ ту пору, когда онъ является дѣятельнымъ лицомъ въ петербургской литературѣ и издаетъ одинъ за другимъ нѣсколько журналовъ, мы встрѣчаемъ его постоянно въ кругу писателей, въ тѣхъ разнообразныхъ и дѣятельныхъ отношеніяхъ, въ которыхъ долженъ находиться всякій журналистъ. Этою стороною въ литературныхъ преданіяхъ того времени и по мелкимъ замѣткамъ, довольно обильно разбросаннымъ въ его сочиненіяхъ, онъ достаточно знакомъ; но интимная, внутренняя сторона Измайлова намъ совершенно неизвѣстна. Измайловъ былъ сынъ бѣднаго помѣщика Владимірской губерніи. Родился онъ въ 1779 году въ деревнѣ отца, учился въ горномъ кадетскомъ корпусѣ, куда поступилъ съ помощью добрыхъ людей и хотя долженъ былъ, происходи изъ дворянскаго сословія, поступить въ гвардію, куда былъ записанъ съ дѣтства, но по слабости здоровья отказался отъ военной службы и поступилъ въ министерство финансовъ. Тогда же, слѣдовательно въ очень молодыхъ лѣтахъ, онъ сталъ писать: видно, что и горный корпусъ не далъ ему никакого спеціальнаго направленія. Измайловъ самъ вспоминаетъ о своемъ ученіи въ горномъ корпусѣ слѣдующимъ образомъ: „Въ мое время учили въ горномъ корпусѣ очень хорошо, только не горнымъ наукамъ. Химія преподавалась тогда безъ опытовъ; минеральный кабинетъ былъ почти безъ штуфовъ и немного приносилъ пользы учащимъ“¹⁾. Съ учрежденія горнаго училища (1774 г.) до переименованія его въ горный кадетскій корпусъ (1804 г.), въ горную службу вышелъ только одинъ офицеръ. Зато Измайловъ сдѣлался писателемъ. Первое произведеніе Измайлова, написанное имъ, въ то время, по его словамъ, когда онъ былъ всего восемнад-

¹⁾ Благонамѣренный 1821 г.

пати дѣтъ отъ роду, замѣчательно въ томъ отношеніи, что въ немъ уже видно направленіе, которое отличало литературную дѣятельность Измайлова во все время ея. Въ романѣ или, какъ онъ озаглавилъ „повѣсти“: „Евгеній или пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія и общества“¹⁾, Измайловъ обратился къ дѣйствительности, его окружавшей. Конечно съ его стороны сдѣлано это невольно, безсознательно, цѣль у него была другая, не желаніе воспроизвести жизнь, дѣйствительную, а написать правоученіе, сатиру. Но и то уже дѣлаетъ честь его уму и наблюдательности, что во время господства ложной чувствительности, которая извращала, а не изображала жизнь онъ не подчинился ей, и пошелъ своей собственной дорогой. Повѣсть Измайлова изображаетъ время въ концѣ царствованія Екатерины. Онъ самъ назначаетъ для нея 1791 г., но она была напечатана при Павлѣ, въ то время, когда особенно строго дѣйствовала цензура, когда всѣ жаловались на нее. Какъ извѣстно, царствованіе Павла составляло въ некоторомъ родѣ реакцію противъ той нравственной распущенности, которая господствовала при Екатеринѣ, волновавшейся подъ конецъ жизни изъ за французской революціи и рѣчей якобинцевъ и совершенно равнодушно смотрѣвшей на придворный развратъ, на всеобщее грабительство, считавшееся въ порядкѣ вещей и никого не возмущавшее. Павелъ своими строгостями разогналъ толпу придворныхъ тунеядцевъ, подтянулъ распущенную лѣнивую гвардію, измѣнилъ даже самый образъ петербургской жизни, который на нѣсколько лѣтъ принялъ пуританскій оттѣнокъ. Вотъ, можетъ быть, причина, почему цензура не дѣлала затрудненій къ выходу въ свѣтъ повѣсти Измайлова. Ея сатирическое отношеніе къ недавно пережитой дѣйствительности соотвѣтствовало тогдашнему настроенію власти. „Евгеній“—повѣсть Измайлова рисуетъ въ высшей степени неутѣшительную картину нашего дворянскаго общества или бытъ среднихъ помѣщиковъ въ концѣ XVIII вѣка, но не на мѣстѣ ихъ дѣятельности, не въ деревнѣ, а въ Москвѣ и въ Петербургѣ, гдѣ они проживаютъ свои достатки, приобретенные всячески, самымъ нелѣпнымъ и безпутнымъ образомъ. Повѣсть Измайлова чрезвычайно наглядно, хотя и грубыми, толстыми штрихами изображаетъ передъ читателемъ ту лживую, безсодержательную, но наведенную лоскомъ цивилизацію, которую заимствовали тогда изъ Европы наши высшіе классы общества. Передъ нами всѣ пороки внѣшней цивилизаціи и ни одной человѣческой добродѣтели, какъ нѣтъ во всей повѣсти ни одного честнаго лица. Изъ нея выносишь самое тяжелое впечатлѣніе, и чтеніе ея мы рекомендуемъ тѣмъ нашимъ консерваторамъ, которые

¹⁾ СПб. 1799—1801 г.

еще отстаивают доброе старое время и мечтают о прагматических парикахъ. Передъ нами люди, одѣтые по европейски, съ приличною обстановкою жизни, которая позволяетъ имъ представить изъ себя то, что обыкновенно называютъ „свѣтскимъ обществомъ“, они ѣдятъ французскія блюда, пьютъ французское вино, одѣваются въ шолкъ и бархатъ, ѣздятъ въ театры и на балы, пудрятся и завиваются, играютъ въ карты, особенно въ азартныя игры, танцуютъ и развратничаютъ самымъ безстыднымъ образомъ, жена изменяетъ мужу, мужъ женѣ, и все это публично, на глазахъ у всѣхъ. Молодые гвардейскіе офицеры, герой повѣсти—пьютъ, играютъ въ карты, развратничаютъ, мотаютъ отцовскія деньги; да и сами отцы и матери, поразстрасши на безпутныя удовольствія столицы деревенскую кису, принимаются мошенничать и обманывать другъ друга самымъ наглымъ образомъ. Мошенничество, обманъ и безстыдное вымогательство чужихъ денегъ возведено чуть не въ систему и составляетъ какъ бы круговую поруку этого общества. Ни одного духовнаго интереса, ни одной честной мысли или честнаго убѣжденія авторъ не нашелъ въ этомъ отвратительномъ, отталкивающимъ обществѣ. Какъ статисты, какъ фигуры безъ словъ среди главныхъ дѣйствующихъ лицъ, являются толпы забытыхъ и запуганныхъ дворовыхъ и крестьянъ, какъ простыя орудія, какъ домашній скотъ. Ихъ бьютъ, сѣкутъ непрерывно, обращаются съ ними, какъ съ собаками, но это не вызываетъ со стороны ихъ ни жалобы, ни ропота; зато ихъ безсловесныя фигуры прекрасно отгѣняютъ общую картину, придавая ей еще болѣе мрачный колоритъ. Намъ, можетъ быть, возразятъ, что такое изображеніе общества Измайловымъ есть карриатура, предумышленная сатира на современные нравы. Не отрицая нѣкотораго преувеличенія, весьма возможнаго при тогдашнемъ отношеніи писателя къ обществу, мы однако можемъ положительно утверждать, что Измайловъ, изображая свои лица, не имѣлъ въ виду сатиры; ни въ одномъ мѣстѣ его повѣсти незамѣтно резонированія; онъ говоритъ совершенно свободно, почти, кажется, не возмущаясь изображаемыми имъ жизненными явленіями. Измайловъ былъ слишкомъ молодъ, чтобъ имѣть вполнѣ сознательное отношеніе къ дѣйствительности, выставленной имъ въ романѣ:

„Осьмнадцати, не больше лѣтъ
Урода этого я произвелъ на свѣтъ“.

говорилъ онъ впоследствии о своемъ первомъ романѣ. Онъ написалъ его очень „скоро, въ небольшое остающееся отъ должности время“¹⁾.

¹⁾ Предисловіе.

Содержаніе романа этого очень просто. Это исторія молодого чело-
вѣка, какихъ въ то время было, вѣроятно, не мало. Онъ сынъ зажиточнаго
помѣщика, нажившаго, впрочемъ, состояніе сутяжничествомъ и ростов-
щичествомъ; при рожденіи онъ уже записанъ сержантомъ въ гвардію.
Первый воспитатель его—французъ гувернеръ, бѣглый, клейменный
каторжникъ; затѣмъ Евгенийъ поступаетъ въ пансіонъ къ нѣмцу,
который болѣе пятнадцати лѣтъ содержалъ шинокъ въ своей род-
ной деревнѣ. Главные предметы ученія, французскій языкъ и танцо-
ваніе, но при этомъ Евгенийъ выучивается пить и играть въ банкъ.
По французски въ пансіонѣ онъ читалъ только тысячу и одну ночь,
а по-русски „письменные сочиненія того поэта, который въ храмахъ
Бахуса составлялъ стихи въ честь Пріапа“ ¹⁾. Не лучше дѣло ученія
шло и въ Московскомъ университетѣ. „Товарищи его, которымъ онъ
доставлялъ увеселеніе въ домахъ, гдѣ торгуютъ напитками и жен-
скими прелестями, дѣлали по дружбѣ вмѣсто него задачи, ему даван-
ныя. Вопросенный же въ классѣ наставникомъ, испытующимъ его
память, повторялъ онъ громко слова, произносимыя ему тихо—услуж-
ливыми его пріятелями, или хранилъ молчаніе, всегдашній признакъ
знанія ²⁾. Герой романа только глупъ и хвастливъ; но у него скоро
нашелся товарищъ, который забралъ его въ руки. Это былъ „чело-
вѣкъ посредственныхъ дарованій, посредственныхъ знаній, испорчен-
ныхъ нравовъ и испорченнаго сердца; хвасталъ какъ педантъ, пилъ
какъ ремесленникъ, игралъ на бильярдѣ какъ маркеръ, злословилъ
какъ богомолка и умѣлъ съ несказаннымъ искусствомъ жить на
счетъ другихъ“ ³⁾. Съ нимъ вмѣстѣ Евгенийъ отправляется въ Петер-
бургъ, чтобъ поступить въ гвардію въ дѣйствительную службу и
приключенія ихъ дорогою и потомъ въ Петербургѣ, различныя встрѣчи
и знакомства въ этомъ городѣ и пустая жизнь, которую ведутъ они
въ обществѣ, гдѣ все основано на взаимномъ обманѣ, составляетъ
вторую и главную часть разсказа Измайлова. Деньги, данныя роди-
телями, проживаются очень скоро и вся изобрѣтательность друзей
состоитъ въ томъ, чтобъ выманить ихъ побольше подъ разными болѣе
или менѣе благовидными предлогами. Наконецъ, къ величайшему
удовольствію сына, и отецъ и мать его умираютъ и онъ дѣлается
полновластнымъ распорядителемъ родительскаго наслѣдства, которое,
разумеется, очень скоро проживается, и герой романа умираетъ 24
лѣтъ отъ роду въ тюрьмѣ,—куда онъ былъ посаженъ за долги,—отъ
горячки.

¹⁾ Евгений. СПб. 1799, стр. 25.

²⁾ Ibidem, стр. 40.

³⁾ Ibidem, стр. 42.

Фабула разсказа, какъ видите, не замысловата; приключенія героевъ вовсе не занимательны, и прости и однообразны, но они, очевидно, принадлежать къ такимъ, какихъ въ самомъ дѣлѣ было не мало. Авторъ какъ бы торопился поскорѣе кончить со всѣми лицами, выведенными въ его разсказѣ и каждое изъ нихъ оканчиваетъ свою дѣятельность весьма неблагоприятнымъ образомъ: въ этомъ сказывается та поучительная цѣль, которую необходимо долженъ былъ преслѣдовать старинный романистъ, т.-е. воздать каждому по дѣламъ его, наказать пороки и наградить добродѣтели. Впрочемъ, въ разсказѣ Измайлова нѣтъ ни одного лица, которое слѣдовало бы наградить за добродѣтель. Это собраніе печальныхъ, отталяющихъ личностей, изъ которыхъ состояло общество наше въ концѣ XVIII вѣка и авторъ хорошо сдѣлалъ, что изображая кость отъ кости и плоть отъ плоти этого общества, не вывелъ, подобно Фонвизину резонирующихъ и скучныхъ по своему идеализму личностей. Можетъ быть Измайловъ, котораго обыкновенно въ нашей критикѣ называли „позомъ грубой дѣйствительности“ и не могъ этого сдѣлать по самому свойству своего таланта, никогда не бравшагося за такъ называемые возвышенные предметы. Впечатлѣніе, производимое чтеніемъ его разсказа—очень грустно. Мы не наталкиваемся въ немъ ни на одно человеческое чувство, не отдыхаемъ ни на одной личности. Все пошло и грубо до крайней степени. Измайлова обыкновенно называютъ Теньеромъ русской словесности, т.-е. именемъ того великаго живописца фламандской школы, который любилъ изображать на полотнѣ пирушки, сцены кабаковъ и разгулъ родныхъ праздниковъ своихъ. Самъ Измайловъ соглашался съ этимъ названіемъ и въ дружескихъ письмахъ, говоря о своемъ авторствѣ и его содержаніи, озъ выражается, что „теньерить“. Что касается до особеннаго цинизма въ выраженіи, въ которомъ обвиняютъ Измайлова, то мы обязаны снять съ него упрекъ въ этомъ. Надобно быть слишкомъ чопорнымъ, чтобы найти въ Измайловѣ этотъ недостатокъ.

„Евгеній“ имѣлъ значительный литературный успѣхъ, такъ что Измайловъ въ 1801 году издалъ другой подобный же разсказъ изъ русской дѣйствительности, но слабѣе перваго — „Вѣдная Маша“¹⁾.

Все это писалось между дѣломъ, на службѣ, а служба Измайлова въ экспедиціи о государственныхъ доходахъ, въ которой онъ служилъ постоянно, шла довольно счастливо въ началѣ царствованія императора Александра, когда стали особенно цѣнить молодыхъ, образованныхъ чиновниковъ, имѣющихъ „хорошій слогъ“ въ дѣловыхъ бума-

¹⁾ Сочиненія. Изд. 1849 г., ч. II, стр. 391—406

гахъ. Въ это время различныхъ преобразованій и проектовъ Измайловъ, увлеченный общимъ настроеніемъ, сталъ касаться въ литературныхъ трудахъ своихъ разныхъ общественныхъ вопросовъ. Изъ нихъ вопросъ о нищенствѣ обратилъ на себя вниманіе самого государя. Въ Высочайшемъ рескриптѣ дѣйствительному камергеру Витовтову 1802 г. говорилось объ увеличеніи нищихъ въ Россіи и высказывалось замѣчательное убѣжденіе Александра, что „обыкновенное подаваніе нищимъ умножаетъ только число оныхъ“. Слова эти взялъ Измайловъ эпиграфомъ для изданнаго имъ въ 1804 году сочиненія: „Разсужденіе о нищихъ; какимъ способомъ можно уменьшить у насъ въ Россіи, великое число оныхъ и доставить всѣмъ прочимъ безужное пропитаніе, безъ всякаго на то изживенія отъ казны“¹⁾. Средства, предлагаемыя Измайловымъ, были довольно практическія, по видимому они были заимствованы изъ англійскихъ учреждений въ этомъ родѣ. Измайловъ предлагалъ приписать всѣхъ нищихъ къ различнымъ церковнымъ приходамъ, гдѣ при церквяхъ должны быть общія для прихода книги и кружки. Изъ послѣднихъ церковный староста, въ присутствіи священника, долженъ былъ раздавать каждому нищему въ воскресенье на недѣльное содержаніе; при большомъ количествѣ сбора въ пользу нищихъ раздавать имъ ежемѣсячное содержаніе, или нанять вблизи церкви особенную квартиру для нищихъ прихода, гдѣ бы они могли жить подъ надзоромъ благонадежнаго церковнослужителя. Измайловъ предлагалъ для увеличенія сбора въ пользу приходскихъ нищихъ дозволить выставлять кружки въ разныхъ публичныхъ мѣстахъ: въ маскарадахъ, театрахъ, трактирахъ и т. п. Надобно замѣтить, что, касаясь такимъ образомъ вопроса о благотворительности и о нищенствѣ, Измайловъ разсуждалъ о немъ не только потому, что государь указалъ на него, что онъ сдѣлался какъ бы моднымъ вопросомъ времени, нѣтъ—Измайловъ по глубокому сердечному убѣжденію былъ истинно-благотворительный человѣкъ, насколько позволяли ему служебныя средства, жалованье и скудный доходъ отъ литературы. Послѣ отца на долю его и сестры осталось только 7 душъ крестьянъ. Современники единогласно свидѣтельствуютъ о его добромъ, честномъ характерѣ и о его благотворительности²⁾. То же свидѣтельствуетъ и довольно обширная помощь *бѣднымъ*, которыхъ онъ различалъ отъ нищихъ собственно, организованная Измайловымъ при издаваемомъ имъ журналѣ „Благонамѣренный“ (1818—1826). Почти въ каждомъ номерѣ своего журнала Измайловъ рекомендовалъ читателямъ бѣдныя семейства, о бѣдности

¹⁾ Ibidem, стр. 407—422.

²⁾ Иллюстрація 1846 г., №№ 17 и 18.

которыхъ онъ узнавалъ лично, посѣщая ихъ. Такимъ образомъ ему удалось въ теченіе всего существованія своего журнала содержать на счетъ благотворительности общества нѣсколько бѣдныхъ семействъ. Въ концѣ каждаго журнальнаго года Измайловъ печаталъ для публики отчетъ объ употребленіи пожертвованныхъ суммъ.

Въ 1807 году Измайловъ издалъ еще брошюру по текущимъ вопросамъ: „Вчерашній день или нѣкоторыя размышленія о жалованьѣ и о пенсіяхъ“¹⁾. Изъ всего этого видно, что въ характерѣ Измайлова, живомъ, впечатлительномъ, лежало чувство дѣйствительности и живого отношенія къ жизни. Это доказывается и его любовью къ журнальному дѣлу, которое онъ могъ вести настолько, насколько позволяли это литературныя условія того времени и въ особенности цензура. Въ началѣ царствованія Александра, когда Измайловъ по своимъ напечатаннымъ литературнымъ трудамъ, по бойкому уму и значительному образованію сталъ пользоваться успѣхомъ въ нѣкоторыхъ кружкахъ петербургскаго общества, онъ главнымъ образомъ хлопоталъ объ устройствѣ „Общества любителей словесности, наукъ и художествъ“ и вербовалъ въ него членовъ. Объ этомъ обществѣ мы уже имѣли случай говорить.

Въ 1803 году онъ женился; его семейная жизнь была счастлива и спокойна; Измайловъ былъ доволенъ ею, кромѣ развѣ того обстоятельства, что увеличеніе семьи вело къ грустному сознанію о недостаточности средствъ для воспитанія дѣтей. Но и тутъ счастье выручило Измайлова: всѣ дѣти его были воспитаны на казенный счетъ и ему удалось еще при жизни устроить ихъ судьбу: и сыновей и дочерей...

Измайловъ былъ рожденъ публицистомъ и не существуя, конечно, столько препятствій къ тому въ нашей литературѣ, онъ могъ бы приносить извѣстную долю пользы обществу. Все же его живое и дѣятельное отношеніе къ жизни не могло быть совершенно подавлено и невольно высказывалось даже въ искусственныхъ и ложныхъ родахъ поэзіи, которыми онъ занимался, въ угодность господствовавшей теоріи. Ему доставили извѣстность и даже нѣкотораго рода славу басни, особенно когда приходилось сравнивать эти произведенія его съ другими, съ баснями Хемницера, Дмитріева, Крылова: тогда критика обыкновенно старалась найти въ немъ черты оригинальныя, отличающія его отъ другихъ представителей этого рода. Вотъ что говоритъ объ Измайловѣ по этому случаю Вѣлинскій: „Онъ создалъ себѣ особый родъ басенъ, герои которыхъ: отставные квартальные, пьяные мужики и бабы, ерофеичъ, сивуха, пиво, паюсная икра, лукъ, соленая севрюжина;

¹⁾ Соч., II, стр. 423—440.

мѣсто дѣйствія — изба, кабакъ и харчевня. Хотя многія изъ его басенъ возмущаютъ эстетическое чувство своею тривиальностью, зато нѣкоторыя отличаются истиннымъ талантомъ и плѣняютъ какою-то мужиковатою оригинальностью¹⁾. Намъ кажется, что Измайловъ выбралъ басню и окружилъ ея фабулою оригинальный миръ дѣйствующихъ въ ней личностей именно вслѣдствіе присущаго ему чувства дѣйствительности.

Любимымъ родомъ поэзіи для Измайлова были *басни* и *сказки*, между которыми трудно сдѣлать какое-либо различіе, если судить по содержанію ихъ у него. Кажется, что различіе это Измайловъ заимствовалъ отъ Лафонтена, котораго рассказы дѣлятся на *fables* и *contes*: въ первыхъ непременно дѣйствуютъ животныя, иногда и съ людьми; во вторыхъ — только люди; Лафонтенъ заимствовалъ содержаніе своихъ сказокъ изъ рассказовъ труверовъ или изъ новеллъ Боккаччо; множество „странствующихъ“ рассказовъ, издавна знакомыхъ европейскому обществу, начиная съ среднихъ вѣковъ, передано было сказками Лафонтена; это небольшіе анекдоты о человѣческой глупости или слабости, иногда пикантнаго содержанія, переданные въ стихахъ. Въ сказкахъ Измайлова мы встрѣчаемъ такого же рода анекдоты, но безъ всякихъ европейскихъ воспоминаній, какъ это было у Лафонтена.

Сказки Измайлова — это русскіе житейскіе случаи, иногда весьма пустыне, иногда довольно замысловатые. Измайловъ считалъ басню своимъ призваніемъ, онъ называлъ себя обыкновенно, и въ стихахъ и въ прозѣ, „фабулистомъ“, хотя былъ очень мало оригиналенъ въ этомъ родѣ. Сознавая это, онъ указалъ тѣ источники, которыми пользовался при написаніи басенъ, и авторовъ, изъ которыхъ онъ переводилъ или заимствовалъ²⁾. Всѣхъ басенъ, заимствованныхъ имъ у французскихъ преимущественно писателей — до шестидесяти. Но Измайловъ не указалъ на тѣхъ русскихъ баснописцевъ, которымъ онъ видимо подражалъ въ нѣкоторыхъ изъ своихъ басенъ, гдѣ очень часто слышатся отголоски и Хемницера и Дмитріева и Крылова. Измайловъ написалъ даже теоретическое разсужденіе „О разсказѣ басни съ присовокупленіемъ разбора нѣкоторыхъ образцовыхъ русскихъ басенъ“³⁾. Разсужденіе это также не самостоятельное; оно основано на сочиненіяхъ разныхъ французскихъ теоретиковъ прошлаго вѣка и изъ него явствуетъ, что цѣль басни у Измайлова, согласно господствовавшей теоріи, была дидактическая, т. е. право-

1) Басни Ивана Крылова.

2) Предисл. ко 2-му изд. „Басень“, 1816 г.

3) Соч. II, стр. 730.

ученіе. На него онъ и обращалъ главное вниманіе и выводилъ изъ разсказа свою мораль часто вдвойнѣ и вовсе не у мѣста, иногда даже такъ, гдѣ она совершенно ясна для самаго недалекаго читателя. Форма басни, слѣдовательно, у него была преднамѣренная; Измайлову казалась она удобною для того, чтобъ высказать извѣстныя истины обществу. Какъ въ странѣ деспотизма и молчанія — на Востока, такъ и у насъ баснѣ, какъ извѣстно, посчастливилось въ литературѣ. Ея безобидная, многоговѣковая форма не такъ возбуждала подозрѣнія. Еще въ 1802 году Измайловъ передѣлалъ изъ Лафонтена „Происхожденіе и польза басни“, которая въ первомъ изданіи называлась смѣлѣе „Истина во дворцѣ“. Въ ней разсказывается, что истина нагая однажды вошла въ чертогъ къ царю и смѣло заговорила правду; царь въ гнѣвѣ закричалъ, упрекая ее въ безстыдствѣ и дерзости и требовалъ отвести ее въ сумасшедшій или въ смиренный домъ. Бѣдную съ позоромъ вывели изъ дворца. Тогда истина явилась къ царю въ другой разъ, но уже не нагая, какъ прежде, а въ блестящей и дорогой одеждѣ, взятой ею у вымысла. Ее приняли, ее послушались и она стала дѣлать свое благое дѣло. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ дѣлать заключенія о глубокомъ содержаніи басенъ и сказокъ Измайлова. Мораль, развиваемая въ нихъ вовсе не глубока; это простая, обыденная, житейская мысль, выраженная въ болѣе или менѣе замысловатой формѣ.

Намъ должно только сказать, насколько въ басняхъ Измайлова заключается національныхъ или оригинальныхъ, ему принадлежащихъ собственно элементовъ и сколько въ нихъ чертъ современности. Оригинальною чертою въ басняхъ Измайлова, сравнительно съ другими нашими произведеніями этого рода, можетъ быть выставлено частое отношеніе ихъ къ литературѣ, хотя намеки баснописца вообще довольно общи и неопредѣленны, когда онъ смѣется надъ тѣмъ или другимъ поэтомъ-риемачемъ, критикомъ или журналистомъ; читатель узнаетъ развѣ только одного несчастнаго графа Хвостова, надъ которымъ смѣялись тогда всѣ, или замѣтитъ темные намеки на какихъ-то „баловней-питовъ“, подъ которыми, по всей вѣроятности, надобно разумѣть молодого Пушкина и его школу. Первому досталось больше всѣхъ ¹⁾. Къ Шишкову Измайловъ относился тоже съ неуваженіемъ. Если по содержанію и характеру своихъ произведеній, онъ шелъ по дорогѣ противоположной Карамзину, то онъ раздѣлялъ общее мнѣніе всѣхъ послѣдователей его на счетъ реформы въ слогѣ и былъ противъ притязаній Шишкова и его такъ называемой славянофильской

¹⁾ Сказки: Стихотворецъ и чортъ, Страсть къ стихотворству и Смерть въ стихотворецѣ.

школы. Въ журналѣ „Цвѣтникъ“, издаваемомъ имъ въ 1809 и 1810 годахъ, вмѣстѣ съ Беницкимъ и Никольскимъ, помѣщены самыя главныя критическія статьи противъ Шишкова, хотя и не ему принадлежащія. Но зато его собственная басня „Шутъ въ парикѣ“, написанная въ 1811 году, направлена уже прямо на главу славянофиловъ „Бесѣды“. Подъ „шутомъ въ парикѣ“ всякій узнаеть Шишкова и его товарища, извѣстнаго поэта въ „Бесѣдѣ“—князя Ширинскаго-Шихматова. Шутъ нападаетъ на современную одежду и видитъ въ ней развращеніе нравовъ, а когда ему указываютъ, что онъ самъ носить французскій парикъ, онъ кричитъ:

„Безбожникъ! измѣнникъ! фарисей!
Сжечь надобно его, на вѣру нападаетъ“...

Міросозерцаніе Измайлова, раскрывающееся въ его басняхъ и сказкахъ—не велико. Онъ касался только доступныхъ, близкихъ или хорошо знакомыхъ ему предметовъ. Говоря о немъ, не слѣдуетъ несколько забывать, что мы имѣемъ дѣло не съ могучимъ талантомъ и съ негодованіемъ не очень глубокимъ, которое и по самой силѣ вещей могло скользить только по наружности предметовъ, вызывающихъ сатиру. Измайловъ ограничивался только легкой насмѣшкою; да это такъ и должно было быть, потому что она вызывалась собственно не сознаніемъ порока во всей его обширности, какъ болѣзнь развѣдающаго общественный организмъ, а частнымъ случаемъ, имъ же самимъ рассказаннымъ болѣе или менѣе остроумно въ анекдотической формѣ. Возьмемъ, напр., *взятчиичество*, которое процвѣтало въ его время. Измайловъ иронизируетъ надъ нимъ:

„Ахъ! если бы хотя подъ старость далъ мнѣ Богъ
Мѣстечко гдѣ-нибудь такое,
Гдѣ-бъ могъ остатокъ дней я провести въ покоѣ,
Гдѣ-бъ взятки брать или красть я могъ.—
Клянуса честію и совѣстью моею,
Ужъ далъ бы знать себя! Что? скажутъ: не умѣю?
Пустое! выучусь, лишь только захочу,
Да многихъ, можетъ быть, еще и поучу.
Выгляните: грамотѣ нынѣ не умѣютъ,
А какъ живутъ, какъ богатѣютъ!
Вотъ главное: *имѣть не надобно стыда*.
Отставятъ? — отставляй, и это не бѣда:
Коль наживу полмилліона,
Въ отставку самъ тогда пойду безъ пенсіона“¹⁾.

¹⁾ Карета и лошади.

Въ баснѣ „Приказные синонимы“ разсказывается о чиновникѣ, который тянетъ правое дѣло просителя, потому что онъ не понимаетъ значенія слова „доложить“; или о другомъ, объясняющемъ, что дѣло такъ не можно рѣшить ¹⁾. Откуда-жъ самое зло? Злу этому Измайлову кажется такъ легко пособить:

„Поставили на улицѣ фонарь
И уняли ночного вора“ ²⁾.

Отсюда онъ выводитъ:

„Плутъ секретарь
Остерегается прямого прокурора“ ³⁾.

Зло взятокъ происходитъ, по словамъ Измайлова, „отъ темноты, невѣжества и глупой доброты“. Такъ у него не разъ приводятся въ басняхъ и казнокрадство и знаменитыя интендатскія продѣлки; но онъ только добродушно смѣется.

Берется ли Измайловъ за пьянство—онъ выставляетъ по обычаю ироническую мораль:

Однако надобно, чтобъ больше пилъ народъ:
„Хоть людямъ вредъ,—зато откупщикамъ доходъ“ ⁴⁾.

или рисуетъ веселыя, вполне простонародныя фигуры пьяницъ. Напр.

„Пьянюшкинъ, отставной квартальный,
Совѣтникъ титулярный,
Исправно насандаливъ носъ,
Въ худой шинелишкѣ, зимой, въ большой морозъ,
По улицѣ шелъ утромъ и шатался“ ⁵⁾.

Это вполне пародная фигура: онъ пьетъ и съ горя и радости. Но она возбуждаетъ только добродушный смѣхъ по той юмористической обстановкѣ, которую далъ ей авторъ. Да и нельзя не смѣяться:

„Вотъ вечеромъ его по улицѣ ведутъ
Два воина осанки важной,
Съ сѣкьерами, въ бронѣ сермяжной.
Толпа кругомъ“ ⁶⁾.

И эти воины давно уже не существуютъ въ своемъ прежнемъ видѣ.

¹⁾ Такъ да не такъ.

²⁾ Фонарь.

³⁾ Ibidem.

⁴⁾ Пьяница.

⁵⁾ Ibidem.

⁶⁾ Ibidem.

Верется ли Измайловъ за сюжеты изъ отношеній помѣщиковъ къ крѣпостнымъ,—которые, по его же собственнымъ словамъ, часто мучать своихъ людей не хуже, чѣмъ крестьяне лошадей ¹⁾, онъ не кажется этихъ отношеній, а только рисуетъ болѣе или менѣе смѣшныхъ представителей барской воли: то калужскаго дворянина, любителя пѣвца съ хоромъ изъ крѣпостныхъ, гдѣ лакей Потапъ поетъ баса, теноромъ является псарь Гаврюшка, альтистомъ — фореиторъ Андришка и пр. ²⁾; то пятидесятичного помѣщика-затѣйника, у котораго былъ свой оркестръ, крѣпостные актеры, актрисы, пѣвцы, танцовщицы и который

„Къ своимъ собакамъ звалъ сосѣдскихъ по билетамъ,
Рожденье праздновалъ любимыхъ лошадей“

или выстроилъ въ деревнѣ въ греческомъ вкусѣ изящный храмъ, съ куполомъ, съ колоннами — для помѣщенія свиней ³⁾; то гордую барыню-дворянку, съ большимъ лакеемъ впереди, которая, входя къ обѣдни въ наполненную народомъ церковь, заставляетъ своего гайдука толкать народъ направо и налево и сама, въ гордости дворянской, исправно работаетъ локтями и каблуками ⁴⁾. Всѣ подобныя явленія, со стороны Измайлова — бранчивыя выходки въ довольно грубомъ тонѣ. Мы видимъ въ немъ честнаго, благороднаго человѣка, но не далекаго писателя.

Измайлову удавались въ особенности фигуры купцовъ и небольшія сценки изъ купеческаго быта, который онъ повидимому хорошо зналъ. Укажемъ, напр., на калужскаго купца *Мошнина*, который

„Не зналъ, что есть накладъ, а только богатѣлъ.
Чего онъ не имѣлъ?
Сувовны фабрики, чугунные заводы,
Съ которыхъ получалъ великіе доходы;
Деревни сыновьямъ съ чинами покупалъ,
И всякій передъ нимъ поклоны въ поясъ клалъ“ ⁵⁾.

Сродни ему является московскій купецъ *Брюхановъ*.

„Представьте, онъ въ сажень почти былъ въ вышину
И два аршина въ ширину.
Однажды изъ его кафтана,
Безъ спора, безъ хлопотъ,
Обилъ обойщикъ два дивана
И для жены еще укралъ тутъ на капоть“ ⁶⁾.

¹⁾ Крестьянинъ и кляча.

²⁾ Пѣвчіе.

³⁾ Обманчивая наружность.

⁴⁾ Дворянка-буянка.

⁵⁾ Купецъ Мошнинъ.

⁶⁾ Купецъ Брюхановъ.

Измайловъ рассказываетъ исторію ихъ оригинальнаго разоренья, вслѣдствіе самодурства. Еще оригинальнѣе купецъ Заржавинъ, Пафнугій Сидорычъ:

„Обманщикъ, ростовщикъ, скупецъ!
Ну настоящій жидъ, а впрочемъ христіанинъ:
Посты онъ свято наблюдалъ,
Заутрени не пропускалъ
И по полушкѣ въ день на рубль процентовъ бралъ“¹⁾.

Вотъ такимъ-то личностямъ и нравились герои, въ родѣ московскаго фабричнаго Семена:

„Силачъ, боецъ:
Заразъ изъ печи -взраецъ
Своею вышибалъ желѣзной пятернею,
Когда же на бою являлся предъ стѣною,
Все опровадывалъ и гналъ передъ собою“²⁾.

Изъ народной жизни мы можемъ указать развѣ на басню „Священникъ и крестьянинъ“, въ которой передается рассказъ о томъ, какъ неудачно умный священникъ старался разсѣять въ своемъ прихожанинѣ-крестьянинѣ вѣру въ домовыхъ, вслѣдствіе чего самъ прослылъ въ селѣ за безбожника:

„Вотъ хорошо! Не вѣрь своимъ очамъ,
А вѣрь твоимъ рѣчамъ!
Какой ты попъ! Да ты совсѣмъ не христіанинъ;
Къ тебѣ я на духъ не пойду“.

Не знаю, будетъ ли согласно съ русскою дѣйствительностью окончаніе этого рассказа у Измайлова, что крестьяне перестали ходить въ церковь и священникъ долженъ былъ перейти въ другой приходъ.

Мы указали на самое замѣчательное по нашему мнѣнію въ басняхъ и сказкахъ Измайлова. Болѣе подробнаго разбора онѣ не стоятъ, тѣмъ болѣе, что въ нихъ вовсе нѣтъ того живого отношенія къ дѣйствительности, современности, которое отличаетъ басни Крылова, какъ нѣтъ и его оригинальнаго таланта. Изъ намековъ на современность мы можемъ указать развѣ на исторію превращенія въ мистика характера совершенно противоположнаго, исторію,—какихъ бывало въ то время много:

„Бездушнѣе прежде пилъ, игралъ,
И женщинъ, и мужчинъ, какъ дьяволъ соблазнялъ;
Ни чести, ни родства, ни Бога онъ не зналъ.

¹⁾ Собака и воръ.

²⁾ Кулачные бойцы.

Но вдруг потомъ переѣнился:
Ходить прилежно въ церковь сталъ,
И въ землю все молился,
А дома Библию да Штилинга читалъ“.

Измайловъ не рассказываетъ о причинѣ такой крупной нравственной переѣны, но изъ словъ нашего мистика въ отвѣтъ на упреки сатаны, который началъ считать его за сумасшедшаго, эта причина является довольно ясно:

„Пусть думаетъ его, что я ума рехнулся.
Поддѣль я славно сатану
А ужъ людей теперь конечно обману!“¹⁾

Этотъ анекдотъ очень напоминаетъ Магницкаго.

Горизонтъ зрѣнія Измайлова былъ очень не широкъ; анекдоты имъ рассказанные въ басняхъ и сказкахъ были не замысловаты и изъ нихъ нельзя даже вывести той широкой общечеловѣческой морали, которою такъ богаты басни Крылова. Художественныхъ достоинствъ не имѣетъ ни одна изъ его басенъ, потому что и самъ онъ не былъ художникомъ, хотя и писалъ стихи чрезвычайно легко. Измайловъ является передъ нами въ своей баснѣ и сказкѣ довольно забавнымъ говоруномъ. Онъ не заботится о выраженіи, объ отдѣлкѣ его, почему высказываетъ иногда вещи смѣшныя и даже просто глупыя: это тогда, когда обмолвится. Образованія, которое бы указало ему, гдѣ сдержаться, было у Измайлова очень мало. Нельзя отрицать только того, что онъ былъ добрый и честный человѣкъ и имѣлъ достаточно благоразумія братья только за то, что не выходило за кругъ его средствъ.

Измайловъ въ другихъ мелкихъ своихъ стихотвореніяхъ, которыхъ онъ писалъ очень много и въ самыхъ разнообразныхъ видахъ, требующихъ тогдашнюю теорію, отъ оды до шарady, представляется намъ личностью чрезвычайно болтливою и откровенною на свой счетъ. Читатель можетъ узнать изъ его стихотвореній не только его литературныя отношенія, но и служебныя, всю обстановку его семейной жизни, то, какъ звали его жену, его дѣтей, чему послѣднія учились, какіе таланты были у нихъ, какъ звали кучера и прочихъ слугъ Измайлова, какова у него была фигура, въ какомъ платьѣ онъ ходилъ, что любилъ онъ покушать и когда и сколько выпивалъ водки, кто у него были кумовья и какіе подарки получалъ онъ на именины и въ праздники и пр. Измайловъ былъ большой поклонникъ прекрас-

¹⁾ Исправленіе.

наго пола. Онъ имѣлъ притязаніе нравиться. Кромѣ свидѣтельствъ о томъ его современниковъ, эту слабость Измайлова можно видѣть изъ множества альбомныхъ его стихотвореній и другихъ, написанныхъ на разные, иногда самыя мелкіе случаи дамской жизни. Особенно много стихотвореній его написано для С. Д. Пономаревой, которой онъ больше всѣхъ поклонялся, до того, что по нѣскольку разъ описалъ въ стихахъ ея любимыхъ собакъ. Въ письмѣ къ Дмитріеву онъ называетъ ее „предсѣдательницею или попечительницею небольшого нашего дружескаго литературнаго общества“. „Она дѣйствительно имѣетъ необыкновенныя таланты и получила отличное воспитаніе; знаетъ прекрасно вѣмецкій, французскій и итальянскій языки, даже отчасти латинскій; переводитъ на русскій прозою лучше многихъ записныхъ литераторовъ; пишетъ весьма не дурно стихи; рисуетъ, танцуетъ, поетъ и играетъ на фортепьяно превосходно. Жаль только, что очень мало занимается и ведетъ слишкомъ разсыянную жизнь“ ¹⁾.

Литераторы того времени, собираясь къ ней на вечера, поклонялись ей и ссорились изъ-за ея благосклонности. Она умерла неожиданно, въ очень молодыхъ лѣтахъ и Измайловъ излилъ свою печаль въ разныхъ стихотвореніяхъ. Вообще, все что было у него на умѣ— было и на языкѣ, т.-е. въ стихахъ. Въ нихъ онъ дѣлился съ публикою самою интимною стороною своей жизни. Разъ книжка журнала его „Благонамѣренный“ запоздала выходомъ въ свѣтъ на масленицѣ и Измайловъ счелъ долгомъ извиниться въ томъ предъ публикой въ слѣдующемъ двустишіи, въ которомъ онъ обвинялъ себя:

„Какъ русскій человекъ на праздникъ загулялъ,
Забылъ жену, дѣтей, не только что журналъ“.

Мы уже говорили, что Измайловъ нападалъ на страсть къ стихамъ, которая была распространена въ современной русской литературѣ, а между тѣмъ самъ платилъ ей значительную дань. Онъ писалъ, какъ мы видѣли, на всевозможные случаи, писалъ даже въ честь тѣхъ рекрутовъ, которыхъ онъ принималъ по должности вице-губернатора въ рекрутскомъ присутствіи, сочиняя для нихъ quasi—патріотическія пѣсенки и прославляя царя-молодца, который ничего не жалѣетъ для своихъ солдатушекъ. Мадригалы дамамъ доходятъ у него до удивительно-смѣшного и наивнаго. Приведемъ одинъ, основанный на существовавшемъ тогда въ обществѣ обычаѣ цѣловать у дамъ при свиданіи руку:

¹⁾ Русск. Арх. 1871 г., стр. 969.

„Когда, здороваясь или прощаясь съ вами,
Цѣлую ручку я у васъ,
И вы, какъ ангелъ, разсмѣясь,
Своими алыми устами
Басаетесь щеки моей —
Не помню я себя отъ радости—ей, ей!
Что чувствую, того сказать вамъ не умѣю;
Но только всякій разъ жалѣю
Зачѣмъ я не уродъ?
Зачѣмъ не на щекѣ мой ротъ?“¹⁾

Всего оригинальнѣе является Измайловъ въ качествѣ журналиста, когда онъ издавалъ свой журналъ „Благонамѣренный“ (1818 — 1826), тоже имѣвшій свои, конечно, не политическія, а литературныя убѣжденія. Измайловъ былъ противникомъ карамзинскаго сентиментализма, не столько впрочемъ сознательно, сколько по свойствамъ своей отчасти эпикурейской натуры. Естественно, что онъ возсталъ и противъ вошедшаго въ моду въ то время романтизма Жуковского, который не могъ ему нравиться своею неопредѣленностью и неясностью. Но Измайловъ относился недоброжелательно и къ такимъ тогдашнимъ явленіямъ русской литературы, которыя составляли ея дѣйствительный успѣхъ, напр. къ Пушкинской школѣ и къ занятію нѣмецкой философіей, увлекавшему многихъ лучшихъ и образованныхъ людей изъ нашихъ писателей. Настоящихъ слабыхъ сторонъ этихъ двухъ новыхъ явленій Измайловъ не могъ понять и всѣ его нападки имѣли своимъ источникомъ незнаніе. Это видно изъ того, что вся критика „Благонамѣреннаго“ держалась на самомъ пустомъ основаніи: она вовсе не касалась новыхъ понятій, входившихъ въ нашу литературу, а только новыхъ словъ, которыя не нравились нашему критику. Онъ еще не могъ выйти изъ прежнихъ французскихъ условій критики. Но о „Благонамѣренномъ“ мы будемъ еще имѣть случай говорить при обзорѣ русской журналистики въ это время. Тогда мы познакомимся и съ борьбой Измайлова съ цензурою и съ его нападеніями на Булгарина, дѣлавшагося извѣстнымъ у насъ въ двадцатые годы. Время изданія „Благонамѣреннаго“ было самое дѣятельное въ жизни Измайлова: къ этому времени относятся главныя связи его съ современными литераторами.

Изданіе журнала Измайловъ прекратилъ почти противъ своей воли на 12 книжекъ 1826 года. Служа съ самаго начала службы своей въ департаментѣ государственнаго казначейства, онъ, какъ видно изъ его собственныхъ стиховъ, въ послѣднее время меч-

¹⁾ Собраніе сочиненій. Спб. 1849, мадригалъ № 7.

такъ о должности вице-губернатора, можетъ быть и хлопоталъ о ней по начальству, такъ какъ эта должность тогда была по министерству финансовъ, но все-таки назначеніе его въ 1826 году вице-губернаторомъ въ Тверь было неожиданно для него. Издатель журнала по начальственному распоряженію, переводился по службѣ изъ одного города въ другой и имѣлъ основаніе сослаться передъ своими подписчиками на высшую волю власти въ томъ, что онъ не додалъ обѣщанныхъ книжекъ. Жалѣлъ ли Измайловъ о прерванной такъ неожиданно редакторской дѣятельности? Едва ли для него, при тогдашнихъ литературныхъ условіяхъ, изданіе журнала было дорогимъ дѣломъ убѣжденія; оно давало только извѣстныя денежныя выгоды, а мѣсто вице-губернатора давало ихъ больше. Впрочемъ все же онъ жалѣлъ нѣсколько, что у него теперь будетъ меньше времени для бесѣды съ музами. „И прежде имѣлъ мало времени на служеніе музамъ, пишетъ онъ къ И. И. Дмитріеву; теперь велеть совѣтъ ихъ оставить и посвятить все время на дѣла Вакха (т.е. откупныя). Утѣшаюсь единственно тѣмъ, что скоро возстановятся откупа и что недолго буду исправлять должность главнаго цѣловальника въ губерніи“¹⁾. Дѣла служебнаго было у него очень много и онъ жаловался, что заваленъ работой, но она не мѣшала ему однако и въ Твери писать разныя веселыя стихотворенія, застольныя и другія имъ подобныя, даже воспѣвать рекрутовъ. Нѣкоторыя басни, напр. „Дворянка-буянка“, были написаны имъ въ Твери и надѣлали тамъ, по его словамъ, много шума. „Сколько подражателей мнѣ нашлось! Семинаристы, подьячіе, купцы, мѣщане начали писать стихами. Точно какъ бы я привезъ сюда какую заразу, которая отъ меня распространилась“²⁾. По отъѣздѣ изъ Петербурга, уже безъ него, издана была вторая книжка его альманаха „Календарь Музъ“ (1-я вышла въ 1826 году). Въ Твери Измайловъ пробылъ однако недолго и въ началѣ 1828 года переведенъ на ту же должность въ Архангельскъ, гдѣ пробылъ ровно годъ. Въ это время, по службѣ, онъ успѣлъ объѣхать нѣсколько отдаленныхъ уѣздовъ Архангельской губерніи, что видно изъ писемъ его къ среднему сыну, адресованныхъ изъ Мезени и Пинеги—о Самоѣдахъ и ѣздѣ на оленяхъ³⁾. Стиховъ изъ архангельской жизни у Измайлова тоже довольно. Служба въ Архангельскѣ кончилась для Измайлова очень несчастливо, хотя мы и не знаемъ подробностей. Архангельскій генераль-губернаторъ донесъ

¹⁾ Руск. Арх. 1871 г. стр. 994—995.

²⁾ Ibidem стр. 997.

³⁾ Соч. т. II, стр. 521—533.

на него о чемъ-то въ Петербургъ и его оставили и назначили чиновникомъ министра финансовъ, безъ жалованья, что для него, при неимѣніи постороннихъ средствъ, было крайне тяжело. Онъ просилъ какъ милости, чтобъ его предали суду: по крайней мѣрѣ тогда онъ получалъ бы по закону половинное жалованье, но этого не хотѣли сдѣлать. Ему нужно было жить и содержать семейство и онъ принялся давать уроки по русской словесности, что приносило ему до 150 р. ас. въ мѣсяцъ. Тутъ начались болѣзни. Горячка и ея лѣченіе унесли его послѣднія финансовыя средства. „Одному Богу извѣстно, что перенесъ я въ это время, пишетъ онъ въ И. И. Дмитріеву. Зрѣніе мое, вмѣсто того, чтобъ укрѣпляться, слабѣло только болѣе и болѣе, и я едва вовсе не лишился онаго и не потерялъ ума, отъ стеченія въ одно почти время не только многихъ неприятностей, но можно сказать несчастій ¹⁾“. Наконецъ ему дали пенсіонъ по 2 т. р. въ годъ. Измайловъ радуется, что, несмотря на происки враговъ его, онъ имѣетъ теперь вѣрный кусокъ хлѣба, и высказываетъ надежду, что Богъ, чудесно сохранившій его, возвратитъ ему со временемъ зрѣніе и прежнія умственныя способности, которыя примѣтно ослабѣли ²⁾. Онъ мечтаетъ еще о литературныхъ трудахъ, готовится къ новому изданію своихъ сочиненій въ стихахъ и прозѣ, но смерть прекратила всѣ эти начинанія. Только два мѣсяца съ небольшимъ удалось ему получать пенсіонъ. Онъ умеръ въ январѣ 1831 года отъ апоплексическаго удара.

Такова была служебная и литературная карьера Измайлова, человека добраго, простодушнаго, честнаго, иногда забавнаго, но писателя и ума и образованія довольно ограниченныхъ, недалекаго, какъ называли сами друзья его и притомъ лишеннаго всякаго художественнаго таланта. Чтобъ познаться съ ограниченностью его ума, достаточно перечитать его проекты по общественнымъ вопросамъ, написанные имъ въ началѣ царствованія Александра. Они прошли незамѣченными, да это было и естественно, потому что они не рѣшали дѣла. Практическій смыслъ ихъ былъ невеликъ, хотя нельзя не признать въ Измайловѣ добраго сердца. Бѣдныхъ, по его способу нельзя было устроить, потому что все устройство ихъ жизни и прекращеніе нищенства онъ основывалъ на добровольномъ подаваніи, добротной жертвѣ, а не на правильной и постоянной организаціи опредѣленнаго сбора. ³⁾. Въ своихъ размышленіяхъ о жалованьи и о пенсіяхъ Измайловъ хлопоталъ о бѣд-

¹⁾ Русск. Арх. 1871 г. стр. 1002.

²⁾ Ibidem.

³⁾ Разсужденіе о нищихъ. Соч. т. II. стр. 407—422.

ныхъ чиновникахъ, получающихъ весьма скудное содержаніе. Чѣмъ же думалъ онъ помочь имъ? онъ и тутъ рассчитывалъ на добровольную жертву и на идеальное благородство человѣческой природы. Измайловъ предлагалъ или скорѣе просилъ тѣхъ отставныхъ чиновниковъ, у которыхъ есть благопріобрѣтенное на службѣ состояніе, отказаться отъ пенсій въ пользу бѣдныхъ сослуживцевъ своихъ, а богатыхъ молодыхъ людей на службѣ—не брать жалованья и пожертвовать на ту же благородную цѣль—бѣднымъ собратамъ ¹⁾. Всякому очевидно, какъ добръ и вмѣстѣ съ тѣмъ наивенъ былъ Измайловъ.

Это былъ литераторъ добраго стараго времени, для котораго писательство, если и существовало въ нему призваніе съ молодости, было только забавою между другими болѣе цѣнными обязанностями, напр. служебными. Онъ смотрѣлъ на него, какъ на забаву, какъ на отдохновеніе послѣ другихъ, болѣе тяжкихъ трудовъ и забавлялся словами и фразами стиховъ. Отъ того между его стихотворными произведеніями встрѣчаются пьесы, забавныя до нецѣпности, смѣшныя до глупости. Кажется, онъ вводилъ въ стихи свои всю житейскую свою грязь, всё мелочи, которыя попадались ему подъ руку въ жизни, не очень богатой содержаніемъ и впечатлѣніями, какъ жизнь всякаго чиновника, который 30 лѣтъ сидитъ въ однихъ и тѣхъ же комнатахъ департамента. Сфера Измайлова была анекдотъ и въ стихотворной и въ прозаической формѣ, но анекдотъ не широкаго свойства, а рассказанный у чайнаго стола какимъ-нибудь добродушнымъ и недалекимъ другомъ дома, или подслушанный въ лакейской или дѣвичьей. Содержанія на что-либо болѣе широкое у Измайлова не хватало. Потому изъ всей его довольно шумливой дѣятельности въ нашей литературѣ, нѣсколько прочную память оставилъ онъ своимъ „Евгеніемъ“, въ которомъ помимо воли автора сохранилась историческая дѣйствительность нашего отечества въ послѣдніе годы прошлаго вѣка. Замѣтимъ кстати, что „Евгеній“ не могъ быть перепечатанъ въ изданіи Смирдина „по независающимъ отъ издателя обстоятельствамъ“, какъ онъ объявляетъ. Рядомъ съ „Евгеніемъ“ могутъ быть поставлены еще „Басни и Сказки“; все же остальное въ сочиненіяхъ Измайлова имѣетъ только мелкій, личный интересъ и можетъ служить развѣ характеристикою самого сочинителя и жалкой литературы, пробавлявшейся такими пустяками. Между тѣмъ приблизилось время, съ явленіями другого, болѣе мрачнаго свойства, совершенно не похожими на тотъ добродушный, веселый и наивный

¹⁾ Вчерашній день или нѣкоторыя размышленія о жалованіи и пенсіяхъ. Ibidem, стр. 423—440.

міръ литературныхъ презраковъ, которыми тѣшился Измайловъ и литераторы его закала. Это время должно было разогнать радужныя мечты добродушныхъ представителей старой литературной школы, но зато своими гнетущими, печальными явленіями, оно приготовило болѣе строгій порядокъ вещей и подѣ его вліяніемъ образовалось новое поколѣніе писателей съ другимъ, не столь простодушнымъ взглядомъ на литературную дѣятельность. Наступило мрачное время реакціи; но къ чему эта реакція относилась? гдѣ у насъ были элементы для подавленія?..

ЛЕБЦІЯ ХХІ.

Общественное настроеніе послѣ 1812 г.—Россійское библейское общество.

Событія войны 1812 года и слѣдовавшихъ за нею европейскихъ походовъ, пребываніе въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ нашихъ войскъ за границею, по своему характеру и содержанию должны были необходимо имѣть вліяніе на жизнь русскаго общества и вызвать въ ней явленія, не похожія на прежнія. Въ эти годы, какъ мы уже не разъ замѣчали, послѣдовало сближеніе лучшихъ представителей нашего молодого поколѣнія съ Европой на ея собственной почвѣ, и съ Европой новою, на которой лежали глубокіе, жизненные слѣды только что пережитой французской революціи. Самая основа событій нашего европейскаго похода казалась заманчивою людямъ тогдашняго молодого поколѣнія: дѣло шло о свободѣ народовъ, объ освобожденіи отъ чужеземнаго деспотическаго ига. Лучшимъ политическимъ дѣятелямъ того времени, особенно въ Германіи, которая послѣ раздробленія своего въ эпоху Вестфальскаго мира страдала подѣ деспотическою властью своихъ безчисленныхъ мелкихъ владѣтелей, жившихъ какъ паразиты на счетъ крови своихъ народовъ, за паденіемъ великаго чужеземнаго тирана, казалось возможнымъ и близкимъ паденіе своихъ домашнихъ, мелкихъ тирановъ. Мечты эти казались осуществимыми, потому что сами народы пробуждались отъ тяжелаго вѣкового сна. Нѣмецкій „Тугендбундъ“, въ родѣ тайнаго общества въ эпоху освободительныхъ войнъ, раздѣлялъ эти мечты и поддерживалъ ихъ въ нѣмецкомъ обществѣ. Онѣ перешли, конечно не въ своей опредѣленной формѣ, въ это время духовнаго сближенія народовъ и къ намъ. Въ

началъ 12-го года въ Россію приглашенъ былъ Александромъ, тогда еще не утратившимъ либеральныхъ мечтаній своей молодости, или снова ставшимъ играть ими, какъ удобнымъ орудіемъ для другихъ цѣлей, — великій прусскій патріотъ Штейнъ, который поднялъ свое отечество изъ порабощенія либеральными основами государственнаго переустройства. Для него были дороги интересы нѣмецкаго народа, а не его мелкихъ деспотовъ, хлопотавшихъ только о своихъ личныхъ выгодахъ. Искренно или притворно, Александръ, въ пригласительномъ письмѣ къ Штейну, говорилъ, что теперь (т.-е. въ виду грозившей его странѣ страшной опасности) необходимо соединиться всѣмъ друзьямъ человечества и либеральныхъ идей, для того, чтобъ бороться противъ варварства и рабства, грозящаго поглотить все. Искренность этихъ словъ Александра является нѣсколько сомнительною, потому что они высказывались подъ гнетомъ близящейся грозы и потому что союзъ съ либерализмомъ тогда былъ выгоденъ ему. Штейнъ, прѣхавшій въ Петербургъ передъ самою войною 12 года и жившій тамъ около года, нашелъ русское общество въ сильномъ патріотическомъ возбужденіи. Изъ Россіи онъ хотѣлъ дѣйствовать литературнымъ путемъ, единственно возможнымъ въ то время, на пробужденіе германскихъ народовъ, при полномъ одобреніи этой дѣятельности Александромъ. Съ этою цѣлю онъ вызвалъ къ себѣ патріотическаго писателя Арндта и др., которые и стали печатать въ Петербургѣ свои воззванія къ нѣмцамъ. Подъ ихъ вліяніемъ, вѣроятно, и наша власть поняла, какое значеніе для возбужденія общества можетъ имѣть литература. На нее взглянули, какъ на орудіе, и тогда для патріотическихъ цѣлей былъ основанъ журналъ „Сынъ Отечества“ подъ редакцію ловкаго Греча. Въ немъ въ самомъ началѣ помѣщено было одно изъ воззваній Арндта ¹⁾). Въ русскомъ обществѣ, нѣмомъ и безгласномъ, это было новое явленіе, и оно, какъ кажется, въ первый разъ дало возможность образоваться въ немъ какому-либо политическому мнѣнію. Кромѣ этого литературнаго нововведенія, которымъ мы обязаны, повидимому, прибывшимъ къ намъ въ эту замѣчательную эпоху сближенія народовъ нѣмцамъ, такой вліятельный и сильный умъ, какой былъ у Штейна, не могъ не оставить глубокихъ слѣдовъ въ впечатлѣніяхъ тѣхъ людей русскаго общества, съ которыми онъ сближался. Намъ стоитъ упомянуть только о двухъ: Н. Тургеневѣ и Уваровѣ. Замѣтимъ, что Штейнъ былъ горячимъ защитникомъ необходимости освобожденія крестьянъ. Эту реформу онъ довелъ до конца въ качествѣ министра Пруссіи. Такимъ образомъ въ это время общаго возбужденія народовъ и соединенія ихъ для одной

¹⁾ Сынъ Отеч. 1812 г. I, стр. 1—17.

цѣли, вліяніе лучшихъ умышленныхъ представителей сказывалось и на нашемъ обществѣ, сначала на немногихъ лицахъ. Послѣдующія событія расширили его болѣе.

Въ русскомъ обществѣ, конечно, все зависѣло отъ власти. Во главѣ всякаго движенія, всякаго новаго фазиса государственной жизни неизбѣжно стояла воля императора. Въ эпоху европейскихъ войнъ, когда Александръ въ сознаніи поэтовъ своихъ и чужихъ, являлся, какъ „народовъ другъ, защитникъ ихъ свободы“, онъ былъ расположенъ, будемъ полагать, къ чести человеческого сердца, искренно къ дѣлу народной свободы. Онъ стоялъ на высотѣ, на которую рѣдко попадаетъ человѣкъ, будь онъ даже императоръ. Не могъ же не найти отголоска въ душѣ его тотъ народный энтузіазмъ, которымъ онъ былъ вездѣ окруженъ: и въ Европѣ, и дома. Его дѣйствія на Вѣнскомъ конгрессѣ доказываютъ это: онъ проводитъ конституціонныя начала для восстановленной монархіи французскихъ бурбоновъ; онъ даетъ такое же конституціонное устройство Польшѣ, забывая для нея свою страну; онъ думаетъ непремѣнно, еще при своей жизни, освободить крѣпостныхъ и пр. Надобно полагать, что вся эта масса либерализма была навѣяна на него впечатлѣніями Европы, какъ и на другихъ представителей русскаго общества.

Когда прошли эти сильно возбужденныя годы и успокоилось волненіе, жизнь русскаго общества мало по-малу стала входить въ свою прежнюю, привычную колею и, стала проходить въ немъ ненависть къ французамъ и вообще къ иностранцамъ, возбужденная войною: слѣдовательно, не закрывались пути для европейскаго вліянія. Но великія событія, пережитыя недавно, должны были оставить надолго слѣдъ въ лучшихъ умахъ: они уже не могли удовлетвориться прежнею рутинною; жизнь искала выхода; мысль желала чего-то новаго, еще не ясно сознаваемаго, и бросалась въ разныя стороны, чтобъ удовлетворить этому желанію и пробудившейся жаждѣ дѣятельности. Надобно было пройти годамъ, чтобъ эти новыя стремленія получили болѣе опредѣленное содержаніе. Сначала все это было неясно и смутно. Люди не понимали своихъ цѣлей и стремленій; они хватались за первое попадавшееся дѣло для того только, чтобъ удовлетворить стремленію къ дѣятельности. Нѣчто подобное русское общество пережило въ другой разъ, гораздо повднѣе, въ годы, слѣдовавшіе за восточною войною. При всей неясности цѣлей, мы видимъ, что люди добивались лучшаго. Были между ними и люди глубоко-увлеченные дѣломъ; были и другіе, которые шли подъ вліяніемъ общаго настроенія моды. Въ разныхъ начинаніяхъ, которыя сначала носили широкій, гуманный характеръ, сталкивались представители самыхъ противоположныхъ убѣжденій: и консерваторы и либералы, и приверженцы старины

русской и поклонники европейских формъ, и мистики и невѣрующіе. Они думали дѣлать общее дѣло, пока не разглядѣли другъ друга и пока благое начинаніе не было извращено въ самыхъ основаніяхъ своихъ тою партіею, которая взяла перевѣсъ, при измѣнившемся направленіи правительства. Тогда они разошлись въ разныя стороны.

Намъ нужно указать сначала на нѣкоторые общественныя явленія, которыя не могли остаться безъ вліянія на объемъ литературныхъ идей, на характеръ и направленіе литературы, вполне зависящей отъ общественнаго сознанія. Мы будемъ говорить объ общественныхъ явленіяхъ только въ самыхъ общихъ чертахъ, насколько это нужно для нашей главнойцѣли. Всѣ эти явленія почти одновременно выдѣляются изъ общаго патріотическаго энтузіазма, который не могъ же остаться на одномъ уровнѣ; всѣ они выражаютъ жажду дѣятельности въ возбужденномъ обществѣ, хотя въ немъ и въ самомъ началѣ можно было предвидѣть, на чьей сторонѣ останется побѣда, какое направленіе возьметъ верхъ. Въ смѣшеніи людей и понятій, послѣдовавшемъ за европейскими войнами, скоро оказался господствующимъ старинный обскурантизмъ и прежнее невѣжество. Въ войнѣ народной побѣдила патріотическая партія; она была убѣждена, что восторжествовали ея консервативныя начала, что побѣждена французская революція, глубоко ненавидимая ею за новыя основы государственной жизни и за новыя отношенія власти къ странѣ. Тогда вошли въ моду слова: якобинецъ, волтерьянецъ, фармазонъ, которыми крестили людей противоположныхъ, либеральныхъ убѣжденій. Обскурантизмъ и тупой консерватизмъ стали проявляться во всѣхъ сферахъ, вслѣдствіе соединенія въ одно цѣлое государственныхъ патріотовъ въ родѣ Шишкова и Трощинскаго, масоновъ, піетистовъ, іезуитовъ и военныхъ генераловъ въ родѣ Аракчеева. Невѣжество и ненависть ко всякимъ реформамъ, наукѣ и мысли скоро достигли до крайнихъ предѣловъ.

На первомъ мѣстѣ по хронологическому порядку, въ числѣ новыхъ явленій русскаго общества, идущихъ вслѣдъ за его возбужденіемъ, мы должны упомянуть о Россійскомъ библейскомъ обществѣ, въ которомъ отразилось много любопытныхъ сторонъ того времени. Подробная исторія этого общества, главнымъ образомъ основанная на его собственныхъ отчетахъ, изложена весьма обстоятельно г. Пыпинымъ ¹⁾. Въ нашемъ изложеніи мы ограничимся только общимъ обзоромъ этого явленія, такъ какъ нельзя пройти его молчаніемъ въ

¹⁾ Вѣстн. Евр. 1868 г. VIII, IX, XI и XII.

исторіи духовной жизни нашего отечества. Въ русскую жизнь оно всетаки вносило извѣстныя начала и тенденціи и наполняло ее непривычнымъ движеніемъ.

Библейское общество у насъ не было, однако, порожденіемъ собственнаго развитія, собственнаго дѣятельнаго отношенія мысли къ вопросу, но многія стороны русской жизни волею и неволею должны были отразиться на его исторіи у насъ. Родина настоящаго библейскаго общества, откуда и наше беретъ начало, была Англія. Эта страна свободной общественной инициативы, съ своими богатыми средствами, съ своими нравственно-религіозными привычками, проявляющимися и въ государственной и семейной сферѣ, основала у себя общество съ цѣлю распространенія книгъ Св. Писанія на разныхъ языкахъ земного шара еще въ 1804 году. Дѣятельность его не прерывалась до настоящаго времени и въ настоящее время представляетъ громадныя, изумительныя результаты, конечно внѣшняго свойства. Тенденціи англійскаго библейскаго общества вытекали изъ противодѣйствія революціоннымъ идеямъ; въ нихъ отражались историческія условія страны и сильное развитіе религіозности, доказываемое существованіемъ многочисленныхъ сектъ. Мысль о распространеніи Св. Писанія между различными народами земного шара укрѣплялась въ Англіи ея торговымъ могуществомъ, ея далекими сношеніями съ разными странами свѣта и множествомъ разнообразнѣйшихъ народностей, которыя пользовались англійскими учрежденіями. Много и обще-человѣческихъ, филантропическихъ стремленій, поражаемыхъ жизнію страны съ свободными государственными учрежденіями, соединялись съ главною цѣлю англійскаго общества — съ заботою о распространеніи книгъ Св. Писанія: освобожденіе негровъ, воспитаніе простаго народа, исправленіе преступниковъ и т. п., однимъ словомъ, нравственная сторона христіанства. Необходимость книгъ для народнаго воспитанія и то положеніе Библии, по которому она является какъ бы религіозно-духовнымъ очагомъ въ семействахъ въ земляхъ протестантскихъ, главною семейною книгою — дали первый толчекъ англійскому библейскому обществу. Но оно не осталось только на англійской почвѣ. Въ немъ было много такихъ основаній для дальнѣйшаго распространенія, которыя соотвѣтствовали общему духу, общему настроенію того періода европейской исторіи и вскорѣ подобныя же общества, одно за другимъ, основываются на континентѣ. Стремленіе къ библейскимъ обществамъ совпало съ тѣмъ общимъ настроеніемъ европейскаго духа, которое обыкновенно называютъ романтизмомъ. Мы уже говорили о его неувимомъ содержаніи, о томъ, какъ много должно было заключаться въ немъ противоположностей. Такъ и библейскія общества, вездѣ, гдѣ появлялись

они, носятъ какой-то двойственный характеръ: въ нихъ мы видимъ и піэтизмъ, часто слѣпой, и глубокую любовь къ темнымъ массамъ народа, желаніе поднять ихъ и просвѣтить. Библейское общество въ Англіи имѣло общечеловѣчскій, космополитическій характеръ. Въ глазахъ первыхъ основателей этого общества и первыхъ ревностныхъ миссіонеровъ его, всѣ вѣроисповѣданія христіанскія, всѣ языки и народы земного шара имѣли равныя права на уваженіе. Эти люди отличались и широтою взгляда и терпимостію. Они мечтали, что общая проповѣдь Евангелія и распространеніе его на всевозможныхъ языкахъ соединить когда-нибудь всѣ народы земного шара въ одну христіанскую семью. Для такой цѣли въ Англіи существовало предпримчивое общество, богатая матеріальныя средства, какихъ не въ состояніи представить никакая другая страна въ мірѣ, и величайшая энергія отдѣльныхъ личностей, которая могла образоваться только подъ оригинальными историческими условіями этой страны. Ничего этого не могло быть у насъ.

При всѣхъ хорошихъ задачахъ своихъ, библейскія общества того времени, какъ всякое человѣческое дѣло, имѣли и слабыя, открытыя для нападенія, стороны. На распространеніе библіи, безъ всякихъ объясненій и примѣчаній и отличій по вѣроисповѣданіямъ, какъ того требовалъ уставъ общества, нападали съ той, довольно справедливой точки зрѣнія, что этого слишкомъ мало, что книга сама по себѣ, если она не будетъ понята настоящимъ образомъ, мало принесетъ пользы для нравственнаго воспитанія народа. Все это было, конечно, справедливо, но библейское общество и не задавалось слишкомъ много цѣлями нравственнаго воспитанія народовъ; оно хлопотало о главномъ, по его мнѣнію, орудіи этого воспитанія — библіи. Болѣе печальную сторону библейскаго общества, особенно въ той формѣ, какъ оно привилось у насъ, составляла связь его съ реакціонными элементами, какихъ много было въ исторіи того времени. Піэтизмомъ организаторовъ библейскаго общества воспользовались ловкіе люди, преслѣдовавшіе грязныя, личныя цѣли, и испортили благое въ существѣ дѣло.

Вишняя исторія нашего русскаго библейскаго общества представляется въ слѣдующемъ общемъ видѣ. Начало его, какъ мы сказали, надобно вести изъ Англіи. Одинъ изъ главныхъ дѣателей общества, пасторъ Петерсонъ явился въ Петербургъ въ концѣ 1812 года; онъ завелъ связи въ столицѣ, и докладъ главноуправляющаго духовными дѣлами иностранныхъ вѣроисповѣданій, впоследствии министра народнаго просвѣщенія, князя А. Н. Голицина, съ проектомъ учрежденія въ Россіи библейскаго общества былъ Высочайше утвержденъ 6 Декабря того же года. Въ противоположность широтѣ

дѣйствій англійскаго общества, русское могло издавать книги Ветхаго и Новаго Завета только на языкахъ *иностранныхъ*. Это была уступка русскимъ отношеніямъ, которая не могла не показаться странною и учредителямъ общества и самому императору. Изданіе книгъ на языкѣ славянскомъ оставалось въ вѣдѣніи Синода; о русской библии и не упоминалось. Но вновь основанное общество смотрѣло на свою задачу съ религіозно-правственной точки зрѣнія. „Опытъ научаеъ насъ, говорилось въ проектѣ, что повсюду, гдѣ Священное Писаніе всѣми читается, оное сильно способствуетъ къ преуспѣванію въ добродѣтеляхъ, направляетъ человѣческія страсти къ лучшей дѣли, и болѣе, нежели что другое, способствуетъ къ исправленію сердца“ ¹⁾. Общество хотѣло не только распространять библию, но и желало объяснить всю важность ея людямъ простымъ и стараться объ употребленіи ея при воспитаніи. Проектъ обращалъ вниманіе и на народъ, понесшій страшныя бѣдствія въ 1812 году. Общество думало дать ему въ библии „утѣшеніе въ горестяхъ“, забывая, что онъ и не пойметъ библию. „Лишившіеся временныхъ благъ при нынѣшнихъ безпокойствіяхъ, говорилось здѣсь, тѣ, коихъ временныя утѣхи погребены въ могилѣ, не должны нуждаться въ лучшихъ утѣшеніяхъ религіи для того токмо, что у нихъ не осталось способовъ къ покупкѣ себѣ и семейству своему библии“ ²⁾. Все это по смыслу проекта могло относиться только къ инородцамъ.

Въ члены общества записались первыя лица въ управленіи Имперіей. На первыхъ порахъ большую роль играли мода и увлеченіе. Деньги собирались въ значительномъ количествѣ. Комитетъ сталъ хлопотать объ открытіи отдѣленій въ другихъ городахъ Имперіи, о распространеніи круга своихъ дѣйствій. Черезъ два года послѣ открытія общества, въ немъ получили важное значеніе духовныя лица, наравнѣ съ первыми государственными людьми. Это указываетъ на то значеніе, которое придавало правительство обществу. Вотъ почему оно могло открывать съ каждымъ годомъ все новыя и новыя отдѣленія въ губернскихъ и даже мелкихъ уѣздныхъ городахъ, что дѣлалось главнымъ образомъ изъ угожденія властямъ: люди хотѣли заслужить благосклонность начальства. Только въ 1815 году возникаетъ мысль о русскомъ переводѣ Библии, т-е. о ея осуществленіи, основаніи общества. Эта мысль принадлежала самому императору. По словамъ отчета это было „внушеніе его собственнаго сердца“; онъ „захотѣлъ снять печать невразумительнаго

¹⁾ Ibidem VIII, стр. 658.

²⁾ Ibidem, стр. 659.

нарѣчія“ съ Библіи и въ этомъ же году президентъ общества князь Голицынъ, по волѣ императора, предложилъ членамъ Синода „доставить и Россіянамъ способъ читать слово Божіе на природномъ своемъ російскомъ языкѣ, яко вразумительнѣйшемъ для нихъ славянскаго нарѣчія“ ¹⁾). При нашихъ русскихъ отношеніяхъ, при той темнотѣ и рутинности, которыя окружаютъ религіозную сторону русскаго общества, это желаніе императора было весьма смѣлымъ актомъ либерализма. Замѣчательно, что въ томъ же 1815 году, когда заговорили въ первый разъ о русской Библіи, президентъ въ отчетѣ своемъ счелъ нужнымъ упомянуть о какихъ-то тайныхъ врагахъ библейскаго общества, которые видятъ въ немъ какія то злоупотребленія и ищутъ тайныя цѣли ²⁾). Русскій переводъ библіи порученъ былъ Петербургской духовной академіи, подъ главнымъ надзоромъ ея ректора—знаменитаго впослѣдствіи московскаго митрополита Филарета. Переводъ этотъ, однако, не былъ доведенъ во время существованія Россійскаго библейскаго общества до конца. Оно успѣло издать черезъ нѣсколько времени только русскій переводъ Новаго Завѣта, Псалтыри и первыхъ восьми историческихъ книгъ Ветхаго Завѣта. Для насъ особенно важенъ тотъ фактъ, что первый починокъ въ немъ положенъ былъ самимъ государемъ. Это вызвало къ нему особенный энтузіазмъ Лондонскаго библейскаго общества, весьма конечно пріятный для него. Когда онъ былъ въ Лондонѣ, то долго бесѣдовалъ въ 1814 г. съ депутаціей этого общества, въ которой были и знаменитые филантропы, какъ Вильберфорсъ. Эти англичане смотрѣли на него, какъ на „орудіе десницы Божіей къ освобожденію удрученнаго человечества“ ³⁾). Это обстоятельство еще болѣе возвысило въ глазахъ русскихъ библейскихъ членовъ значеніе дѣятельности Лондонскаго общества, на которую смотрѣли, какъ на образецъ. Жившіе въ Петербургѣ агенты Лондонскаго общества, чрезвычайно дѣятельные члены въ нашемъ комитетѣ, Патерсонъ и Пиккертонъ, объѣдившіе Россію съ цѣлю посѣщенія различныхъ нашихъ провіціальныхъ комитетовъ и оставившіе въ печати подробные отчеты о своей дѣятельности въ этомъ родѣ—были посредниками между нашимъ комитетомъ и Лондонскимъ обществомъ и безъ сомнѣнія они же были указателями нѣкоторыхъ практическихъ способовъ, отличавшихъ англійскую дѣятельность и неизвѣстныхъ намъ. Въ особенности любопытно первое знакомство русскихъ членовъ со школами для бѣдныхъ, со школами воскресными и переходящими, о которыхъ, при печальныхъ

¹⁾ Ibidem, стр. 673.

²⁾ Ibidem, стр. 672.

³⁾ Ibidem, стр. 677.

условіяхъ нашей жизни мы никогда не слышали, тогда какъ въ Англіи эта дѣятельность давно вытекала изъ нравственно-религіозныхъ при-
вычекъ общества. Положимъ, что въ ту пору завести у насъ что-
либо подобное, съ полною преданностію дѣлу и съ возможностью по-
вести его на прочныхъ основаніяхъ, не изъ одного только мимолет-
наго моднаго увлеченія, едва ли мечталось и самымъ передовымъ и
развитымъ личностямъ нашего общества. Вспомнимъ какой печаль-
ный конецъ имѣли черезъ сорокъ лѣтъ наши воскресныя школы,
обязанныя своимъ возникновеніемъ подобному же возбужденію обще-
ства послѣ великихъ историческихъ событій¹⁾. Но англійскіе обычные
приемы имѣли значеніе идеаловъ въ странѣ грубаго произвола и бар-
ства, въ странѣ, исполненной глубокаго презрѣнія къ человѣчеству.
Это уже одно заставляетъ смотрѣть на нихъ съ уваженіемъ. Конечно,
не одному хорошему человѣку западала мечта о возможности осуще-
ствить что-нибудь подобное въ родной землѣ, хотя онъ и долженъ
былъ отказаться отъ нея.

Намъ нѣтъ надобности входить въ подробное изложеніе исторіи
Россійскаго библейскаго общества въ теченіе его существованія; для
этого мы отсылаемъ желающихъ къ указанному сочиненію г. Пыпина.
Дѣятельность общества, конечно, главнымъ образомъ заключалась въ
распространеніи въ народной массѣ книгъ Священнаго Писанія, какъ
на языкахъ славянскомъ и русскомъ, такъ и на языкахъ русскихъ
инородцевъ, на которые тогда были предприняты, а отчасти и сдѣ-
ланы переводы. Дѣятельность общества заключалась въ увеличеніи
круга своихъ дѣйствій, въ умноженіи провинціальныхъ комитетовъ и
числа членовъ въ нихъ, что было не затруднительно при существо-
ваніи извѣстныхъ русскихъ порядковъ. Но не эта внѣшняя сторона
дѣятельности общества должна занимать насъ, а внутренняя; какія
духовныя и нравственныя силы участвовали въ немъ, что приносило
оно въ русскую жизнь?

Мы замѣтили, что почти въ первые годы существованія Россій-
скаго библейскаго общества, въ отчетѣ его, уже встрѣчаются намеки
на какихъ-то тайныхъ враговъ общества. Въ 1821 году намеки эти
усиливаются. Члены общества въ отчетѣ этого года называются испол-
нителями божественнаго дѣла, а противники—слугами врага человѣ-
ческаго рода. На кого были направлены эти намеки—мы не знаемъ.
Въ ту пору положеніе враговъ общества, находящихся въ немъ са-
момъ, еще не опредѣлилось; враговъ общества, со стороны либерализма,

¹⁾ По Высочайшему повелѣнію 10 іюня 1862 года воскресныя школы, воз-
никшія у насъ въ самомъ концѣ 50-хъ и началѣ 60-хъ годовъ, были повсе-
мѣстно закрыты.

также не было тогда; обскурантизмъ и мрачный піэтизмъ общества еще не проявлялся; его дѣйствія были тогда еще таковы, что не одобрить ихъ со стороны свободной мысли было невозможно. Вотъ почему въ первоначальныхъ и послѣднихъ противникахъ общества, тѣхъ именно, которые погубили его, надобно видѣть невѣжественное духовенство и его вождей.

Знакомство народа съ прямыми источниками религіи, при вѣковомъ мракѣ, окружающемъ его религіозно-нравственную сторону жизни, казалось имъ нарушеніемъ древнихъ преданій и пугало ихъ возможностью протестантизма.

Это должно было быть такъ. Переводъ Св. Писанія справедливо назывался въ московскомъ отчетѣ общества 1822 года „величайшимъ благодѣяніемъ для народа російскаго“. Его приобрѣтали чрезвычайно охотно и въ большомъ количествѣ; приобрѣтали даже раскольники. И чѣмъ больше дѣло принимало такой благопріятный ходъ, тѣмъ болѣе общество наживало себѣ враговъ: „Чѣмъ ощутительнѣе дѣлаются послѣдствія распространенія спасительнаго слова Божія обращеніемъ многихъ отъ путей заблужденія, тѣмъ болѣе усматриваемъ, какъ *силы тьмы*, страхомъ возмущаемыя, стараются воспользоваться всѣми орудіями, дабы побороть сіе благое дѣло... Есть еще люди, которые, не примѣчая дивныхъ дѣлъ Божіихъ, совершающихся на лицѣ всея земли во дни наши, недоумѣваютъ и о дѣлѣ повсемѣстнаго распространенія священныхъ книгъ,—опасаются, чтобы Библія, сіе небесное сокровище, переходя въ народныя руки, не потеряла существенной цѣны своей; чтобы содержащееся въ ней, а особенно въ Ветхомъ Завѣтѣ, многое для многихъ не вразумительное, и съ нынѣшними нравами несогласное, не послужило соблазномъ для неопытныхъ“... ¹⁾).

Вотъ гдѣ источникъ вражды къ обществу. Отъ него требовали нравственнаго отчета въ его дѣйствіяхъ и нападающимъ энергически отвѣтилъ Филаретъ, тогда увлеченный библейскимъ дѣломъ и вполне ему преданный. Но скоро библейское общество не могло уже отвѣчать врагамъ своимъ, какъ внѣшнимъ, такъ и внутреннимъ, въ немъ самомъ, чрезвычайно усилившимся, и существованіе его было прекращено насильственно, какъ и весьма многихъ другихъ благихъ начинаній на нашей почвѣ, не успѣвшихъ принести и малой пользы обществу, посреди котораго они дѣйствовали, и въ самомъ первомъ періодѣ своего существованія уже извращенныхъ печальными общественными условіями нашей страны. Тѣмъ не менѣе, однако, недоконченныя дѣйствія нашего библейскаго общества, его странная

¹⁾ Ibidem, стр. 705.

исторія, посреди броженія неустановившихся общественныхъ элементовъ и самыхъ разнообразныхъ вліяній времени, представляетъ намъ нѣсколько любопытныхъ страницъ духовной исторіи нашей, на которыхъ являются и оригинальныя личности и оригинальныя тенденціи, но болѣе всего—преданность личному интересу и личной выгодѣ, которыми безстыдно и безнравственно приносится въ жертву общественное дѣло и благо своего народа. Въ нихъ познаваемы мы съ различными сторонами того времени, явленіями, которыя неизбѣжно слѣдовали за великими историческими событіями, пережитыми страной. Духовные интересы здѣсь сталкивались и перекрещивались; одни исключали другіе, но жизнь все-таки дѣлала свое; она неудержимо шла впередъ и готовилась.

ЛЕКЦІЯ XXII.

Библейское общество. — Возстановленіе масонскихъ ложъ. — Ланкастерскія школы.

Наше библейское общество просуществовало до 1824 года ¹⁾, когда президентъ его, любимецъ императора Александра, кн. А. Н. Голицынъ, бывшій также и министромъ народнаго просвѣщенія, вслѣдствіе личныхъ интригъ, о которыхъ мы скажемъ на своемъ мѣстѣ, долженъ былъ выйти въ отставку.

Мрачный взглядъ на дѣло библейскаго общества восторжествовалъ. Въ невинномъ по существу своему обществѣ стали находить антирелигіозныя и революціонныя начала. Такой взглядъ шелъ отъ невѣжественнаго и фанатическаго духовенства. Общество погибло такимъ образомъ, какъ мы увидимъ, вслѣдствіе дѣйствій внѣшнихъ враговъ. Но и въ немъ самомъ заключались такія условія, которыя дѣлали существованіе его непрочнымъ у насъ.

Библейское дѣло, если сравнить его положеніе у насъ съ тѣмъ, какое имѣло оно въ Англіи, является совершенно несогласнымъ ни съ нашими правами, ни съ нашими историческими привычками. Въ Англіи, на своей родинѣ, оно было проявленіемъ свободной дѣятельности лицъ частныхъ, привычекъ цѣлаго англійскаго общества; у насъ оно съ самаго начала стало носить офиціальныя черты. Главную роль въ распространеніи дѣятельности нашего библейскаго общества играли административныя власти, безъ которыхъ въ ту

¹⁾ Оно просуществовало собственно до 1826 г., а въ 1824 г. палъ Голицынъ.

Прим. ред.

пору, да и долго потомъ, была немислима у насъ никакая общественная дѣятельность. Но не будь личнаго участія самого императора къ дѣлу библейскаго общества—и власти не тронулись бы. Вниманіе Александра придавало опору и жизнь нашему обществу. Только оно одно и позволило обществу быть дѣятельнымъ въ распространеніи круга своихъ дѣйствій. Свободная, личная инициатива, настоящее влеченіе къ дѣлу—могли существовать только у весьма немногихъ членовъ. Большинство ихъ влеклось къ этому дѣлу посторонними поводами, часто вовсе не безкорыстными, а именно: желаніемъ угодить власти и своему начальству. Вотъ почему этимъ людямъ такъ легко было измѣнить образъ своихъ дѣйствій, когда власть измѣнила взгляды.

При такой неблагоприятной обстановкѣ едва ли многими сознавалась та прекрасная первоначальная цѣль, которая вносила такъ много новыхъ, цивилизующихъ, неизвѣстныхъ до того элементовъ въ русское общество: желаніе прогнать религиозное невѣжество простого нашего народа, настоящее религиозное образованіе его, когда источники религіи дѣлаются доступными и понятными всѣмъ и каждому и вѣротерпимостью, о которой не слыхали у насъ до того, не только между духовными лицами, но и мірянами. Все это шло изъ Англій посредствомъ письменныхъ сношеній нашего общества съ лондонскимъ и посредствомъ личныхъ связей, такъ какъ нѣсколько весьма почтенныхъ эмиссаровъ являлось къ намъ изъ Англій. Они-то сообщали благотворныя и образовательныя начала обществу.

Разсматривая составъ нашего библейскаго общества, членами котораго были лица изъ высшаго духовенства, какъ православнаго, такъ и другихъ христіанскихъ исповѣданій и лица самаго высшаго положенія на государственной службѣ, а во главѣ ихъ—князь Голицынъ, любимецъ Александра и довѣренное лицо, человекъ съ истинно-религиозными наклонностями, который вездѣ, даже въ самомъ темномъ мистицизмѣ искалъ удовлетворенія своей сердечной вѣрѣ, мы приходимъ къ убѣжденію, что въ дѣйствіяхъ и стремленіяхъ общества не было ничего такого, что сколько-нибудь могло подтверждать яростныя и бессмысленныя обвиненія его враговъ.

Люди были преданы дѣлу и искренно желали общей пользы. Но между ними, къ несчастію общества, нашлись однако люди, которые всегда были готовы изъ личныхъ выгодъ измѣнить свои дѣйствія и убѣжденія, какъ пресловутый Магницкій. Они-то и сдѣлались главными врагами общества, распространяя на его счетъ, изъ интриги, нелѣпныя представленія.

Если судить по тѣмъ препятствіямъ, которыя наше общество встрѣчало для своей дѣятельности вокругъ себя и внутри себя, то

мы должны отдать ему полную справедливость: оно сдѣлало относительно очень много для главнаго своего дѣла—распространенія книгъ Св. Писанія на языкъ русскомъ и другихъ языкахъ и нарѣчійхъ, хотя ему сильно вредило слишкомъ усердное мистическое направленіе, лежавшее впрочемъ въ основахъ духа времени и въ личныхъ наклонностяхъ самого императора и президента общества. Это не мѣшало однако тому обстоятельству, что въ кругъ убѣжденій членовъ нашего библейскаго общества вошла вѣротерпимость, которая облегчила положеніе раскольниковъ.

Изъ Англій заимствовало также наше общество и человѣколюбивое направленіе, ту филантропію, которая соотвѣтствовала общему духу времени. Въ Петербургѣ основано было *Императорское человеколюбивое общество*, президентомъ котораго былъ тотъ же Голицынъ. Въ 1816 году образовалось новое литературное общество, у котораго была также и филантропическая цѣль: это *Вольное общество любителей россійской словесности*, о которомъ мы уже не разъ упоминали. Попечителемъ его былъ тотъ же Голицынъ; въ немъ участвовало преимущественно молодое поколѣніе, которое издавало свой журналъ „Соревнователь просвѣщенія и благотворенія“ или „Труды Вольнаго Общества“. СПБ. 1818 — 1825. Благотворительная цѣль этого общества заключалась въ томъ, что деньги, выручаемыя отъ изданія, оно опредѣляло въ пособія немущимъ ученымъ и литераторамъ. И въ этомъ и въ другихъ обществахъ столицы принимали участіе, кромѣ князя Голицына, и другіе члены библейскаго общества. Изъ этого видно, что широкая дѣятельность англійскаго библейскаго общества получала отчасти и у насъ развитіе въ томъ же филантропическомъ направленіи. Къ числу нововведеній въ этомъ родѣ для русскаго общества вообще принадлежатъ *Ланкастерскія школы* или школы взаимнаго обученія, начало которыхъ надобно искать въ Англій. Эти школы оказывали существенную помощь въ дѣлѣ образованія бѣдныхъ. Мы должны упомянуть также, что плодомъ дѣятельности нашего библейскаго общества явилась и особая назидательная литература, состоявшая изъ нравственно-религіозныхъ поученій въ небольшихъ книжечкахъ, распространяемыхъ за дешевую цѣну между грамотными изъ простаго народа. Особую литературную дѣятельностію въ этомъ духѣ и направленіи сдѣлалась извѣстною у насъ кн. Мещерская, которую уважалъ императоръ Александръ. Она отдалась съ искреннею преданностію и увлеченіемъ этому новому у насъ дѣлу. Въ первый разъ русское общество услышало въ этихъ трактатахъ рѣчь о вопросахъ христіанской морали не на схоластическомъ языкѣ духовенства, перемѣшанномъ славянскими словами, а на языкѣ обыденной жизни. Стали переводить у

насъ тогда чѣмъ либо замѣчательныя сочиненія духовныхъ и другихъ вѣроисповѣданій. Таковы были проповѣди католическаго пастора Линдла (1820 г.) и книга другого католическаго пастора Госнера, книга, сдѣлавшаяся въ 1824 году обвинительнымъ пунктомъ противъ библейскаго общества. Но самымъ любопытнымъ примѣромъ того, что стремленія англійскаго библейскаго общества прививались у насъ и распространялись въ такой сферѣ, гдѣ появленіе ихъ должно было показаться чрезвычайно страннымъ многимъ не привыкшимъ людямъ, было изданіе (первое) извѣстнаго катихизиса Филарета (1823 г.) въ которомъ десять заповѣдей, символъ вѣры и всѣ тексты священнаго писанія были изложены на языкѣ русскомъ, чего уже не встрѣчалось въ позднѣйшихъ многочисленныхъ изданіяхъ „Катихизиса“. Знаменитый впоследствии московскій архипастырѣ получилъ извѣстность своими проповѣдями въ 1812 году. При образованіи у насъ библейскаго общества Филаретъ былъ однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ членовъ его и со всюю энергіею поддерживалъ и приводилъ въ исполненіе собственными трудами мысль о переводѣ книгъ Св. Писанія на языкъ русскій и не по его винѣ мысль эта въ исполненіи не была доведена до конца. Мы увидимъ потомъ, что „Катихизисъ“ Филарета въ этомъ видѣ возбудилъ противъ себя жестокаго нападенія враговъ общества. Съ дѣйствіями послѣдняго соединялось отчасти и мистическое направленіе, то множество переводовъ мистическихъ книгъ и сочиненій Юнга Штиллинга и Эккертгаузена, гдѣ главнымъ дѣятелемъ являлся, какъ мы видѣли издатель „Сіонскаго Вѣстника“ Лабзинъ. Мистицизмъ этотъ однако не соответствовалъ первоначальной и прямой цѣли библейскаго общества, которое возбуждало религиозно-нравственные вопросы съ совершенно другимъ содержаніемъ; напротивъ онъ повредилъ дѣлу, испортилъ его.

Такимъ образомъ русское библейское общество, возникшее изъ подражанія англійскому, вносило въ жизнь нашего общества много вопросовъ религиозно-нравственнаго содержанія, о которыхъ никогда не было до того времени помину и которые возбуждали его къ извѣстнаго рода дѣятельности, полезной въ нѣкоторомъ смыслѣ. Человѣколюбивое и просвѣтительное отношеніе къ низшимъ, удрученнымъ общественнымъ классамъ одно уже даетъ ему право на уваженіе съ нашей стороны. Св. Писаніе на языкѣ русскомъ, т. е. понятномъ для большинства населенія имперіи и переводы его на нарѣчія заброшенныхъ инородцевъ могли бы много сдѣлать и для распространенія христіанства въ темныхъ массахъ. Дѣло, начатое библейскимъ обществомъ такъ широко, приостановилось и только черезъ многіе годы берется за него, но неумѣло и робко. Но биб-

лейское общество виновато однако и съ своей стороны тѣмъ, что оно не ограничилось дѣятельностію, такъ прекрасно указанною ему его англійскимъ образцомъ, а пошло нѣсколько дальше, туда, гдѣ оно должно получить осужденіе уже не отъ своихъ собственныхъ, явныхъ и тайныхъ враговъ, а отъ суда исторіи, безпристрастнаго и свободнаго.

Темныя стороны библейскаго общества нашего происходили не отъ него самого, не отъ личностей, въ немъ участвовавшихъ, а отъ характера и жизненныхъ условий той среды, посреди которой оно дѣйствовало. Мы уже говорили, что у насъ оно не было свободнымъ соединеніемъ людей, которые внутри себя находили бы побужденіе къ дѣятельности. Чтобъ возбудить ихъ къ ней — необходимо было прямое и непосредственное участіе власти. Едва только власть измѣнила свои отношенія къ обществу и эти люди перестали заботиться о дѣлѣ, которое вовсе было чуждо имъ; они отвернулись отъ него и стали относиться къ нему враждебнымъ образомъ. Во всемъ этомъ сказались наши русскіе порядки и характеръ общества, всѣмъ намъ хорошо извѣстный. Стоитъ только вспомнить метаморфозы реалистовъ въ классики и наоборотъ. Свободное служеніе дѣлу и увлеченіе имъ въ нашихъ библейскихъ комитетахъ были большою рѣдкостью. Снѣжили угодить начальству, которое желало содѣйствовать успѣхамъ библейскаго дѣла и только. У многихъ исполнителей воли высшаго начальства ревность часто доходила до границъ нелѣпости, какъ у извѣстнаго казанскаго попечителя Магницкаго, о дѣйствіяхъ котораго мы будемъ еще говорить.

Время съ своими элементами и увлеченія частныхъ лицъ, которыя по своему значенію должны были имѣть большое вліяніе на наше библейское общество, извратили его первоначальный религіозно-нравственный характеръ и очень скоро. Увлеченіе мистицизмомъ и піэтизмъ, водарившійся въ угоду личному настроенію Александра, были совершенно противоположны настоящимъ цѣлямъ общества. Сильное значеніе получило здѣсь именно это личное настроеніе императора. Его піэтизмъ, его чрезвычайная религіозная настроенность развились, какъ мы видѣли, вслѣдствіе глубокихъ пережитыхъ имъ впечатлѣній, отъ народныхъ бѣдствій и великихъ историческихъ событій. Весь прежній знакомый намъ либерализмъ его, его воспитаніе въ духѣ гуманныхъ идей XVIII вѣка и впечатлѣній отъ событій и людей, окружавшихъ его молодость, улетучивается въ неопредѣленный піэтизмъ и туманную мистику, которые весьма близко граничатъ съ реакціонными тенденціями и эти послѣднія дѣлаются теперь цѣлью Александра: ими думалъ онъ установить

на землѣ лучшей порядоѣ, болѣе сообразный съ волей божественноу; возстановитель падшихъ династій, унесенныхъ волнами историческихъ событій, онъ смотрѣлъ на себя какъ на избранника провидѣнія для общаго великаго возстановленія упавшихъ и подорванныхъ началъ. Это новое мистическое настроеніе всего нагляднѣе выражается въ актѣ Священнаго Союза, о реакціонномъ значеніи котораго въ политическомъ развитіи общества мы будемъ еще говорить. Александръ ищетъ религиозныхъ впечатлѣній со всѣхъ сторонъ и съ удивительною покорностью подчиняется всѣмъ впечатлѣніямъ, гдѣ онъ видитъ религиозный піэтизмъ или религиозную экзальтацію; онъ не разбираетъ даже побужденій, руководствующихъ людьми. Таковы его бесѣды въ Парижѣ съ извѣстномъ экзальтированной піэтисткою и пророчицею г-жею Крюденеръ, которой онъ вѣрилъ и вліанію которой подвергался. Таковы подарки его извѣстному мистическому писателю Юнгу Штиллингу, о сочиненіяхъ котораго мы уже говорили, или усердныя молитвы съ колѣнопреклоненіемъ вмѣстѣ съ квакеромъ и піэтистомъ Грелье. Если даже многому въ этихъ новыхъ увлеченіяхъ императора Александра, слышаго въ глазахъ нѣкоторыхъ хорошо его знавшихъ людей за челоуѣка съ двойнымъ характеромъ, и приписывать чисто политическое значеніе, напр., желаніе сдѣлать изъ піэтизма и мистицизма орудіе политической реакціи, все же они, т.-е. эти мистическія увлеченія Александра, немислимы безъ его личнаго настроенія. Тогда, подъ вліаніемъ новыхъ вкусовъ своихъ, онъ сталъ оказывать большое вниманіе библейскому обществу, которое естественно должно было подчиниться настроенію императора. Въ угоду ему и наперекоръ всѣмъ господствовавшимъ привычкамъ, стала распространяться и въ обществѣ русскомъ мода на мистицизмъ. Чтеніе религиозныхъ сочиненій, разсужденія о вопросахъ религиозно-нравственныхъ, молитвы съ квакерами и даже хлыстовскія *раднія* сдѣлались очень распространеннымъ дѣломъ. Религіи и мистицизма искали вездѣ, даже въ проповѣдяхъ католическихъ и протестантскихъ священниковъ, не брезгали и расколоуѣ. Многие изъ членовъ нашего библейскаго общества были давно подготовлены къ этому мистицизму прежнею масонскою школою Новикова. И самъ онъ и главные сотрудники его въ дѣлѣ масонства были еще живы и имѣли сильное вліаніе по личному характеру своему на убѣжденія многихъ. Ихъ образъ мыслей намъ извѣстенъ: онъ состоялъ въ осужденіи всего новаго, въ недовѣрїи къ новымъ стремленіямъ въ обществѣ, къ наукѣ, къ литературѣ, въ аскетическомъ взглядѣ на жизнь и въ увлеченіяхъ тѣмъ, что для увлеченныхъ казалось высшимъ проявленіемъ божественной премудрости, а для людей съ здравымъ

смыслом — ребяческимъ легковѣріемъ. Представителемъ такихъ, впрочемъ честныхъ и искреннихъ личностей и ихъ убѣжденныхъ въ литературѣ является уже извѣстный намъ Лабзинъ, который въ 1817 году возобновилъ свой журналъ „Сюнскій Вѣстникъ“, потому что его направленіе стало пользоваться теперь одобреніемъ власти и находить читателей и почитателей. Лабзинъ получилъ даже отъ императора награду орденомъ за свой мистицизмъ и переводы Ю. Штиллинга и Эккартсгаузена. Лабзинъ былъ недоволенъ церковною стороною нашего православія, онъ искалъ въ религіи внутренняго содержанія и совершенно естественно склонялся къ мистикѣ и къ вѣрѣ въ чудеса. Его журналъ былъ выраженіемъ тѣхъ стремленій нѣкоторыхъ членовъ библейскаго общества, которые грядущимъ съ цѣтизмомъ и мистицизмомъ. Въ числѣ усердныхъ почитателей Лабзина былъ и такой положительный умъ, какъ Филаретъ, который въ то время былъ склоненъ къ мистикѣ.

Къ великому несчастію русскаго общества, всѣ эти мистическія стремленія, при усиливающихъ значеніе ихъ обстоятельствахъ, при покровительствѣ самого императора, скоро получили перевѣсъ и значеніе правительственной системы, тѣснящей всякую мысль и всякое даже самое слабое проявленіе свободы. Настало время душевной реакціи и самаго злого, невѣжественнаго обскурантизма, который господствовалъ въ послѣдніе годы царствованія Александра. Его проявленія, его дѣйствія соединяются съ министерствомъ князя Голицына, который вмѣстѣ съ тѣмъ былъ и оберъ-прокуроромъ Св. Синода. Онъ былъ предсѣдателемъ библейскаго общества и вокругъ него сгруппировались люди, ему потакавшіе и доводившіе свое усердіе до крайнихъ предѣловъ, въ родѣ Магницкаго, который потомъ сдѣлался орудіемъ и усерднымъ исполнителемъ замысловъ тайныхъ враговъ своего бывшаго начальника и покровителя. Это придало библейскому обществу въ понятіяхъ и представленіяхъ современниковъ и въ воспоминаніяхъ послѣдующаго поколѣнія весьма непривлекательную славу разсадника самыхъ ретроградныхъ и обскурантныхъ идей. Паденіе общества, поэтому, было пріятствуемо большою радостію со стороны либеральныхъ людей, но съ паденіемъ его обскурантизмъ не палъ однако, — напротивъ, онъ проявился съ особенною силою, хотя и въ другихъ формахъ. Обскурантизмъ этотъ былъ порожденіемъ не библейскаго общества, а духа времени и личнаго настроенія императора. О немъ, въ связи съ дѣйствіями и отношеніями къ наукѣ и литературѣ министерства князя Голицына, мы будемъ говорить особо. Теперь упомянемъ еще о нѣкоторыхъ явленіяхъ, которыя занимали русское общество послѣ великихъ европейскихъ событій и удовлетво-

рали болѣе или менѣе возбужденному состоянію умовъ лучшихъ людей того времени.

Послѣ войны 1812 года и европейскихъ походовъ у насъ востановлены были *масонскія ложи*. На нихъ сказались теперь и новыя вліянія главнымъ образомъ нѣмецкихъ масонскихъ ложъ и преданія стараго московскаго масонства, такъ какъ представители его были еще живы. Нѣмецкое вліяніе стало однако преобладающимъ и подобно тому, какъ въ XVIII вѣкѣ въ обществѣ московскихъ масоновъ главнымъ двигателемъ былъ профессоръ Шварцъ, такъ въ началѣ XIX вѣка вліятельнымъ лицомъ въ масонствѣ собственно Петербурга былъ извѣстный профессоръ еврейскаго языка, а потомъ философіи въ С.-Петербургской духовной академіи Фесслеръ, на котораго пало очень много разнообразныхъ обвиненій, какъ за дѣйствія, такъ и за связи его. Фесслеръ, увлеченный масонствомъ еще въ концѣ XVIII вѣка въ Германіи, очень много пользы ждалъ отъ него для общества; онъ смотрѣлъ на него, какъ на орудіе нравственнаго воспитанія. Въ Петербургѣ, куда Фесслеръ явился профессоромъ, онъ старался распространять свои масонскія убѣжденія, систему масонства, которая носитъ его имя. Но успѣхъ его преподаванія и любовь къ нему учениковъ духовной академіи, что было тогда большою рѣдкостью, возбуждали зависть между профессорами, а за нею пошли и преслѣдованія. Религіозныя убѣжденія Фесслера были заподозрѣны и онъ принужденъ былъ оставить свою профессуру. Онъ уѣхалъ въ Саратовъ, гдѣ былъ предсѣдателемъ лютеранской консисторіи нѣмецкихъ колоній волжскаго края. Съ другой стороны Фесслеръ возбудилъ къ себѣ непріязнь въ масонскихъ ложахъ старыхъ представителей масонства своими нововведеніями. Но вліяніе его, вѣроятно, было значительно, если Фотій нашель нужнымъ проклинать его въ своихъ диатрибахъ на увлеченія тогдашняго петербургскаго общества. Рассказываютъ, что Фесслеръ посвятилъ въ масоны Сперанскаго въ 1810 году. Это было сдѣлано съ вѣдома Александра, желавшаго познакомиться съ масонскими тайнами и это было причиною вызова Фесслера въ Россію. Было время, когда Сперанскій, этотъ знаменитый практический государственный человѣкъ, платилъ дань современному мистицизму. Это видно изъ писемъ его къ Цейеру, гдѣ онъ выражается языкомъ, напоминающимъ Лопухина, Невзорова, Лабзина и др. Къ чести характера Сперанскаго надобно замѣтить, что онъ платилъ дань мистицизму въ то время, когда мистицизмъ не былъ еще государственной религіей у насъ, и онъ не могъ выиграть имъ ни особенныхъ почестей, ни особенныхъ наградъ. Въ мистическихъ тенденціяхъ Сперанскаго надобно видѣть вліяніе его воспитанія, его любознатель-

ность и духъ того времени. Замѣтимъ, что мистицизмъ его могъ соединяться съ широкимъ либерализмомъ.

Намъ нѣтъ необходимости входить въ разсмотрѣніе такъ называемыхъ „работъ“ масонскихъ ложъ и содержанія ихъ. Для насъ важно, что подобно Москвѣ, Петербургъ сдѣлался теперь центромъ масонскаго движенія; въ немъ быстро увеличивалось число ложъ. Это былъ признакъ возбужденнаго состоянія общества, которое искало удовлетворенія для своей дѣятельности, за неимѣніемъ болѣе практической почвы, даже и въ мистическихъ ложахъ. Масонство сдѣлалось общимъ увлеченіемъ, молоку. Въ ложахъ встрѣчаются всѣ общественные слои отъ высшаго аристократическаго класса до купцовъ и ремесленниковъ, всевозможныя профессіи и люди разнообразныхъ оттѣнковъ, мнѣній и убѣжденій политическихъ: и обскурантные члены библейскаго общества и крайніе либералы, которые потомъ составляли союзы благоденствія и другія тайныя общества.

Что же искали эти люди самыхъ разнообразныхъ мнѣній и убѣжденій въ масонскихъ ложахъ? Что они находили въ нихъ и имѣло ли какой-нибудь исторической смыслъ масонство? Безспорно, что русское общество, мало развитое и теперь, тогда еще менѣе занималось интересами духовными и политическими; большинство членовъ ходило въ масонскія ложи съ тѣми же цѣлями, какъ теперь ходятъ въ клубъ, за исключеніемъ игры въ карты, но все же масонство имѣло историческое значеніе по старому преданію; прежнее преслѣдованіе придало ему значеніе, котораго оно въ сущности не имѣло, и тайна невольно влекла къ нему. Чего-то искали въ ложахъ по старой привычкѣ и разумѣется не находили. Едва ли люди выносили изъ ложъ что-нибудь другое, кромѣ туманнаго и неопредѣленнаго мистицизма, что доказывается сильнымъ распространеніемъ въ это время мистической литературы и тѣмъ обстоятельствомъ, что во главѣ масонскихъ ложъ стояли все еще люди Новиковскихъ убѣжденій и взглядовъ, уже извѣстные намъ своими странными увлеченіями, въ которыхъ сливалось въ одно неопредѣленное и туманное цѣлое и алхимія, и магія, и каббала, и всякій подобный вздоръ. При малой умственной развитости общества, для многихъ и это недѣльное содержаніе могло казаться чѣмъ-то значительнымъ. Съ другой стороны принадлежность къ масонству развивала въ человѣкѣ нѣкотораго рода сознаніе, что у него есть какое-то убѣжденіе, подымало его нравственное достоинство, возвышало его въ собственныхъ глазахъ. Самое соединеніе въ ложѣ различныхъ возрастовъ и положеній общественныхъ, соединеніе во имя какой-то идеи, хотя и плохо сознаваемой, импонировало самымъ фактомъ своимъ. Вотъ почему и люди молодого поколѣнія, либеральныхъ убѣжденій, привыкли обсуждать уже

политическіе и общественные вопросы, тоже искали чего-то въ масонскихъ ложахъ. Они думали получить возможность поднимать эти вопросы и подвергать ихъ обсужденію въ такомъ значительномъ собраніи людей, какое представляли масонскія ложи. Такимъ образомъ въ нихъ проникъ политическій либерализмъ—слѣдствіе новыхъ вліяній европейскихъ. Даже военные либералы того времени, главные представители политическаго движенія 1825 года, образовали особую ложу; но масонство не могло ихъ удовлетворить и скоро наскучило, какъ своими формальностями, такъ и безсодержательностью. Оно естественно замѣнилось тайными обществами.

Рядомъ съ библейскими обществами и масонскими ложами должны быть поставлены школы взаимнаго обученія или *ланкастерскія*—тоже новое явленіе духа времени, заимствованное изъ Европы. Они находятся въ близкомъ отношеніи къ первымъ и члены библейскаго общества были ихъ покровителями у насъ сначала. Вопросы о воспитаніи народа стали на очередь, и Александръ въ 1816 году обратилъ на нихъ вниманіе и одобрилъ ланкастерскія школы за ихъ простоту и дешевизну устройства, что дѣлало ихъ особенно примѣнимыми въ нашемъ отечествѣ. Были посылаемы за границу молодые люди для изученія этихъ новыхъ способовъ обученія; въ Петербургѣ былъ образованъ особый комитетъ для введенія ихъ у насъ; образовалось, съ утвержденія правительства, цѣлое общество для учрежденія ланкастерскихъ школъ; открывалось много ихъ и для бѣдныхъ и въ полкахъ для солдатъ. Правительство заботилось о ихъ распространеніи и думало воспитать ими весь народъ въ религіозно-нравственномъ направленіи, но скоро измѣнило свой взглядъ на нихъ и стало видѣть въ нихъ, подъ вліяніемъ убѣжденій реакціи, источникъ волнений и мятежей. Такъ все скоро извращалось и гибло на нашей почвѣ.

Если эти благотворныя западныя вліянія, прививавшіяся къ нашему обществу вслѣдствіе сильнаго возбужденія его мысли историческими событіями, не удержались у насъ по разнымъ внутреннимъ причинамъ и не могли принести той пользы, которую можно было бы ожидать отъ нихъ, то съ другой стороны изъ Европы же шла къ намъ *политическая реакція*, которая нашла у насъ самую благодарную почву и вѣрныхъ исполнителей, не задумывавшихся ни надъ чѣмъ.

ЛЕКЦІЯ XXIII.

Реакціонное движеніе въ Западной Европѣ.

Мы сказали, что [изъ Западной Европы, съ которою мы гораздо тѣснѣе сблизились послѣ нашихъ европейскихъ походовъ, вмѣстѣ съ развивающимися обществомъ вліяніями шла къ намъ и *реакція*, произведеніе сложной и продолжительной исторической жизни европейскихъ обществъ, но у насъ, при незначительности нашего развитія и при условіяхъ молодой еще общественности не имѣвшая достаточныхъ правъ на существованіе. Однако-жь эта реакція надѣлала намъ много вреда и погубила много ростковъ жизни, которые не принесли никакого плода. Волею неволею, вслѣдствіе нашихъ политическихъ связей съ Европою, мы увлеклись въ эту душную и губительную атмосферу реакціи, которая составляетъ условіе всей второй половины царствованія Александра и которая, само собою разумѣется, тѣсно связана съ его личнымъ настроеніемъ, измѣнившимся подъ вліяніемъ событій. Невозможно пройти безъ вниманія и не говорить въ исторіи русской мысли и умственной дѣятельности о явленіяхъ этой политической реакціи: въ XIX вѣкѣ мысль и слово такъ непосредственно соединены съ условіями политическаго устройства страны, что мы и не поймемъ ихъ безъ этого необходимаго историческаго фона. И намъ придется привести на память тѣ явленія европейской реакціи, которыя оказали свое вліяніе на нашу жизнь и на нашу умственную дѣятельность.

Время европейской реакціи, такъ сильно дѣйствовавшей на жизнь потому что власть находилась въ рукахъ могущественныхъ правительствъ, захватываетъ продолжительный срокъ, отъ окончанія революціонныхъ войнъ и паденія Наполеона до тридцатыхъ годовъ. Но слѣдствія и вліянія реакціи продолжались и долѣе этого срока. Это была полная приостановка жизни и движенія, начавшагося французской революціей, и только случайно, порывами, вспышками неудачныхъ революцій прорывалась задавленная политическая жизнь народовъ. Явленіе реакціи въ европейскомъ обществѣ того времени, взволнованномъ сильными потрясеніями, весьма понятно. Тамъ было такъ много старыхъ преданій и учрежденій, нравы и привычки имѣли такую продолжительную исторію, было такъ много сложныхъ привиллегій и притязаній, что ускорное отставаніе старины казалось вполне естественнымъ. Источники европейской реакціи заключались въ самомъ обществѣ, въ которомъ было мало элементовъ

движенія впередъ, въ которомъ аристократія естественно стояла за свои привилегіи, а прочіе классы имѣли очень мало политическаго и гражданскаго развитія и легко возвратились къ старому покою, изъ котораго пробуждены были на время. Слѣдовательно, реакція въ Европѣ вызывалась не одною только властью, ей помогало общество. Правительства, для своихъ выгодъ, воспользовались только реакціонными элементами въ обществѣ и повели реакцію далѣе. Тогда она превратилась въ печальную полицейскую мѣру, въ преслѣдованіе всякой живой и свободной мысли, всякаго движенія впередъ и доходила до величайшихъ нелѣпостей. Намъ нѣтъ надобности входить въ подробное развитіе того дѣйствія, которое имѣла на общество правительственная реакція въ Европѣ. Всякому, кто сколько-нибудь знакомъ съ духовной исторіей этого времени, съ литературой его, съ записками современниковъ, понятно это дѣйствіе. Стоитъ только вспомнить, какое сильное, подавляющее средство находится въ цензурѣ, а она процвѣтала во всемъ своемъ безобразномъ величій именно въ это печальное время. Реакція дѣйствовала на общество отупляющимъ образомъ. Въ немъ, при ея господствѣ, не могло быть никакихъ общественныхъ, т.-е. политическихъ интересовъ, соединяющихъ людей въ одно, наполняющихъ разумнымъ образомъ жизнь и дающихъ ей смыслъ и содержаніе. Въмѣсто интересовъ общественныхъ, людей занимали интересы эстетическіе или личные, иногда чрезвычайно мелкіе. Правда, въ это время европейской жизни мы замѣчаемъ значительное развитіе литературы, броженіе неустановившейся мысли, но въ это броженіе и уходила вся жизнь; оно не могло замѣнить собою интересовъ политическихъ, т.-е. реальныхъ, и недостатокъ жизни сказывается въ обществѣ тою неопредѣленною, романтическою тоскою, которая наполняетъ литературу.

Для европейской реакціи существовало такимъ образомъ много сложныхъ историческихъ общественныхъ причинъ, которыхъ вовсе не было у насъ для продолженія и примѣненія ея системы къ русской жизни, а между тѣмъ она сдѣлалась образчикомъ для русской реакціи и нашла печальное примѣненіе въ нашемъ обществѣ.

Ничего не было общаго между Россіей того времени и Европою, что оправдывало бы у насъ продолженіе европейской реакціи. Государственныя формы существовали и стояли у насъ также крѣпко, какъ и прежде. Революціонный переворотъ прошумѣлъ вдали, насколько не коснувшись нашей жизни; ничто не измѣнилось у насъ и никакихъ революціонныхъ элементовъ не было въ нашемъ послушномъ и вѣрнопопданномъ обществѣ.

Напротивъ, условія исторической жизни нашего отечества требовали скорѣе дѣятельнаго движенія впередъ, реформъ и реформъ,

которыя вдохнули бы жизнь въ неподвижный организмъ государства, разъядаемый старыми пороками, наслѣдіемъ чуть ли не московской Руси. Потому реакція или возвращеніе къ старому и усиленная поддержка того, что надобно бы было, напротивъ того, разрушить, является въ русской жизни крайнимъ безсмысліемъ и полнымъ невѣдѣніемъ настоящихъ потребностей нашей страны, безсмысліемъ, потому что власти пришлось преслѣдовать и уничтожать то, что недавно она вызывала и поощряла. Поэтому, при слабости нашего общественнаго и умственнаго развитія, русская реакція оказала гораздо болѣе пагубное вліяніе на насъ и на нашу умственную жизнь, чѣмъ европейская реакція у себя, на Западѣ. Къ счастью человѣчества, при условіяхъ существовавшаго богатаго духовнаго развитія Европы, реакція тамъ не была въ состояніи остановить духъ времени и развитіе общественнаго мнѣнія. Въ Германіи, напр., существовала такая богатая умственная жизнь, такая широкая и полная содержаніемъ литература, созданная великими талантами XVIII вѣка, что дѣло реакціи оказалось скоро безсильнымъ въ этой странѣ, несмотря на то, что его поддерживали науки. Богатую умственную и литературную жизнь народа заглушить невозможно. Русской реакціи представлялся полный просторъ и никакихъ преградъ. Чтобъ имѣть право на существованіе, она должна была преслѣдовать мелочи, иногда изобрѣтать и придумывать то, съ чѣмъ бы вести ей борьбу. Нѣтъ явленія поэтому печальнѣе, бесплоднѣе и нелѣпнѣе русской реакціи во вторую половину царствованія Александра. Она превратилась въ печальный обскурантизмъ и преслѣдованіе мысли, слова и науки. Едва начинающееся, слабое развитіе общественное было приостановлено надолго; вѣжные ростки заморожены.

Историческихъ, общественныхъ причинъ для русской реакціи слѣдовательно, не было, но причины ея, при господствѣ самодержавія, заключались въ личномъ, измѣненномъ настроеніи императора Александра и въ тѣхъ эгоистическихъ, жалкихъ цѣляхъ окружавшихъ его въ это время людей, которые безстыдно, ко вреду страны, умѣли воспользоваться для себя слабостью воли и характера государя. Объ измѣненномъ настроеніи его, объ овладѣвшемъ имъ піэтизмѣ и религіозной мечтательности, какъ слѣдствіи великихъ душевныхъ потрясеній и испытаній, пережитыхъ имъ вмѣстѣ съ народомъ въ войну отечественную, — мы уже говорили. Несмотря на всю слабость своего характера и подчиненность чужимъ вліяніямъ, Александръ не вдругъ однако изъ области мистическихъ мечтаній перешелъ къ политической реакціи; не вдругъ разстался онъ съ пылкими мечтами своей молодости о благѣ человѣчества. Даже Священный Союзъ, которымъ собственно начинается дѣло европейской

реакціи, союз напуганныхъ правительствъ противъ жаждущихъ свободы народовъ, имѣлъ на первыхъ порахъ для Александра либеральную программу и на Вѣнскомъ конгрессѣ онъ одинъ защищалъ конституціонное устройство Польши и долго послѣ того поддерживалъ эту идею къ великому прискорбію и раздраженію русскихъ патриотовъ, изъ которыхъ нѣкоторые эгоистически негодовали и видѣли въ этомъ предпочтеніи чужого племени презрѣніе къ своему собственному народу. Повидимому, личныя мнѣнія Александра колебались довольно продолжительное время и онъ не вдругъ пошелъ по прямой дорогѣ реакціи. Съ 1818 г. реакціонное направленіе высказывается въ немъ болѣе опредѣленно, а съ 1820 года, подъ вліяніемъ событій и европейскихъ вліяній, наступаетъ пора самой мрачной реакціи и преслѣдованій ¹⁾. И это происходило въ ту самую пору, когда лучшіе и болѣе развитые люди русскаго общества мечтали о реформахъ въ нашей жизни, считая ихъ необходимыми въ окружающей ихъ печальной дѣйствительности. Это была грустная аномалія, тяжело отозвавшаяся на нашемъ развитіи. Причина такого настроенія императора Александра заключалась въ слабости его воли, въ незнаніи имъ Россіи, на которую онъ смотрѣлъ съ европейской точки зрѣнія; въ невинныхъ и ничтожныхъ проявленіяхъ нашего либерализма онъ хотѣлъ видѣть признаки революціи. Это было пагубное для Россіи преувеличеніе. Со времени европейскихъ войнъ и той великой исторической роли, которую Россія играла въ судьбахъ Европы, императоръ ея, занятый интересами европейской дипломатіи, какъ бы отвернулся отъ своей страны и отвоился къ ней только съ враждебными, реакціонными мѣрами. Онъ и жилъ мало въ Россіи, большею частью странствуя по Европѣ и принимая самое дѣятельное участіе въ тѣхъ конгрессахъ европейскихъ государей, на которыхъ ковались цѣпи рабства для народовъ и придумывались разныя мѣры, чтобъ подавить всякое проявленіе свободы. Боязнь революціи постоянно овладѣвала имъ. Въ его воображеніи носился призракъ какого-то всеобщаго заговора, захватившаго и Европу и Россію. Печальныя обстоятельства, при которыхъ онъ вступилъ на престолъ, навсегда остались въ душѣ его и увеличивали присущую ему подозрительность. Ко всему этому надобно присоединить вліяніе на умъ Александра извѣстнаго австрійскаго министра Меттерниха, который очень долгое время, во весь реакціонный періодъ и до 1848 года правилъ Австріей и пугалъ государей Европы призраками революціи, безпрестанно воюя съ духомъ времени полицейскими мѣрами и преслѣдованіями. Подчиняясь

¹⁾ Вѣстн. Евр. 1869 г., XII, стр. 742.

его вліанію, Александръ перенесъ и въ свою страну мѣры преслѣдованія. Онъ не зналъ русской литературы, ничего не читалъ по-русски и ему были совершенно чужды пробуждающіеся въ ней умственные интересы. Два предмета исключительно занимали его вниманіе: интриги европейской дипломатіи и войско. Любимыя занятія его были смотры въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи, ученія и парады. Съ глубокимъ презрѣніемъ къ народу онъ предоставилъ править Россіей такой мрачной личности, какою былъ Аракчеевъ. Душевнымъ состояніемъ Александра, его тревогами, сомнѣніями, подозрительностію и недовѣріемъ къ окружающимъ можно и должно объяснять то вліаніе на него, которое имѣли такія презрѣнныя личности, какъ европейскій Меттернихъ и русскій Аракчеевъ, дѣйствовавшія изъ эгоистическихъ расчетовъ. Не безъ борьбы и колебаній рѣшался онъ идти наперекоръ прежнимъ своимъ убѣжденіямъ, какъ это было въ дѣлѣ возстанія Греціи и этими колебаніями умѣлъ пользоваться Меттернихъ, который получалъ весьма значительный денежный пенсіонъ изъ Петербурга на борьбу съ разными революціонерами и карбонарами того времени. Онъ развивалъ и усиливалъ подозрительность характера Александра, такъ что къ концу царствованія эта когда-то свѣтлая личность сдѣлалась неузнаваема. Недовольство имъ и его мѣрами распространялось въ обществѣ людей образованныхъ, которые желали реформъ и даже въ войскѣ, которому не нравились крутыя мѣры Аракчеева. Въ кружкѣ такъ называемыхъ декабристовъ его личность и дѣйствія возбуждали чуть не ненависть. Въ концѣ царствованія сложилось уже о немъ самое невыгодное представленіе, какъ о деспотѣ, чрезвычайно подозрительномъ, не любящемъ ни ума, ни талантовъ, хитромъ и лишенномъ всякой искренности. Такъ измѣнилось время и обстоятельства; такъ было обмануто столько свѣтлыхъ надеждъ на лучшее устройство нашей страны.

Припомнимъ здѣсь ходъ событій и тѣ историческія черты которыя совпали съ періодомъ нашей реакціи и изъ Европы оказывали вліаніе на нашу жизнь. Европейская реакція, какъ извѣстно, началась актомъ *Священнаго Союза*, подписаннымъ императорами русскимъ и австрійскимъ и королемъ прусскимъ, т.-е. представителями и вождями монархическаго начала. Это было въ 1815 году, но мысль о союзѣ родилась въ нихъ нѣсколько рачѣе. Источникомъ акта Священнаго Союза было то мистическое чувство, которое неволью вкрадывалось въ душу современниковъ при мысли о громадности и величій только-что пережитыхъ событій. Вся слава побѣды надъ Наполеономъ, а слѣдовательно и надъ революціей приписывалась торжественно единому Богу. Потому для экзальтирован-

ныхъ современниковъ ¹⁾ союзъ этотъ казался актомъ благодати христіанской, дѣйствующей во времени. Въ немъ говорилось о шаткости и непрочности прежнихъ основаній для государствъ, о новомъ правѣ политическомъ, твердость котораго не одолѣютъ и врата ада, потому что Самъ Христосъ въ актѣ этого союза ставится главою христіанскихъ обществъ. Едва ли кому, даже и самому Александру, приходило тогда въ голову, что этотъ актъ христіанскаго смиренія, подписанный съ искреннимъ чувствомъ тремя могущественными монархами, сдѣлается скоро краеугольнымъ камнемъ и получитъ въ сознаніи народовъ самый ненавистный характеръ, такъ какъ будетъ служить орудіемъ для подавленія ихъ свободнаго развитія. Скоро печальный смыслъ этого Союза былъ разгаданъ, не смотря на либеральныя фразы, которыя заключались въ его актѣ. Священный Союзъ явился союзомъ монарховъ противъ народовъ, союзомъ монарховъ съ отжившими, но еще упорно отстаивающими свое существованіе элементами общества противъ новыхъ и живыхъ началъ его. Универсальный характеръ Св. Союза придавалъ ему еще больше значенія и распространялъ его дѣйствіе на всю Европу. Народы ея являлись какъ бы одною семьей, которая должна быть управляема однимъ отеческимъ патріархальнымъ способомъ. Онъ долженъ былъ залѣчить раны, нанесенныя французской революціей и успокоить болѣзненное волненіе умовъ. Священный Союзъ сдѣлался скоро какой-то инквизиціей, преслѣдующей свободныя стремленія народовъ. При малѣйшемъ проблескѣ гдѣ-либо свободнаго движенія били общую тревогу; монархи собирались на конгрессы и придумывали на нихъ новыя мѣры преслѣдованія или рѣшались послать военную эзекуцію къ непокорнымъ народамъ. Много рѣчей на этихъ конгрессахъ говорилось тогда о необходимости усилить полицію и цензуру. Министры видѣли вездѣ государственныя опасности, признаки революціи и пугали ими своихъ робкихъ монарховъ. Тайная связь революціонеровъ и близкая погибель государствъ и правительствъ сдѣлались общей мыслию. Особенно ненавистнымъ для монарховъ и реакціонныхъ министровъ стало слово конституція. Въ то время, когда нужно было возбудить германскіе народы противъ общаго врага — Наполеона, прусскій король самъ завелъ рѣчь о свободныхъ государственныхъ учрежденіяхъ, другіе нѣмецкіе государи также обѣщали своимъ подданнымъ конституцію въ награду за тяжелыя жертвы, понесенныя ими во время освободительныхъ войнъ. Народы напрасно ждали этой благодати; обѣщанія, вызванныя силою обстоятельствъ и грозящею опасностію, слѣдовательно обѣщанія вынужденныя, не исполнялись.

¹⁾ Сперанскій. Русск. Арх. 1867 г., стр. 448.

Политика Священнаго Союза смотрѣла другими глазами. Упомянутое о конституціи въ печати считалось чуть не бунтомъ; государямъ не нравилось даже это самое слово, какъ воспоминаніе о ихъ прежней слабости. Въ такомъ смыслѣ говорилъ теперь прусскій король; всякая конституція была для него зломъ ¹⁾.

Вел. Кн. Екатерина Павловна, покровительница Карамзина, въ письмѣ своемъ къ историографу, совѣтуя ему не читать германскихъ конституцій, называетъ ихъ совершеннымъ вздоромъ и съ презрѣніемъ говоритъ о національныхъ репрезентаціяхъ ²⁾. Съ каждымъ годомъ горизонтъ, покрывавшій политическую и умственную жизнь Европы дѣлался все мрачнѣе и мрачнѣе; началась глухая, продолжительная борьба реакціи съ свободными мнѣніями; свобода, пробивавшаяся только революціонными всплесками, быстро подавлялась и гибла. Разныя обстоятельства усиливали борьбу и реакціонныя мѣры. Изъ нихъ мы должны упомянуть о тѣхъ въ особенности, которыя имѣли отношеніе къ умственной жизни Европы и пагубнымъ образомъ отразились на нашемъ отечествѣ, такъ какъ на нихъ указывали и на нихъ ссылались наши реакціонеры, преслѣдуя науку и мысль и слово.

Молодое поколѣніе Германіи, особенно тѣ люди, которые принимали непосредственное участіе въ войнѣ за освобожденіе и думали, увлеченные энтузіазмомъ, что настала пора освобожденія не только отъ иноземнаго ига, но и отъ отеческаго гнета домашнихъ тирановъ, должны были сильно разочароваться, когда водворилась система реакціи и преслѣдованія. Недовольство молодого поколѣнія, обманутаго въ своихъ надеждахъ, было общее. Оно должно было проявиться такъ или иначе. Организациія тайныхъ обществъ становилась естественною. Главную роль въ нихъ играли, конечно, многочисленныя студенты нѣмецкихъ университетовъ. Въ 1817 году въ древнемъ замкѣ Вартбургѣ, близъ Эйзенаха, съ которымъ соединяется столько поэтическихъ воспоминаній изъ среднихъ вѣковъ и гдѣ жилъ потомъ Лютеръ, нѣмецкіе студенты устроили праздникъ въ годовщину реформаціи и въ честь освобожденія Германіи. Разумѣется онъ носилъ либеральный характеръ и былъ полонъ заявленій, свойственныхъ молодости. На немъ было положено начало буршеншафту и между пѣснями и возгласами было сожжено нѣсколько сочиненій, проповѣдывавшихъ обскурантизмъ и реакцію и въ томъ числѣ „Исторія Германіи“ Коцебу, весьма плодовитаго писателя романовъ и комедій, а въ то время представителя реакціонной журна-

¹⁾ Вѣстн. Евр. 1869 г., XI, стр. 266.

²⁾ Неззд. соч. и переписка Н. М. Карамзина. Спб. 1862, стр. 123.

листки, которая нападала на либеральныя стремленія нѣмецкихъ студентовъ и просто писала доносы. Имя Коцебу было ненавистно всему либеральному молодому поколѣнiю Германiи; на него смотрѣли, какъ на лицо, пишущее за деньги Россiи, которая и въ то время не пользовалась славой идти впереди общественныхъ стремленiй. Экзальтированный и фанатическiй Iенскiй студентъ Зандъ, котораго имя получило тогда громкую извѣстность, рѣшился убить Коцебу, какъ врага свободы и привелъ свое намѣренiе въ исполненiе въ 1819 году въ Маннгеймѣ, гдѣ жилъ Коцебу. Вскорѣ послѣ убiйства Коцебу много надѣлало въ Германiи шуму подобное же покушенiе аптекаря Ленинга умертвить президента фонъ-Ибелля изъ такихъ же мотивовъ. Эти безразсудныя поступки привели въ озлобленiе реакцiю.

Первымъ слѣдствiемъ ихъ были конференцiи министровъ, представителей разныхъ державъ въ Карлсбадѣ, которые въ 1819 году издали свои *рѣшенiя*, цѣлый рядъ репрессивныхъ мѣръ, направленныхъ главнымъ образомъ противъ науки, литературы, университетовъ и учащейся молодежи. Когда они были утверждены Германскимъ сеймомъ и стали приводиться въ исполненiе, — все, что было лучшаго и образованнаго въ обществѣ, было оскорблено ими. Душею этихъ конференцiй былъ Меттернихъ, тогда еще не имѣвшiй большаго влiянiя на образъ мыслей императора Александра. Его министромъ иностранныхъ дѣлъ былъ тогда графъ Каподистрiя, мечтавшiй какъ греческiй патриотъ объ освобожденiи своей родины и потому стоявшiй на сторонѣ либерализма. Онъ былъ противъ карлсбадскихъ рѣшенiй и смотрѣлъ на нихъ, какъ на безумную мѣру, принятую необдуманно подѣ влiянiемъ страха. Александръ повидимому раздѣлялъ его убѣжденiя и не одобрялъ карлсбадскихъ рѣшенiй, но ничего не сдѣлалъ противъ приведенiя ихъ въ исполненiе. Другого, совершенно противоположнаго мнѣнiя держался другой выходецъ съ юга Европы въ Россiю, уроженецъ Молдави — А. С. Стурдза, занимавшiй тоже видное мѣсто по министерству иностранныхъ дѣлъ, и членъ главнаго Правленiя Училищъ при князѣ Голицынѣ. Онъ имѣлъ силу при дворѣ по тѣсной дружбѣ сестры своей фрейлины съ императрицею Елисаветою Алексѣевною и по уваженiю, которое питалъ къ ней Александръ. Стурдза былъ близокъ къ Карамзину и Жуковскому; онъ писалъ и по-русски разныя расужденiя объ общихъ предметахъ, помѣщаемыя въ журналѣ „Соревнователь Просвѣщенiя“. Во всю свою долгую жизнь (онъ умеръ въ 1854 году), Стурдза отличался крайнимъ пiэтизмомъ и писалъ по-французски о православiи ¹⁾.

¹⁾ „Краткое свѣдѣнiе объ А. С. Стурдзѣ“. *Чтенiя въ Импер. О-вѣ Исторiи и древностей россiйскихъ* 1864 г., II, 193—206.

Стурдза, несмотря на свое уваженіе къ графу Каподистрия, что доказывается и біографіей знаменитаго министра, имъ написанною ¹⁾, не раздѣляя однако его либеральныхъ убѣжденій и смотрѣлъ на событія другими глазами. Въ исторіи европейской реакціи Стурдза занимаетъ весьма видное мѣсто. Еще до убійства Коцебу и карлсбадскихъ рѣшеній, онъ издалъ въ Германіи свой памфлетъ съ крайнимъ обскурантнымъ направленіемъ, возбудившій полное негодованіе всѣхъ здравомыслящихъ людей: *Mémoire sur l'état actuel de l'Allemagne*. Записки этой приписывали особенное значеніе по близости ея автора къ императору Александру: извѣстно, что даже рукою его былъ переписанъ знаменитый актъ Священнаго Союза, и памфлетъ Стурдзы является какъ бы дальнѣйшимъ развитіемъ и примѣненіемъ въ реакціонномъ смыслѣ его идей. Въ немъ современное положеніе Германіи рисуется самыми мрачными красками. Онъ смотритъ на нее, какъ на страну, обреченную гибели, именно потому, что вездѣ въ ней видитъ революціонное броженіе. Но особенно рѣзки и дики были нападенія Стурдзы на нѣмецкую литературу, на германскіе университеты, которые такъ недавно прославились своимъ патриотизмомъ, и на духъ студентовъ. На университеты смотрѣлъ онъ какъ на ненужныя развалины среднихъ вѣковъ и осмыпалъ ихъ свободу и привилегіи самыми непріязненными обвиненіями, обвиняя даже науку въ безнравственности, безбожій и революціонномъ направленіи. Студенты являлись скопищемъ крамольниковъ и заговорщиковъ, и Стурдза выставлялъ предъ нѣмецкими правительствами необходимость радикальной реформы нѣмецкихъ университетовъ, которая должна совершенно измѣнить ихъ. Реформа эта заключалась въ уничтоженіи всѣхъ привилегій университетовъ, образовавшихся ихъ долгою историческою жизнію, совершенное изъятіе студентовъ изъ подъ юрисдикціи университета и подчиненіе ихъ общей городской полиціи, программы предметовъ, преподаваемыхъ въ университетѣ и ограниченіе въ этомъ случаѣ свободнаго выбора со стороны студентовъ, отнятіе права у корпораціи профессоровъ выбирать своихъ сочленовъ и пр. Понятно, что такое нападеніе со стороны чужеземца, въ которомъ видѣли агента сильнаго русскаго правительства, на то, что для всякаго нѣмецкаго патриота было всего дороже—на его университеты и корпорацію профессоровъ и студентовъ—должно было возбудить сильное негодованіе почти всего нѣмецкаго общества, за исключеніемъ обскурантныхъ министровъ. Александръ, повидимому, въ то время смотрѣлъ не совсѣмъ благосклонно на карлсбадскія конференціи, это доказываетъ его извѣстная рѣчь въ Варшавѣ, въ

¹⁾ Ibidem, стр. 1—192.

которой, говоря о конституціи, онъ обѣщаль ея блага распростра- нить и на Россію, что приводило русскую либеральную партію тогда въ восторгъ. Но скоро и онъ пошелъ уже прямо по дорогѣ реакціи; вліяніе Меттерниха усилилось, чему много способствовали раз- нныя обстоятельства и попытки революціонныхъ движеній въ Европѣ, въ которыхъ видѣли общій заговоръ демагоговъ противъ государей, соединяя въ одно цѣлое и одинокія преступленія политическихъ фанатиковъ и справедливыя требованія цѣлыхъ народовъ. Въ началѣ 1820 года въ Испаніи вспыхнула революція, въ главѣ которой стоялъ Ріегго; черезъ нѣсколько недѣль фанатикъ Лувель умертвилъ наслѣд- ника французскаго престола, герцога Беррійскаго. Общій крикъ злости послышался въ лагерѣ реакціонеровъ, которыхъ зловѣщія предска- занія, казалось, совершенно теперь оправдывались. Стали раздаваться голоса о необходимости подавить революцію, грозящую монархамъ со всѣхъ сторонъ, и на конгрессахъ въ Ахенѣ, Лайбахѣ, въ Троппау придумывались различныя мѣры противъ нея. Реакціонная политика торжествовала. Самое сильное впечатлѣніе въ этомъ смыслѣ на душу Александра имѣлъ такъ называемый бунтъ его любимаго гвардей- скаго Семеновскаго полка, вызванный жестокостію его командира въ 1820 году. Въ этомъ событіи императоръ, какъ это ясно изъ его писемъ къ Аракчееву, видѣлъ начало русской революціи и причину приписывалъ тайнымъ обществамъ. Люди воспользовались настроеніемъ Александра; доносы посыпались и передъ нами является въ нашемъ отечествѣ жалкая борьба безсмысленной власти съ ничтожною нау- кою и мыслию народа.

ЛЕКЦІЯ XXIV.

Отраженіе европейской реакціи въ Россіи.

Мы изложили общій ходъ европейской реакціи, которая захва- тила собою и нашу, ни въ чемъ неповинную страну и представила въ послѣдніе годы царствованія императора Александра печальное зрѣлище безмолвнаго, неразвитаго общества, преслѣдуемаго за мни- мый, несуществующій либерализмъ. Нами было упомянуто, какая су- щественная разница была тогда между умственной и общественною жизнію Европы и нашею, и какъ особенно вредно должна была сказаться у насъ реакція, губившая слабыя начала жизни. Дѣй- ствительно, у насъ не могло быть сознательной политической реакціи, какъ въ Европѣ; у насъ была просто грубая нена- висть ко всякой мысли, и при нашемъ характерѣ власти, при не- достаткѣ публичности, при невозможности обсуждать въ печати

возбуждаемые вопросы, понятія до того перепутались, что самое преслѣдованіе потеряло сознательный характеръ и источникомъ вражды являлась личная интрига. Это время лучше всего можетъ быть названо эпохою обскурантизма, темнаго и бессмысленнаго преслѣдованія всего живого, подъ вліаніемъ фантастическихъ страховъ революціи, тайныхъ обществъ и разнообразныхъ доносовъ, бывшихъ тогда въ большомъ ходу. Какъ спутались тогда вообще понятія, видно изъ того, что въ интригахъ того времени глава и начальникъ обскурантизма — князь А. Н. Голицынъ является вождемъ какой-то революціонной партіи въ Россіи, а на представителя самаго невѣжественнаго фанатизма — Шишкова возлагаются надежды молодыхъ либераловъ. Эта путаница понятій происходила отъ того, что мнѣнія и сужденія зависѣли не отъ внутреннихъ убѣжденій, а отъ направленія власти, отъ личныхъ интригъ и желаній подслужиться. Таково положеніе всякой страны, не имѣющей твердаго общественнаго мнѣнія.

Русскій обскурантизмъ въ тѣ годы, о которыхъ намъ приходится говорить, зависѣлъ и происходилъ и отъ самаго характера времени, въ которомъ господствовали реакціонныя стремленія, и отъ личнаго настроенія императора, испытывавшаго давленіе извнѣ, изъ Европы, и отъ того значенія, которое тогда получила въ нашемъ обществѣ мистика, пріютившаяся въ библейскомъ обществѣ, но въ особенности отъ слабости нашего образованія и умственнаго развитія вообще. Преслѣдующая мысль не находила себѣ вовсе отпора ни въ литературѣ, ни въ общественномъ мнѣніи. Литература, вполне завися отъ произвола цензоровъ, была ничтожна и не могла касаться вовсе общественныхъ вопросовъ. Самые преслѣдователи не отличались умственнымъ развитіемъ и образованіемъ и, какъ мистики, ненавидѣли вообще свѣтскую науку. Для нихъ, пропитанныхъ піетизмомъ, конечно, она представлялась дѣломъ дьявола.

Русскій обскурантизмъ свилъ первоначально гнѣздо свое въ библейскомъ обществѣ, о началѣ котораго, распространеніи и значеніи для нашего развитія мы уже говорили. Такое направленіе общества или по крайней мѣрѣ тенденціи его руководителей были причиною, что и само оно, призванное служить благой цѣли — распространенію нравственныхъ истинъ христіанства, потеряло скоро кредитъ въ глазахъ лучшихъ людей. Съ именемъ библейскаго общества стала распространяться идея невѣжественнаго фанатизма и преслѣдованія всего живого въ мысли и жизни. Мистика и піетизмъ главныхъ руководителей общества обратились въ обскурантизмъ. Эти два направленія человѣческой мысли или человѣческаго чувства близко граничатъ съ невѣжествомъ. Мечты мистиковъ о новой фантастической церкви,

царство которой они призывали на землю, ихъ фантастическія бредни находили, конечно, больше всего препятствій въ наукѣ, образованіи и свободѣ мысли. А въ ихъ рукахъ была власть и цензура и они воспользовались этими сильными орудіями для борьбы со своими врагами. Съ своей мистической точки зрѣнія, мечтая о перерожденіи міра посредствомъ новой религіи, о возстановленіи первобытной христіанской церкви, эти люди воевали противъ того, что они называли лжеименнымъ разумомъ, и противъ всего, что было построено на его началахъ; такимъ образомъ, они являлись въ нѣкоторомъ смыслѣ врагами общественнаго порядка и со стороны консерваторовъ также должны были получить отпоръ. Такъ спутаны были тогда понятія.

Мы ограничимся бѣглымъ обзоромъ событій въ умственной жизни этого времени и общою характеристикой лицъ, руководившихъ событіями. Самую выдающуюся личностію, вокругъ которой группируются и лица, и событія и интриги, былъ князь А. Н. Голицынъ, близкій другъ императора Александра. Личность этого человѣка, который самъ, повидимому, мало дѣйствовалъ, а заставлялъ дѣйствовать другихъ или былъ орудіемъ въ ихъ рукахъ, до сихъ поръ еще не совсемъ ясна для исследователя тогдашней эпохи, не смотря на значительное количество опубликованныхъ документовъ и множество отзывовъ о немъ. Князь Голицынъ какъ будто стоитъ за сценою; другіе дѣйствуютъ впереди, но всякій понимаетъ, что онъ все-таки главное лицо. Князь Голицынъ, одинъ изъ бѣднѣйшихъ представителей этого размножившагося рода, былъ взятъ Екатериною ко двору еще мальчикомъ и воспитанъ въ нажескомъ корпусѣ, гдѣ, конечно, онъ не получилъ никакого другого воспитанія, кромѣ свѣтскаго. Мальчикомъ онъ уже показывалъ большія придворныя способности; казалось, онъ былъ созданъ для придворной жизни. Екатерина любила его за веселость, ловкость и въ особенности за искусство передразнивать людей, подражать чужому голосу, походкѣ, манерамъ, искусство, которое сдѣлало ему карьеру и котораго онъ не забывалъ и впослѣдствіи. Такъ, будучи уже Синодальнымъ оберъ-прокуроромъ, онъ любилъ въ знакомыхъ аристократическихъ домахъ Петербурга представлять архіереевъ и митрополитовъ въ Синодѣ ¹⁾. При дворѣ Екатерины завязалась у Голицына самая нѣжная дружба съ Александромъ, никогда не остывавшая и прекратившаяся только со смертью Александра. Но ихъ соединяло не то, что образовало дружбу между Александромъ и лицами извѣстнаго триумвирата: не мечты о реформахъ и успѣхѣхъ страны, а другія причины, болѣе мелкія. Александръ любилъ Голи-

¹⁾ Русск. Стар. 1873 г. I, стр. 40.

пына за веселость, за забавныя, шутовскія выходки, и только. Тѣмъ не менѣе, дружба ихъ была крѣпка. Въ царствованіе Павла Голицынъ былъ высланъ въ Москву по какому-то капризу, но при вступленіи на престолъ Александра онъ былъ первый призванъ ко двору и хотя не принималъ никакого участія въ задумываемыхъ и приводимыхъ тогда въ исполненіе государственныхъ преобразованіяхъ, но тѣмъ не менѣе былъ ближе всѣхъ къ государю, забавляя и развлекаая его. Но Голицынъ, повидимому, не лишень былъ честолюбія, любилъ служебную дѣятельность и быстро подвигался вверхъ по лѣстницѣ служебной іерархіи. Въ 1805 году онъ уже былъ сдѣланъ оберъ-прокуроромъ Синода, съ такими правами и преимуществами, какими не пользовался ни одинъ изъ его предшественниковъ. Въ 1810 году онъ былъ сдѣланъ членомъ Государственнаго Совѣта и главноуправляющимъ духовными дѣлами иностранныхъ исповѣданій, а въ 1817 году назначенъ министромъ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія,—первое и знаменательное соединеніе вопросовъ церкви и религіи съ вопросами науки и просвѣщенія.

Говорятъ, князь Голицынъ въ теченіе всей своей жизни отличался искреннею набожностью, которая была дѣломъ его сердечнаго убѣжденія. Эта набожность привела его къ сознанію важности вопросовъ религіозныхъ, сдѣлала его совершенно снисходительнымъ къ формѣ религіознаго вѣрованія, только бы подъ нимъ онъ видѣлъ дѣйствительное, непритворное чувство и, наконецъ мистикомъ и поклонникомъ мистической литературы. Будучи оберъ-прокуроромъ Синода, онъ едва ли былъ доволенъ господствующею церковью, что и понимали очень хорошо представители нашего духовенства. Ему было дорого только религіозное чувство, въ какой бы формѣ оно ни представлялось. Такъ, онъ съ полною вѣрою присутствовалъ на радѣніяхъ Татариновой и принималъ самъ въ нихъ участіе ¹⁾). Такъ, снисходительно смотрѣлъ онъ на всякія раскольничьи секты. Мы думаемъ, что всѣ подобныя увлеченія князя Голицына истекали изъ его недостаточнаго образованія, изъ неразвитости его мысли. Нѣтъ никакого основанія подозрѣвать его въ неискренности и притворствѣ; при дворѣ онъ былъ извѣстенъ своимъ незлобіемъ, кротостью, желаніемъ быть подалше отъ интригъ и многочисленными благодѣяніями. Оставаясь всю жизнь холостякомъ, онъ находилъ самое полное удовлетвореніе въ вопросахъ религіозныхъ и мистическихъ. Это былъ вполне, до фанатизма увлеченный чедовѣкъ, но при недостаточно свѣтломъ умѣ и при маломъ образованіи, князь Голицынъ едва ли хорошо понималъ и свое положеніе и свои обязанности. За него и вокругъ него

¹⁾ XIX Вѣкъ, I, стр. 223.

дѣйствовали лица болѣе ловкія, болѣе хитрыя и самъ онъ сдѣлался скоро жертвою интриги своихъ приближенныхъ, которыхъ не умѣлъ разглядѣть во время. И вотъ, такому-то человѣку вѣбруется управленіе умственной жизни цѣлой страны и Голицынъ дѣлается тормазомъ просвѣщенія,—сознательно или бессознательно—трудно сказать. Дѣло ума онъ принесъ въ жертву мистицизму.

Въ области народнаго образованія, во главѣ котораго былъ поставленъ теперь князь Голицынъ, обнаружилась полная реакція противъ всего того, что было сдѣлано для просвѣщенія въ началѣ царствованія. Правда и теперь вопросъ о просвѣщеніи занималъ первое мѣсто, и теперь говорили о чрезвычайной важности и значеніи его для народной жизни, старались снова организовать его, но какая разница между тогдашними и настоящими взглядами! Теперь пришлось разрушать то, что тогда было созидаемо. Дѣйствія реакціи въ этомъ смыслѣ происходили, хотя и быстро, но очень обдуманно, потому что люди, заправлявшіе этимъ дѣломъ, думали понять смыслъ тогдашней исторіи и дѣйствовать сознательно, соображаясь съ духомъ времени и требованіями власти. Главное правленіе училищъ, бывшее и теперь, какъ и въ первую, лучшую, организаторскую пору своей дѣятельности, первымъ органомъ въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія, старалось распространить новую систему взглядовъ и мѣръ по всему государству, на всѣхъ ступеняхъ образованія, начиная главнымъ образомъ съ университетовъ. Если начала, вводимыя при учрежденіи нашихъ университетовъ, носили на себѣ слѣды времени предшествовавшаго, отзывались еще свободными тенденціями прошедшаго вѣка, то теперь, послѣ громадныхъ потрясеній, пережитыхъ европейскимъ міромъ, новыя начала просвѣщенія, долженствовавшія замѣнить собою прежнія, проникнуты были также духомъ времени, но духомъ реакціоннымъ. Прежнее, свободное развитіе ума было теперь заподозрѣно; ему не довѣряли. Мистическая основа Священнаго Союза была у всѣхъ на языкѣ; восстановленіе стараго сдѣлалось цѣлью новыхъ стремленій. Отсюда требовалось, чтобъ воспитаніе стояло твердо на почвѣ вѣры и началъ монархическихъ, чтобъ разумъ подчинялся откровенію, чтобъ единичная воля безмолвствовала передъ авторитетомъ власти. Вѣра стояла выше знанія. У научнаго изслѣдованія отнимали всякую свободу; наука должна была вовсе потерять свою самостоятельность. Весьма немногіе, твердые и сильные умы, избѣжали этого общаго настроенія и остались вѣрны свободнымъ началамъ. Большинство общества увлеклось этимъ настроеніемъ съ чрезвычайною пылкостью и на все смотрѣло съ точки зрѣнія вѣры, которая, казалось, была призвана обновить міръ. Вотъ гдѣ заключался источникъ того мистицизма, которому подчинялся безусловно импера-

торъ, который господствовалъ въ нашемъ библейскомъ обществѣ и который стали теперь вводить въ университеты, желая, чтобъ его проповѣдывали вмѣсто науки съ кафедръ. Основы Священнаго Союза, въ которомъ говорилось о соединеніи свободы и христіанства, о всеобщемъ братствѣ народовъ, о единеніи ихъ въ истинѣ и любви, основы чисто мистическаго свойства, очень часто повторялись дѣятелями нашими по народному просвѣщенію, но въ сущности для многихъ изъ нихъ, особенно для людей хитрыхъ и ловкихъ, хлопотавшихъ только о личныхъ выгодахъ, въ родѣ Магницкаго, истинномъ дѣйствиі была политическая цѣль, та, которая развивалась въ карлсбадскихъ рѣшеніяхъ, диетованныхъ Меттернихомъ. Еще опаснѣе несогласія съ вѣрою считалось неповиновеніе властямъ. Подъ мистицизмомъ скрывалась ненависть къ либеральнымъ стремленіямъ въ обществѣ. Это, какъ мы увидимъ, совершенно открыто высказывалъ одинъ только Магницкій; другіе, напротивъ, какъ бы скрывали свои цѣли, а можетъ быть, и сами хорошо не сознавали ихъ. Лицемеріе, являлось, необходимымъ слѣдствіемъ новой системы. „Соединеніе двухъ министерствъ (т. е. духовнаго и просвѣщенія) послѣдовало съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы мірское просвѣщеніе слѣдять христіанскимъ, пишетъ къ И. И. Дмитріеву Карамзинъ, который отнюдь не былъ пѣтистомъ. Огнниѣ кураторами будутъ люди извѣстнаго благочестія... Не мудрено, если въ наше время умножится число лицемеровъ“¹⁾. Карамзинъ вообще не сочувствовалъ этому направленію, которое надѣлало столько вреда. Несмотря на свою близость къ государю, онъ не добивался возможности имѣть вліяніе на дѣла и всегда оставался въ сторонѣ. „Я текстами не промышляю, писалъ онъ, иногда смотрю на небо, но не въ то время, когда другіе на меня смотрять“²⁾. Зато Голицына окружали какъ въ библейскомъ обществѣ, гдѣ онъ былъ постоянно президентомъ, такъ и въ министерствѣ народнаго просвѣщенія нѣсколько личностей полу-фанатиковъ, но больше лицемеровъ, которыя очень ловко, для своихъ личныхъ выгодъ, умѣли воспользоваться настроеніемъ времени. Таковы были Магницкій и Руничъ. Ихъ борьба съ нашими, едва возникшими университетами, которые еще не успѣли и показать своей дѣятельности, была также слѣдствіемъ европейской реакціи и тѣхъ нападеній, которые дѣлала политика Священнаго Союза на германскіе университеты. Подъ знаменемъ религіи, при безпрестанномъ упоминаніи о ней, какъ объ основѣ всего воспитанія, окруженныя библей-

¹⁾ Письма. Спб. 1866, стр. 204.

²⁾ Ibidem. стр. 218.

скими и евангельскими текстами, торжествовали идеи Меттерниха. Иезуитски высказывая слова христианской любви, люди в действительности являлись изуверами, фанатиками и требовали недвѣрчиваго отношенія, преслѣдованія, чуть не казни. Вмѣсто любви и справедливости, въ жизнь проводилась ненависть и лицемеріе. Мы не говоримъ уже о наукѣ; министерство народнаго просвѣщенія въ то время не чувствовало къ ней никакого уваженія. Да это и было понятно съ мистической точки зрѣнія людей, ее преслѣдовавшихъ: она была дочь лжеименнаго разума, если была свободна и независима; въ ихъ рукахъ она должна была сдѣлаться только средствомъ, только орудіемъ. Такимъ же орудіемъ въ рукахъ этихъ людей была и религія: она превращалась въ ханжество и лицемеріе; настоящая нравственность и религіозное чувство упали чрезвычайно. Все это было слѣдствіемъ системы, которая вела къ паденію университетовъ и къ пониженію уровня умственнаго образованія. Мысль и сколько-нибудь живое слово науки преслѣдовались самымъ наглымъ образомъ. Профессора и студенты превращались въ иезуитовъ и ханжей, желавшихъ только заслужить благосклонность начальства, но вовсе не думавшихъ объ успѣхахъ въ наукѣ. Система шпіонства и доносовъ господствовала въ полной мѣрѣ. Стоитъ прочесть хотя нѣсколько рѣчей, которыя произносились тогда на университетскихъ актахъ, чтобъ уразумѣть отталкивающій, раболѣпный характеръ, которымъ проникнулось подъ вліяніемъ системы наше ученое сословіе. Возьмемъ отрывокъ изъ казанской рѣчи, гдѣ ораторъ-профессоръ разсуждаетъ о способѣ заниматься науками: „Да будетъ началомъ моего слова всеблагій Богъ и да будетъ началомъ моего слова могущественный Александръ, исполненный толикими доблестями, сколько оныхъ цѣлая вселенная вмѣщать въ себѣ когда либо можетъ; да приметъ начало слово мое отъ соизволенія знаменитѣйшаго нашего попечителя, который съ чрезвычайнымъ нѣкимъ тщаніемъ трудится для возвышенія наукъ, и, соображая всѣ свои даянія съ божественными заповѣдями, подаетъ намъ примѣры достойнѣйшіе подражанія“¹⁾.

Актъ Священнаго Союза легъ въ основаніе тѣхъ преобразованій, которыя задуманы были въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Слѣдствія этого акта сказались и въ распространеніи библейскихъ обществъ, доставлявшихъ народу книгу, на которой, по мысли Александра, единственно можетъ основываться народное образованіе. Этимъ объясняется и назначеніе президента библейскаго общества князя Голицына—министромъ народнаго просвѣщенія и то обстоятельство, что главные дѣятели этого общества явились таковыми же и въ министерствѣ.

¹⁾ Сухомлиновъ. Матеріалы, стр. 164.

Въ провинціяхъ библейское дѣло распространяли обыкновенно попечители и директоры гимназій. Мистицизмъ, который испортилъ дѣло библейскаго общества, въ угодность власти перешелъ совершенно въ вѣдомство народнаго просвѣщенія и повелъ здѣсь борьбу съ наукою. Въ актѣ Священнаго Союза встрѣчалась одна туманная, мистическая фраза, что въ Христѣ заключены и всякая наука и всякая мудрость. Изъ этой фразы вытекли самыя пагубныя слѣдствія для нашихъ университетовъ и изгнаніе изъ нихъ дѣйствительной свободной науки. Петербургскій профессоръ де-Гуровъ, изъ французовъ, который, говорятъ, былъ на своей родинѣ крайнимъ радикаломъ во время революціи, въ своей рѣчи 1823 года слѣдующими словами характеризуетъ новое направленіе университетовъ: „Развитіе нечестія и опасность, грозившая цивилизаціи и общественному порядку, остановлены священнымъ союзомъ, отрывшимъ истинный свѣтъ, и правительства поспѣшили удалить изъ преподаванія всѣ вредныя доктрины. Университеты имѣли полное право не только отвергнуть всѣ ложныя и пагубныя начала новѣйшей философіи, но и преслѣдовать ихъ и дать почувствовать всѣ ихъ вредныя слѣдствія. По всей справедливости осуждено ученіе о воображаемой древности вселенной, поддерживаемое многими учеными, вопреки свидѣтельству св. писанія о сотвореніи міра. Всеобщая исторія должна быть излагаема такимъ образомъ, чтобы постоянно доказывалось превосходство монархическаго образа правленія надъ всѣми другими. Она должна изобразить постепенное разложеніе республики вслѣдствіе цивилизаціи, необходимой спутницы монархизма, и указать путь, по которому избирательныя монархіи, волнуемыя внутренними междоусобіями, въ виду неминуемой гибели, нашли свое спасеніе, силу и благосостояніе — въ монархіи наслѣдственной“... ¹⁾). Эти слова совершенно ясно указываютъ намъ, каковъ характеръ приняла наука въ университетахъ подъ вліаніемъ современныхъ политическихъ требованій. Печальное положеніе науки въ нашихъ университетахъ объясняется убѣжденіемъ, что въ университетахъ около кафедръ замышляются революціонныя планы, убѣжденіемъ, которое старался по отношенію къ нѣмецкимъ университетамъ раздуть Меттернихъ, а нѣмецкіе университеты до сихъ поръ служили намъ образцами. Теперь смотрѣли на нихъ у насъ другими глазами. Величайшимъ фанатизмомъ въ этомъ отношеніи отличался изувѣръ Магницкій. Какъ членъ главнаго правленія училищъ, онъ имѣлъ случай въ его засѣданіяхъ произносить противъ университетовъ рѣчи, исполненныя дикаго обскуратизма и примѣнять эти рѣчи на практикѣ, управляя Казанскимъ

¹⁾ Ibidem, стр. 173—174.

университетомъ. Глубокою ненавистью къ разуму, къ человѣческой мысли, ко всякому движенію впередъ дышатъ его фанатическія рѣчи:

„Тотъ самый духъ, говоритъ онъ, который у Юсифа II подъ личиною филантропіи, у Фридерика, Вольтера, Руссо и энциклопедистовъ подъ скромнымъ плащомъ философізма; въ царствованіе Робеспьера подъ красною шапкою свободы; у Бонапарте подъ трехцвѣтнымъ перомъ консула и, наконецъ, въ коронѣ императорской, искалъ овладѣть вселенною, низвергнуть алтари Господни и престолы законныхъ государей, спустить съ цѣпи всѣ страсти падшаго человѣка и преобразить землю во адъ; тотъ самый духъ нынѣ, съ трактатами философіи и съ хартіями конституцій въ рукѣ, поставилъ престолъ свой на Западѣ и хочетъ быть равенъ Богу“...

Магницкій говоритъ, что, наконецъ, водворился миръ, но этотъ миръ снова нарушенъ: „взволновались университеты, явились изступленные безумцы, требующіе смерти, труповъ, ада!“ Вездѣ, по словамъ его, раздается кликъ: „прочь алтари, прочь государи, смерть и адъ надобны“... „Какъ не узнать, чей этотъ голосъ—отвѣчаетъ онъ самъ, съ дикимъ изувѣрствомъ и фанатизмомъ.—Самъ князь тѣмъ видимо подступилъ къ намъ; рѣдѣетъ завѣса, его закрывавшая, и вѣроятно скоро уже расторгнется. Последнее сіе, можетъ быть, нападеніе на насъ есть ужаснѣйшее, ибо оно духовное. Отъ одного конца міра до другого сообщается оно видимо и быстро, какъ ударъ электрической, и неожиданно все приводитъ въ потрясеніе. Слово человѣческое есть проводникъ сей адской силы, книгопечатаніе—орудіе его; профессоры безбожныхъ университетовъ передаютъ тонокій ядъ невѣрія и ненависти къ законнымъ властямъ несчастному юношеству, а тисненіе) разливаетъ его по всей Европѣ“... Вся Европа въ величайшей опасности отъ развращеннаго образа мыслей и Магницкій желалъ совершенно отгородить отъ нея Россію, чтобы не проникалъ въ нее духъ злобы, т.-е. духъ дьявола. Тутъ не помогутъ арміи, а нужна оборона духовная: „благоразумная цензура, соединенная съ утвержденіемъ народнаго воспитанія на вѣрѣ, есть единый оплотъ безднѣ, затопляющей Европу невѣріемъ и развратомъ“¹⁾. Таковы были убѣжденія, торжествовавшія въ ту пору въ министерствѣ народнаго просвѣщенія. Оно смотрѣло глазами карлсбадскихъ постановленій, преувеличивая еще смыслъ ихъ доморощеннымъ изувѣрствомъ. Естественно было уже не посылать въ европейскіе университеты русскихъ студентовъ для окончанія научнаго образованія и для того наше министерство увѣряло лицемѣрно, что и наши университеты достигли высокой степени въ наукѣ. Если такимъ образомъ въ глазахъ нашего министерства нѣмецкіе уни-

¹⁾ Ibidem, стр. 184—186.

верситеты, которые до тѣхъ поръ служили намъ образцами, потеряли прежній кредитъ свой, то съ другой стороны принимались за образцы высшія французскія учебныя заведенія, сохранявшія средневѣковой католическій характеръ, еще усиленный въ то время реакціей, и наши администраторы въ университетахъ желали водворенія почти монастырскаго порядка, съ строгою дисциплиною монастыря. Чтобы имѣть самый мелкій надзоръ надъ университетами, наше министерство усилило значеніе и власть попечителей округовъ. Они являлись полновластными комиссарами правительства и деспотически распоряжались какъ судьбою профессоровъ и студентовъ, такъ и судьбою самой науки, которую очень часто не понимали. Попечители деспотически вмѣшивались во внутреннюю и внѣшнюю жизнь университетовъ; они „составляли инструкціи для преподаванія каждаго предмета, указывали руководства и способъ пользоваться ими и, наконецъ, довели свои требованія до того, что предписывали систематически доказывать несостоятельность науки, излагаемой съ университетской кафедрой, или, другими словами, преподавать науку въ обличительномъ смыслѣ“¹⁾.

Соединеніе министерствъ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія въ 1817 году въ лицѣ князя Голицына послѣдовало, какъ говорилось о томъ въ Высочайшемъ манифестѣ, изъ желанія „дабы христіанское благочестіе было всегда основаніемъ истиннаго просвѣщенія“²⁾. Задачею дѣятельности этого новаго министерства было, повидимому, уничтоженіе всего сдѣланнаго прежде, что не соотвѣтствовало теперь духу новаго времени. Особенностью новаго министерства, сравнительно съ прежнимъ, было учрежденіе при главномъ правленіи училищъ „Ученаго Комитета“, которому въ главную обязанность вмѣнено было разсмотрѣніе всѣхъ книгъ и руководствъ, предназначенныхъ для преподаванія, и въ наставленіи, данномъ этому комитету, говорилось, чтобы онъ въ своей дѣятельности стремился къ соединенію вѣры съ вѣдѣніемъ, чего требовалъ актъ Священнаго Союза. Главнымъ лицомъ въ этомъ комитетѣ былъ пѣтистъ и обскурантъ Стурдза.

Ученый комитетъ долженъ былъ, по словамъ инструкціи, „народное воспитаніе, основу и залогъ благосостоянія государственнаго и частнаго, посредствомъ лучшихъ учебныхъ книгъ направить къ истинной, высокой цѣли, къ водворенію въ составѣ общества въ Россіи постояннаго и спасительнаго согласія между *отрою, мудростию и славою*, или другими выраженіями—благочестіемъ, просвѣщеніемъ умовъ

¹⁾ Ibidem, стр. 192.

²⁾ Ibidem, стр. 193.

и существованіемъ гражданскимъ¹⁾). Это соединеніе или гармонія вѣры, вѣдѣнія и власти сдѣлалось лозунгомъ тогда министерства народнаго просвѣщенія, какъ въ позднѣйшіе годы: православіе, самодержавіе и народность. У комитета была цѣлая система дѣйствій. Въ учебныхъ книгахъ о вѣрѣ онъ преслѣдовалъ всѣ умствованія, противныя повиновенію верховной и духовной власти или семейнымъ и общественнымъ обязанностямъ; въ книгахъ по морали или философіи права запрещалось отдѣлять нравственность отъ вѣры, требовалось (отверженіе ложнаго ученія о происхожденіи верховной власти *не отъ Бога*, а отъ условія между людьми, въ исторіи требовалось частое указаніе на дивный и постепенный ходъ Богопознанія и вѣрное соотношеніе съ исторіею священной и эпохами церкви; въ преподаваніи естественныхъ наукъ запрещались всѣ суетныя догадки о происхожденіи и переворотахъ земнаго шара; въ физикѣ—многія теоріи и т. п. Очевидно, эту инструкцію отнималась всякая свобода у науки и всякое ея достоинство.

ЛЕКЦІЯ XXV.

Реакція.—Магницкій.

Для лучшаго знакомства съ тою системою, которая была примѣнена у насъ въ министерствѣ народнаго просвѣщенія при князѣ Голицынѣ къ наукѣ и высшему преподаванію въ университетахъ, достаточно познакомиться съ дѣйствіями пресловутаго Магницкаго, оставившаго глубокой слѣдъ въ исторіи Казанскаго университета. Управление этимъ университетомъ и реформы и измѣненія, задуманныя въ немъ Магницкимъ въ это печальное время составляютъ чрезвычайно любопытный эпизодъ въ исторіи нашего просвѣщенія и яркимъ образомъ обрисовываютъ и систему и время, когда могли получать значеніе такія личности какъ Магницкій, приносявшія все въ жертву своимъ личнымъ интересамъ и не останавливавшіяся ни передъ какими соображеніями, чтобы добиться своей цѣли, притомъ умѣвшія удивительнымъ образомъ пользоваться и лицами и обстоятельствами. Въ этомъ отношеніи Магницкій вполне типичное лицо.

Магницкій, какъ кажется, происходилъ изъ рода того Магницкаго, который при Петрѣ Великомъ написалъ весьма извѣстную Арифметику, чѣмъ и прославился. Фамилія его была дворянская, но не пользовав-

¹⁾ Ibidem, стр. 195—196.

шяся достаткомъ. Михайло Леонтьевичъ Магницкій родился въ 1778 году и тогда же записанъ былъ въ Преображенскій полкъ, куда поступилъ на дѣйствительную службу, будучи четырнадцати лѣтъ отъ роду, въ 1792 году. Магницкій получилъ порядочное литературное образованіе въ благородномъ пансіонѣ при Московскомъ университетѣ, которое послужило ему потомъ въ пользу. Въ пансіонѣ Магницкій былъ въ числѣ отличныхъ учениковъ, тамъ же онъ выучился писать стихи. Нѣсколько стихотвореній его, видимо ученическаго характера, съ явнымъ подражаніемъ Державину, помѣщались въ эти годы въ альманахѣ Карамзина: „Дониды“ и печатались отдѣльно ¹⁾. Но Магницкій былъ слишкомъ честолюбною натурою, чтобы отдаться вполне литературѣ. Гораздо болѣе прельщали его успѣхи по службѣ.

Военная служба Магницкаго, по большей части въ Польшѣ, продолжалась до 1798 года. Въ пансіонѣ онъ безъ сомнѣнія хорошо познакомился съ иностранными языками и это облегчило ему службу по новой, избранной имъ карьерѣ—дипломатической, на которой онъ оказалъ скоро значительные успѣхи. Въ 1798 году Магницкій является чиновникомъ при нашемъ посольствѣ въ Вѣнѣ и прикомандировывается къ фельдмаршалу Суворову для веденія его переписки ²⁾. По окончаніи войны и заключенія мира, Магницкій воротился въ Петербургъ, но вскорѣ, въ качествѣ довольно важнаго чиновника при нашемъ послѣ графѣ Марковѣ, онъ былъ отправленъ въ Парижъ, гдѣ оставался два года. Это парижское пребываніе Магницкаго было лучшимъ временемъ его жизни. По рассказамъ и по запискамъ современниковъ, Магницкій и въ Парижѣ и по возвращеніи въ Петербургъ былъ самымъ блестящимъ молодымъ человѣкомъ, чѣмъ-то въ родѣ современнаго льва, о которомъ говорили въ свѣтскомъ обществѣ. Магницкій самъ любилъ передавать, что на него обратилъ даже вниманіе первый консулъ Бонапарте и пророчилъ ему въ будущемъ блестящую карьеру ³⁾. Обширное поле для честолюбія Магницкаго открылось по вступленіи на престолъ Александра, когда начались преобразования во всѣхъ сферахъ государственной дѣятельности и когда реформы администраціи, произведенныя Сперанскимъ, выдвигали быстро впередъ сколько-нибудь дѣятельныхъ и образованныхъ людей; въ послѣднихъ крайне тогда нуждались.

Какимъ образомъ сошелся Магницкій съ Сперанскимъ—неизвѣстно, но онъ потомъ раздѣлилъ его печальную участь. Безъ сомнѣнія, Сперанскій имѣлъ случай рекомендовать государю своего тогдашняго

¹⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 1702—1704.

²⁾ „Показанія Магницкаго“. XIX вѣкъ, I, стр. 235.

³⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 1704.

друга. Магницкій началъ новую служебную дѣятельность свою въ 1803 году во вновь образованномъ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ— начальникомъ отдѣленія. Вскорѣ, однако, способности выдвинули его впередъ. По словамъ самого Магницкаго, еще въ 1804 и 1805 годахъ онъ исполнялъ уже важныя, лично сдѣланныя ему порученія государя. Онъ ѣздилъ въ Псковъ для разслѣдованія дѣйствій тамошняго губернатора, обвинявшагося въ лихоимствѣ, и, по его выраженію, „для открытія заговора“ въ Вильну. Если вѣрить словамъ его, то онъ тогда еще представилъ государю донесеніе о сильномъ развитіи въ Виленскомъ университетѣ чисто польскихъ тенденцій, при чемъ не убоился гнѣва сильнаго тогда князя Чарторыжскаго, попечителя Виленскаго университета и личного друга императора. Доносъ Магницкаго, несмотря на то, что ему дали орденъ за исполненіе порученія, былъ неудаченъ. Дѣйствовало ли вліяніе князя Чарторыжскаго или Магницкій самъ уже слишкомъ пересолилъ, только доносъ обратился во вредъ ему. Магницкій, по его словамъ, осужденъ былъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, на черную канцелярскую работу. Но онъ ловко успѣлъ подняться, вѣроятно, по тому политическому чутью, которымъ онъ былъ одаренъ, хотя оно иногда и обманывало его. Какъ бы предчувствуя близкое измѣненіе политическаго направленія, Магницкій, въ противность мнѣніямъ и убѣжденіямъ друга и покровителя своего Сперанскаго, написалъ, говорятъ ¹⁾, очень смѣлое, полное огня и одушевленія письмо къ Александру по поводу Тильзитскаго мира, въ которомъ онъ нападалъ на политику Наполеона, выставляя всю ея враждебность къ Россіи и предсказывая близкое вторженіе французовъ. Вѣроятно, мысли этого письма были сходны съ мыслями „Записки“ Карамзина. Письмо это, повидимому, произвело впечатлѣніе на Александра; Магницкій былъ пожалованъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники и сдѣланъ статсъ-секретаремъ; въ новомъ званіи и по важности порученнаго ему дѣла, онъ лично докладывалъ государю. Магницкій мечталъ о еще высшемъ служебномъ положеніи, его честолюбіе было безгранично, какъ вдругъ катастрофа, постигшая Сперанскаго, увлекла и его. До сихъ поръ кажется Магницкій своимъ возвышеніемъ по службѣ былъ обязанъ вообще Сперанскому, который оцѣнилъ его умъ и способности, но не понималъ хорошо его душевныхъ качествъ. Магницкій былъ близкимъ человѣкомъ къ Сперанскому и принадлежалъ къ числу его домашнихъ собесѣдниковъ. По воспоминаніямъ дочери Сперанскаго, Магницкій былъ блестящимъ остроумцемъ въ ихъ интимномъ кружкѣ, отличался умомъ тонкимъ и колкимъ въ соединеніи съ чрезвычайною

¹⁾ Сухомлиновъ. Матеріалы, стр. 216.

веселостью и насмѣшливостью ¹⁾, но все это постепенно исчезало по мѣрѣ возвышенія его по лѣстницѣ служебной іерархіи. Теперь исключительною думою его было личное честолюбіе и едва ли не оно было причиною, что Магницкій, какъ бы предчувствуя близкое паденіе Сперанскаго, сторонился отъ прежняго своего покровителя. Неблагодарность есть обычное свойство натуръ честолюбивыхъ. Есть свидѣтельство, что Магницкій даже отчасти способствовалъ паденію Сперанскаго ²⁾, но это не спасло его однако отъ одновременной ссылки въ мартѣ 1812 года. Магницкій былъ привезенъ въ Вологду съ фельдъ-егеремъ и прожилъ тамъ до 1816 года, т.-е. до того времени, когда и Сперанскому облегчено было изгнаніе. Дружба ихъ однако не прерывалась и Сперанскій переписывался съ Магницкимъ во все время жизни послѣдняго въ Вологдѣ и даже пересылалъ ему деньги, такъ какъ у Магницкаго не было никакихъ своихъ средствъ, а было семейство. Эта дружба продолжалась нѣсколько времени и послѣ, но съ 1818 года, именно съ того времени, когда Магницкій сблизился съ княземъ Голицынымъ, прекратилась ³⁾. Что соединяло Сперанскаго и Магницкаго? Какіе общіе планы преслѣдовали они и какимъ образомъ оба они подверглись въ одно время ссылкѣ въ 1812 году, повидимому, по одному и тому же дѣлу? Объ этомъ существуетъ множество предположеній, но ничего вѣрнаго. По всей вѣроятности, Магницкій пострадалъ въ качествѣ ближайшаго человѣка къ Сперанскому. Знаменитый реформаторъ искренно и долго любилъ Магницкаго, до тѣхъ поръ, когда или Магницкій совершенно измѣнился, или Сперанскій составилъ о немъ опредѣленное понятіе, которое уже мѣшало продолженію дружбъ между ними. Во время ссылки Сперанскій заботился о своемъ другѣ. Онъ писалъ къ Аракчееву, что онъ не знаетъ, въ какой степени и въ чемъ судьба его связана съ Магницкимъ, но если дѣйствительно связь эта существуетъ, то, говорилъ онъ, „не могу и не долженъ я ничего желать для себя, не желая и не прося равнаго и для него“ ⁴⁾. Магницкаго мы знаемъ по его обскурантнымъ рѣчамъ, по его дѣйствіямъ въ Казанскомъ университетѣ и по позднѣйшимъ его сочиненіямъ, но нравственный обликъ этого страннаго человѣка мы можемъ лучше всего узнать изъ обширной переписки Сперанскаго ⁵⁾. Сперанскій, конечно,

¹⁾ Бар. Корфъ. Жизнь гр. Сперанскаго, I, стр. 278—279.

²⁾ Сухомлиновъ. Матеріалы, стр. 216.

³⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 1664—1666.

⁴⁾ Русск. Арх. 1871 г., стр. 1202.

⁵⁾ Русскій Архивъ 1868—1871 гг. Текстъ Сборника „Въ память графа Михаила Михайловича Сперанскаго“. Спб. 1872 г.

хорошо зналъ своего прежняго друга, онъ очень интересовался его судьбою, а потому часто упоминалъ о немъ въ письмахъ.

Въ 1816 году Магницкій былъ возвращенъ изъ ссылки также съ фельдъегеремъ и привезенъ въ Грузино, имѣвше тогдашняго временщика Аракчеева—для оправданія. Въ Вологдѣ умерли у него жена и дочь. Магницкому дали значительное количество денегъ, возвратили ему пенсіонъ за все время ссылки и назначили вице-губернаторомъ въ Воронежъ. На этомъ мѣстѣ онъ оставался очень недолго. Тотчасъ по приѣздѣ онъ написалъ доносъ на губернатора, доносъ, по отзыву Сперанскаго, совершенно справедливый. Губернаторъ былъ грабителемъ и имѣлъ сильное покровительство, разумѣется, за деньги, въ Петербургѣ. Магницкій ведетъ себя, пишетъ Сперанскій, какъ рыцарь настоящій, безъ страха и упрека, но онъ сравниваетъ его съ Донъ-Кихотомъ, которому не можетъ пособить все благородство его поведенія, говорить, что несчастіе сдѣлало его прамѣе, но и несговорчивѣе, что онъ мечтатель, хоть мечты его совершенно нравственныя. Сперанскій видѣлся съ нимъ въ Москвѣ и передаетъ, что свиданіе это удвоило его уваженіе къ нему, но вмѣстѣ съ тѣмъ утвердило его въ мысли—нигдѣ не имѣть съ нимъ никакой связи, потому что онъ созданъ для другого міра и негодится для нашего. Сперанскій, повидимому, хотеть сказать, что онъ человѣкъ не практическій и что воронежскіе поступки его составляютъ ему репутацію человѣка сварливаго и неугомоннаго, но считаетъ его совершенно правымъ ¹⁾. Въ половинѣ 1817 г. Магницкій былъ назначенъ губернаторомъ въ Симбирскъ, губернію по сосѣдству съ Пензою, которою управлялъ тогда же Сперанскій. Проѣздомъ въ Симбирскъ, онъ навѣстилъ своего друга ²⁾. Магницкій былъ доволенъ своимъ назначеніемъ, но неуживчивость и сварливость его характера испортили его симбирскія отношенія очень скоро. Сперанскій, рассказывая о его подвигахъ въ качествѣ симбирскаго губернатора, о томъ, что онъ переловилъ шайку разбойниковъ, обнаружилъ расхищеніе казны и предалъ суду много чиновниковъ, продолжаетъ отзываться о немъ, какъ о человѣкѣ честномъ, даже извиняетъ его запальчивость, но боится, что дѣйствія его увеличатъ число враговъ его, потому что у него на роду написано бороться съ злоупотребленіями ³⁾. Слова Сперанскаго скоро оправдались. Магницкій нажилъ себѣ новыхъ враговъ, и много неприяностей, такъ что принужденъ былъ проситься въ отставку, но ему дали отпускъ въ Петербургъ ⁴⁾. Сперанскій все еще принимаетъ въ немъ участіе, совѣтуетъ

¹⁾ Русск. Арх. 1870 г. стр. 1134—1135.

²⁾ Ibidem, стр. 1143.

³⁾ Ibidem, стр. 1145—1146.

⁴⁾ Ibidem, стр. 1154.

ему сдерживаться, быть скромнымъ и молчаливымъ. Онъ увѣренъ, что сердце его исполнено добра и страха Божія, но что у него злой языкъ ¹⁾). Онъ думаетъ, что ему вовсе не слѣдуетъ возвращаться изъ Петербурга въ Симбирскъ, гдѣ всѣ предубѣждены противъ него и что управленіе губерніей невозможно, при общей къ нему ненависти ²⁾). Магницкій и не вернулся въ Симбирскъ, а остался въ Петербургѣ, гдѣ ему тогда въ 1819 году открылась новая служебная дѣятельность по министерству народнаго просвѣщенія, сдѣлавшая потомъ столь извѣстнымъ его имя. Къ этому времени относится и новый, измѣнившійся взглядъ Сперанскаго на своего прежняго друга, въ которомъ онъ принималъ такое дѣятельное сердечное участіе. Сперанскій говоритъ, что гораздо лучше каждому изъ нихъ идти своею тропинкою и не вмѣшиваться въ дѣла другого ³⁾). Онъ начинаетъ жаловаться на Магницкаго, говорить, что лихая жена его (вторая, французенка) лишила его довѣренности Магницкаго, и вполнѣ недоволенъ образомъ и характеромъ его управленія губерніей, гдѣ возстало противъ него мнѣніе общества, выражавшее мысль, что Магницкій присланъ въ Симбирскъ для своего оправданія, а онъ дѣйствуетъ единственно какъ бы съ цѣлью выслужиться ⁴⁾). Предсказаніе Сперанскаго, что Магницкій путается и запутается — сбылось. „Строптивость удивительная“ — говоритъ о немъ Сперанскій и прибавляетъ, что единственный выходъ для него изъ губернаторства есть отставка ⁵⁾).

Около того времени, какъ Магницкій оставилъ свое симбирское губернаторство и открыто перешелъ въ лагерь мистиковъ и обскурантовъ — Сперанскій прерываетъ съ нимъ всякія сношенія и старается быть отъ него подальше. Разрывъ этотъ произошелъ, безъ всякаго сомнѣнія, не изъ за того, что Магницкій сдѣлался вдругъ мистикомъ и обскурантомъ, а изъ чувства самосохраненія со стороны Сперанскаго, который давно уже жаловался на неугомонный языкъ своего друга и боялся, что его рѣчи могутъ повредить и ему въ его неопредѣленномъ служебномъ положеніи. „Я съ нимъ совершенно кончилъ и навсегда, пишетъ онъ къ своему другу Столыпину, мои сношенія, кои впрочемъ во все сіе время чуть чуть тянулись. Онъ отжилъ и самъ сіе чувствуетъ. Онъ не можетъ желать, да по счастью и не желаетъ ничего, кромѣ насущнаго хлѣба и уединенія или самой простой инвалидной службы“ ⁶⁾). Сперанскій былъ

¹⁾ Ibidem, 1871 г., стр. 434.

²⁾ Ibidem, стр. 444—445.

³⁾ Ibidem, стр. 447.

⁴⁾ Ibidem, 1869 г. стр. 1694.

⁵⁾ Ibidem, стр. 1696.

⁶⁾ Ibidem, стр. 1701.

прежде всего человекъ практической, но въ этомъ случаѣ онъ совершенно ошибался. Повидимому, онъ не подозрѣвалъ честолюбивой натуры Магницкаго. Что не различіе убѣжденій разъединило обоихъ, видно изъ словъ самого Сперанскаго: „Я не знаю, почему угодно ему меня приплетать къ своимъ рассказамъ и симбирскіе свои подвиги называть общимъ нашимъ дѣломъ“ — пишетъ онъ. Онъ подозрѣвалъ въ этомъ смѣтку и намѣреніе и считалъ это неблагоприятнымъ и несправедливымъ. Сперанскому кажется, что для него будетъ гораздо выгоднѣе брань Магницкаго, нежели похвала. „Что онъ мнѣ вредитъ и растравляетъ свою запальчивостью раны почти уже закрытыя (т.-е. негодование на него государя) и съ толикимъ трудомъ залѣченныя, въ этомъ не имѣю я сомнѣній. У меня сердце вѣщее. Я предчувствовалъ всѣ послѣдствія появленія его въ Петербургѣ. И сколько тутъ глупостей! Сколько шаговъ совершенно необдуманныхъ ¹⁾“. Вотъ почему и въ интимныхъ письмахъ къ своей дочери онъ совѣтуетъ ей быть какъ можно осторожнѣе съ Магницкимъ и держаться отъ него и жены его какъ можно дальше ²⁾, избѣгать даже съ нимъ разговоровъ ³⁾. Сперанскій очень доволенъ новымъ служебнымъ успѣхомъ Магницкаго по другой съ нимъ дорогѣ и радуется, что это развяжетъ ихъ наконецъ совершенно ⁴⁾. Съ точки зрѣнія практическаго администратора и человека, Сперанскій совершенно осуждаетъ характеръ управленія Магницкимъ Симбирской губерніей: „Что это за религія, которая дозволяетъ жить во враждѣ и злословіи со всѣмъ родомъ человеческимъ!—пишетъ онъ. Воевать на дѣльяхъ провинціи! Поридать цѣлыя сословія, тогда какъ въ сихъ сословіяхъ есть люди весьма почтенные, весьма добрые, но ихъ не могъ онъ ни знать, ни предполагать потому только, что ихъ не искалъ. Я бы не кончилъ, если бы обратился на симбирское его управленіе ⁵⁾“. Какъ объясняетъ самъ Магницкій, сильную ненависть возбудилъ онъ къ себѣ въ Симбирскѣ со стороны помѣщиковъ, преслѣдуя злоупотребленія крѣпостнымъ правомъ: это-то и возмущало Сперанскаго, въ ту пору желавшаго со всѣми и со всѣмъ на свѣтѣ ладить. Магницкій въ своей запискѣ говоритъ, что онъ предалъ суду за тиранство восемь помѣщиковъ и въ томъ числѣ одного богача Наумова, который употреблялъ для истязанія желѣзную шанку въ 16 фунтовъ. Разумѣется дворянство всей губерніи закричало противъ губернатора. Оно видѣло въ Магницкомъ предателя собственнаго своего сословія изъ преданности къ правительству.

¹⁾ Ibidem, стр. 1974—1975.

²⁾ Ibidem, 1868 г. стр. 1161 и 1167.

³⁾ Ibidem, стр. 1163.

⁴⁾ Ibidem, стр. 1194—1195.

⁵⁾ Ibidem, 1869 г., стр. 1975.

Главные обвиненія шли на Магницкаго со стороны дворянства, но и сословіе чиновниковъ, которыхъ онъ преслѣдовалъ за взяточничество, прославило его вообще какъ человѣка жестокаго и злонамѣреннаго. Трудно сказать, на сколько искренности и желанія общей пользы было въ дѣйствіяхъ Магницкаго, возстановившаго противъ себя всю губернію. Судя по отзывамъ Сперанскаго, можно положительно сказать, что онъ дѣйствовалъ искренно, что такъ дѣйствовать побуждала Магницкаго, по его собственному выраженію, его „неугомонная совѣсть“. Дѣло только въ томъ, что при своемъ строитивомъ, властолюбивомъ характерѣ, при презрѣннн къ людямъ, особенно въ провинціи, гдѣ онъ не встрѣчалъ никого себѣ равнаго, Магницкій пересаливалъ въ своей дѣятельности и шель далѣе даже того, чего требовала власть. Сперанскій, болѣе ловкій, сравнивалъ его борьбу съ дѣйствіями Донъ-Кихота. Да и самъ Магницкій смотрѣлъ на себя такими же глазами, называя губернаторское служеніе свое „нестерпимымъ званіемъ“¹⁾. Онъ и перешель скоро въ другое вѣдомство, гдѣ дѣятельность его продолжала носить тотъ же прежній характеръ преслѣдованія, только уже не исключительно лицъ, а также и идей. И здѣсь ревность его, сколько по личному увлеченію, столько и изъ работѣннаго угожденія власти, переходила всякіе предѣлы благоразумія и носила отталкивающій характеръ, доводя систему, которой онъ служилъ, до нелѣпости. Мы говоримъ о его дѣятельности въ министерствѣ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, которая прославила его имя, какъ обскуранта и гонителя разума и идей.

Большая часть біографовъ Магницкаго и людей, писавшихъ о немъ, выставляютъ его величайшимъ честолюбцемъ, приносившимъ все въ жертву своему честолюбію и никогда не разбиравшимъ средствъ для того чтобъ достигнуть своей цѣли. Характеристика эта, конечно, въ главныхъ чертахъ своихъ основательна, особенно, если рѣчь идетъ о позднѣйшемъ его поступкѣ по отношенію къ князю Голицыну, который едва ли можетъ быть извиненъ чѣмъ нибудь. Но обвиненія распространяются на всю его жизнь. Съ самаго начала его служебной дѣятельности при Сперанскомъ, имъ овладѣло, по словамъ барона Корфа, „лихорадочное стремленіе къ власти, почестамъ и богатству“. „Изображать дѣятельность Магницкаго въ это время, говоритъ біографъ его²⁾, значило бы рисовать картину темныхъ интригъ, клеветъ, доносовъ, неблагоприятныхъ отношеній его къ различнымъ лицамъ, отъ которыхъ ожидалъ онъ покровительства и милостей“. Но біографъ самъ сознается, что онъ не имѣетъ для этого необходимыхъ мате-

¹⁾ XIX Вѣкъ, I, стр. 244.

²⁾ Теокистовъ, Магницкій. Спб. 1865 г., стр. 4.

ріаловъ. Точно такъ и мы можемъ сказать, что ничего не знаемъ, ка-кимъ образомъ Магницкій вошелъ въ милость къ князю Голицыну и сдѣлался однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ въ его минис-терствѣ. Мы думаемъ, что многое можно отнести и на долю увле-ченія, страстнаго характера, желанія поймать знаменія и духъ вре-мени, а Голицынъ, виѣстъ съ властію, увлекался тогда библейскимъ дѣломъ.

Еще будучи губернаторомъ въ Симбирскѣ, Магницкій заявилъ себя ревностнымъ дѣятелемъ по библейскому обществу и сталъ увле-каться религиозными вопросами, которые, какъ кажется, до того вре-мени, были совершенно чужды ему. Сперанскій и въ этомъ случаѣ считалъ его совершенно искреннимъ. Посылая къ Столыпину рѣчь его въ библейскомъ комитетѣ Симбирска, которую онъ называетъ *проповѣдью*, Сперанскій говоритъ о его набожности:

„Кто бы сему повѣрилъ тому лѣтъ десять? Это однакоже вѣрно, и все, что онъ говоритъ, онъ точно живо чувствуетъ. Набожность его искренна, и тутъ нѣтъ ни малѣйшаго соображенія свѣтскаго“¹⁾. Маг-ницкій открылъ въ Симбирскѣ отдѣленіе библейскаго общества и обра-тилъ дѣятельное вниманіе на филантропическую сторону его. Безъ всякаго сомнѣнія, при его главномъ участіи, учреждено было въ Сим-бирскѣ „Женское общество христіанскаго милосердія“, названное въ честь покровительницы его императрицы Елисаветы Алексѣевны — Елисаветинскимъ и существующее до настоящаго времени. Общество должно было заботится не о тѣхъ бѣдныхъ, которые называются ни-щими, а о тѣхъ, которые скрываютъ свою бѣдность, стыдятся ея. Предметы попеченія общества были разнообразны: это были тюрьмы, госпитали, больницы, воспитательные дома. Общество брало на себя обязанность воспитывать и учить сиротъ. Магницкій былъ первымъ секретаремъ его. Но не столько дѣятельность этого общества обра-тила на Магницкаго вниманіе власти, сколько рѣчь его, произнесен-ная при открытіи симбирскаго отдѣленія общества въ началѣ 1818 г. Карамзинъ тогда же писалъ къ своему брату въ Симбирскѣ, называя Магницкаго молодцомъ, что эта рѣчь полюбилась императору и князю Голицыну и что это главное²⁾. Эта рѣчь напечатана была въ отчетѣхъ библейскаго общества и обратила на себя общее вниманіе власти и людей, слѣдившихъ за направленіемъ времени. Она и въ самомъ дѣлѣ чрезвычайно любопытна, потому что яркими опре-дѣленными чертами обрисовываетъ главную мысль всей послѣдующей дѣятельности Магницкаго въ министерствѣ народнаго просвѣщенія и

¹⁾ Русск. Арх. 1870 г. стр. 1150.

²⁾ Атенеи, 1858 г., III, стр. 658.

тогдашнее его направлѣніе, то, что могло понравиться князю Голицыну и обратить его вниманіе на Симбирскаго губернатора. Если мы признаемъ, въ противность словамъ Сперанскаго, что Магницкій думалъ въ этой рѣчи не о небѣ, а о землѣ и служилъ не библейскому дѣлу, а только личному своему честолюбію, то надобно отдать полную справедливость его уму и удивительной ловкости, съ которою онъ умѣлъ усвоить себѣ и выразить господствовавшія тогда тенденціи и направлѣніе правительства, сформировавшееся подъ вліяніемъ политики Священнаго Союза. Это цѣлая обдуманная программа мнѣній и дѣйствій и чрезвычайно ловкая проповѣдь обскурантизма.

Рѣчь Магницкаго есть своего рода философія исторіи, написанная по всѣмъ правиламъ реторики, тѣмъ напыщеннымъ слогомъ, который онъ любилъ употреблять въ своихъ рѣчахъ, какъ человекъ, власть имѣющій, ослѣпляя своими фразами людей мало образованныхъ или раболѣпныхъ подчиненныхъ своихъ. Вся исторія земли, по словамъ его, движется двумя противоположными силами: „политикой міра сего“ и „видами Провидѣнія“. Глава политики міра сего есть князь тьмы; глава Провидѣнія небеснаго—есть Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Политику князя тьмы Магницкій указываетъ въ идолопоклонствѣ древняго міра, въ борьбѣ съ христіанствомъ, въ ересяхъ и раздѣленіяхъ самой церкви, но вмѣстѣ съ духовнымъ развитіемъ времени, т. е. съ просвѣщеніемъ, эта политика князя тьмы видоизмѣняется и сообразуется съ новыми требованіями. Идолы теперь уже никого не обмануть. „Выдуманъ новый идолъ, говоритъ Магницкій—*разумъ* человѣческой; богословія сего идола—*философія*. Жрецы его—*славнѣйшіе писатели разныхъ народовъ и странъ*. Началось поклоненіе идолу разума“, и Магницкій останавливается на времени этого поклоненія—французской революціи и царствованія Наполеона, когда торжествовала политика міра сего или князя тьмы. По расчетамъ *земной политики* и Россія должна покориться, но не такъ вышло по *планамъ Провидѣнія* Царя небеснаго. Здѣсь Магницкій съ ловкою лестью рисуеъ ту смиренную роль, которую принялъ на себя императоръ Александръ, называемый имъ крестнымъ рыцаремъ, заключившимъ свои подвиги вѣчнымъ союзомъ царей. „Но не одна война составляетъ борьбу царства тьмы съ царствомъ свѣта. Князь міра сего и идолопоклонствомъ, и развращеніемъ нравовъ, и *философіею* на распространеніе своего владычества дѣйствуетъ... Князь тьмы не дремлетъ и нынѣ“... Но „великій ратоборецъ царства свѣта, вложивъ обвитый лаврами мечъ въ ножны, воетъ мечемъ слова Божія, т. е. примѣромъ благочестія и распространеніемъ благовѣстія книгъ священныхъ“¹⁾. Таковъ былъ взглядъ Магницкаго на дѣятельность

¹⁾ Вѣстн. Евр. 1868 г. IX, стр. 288—293.

библейскаго общества. Это была борьба съ разумомъ, т.-е. съ княземъ тьмы, на которую онъ призывалъ членовъ, и, конечно, взглядъ этотъ долженъ былъ прійтись по вкусу мистиковъ, заправлявшихъ дѣломъ библейскаго общества и также ненавидѣвшихъ разумъ. Очевидно, Магницкій вполне вникалъ въ ихъ планы и намѣренія; онъ даже умѣлъ усвоить себѣ ихъ темный вычурный языкъ и долженъ былъ быть принятъ ими съ открытыми объятіями. Борьба съ просвѣщеніемъ сдѣлалась великимъ словомъ того времени, и тѣ же самыя рѣчи говорилъ митрополитъ московскій Серафимъ въ засѣданіи московскаго отдѣла библейскаго общества.

Замѣчательно обстоятельство, выставленное г. Поповымъ въ статьѣ его о Казанскомъ обществѣ любителей отечественной словесности, гдѣ говорится и о Магницкомъ¹⁾, что только въ одномъ симбирскомъ отдѣлѣ библейскаго общества нашелся *неизвѣстный* членъ, который желалъ дѣйствія общества, состояща въ сѣяніи слова Божія, распространить и на очищеніе нивы Господней отъ камней и волчцовъ. Подъ послѣдними разумѣлись безбожныя книги, обращающіяся въ продажѣ. Онъ собралъ нѣсколько подобныхъ книгъ, главнымъ образомъ переводовъ произведеній французской литературы, и представилъ ихъ въ общество для истребленія, высказывая мысль, что весьма будетъ полезно подобную истребляющую дѣятельность возложить на каждого члена библейскаго общества. Эта мысль была одобрена симбирскимъ отдѣломъ и названа благонамѣренною; онъ просилъ привести въ дѣйствіе эту инквизиціонную мѣру, но князь Голицынъ, какъ президентъ библейскаго общества, справедливо отвѣтилъ чрезъ газеты, какъ просилъ о томъ неизвѣстный, что подобное истребленіе книгъ не входитъ въ кругъ дѣйствія библейскаго общества и что всякій можетъ самъ распоряжаться своею собственностью и истреблять книги, если захочетъ. Очень можетъ быть, что этотъ неизвѣстный членъ былъ самъ Магницкій, который впоследствии не разъ приводилъ въ исполненіе подобныя инквизиціонныя мѣры противъ книгъ.

Какъ бы то ни было, рѣчь его произвела большое впечатлѣніе. Такихъ людей искали во время реакціи и Магницкій, если вѣрить словамъ его, былъ сдѣланъ членомъ главнаго правленія училищъ по собственному вызову императора²⁾.

¹⁾ Русск. Вѣстн. 1859 г. IX стр. 79 и слѣд.

²⁾ XIX вѣкъ I, стр. 241.

ЛЕКЦІЯ XXVI.

Магницкій. Преобразование Казанскаго университета.

Ревизія Казанскаго университета, представляющая исторіку нашего просвѣщенія превосходную характеристику взглядовъ высшаго правительства на просвѣщеніе и вообще умственную жизнь страны, была первымъ шагомъ Магницкаго въ новой его службѣ. Это было въ началѣ 1819 года и князь Голицынъ поручилъ эту ревизію произвести Магницкому уже какъ члену главнаго правленія училищъ. Министръ, говорилось въ инструкціи, получилъ самыя неблагопріятныя свѣдѣнія о Казанскомъ университетѣ и потому поручалъ Магницкому подробно разсмотрѣть его въ отношеніи учебномъ и хозяйственномъ. Магницкому поручалось ни болѣе ни менѣе, какъ рѣшить вопросъ: можетъ ли Казанскій университетъ существовать съ пользою на будущее время или слѣдуетъ его совершенно упразднить, и въ такомъ случаѣ Магницкому предписывалось представить соображенія о томъ, какимъ способомъ должны управляться учебныя заведенія Казанскаго округа, такъ какъ управление ихъ зависѣло отъ университета. Ревизору давались обширныя права и полномочія; видно, что князь Голицынъ уже совершенно вѣрилъся новому своему подчиненному, да по всей вѣроятности и самыя неблагопріятныя свѣдѣнія о Казанскомъ университетѣ были доставлены министру самимъ Магницкимъ, къ которому, за время его губернаторства въ Симбирскѣ, доходили и рассказы и сплетни о Казанскомъ университетѣ. Онъ до ревизіи составилъ уже свое опредѣленное мнѣніе объ университетѣ. Эта ревизія произведена была очень быстро. Предписаніе министра дано было 10 февраля 1819 года, а уже 9 апрѣля того же года Магницкій представилъ въ Петербургѣ подробное донесеніе о состояніи осматрѣннаго имъ заведенія. Едва ли въ такой короткій промежутокъ времени можно было сдѣлать не только подробное, но и поверхностное обзорѣніе университета и потому становится яснымъ, что Магницкій дѣйствовалъ по готовому плану и пріѣхалъ съ готовою идеею.

Намъ нѣтъ надобности входить въ подробности того, что представилъ Магницкій министру о Казанскомъ университетѣ послѣ его ревизіи. Намъ должны интересовать общіе взгляды ревизора на университетъ и общій характеръ этой ревизіи. Замѣтимъ между прочимъ, что въ то время Казань представляла изъ себя глухое захолустье. Университетъ же былъ такое учрежденіе, которымъ весьма мало интересовалось общество, едва ли нуждавшееся въ немъ серьезно; о

характеръ науки того времени мы уже говорили; литературная дѣятельность была самая ничтожная; большинство профессоръ пошло скорѣе на чиновниковъ, исполняющихъ возложенную на нихъ обязанность, а не на людей, искренно преданныхъ дѣлу науки; ихъ интересы были больше мелкіе, личные и заключались въ заботахъ о матеріальныхъ благахъ; пылъ молодыхъ слушателей университета уходилъ больше въ свойственныя молодости увлеченія, а не въ занятія наукой или въ вопросы общественныя; всѣ ихъ стремленія направлены были къ полученію диплома—все равно, какими бы средствами ни получить его: на службѣ того времени его было совершенно достаточно, потому что преподаваемая въ университетѣ наука находила ничтожное примѣненіе къ дѣйствительности. Въ этомъ мірѣ патріархальныхъ, чисто чиновничьихъ отношеній съ чиновничьимъ раболѣпствомъ характеровъ ревизія Магницкаго грянула какъ громъ. Надобно вообразить себѣ провинцію того времени, чтобъ понять общее впечатлѣніе, произведенное этою ревизіею; впечатлѣніе осталось въ умахъ надолго; еще до сихъ поръ не умерли нѣкоторые свидѣтели.

Положеніе университета изображено было въ отчетѣ Магницкаго самыми мрачными красками. Преподаваніе было въ самомъ жалкомъ положеніи; въ дѣлахъ хозяйственныхъ—безпорядокъ и произволь; въ отношеніи къ студентамъ господствовала система протекцій и взятокъ; кафедре богословія не замѣщена въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Сдѣлавъ самыя невыгодныя характеристики почти всѣхъ профессоръ университета, Магницкій особенно долго останавливался на нравственномъ исправленіи студентовъ, и здѣсь явдался въ столь любимыя имъ общія разсужденія, соответствовавшія взгляду министра. Онъ увѣрялъ, что студенты не знаютъ сколько заповѣдей, что значить слово евангеліе, и при этомъ присовокуплялъ, что онъ выбросилъ изъ студенческой бібліотеки, составленной инспекторомъ, сочиненія Вольтера. Недостаткомъ религіознаго образованія студентовъ Магницкій въ особенности упрекалъ совѣтъ университета.

„Какимъ образомъ, спрашивалъ онъ съ своею обычною напыщенностію рѣчи, могъ студентъ, не имѣющій достаточнаго понятія о заповѣдяхъ, быть студентомъ? Какимъ образомъ гг. экзаменаторы пропустили въ святилище наукъ людей, не знающихъ краткаго катихизиса? Развѣ забыли они, что почти вчера, недалеко (?) отъ сего самаго университета, пылали дома и храмы столицы нашей (т. е. Москвы), зажженные пламенникомъ такъ называемаго просвѣщенія? Развѣ забыли, что сей самый городъ (т. е. Казань) недавно еще затѣсенъ былъ несчастными жертвами безбожія образованнѣйшаго народа? Время уже вникнуть въ цѣль правительства, которое хочетъ,

и хочеть непреоборимо, положить *единымъ* основаніемъ народнаго просвѣщенія—*благочестіе*. Время стать на ряду съ просвѣщеннѣйшими народами, кои не стыдятся уже свѣта откровенія... Начальство требуетъ военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ благочестивыхъ; ученость же, безъ вѣры въ Бога откровеннаго, не токмо не нужна ему, но и почитается имъ вредною¹⁾. Достоинство Магницкаго заключалось въ томъ по крайней мѣрѣ, что онъ выражался ясно; въ этомъ случаѣ профессора легко могли понять, чего отъ нихъ требовали. Преподаваніе, по словамъ отчета, пропитано было опаснымъ духомъ, въ примѣръ котораго Магницкій представлялъ разборъ рѣчи (1817 г.) Срезневскаго „О разныхъ системахъ правоученія“.

Представивъ самые неблагоприятные отзывы о Казанскомъ университетѣ, послѣ подробнаго указанія злоупотребленій во всѣхъ частяхъ его, Магницкій доказываетъ, что онъ „причинилъ очевидный вредъ не только отъ себя непосредственно, но и въ обширномъ округѣ“, и приходитъ къ заключенію, что этотъ университетъ „по непреодолимой справедливости и по всей строгости правъ, подлежитъ уничтоженію“²⁾. Магницкій предлагаетъ два рода этого уничтоженія: или приостановленіе университета или публичное его разрушеніе. По своей деспотической натурѣ, Магницкій былъ на сторонѣ второго способа и доказывалъ, что первый способъ возбудить только клеветы европейскихъ ученыхъ и что можно статьями устава доказать, что университетъ злоупотребилъ права ему дарованныя, и потому актъ разрушенія не встрѣтитъ ни въ комъ противорѣчія. „Все честное и благомыслящее изъ современниковъ и потомства, говоритъ онъ, будетъ на сторонѣ правительства. Актъ объ уничтоженіи университета тѣмъ естественнѣе покажется нынѣ, что безъ всякаго сомнѣнія всѣ правительства обратятъ особенное вниманіе на общую систему ихъ учебнаго просвѣщенія, которое, сбросивъ скромное покрывало философіи, стоитъ уже посрединѣ Европы съ поднятымъ кинжаломъ“³⁾! Эти запугивающія рѣчи были слѣдствіемъ европейской реакціи и шли къ намъ по прямому пути отъ перваго австрійскаго министра. Въ запискѣ о своей жизни Магницкій говоритъ, что мнѣніе его о совершенномъ уничтоженіи Казанскаго университета раздѣлялъ и министръ, что весьма возможно, ибо въ противномъ случаѣ Магницкій самъ не высказывался бы такъ открыто и торжественно. Но тѣмъ не менѣе докладъ его разсматривался въ главномъ правленіи училищъ. Сильный и благородный отпоръ докладъ этотъ встрѣтилъ въ

¹⁾ Оеоктисовъ. Магницкій, стр. 41.

²⁾ Ibidem, стр. 48.

³⁾ Ibidem, стр. 49.

миѣніи тогдашняго попечителя петербургскаго округа Уварова, съ личностію и направленіемъ образованія котораго мы отчасти знакомы. Этотъ другъ Штейна и лучшихъ образованнѣйшихъ и благороднѣйшихъ людей нашего малочисленнаго общества смотрѣлъ на вопросъ, предложенный на разрѣшеніе Магницкимъ, съ высшей, государственной точки зрѣнія и съ тою любовію къ наукѣ и образованію, которая всегда отличала его. Ему дорого было просвѣщеніе при началѣ его введенія въ Россію, просвѣщеніе, не успѣвшее еще пустить корни въ почву. Съ энергіею возстаетъ онъ противъ мысли Магницкаго — видѣтъ въ университетѣ школу деизма и безнравственности. „Обвиненія, объемяющія цѣлыя страны, говоритъ онъ, равно ничтожны по своему пространству, коль скоро нельзя доказать существованіе умышеннаго заговора, въ коемъ участвовали цѣлыя сословія или цѣлыя народы ¹⁾. Уваровъ весьма умно указалъ и на поверхностность приговоровъ Магницкаго при слишкомъ короткомъ срокѣ ревизіи, и на противорѣчія, заключающіяся въ самомъ докладѣ, и на крикъ раздраженной страсти противъ европейскаго просвѣщенія, которое Магницкій изображалъ съ кинжаломъ въ рукѣ, въ образѣ студента Занда. Уваровъ говорилъ, что онъ даже не имѣетъ въ виду убѣдить другихъ, но что „въ дѣлахъ столь сложныхъ и не обыкновенныхъ довольно того, чтобы спасти *свою* совѣсть и *свой собственный* разсудокъ“ ²⁾. Рѣшительный приговоръ объ уничтоженіи или преобразованіи Казанскаго университета могла сдѣлать только Высочайшая власть. Императоръ Александръ остановился на преобразованіи и главному правленію училищъ поручено было войти въ соображеніе мѣръ этого преобразованія, причемъ утверждались всѣ послѣдствія ревизіи Магницкаго, какъ относительно увольненія профессоровъ въ отставку и замѣненія ихъ другими, такъ и относительно другихъ его представленій, напр. относительно назначенія, рядомъ съ ректоромъ, новаго главнаго университетскаго чиновника съ значительнымъ кругомъ власти, подъ именемъ директора университета. Самъ ревизоръ сдѣланъ былъ въ томъ же году попечителемъ Казанскаго учебнаго округа по личному желанію государя. Справедливо или нѣтъ, но Магницкій рассказываетъ, что при личномъ докладѣ его Александру о состояніи Казанскаго университета „онъ имѣлъ счастье рыдать въ объятіяхъ сего ангела Божія“ и что императоръ потребовалъ отъ него принять должность попечителя съ неограниченнымъ полномочіемъ ³⁾. Такимъ образомъ, если крутая и радикальная мѣра Магницкаго по отношенію къ Казанскому университету и не была

¹⁾ Ibidem, стр. 58.

²⁾ Ibid., стр. 60—61.

³⁾ XIX вѣкъ, I стр. 238.

приведена въ исполненіе, то это случилось, вѣроятно, въ той надеждѣ, что преобразованный руками новаго попечителя, онъ сдѣлается скоро достойнымъ своей цѣли и назначенія.

Управленіе Казанскаго университета Магницкимъ представляетъ намъ вполнѣ образчикъ той системы, которая господствовала тогда въ министерствѣ народнаго просвѣщенія. Магницкій ревностно принялся за порученное ему дѣло. „Желая оправдать довѣренность Его Величества, я принялся за основательное изученіе новой моей службы, говорить онъ въ ретроспективномъ взглядѣ на свою жизнь, написанномъ имъ въ позднѣйшіе годы: купилъ для себя, дорогую по состоянію моему, бібліотеку и заперся на три года въ моемъ кабинетѣ, а въ засѣданіяхъ Правленія, оградивъ себя совершеннымъ молчаніемъ, изучался ходу дѣлъ и направленію мнѣній моихъ сочленовъ“¹⁾. Такимъ образомъ, по словамъ его, онъ выработалъ себѣ „полную систему истинъ о просвѣщеніи“. Просвѣщеніе, говоритъ онъ, понимается весьма различно, но для него существуетъ только просвѣщеніе *въ государственномъ смыслѣ*. Онъ не отрицаетъ ни одной науки съ новѣйшими ихъ открытіями и лучшими методами преподаванія, но требуетъ, чтобъ просвѣщеніе было ввѣрено *надежному по его нравственности* сословію ученыхъ, чтобъ оно распределяемо было подѣ *дѣйствительнымъ надзоромъ* согласно съ религіей, съ образомъ правительства, разнымъ классамъ гражданъ, въ *нужной* для каждаго изъ нихъ мѣрѣ. Науки дѣлитъ онъ на положительныя и мечтательныя. *Лжеименнымъ* просвѣщеніемъ называетъ онъ то, когда мечтательныя науки, т.-е. философскія (съ подраздѣленіемъ ихъ на нравственныя и политическія) портятъ положительныя, напр., теоріи геологіи или теоріи о происхожденіи властей отъ договора. Кроме того, Магницкій доказываетъ, что Россія есть совершенно отличная отъ другихъ во всѣхъ отношеніяхъ страна, — слѣдовательно, и просвѣщеніе въ ней должно отличаться особыми свойствами. Мы приняли чужое просвѣщеніе, не *обсудивъ* его, и приняли его въ началѣ XVIII вѣка, т. е. во время его опасной заразы. Въ счастію это чужое ядовитое растеніе вредитъ у насъ медленно, ибо растеть худо: равнодушіе къ нему управляющихъ и національная лѣнь нашихъ ученыхъ остановили его на одной точкѣ²⁾. Такова была *государственная* теорія Магницкаго относительно просвѣщенія, которое онъ забиралъ тогда въ свои руки. Онъ располагалъ эти планы свои распространить и на всѣ прочіе университеты: вѣроятно, онъ мечталъ со временемъ стать во главѣ просвѣщенія всей страны. Существуетъ даже извѣстіе, что

¹⁾ Ibid., стр. 242.

²⁾ Ibid., стр. 242—243.

въ архивахъ находится проектъ Магницкаго, касающійся всей системы государственнаго управленія, строго основанный на выработанныхъ имъ началахъ; къ цѣлому государству примѣнялась система управленія Казанскимъ университетомъ¹⁾. Къ счастью для нашего отечества у Магницкаго хотя и нашлось много помощниковъ, но большая часть ихъ были люди неумѣлые, раболѣпные до тупости, только исполнители его предначертаній. Ихъ ревность не по разуму довела систему Магницкаго до того, что въ логикѣ называется *absurdum*, до крайнихъ и нелѣпныхъ выводовъ, а примѣненіе ея къ дѣйствительности выказало всю фальшь основаній.

Реформа Казанскаго университета, задуманная и приведенная въ исполненіе Магницкимъ, не имѣла подъ собою никакихъ дѣйствительныхъ основаній; она была плодомъ европейской реакціи, отраженіемъ общихъ мыслей, господствовавшихъ въ умахъ государей и министровъ того времени относительно нѣмецкихъ университетовъ, представлявшихъ собою, какъ говорила реакція, посреди новой жизни средне-вѣковья развалины и заподозрѣнныхъ въ анти-религіозномъ и революціонномъ движеніи. Если повѣрить Сперанскому и считать Магницкаго человѣкомъ искреннимъ, то и въ этомъ дѣлѣ онъ является Донъ-Кихотомъ, сражающимся съ призраками воображенія; но есть множество основаній думать, что онъ хотѣлъ поддѣлаться подъ тогдашнее настроеніе власти и выиграть лично для себя. Преобразование Казанскаго университета представляетъ намъ, говоря словами преобразователей, борьбу съ „пагубнымъ духомъ вольнодумства и своеволіа“, который будто бы проникъ въ стѣны этого университета, похожаго на корабль безъ кормила. Ректоръ университета Никольскій, которому особенно благоволилъ Магницкій, въ своемъ отчетѣ о состояніи Казанскаго университета за 1821 г., какъ очевидецъ прежняго, сознавался, что „дымъ кладезя бездны и надменные волны жемудрія, отъ которыхъ всѣ вещи двинулись съ мѣстъ своихъ, коснулись и нашего университета“²⁾. Онъ былъ близокъ къ паденію, но къ счастью, по волѣ Божіей, его ожидало преобразование, новая жизнь подъ управленіемъ „истиннаго сына церкви и отечества“³⁾. Дѣйствія Магницкаго спасли университетъ, „вызвали его изъ небытія къ бытію, изъ неустройства къ новому порядку; возсіалъ надъ нимъ свѣтъ истинный, просвѣщающій всякаго человѣка грядущаго въ міръ, возсіалъ надъ нимъ свѣтъ Христовъ, и тьма удалилась съ обманчивыми своими огнями“⁴⁾. Такъ говорили льстецы и клеветы Магницкаго на мисти-

¹⁾ Вѣстн. Евр. 1868 г. IX, стр. 292.

²⁾ Теохтистовъ. Магницкій, стр. 65.

³⁾ Ibid., стр. 66.

⁴⁾ Казанскій, Вѣстникъ 1821 г. I, стр. 6.

ческомъ языкѣ того времени. Посмотримъ, въ чемъ дѣйствительно состояло это преобразование университета.

Магницкій большую часть времени своего попечительства не жилъ въ Казани, а управлялъ университетомъ изъ Петербурга. Это объяснял онъ, какъ мы видѣли, необходимостью уединенной работы въ кабинетѣ, чтобъ достойно нести свое званіе. Другіе, напротивъ, жизнь его въ Петербургѣ справедливо объясняли нежеланіемъ удалиться отъ источника власти. Черезъ полгода по его назначеніи попечителемъ, присланы имъ были для исполненія въ университетъ утвержденныя министромъ, а имъ составленныя „Инструкціи директору и ректору Казанскаго университета“. Эти знаменитыя инструкціи, о которыхъ было такъ много писано, заключаютъ въ себѣ всю систему преобразования и развитіе общихъ началъ Магницкаго.

Управление всего университета было раздѣлено между двумя чиновниками: директоромъ и ректоромъ, и для каждаго изъ нихъ составлена была особая инструкция. На обязанности перваго лежало хозяйственное и полицейское управление университета и нравственное образованіе студентовъ; ректоръ же долженъ былъ слѣдить за духомъ преподаванія, за христіанскимъ благочестіемъ и поведеніемъ профессоровъ въ университетѣ и внѣ его стѣнъ. Самая важная часть инструкцій относилась къ нравственности студентовъ и къ духу преподаванія. Университетъ обращался въ воспитательное заведеніе и долженъ былъ не только сообщать научныя свѣдѣнія студентамъ, но воздѣлывать ихъ волю, ихъ совѣсть, ихъ нравы и наружное обращеніе. Главная добродѣтель ихъ должна состоять въ *покорности* и послушаніи. Директоръ долженъ былъ „непремѣнно наблюдать, чтобы уроки религіи о любви и покорности были исполняемы на самомъ дѣлѣ, чтобы воспитанники университета постоянно видѣли вокругъ себя примѣры *строжайшаго чиновочитанія* со стороны учителей и надзирателей, и чтобы малѣйшее нарушеніе онаго всегда было наказываемо, не взирая на званіе лицъ“. Директоръ въ особенности долженъ былъ наблюдать, чтобъ студентамъ внушено было „почтеніе и любовь къ святому евангельскому ученію“, чтобы „духъ вольнодумства ни открыто, ни скрытно не могъ ослаблять ученія церкви въ преподаваніи наукъ историческихъ, философскихъ или литературы“¹⁾. Поэтому и директору вмѣнялось въ обязанность слѣдить за направленіемъ преподаванія, разсматривать тетради студентовъ, не пропускать ничего противнаго цензурѣ и наблюдать, чтобы чиновники университета исполняли свои христіанскія обязанности въ разсужденіи обычнаго посѣщенія храмовъ и употребленія таинствъ. Но больше всего требовалось

¹⁾ Сборникъ постановленій по Мин. Нар. Просв. т. I, стр. 1203.

исполненіе этихъ христіанскихъ обязанностей отъ студентовъ. Университетъ принималъ монастырскій порядокъ. Всѣ студенты ежедневно, съ инспекторомъ во главѣ, въ положенное время отправляли должныя молитвы; наблюдалось, чтобъ въ праздники они непременно посѣщали церковныя службы; ихъ приучали къ дѣламъ милосердія и, что главное, студентовъ, отличавшихся христіанскими добродѣтелями, начальство принимало въ особое покровительство по службѣ и доставляло имъ всевозможныя въ ней преимущества. Широкій, мелочной и бдительный надзоръ былъ поставленъ надъ поведеніемъ студентовъ. Вся жизнь ихъ, начиная съ предметовъ разговора съ товарищами, должна быть вполнѣ извѣстна власти.

Ректоръ долженъ былъ наблюдать за учебною частію, т. е. за преподаваніемъ наукъ, и въ инструкціи подробно говорилось, какой характеръ должно носить послѣднее. Тутъ мы видимъ главныя духовныя стремленія того времени и любимыя тенденціи Магницкаго. Объ успѣхахъ преподаванія согласно научному уровню Европы говорится вскользь; но „всего важнѣе для правительства, чтобы воспитаніе его народа стояло на твердомъ основаніи христіанской религіи, чтобы вредный духъ времени, всеразрушающій духъ вольнодумства не проникнулъ въ тѣ священныя убожища, гдѣ воспитаніемъ настоящаго юношества обезпечиться должно счастье будущихъ поколѣній“¹⁾. Инструкціи именно и представляютъ собою борьбу съ этимъ духомъ. Отъ преподавателей требовались преимущественно добрая нравственность и христіанское благочестіе. Въ преподаваніи всѣхъ наукъ долженъ быть одинъ духъ Св. Евангелія. Онъ одинъ есть начало всѣхъ частныхъ и гражданскихъ добродѣтелей. Крайне опасно было бы для университета, если бы студенты, изученные закону Божию въ классѣ онаго, слышали въ другихъ преступныя внушенія вольнодумства.

Съ этой общей точки зрѣнія излагалась въ инструкціи программа всѣхъ преподаваемыхъ въ университетѣ наукъ, т. е. тотъ духъ и то направленіе, въ которыхъ онѣ, по волѣ начальства, должны быть излагаемы. Всякому ясно, въ какомъ духѣ должно быть это преподаваніе и намъ нѣтъ надобности входить въ подробности инструкціи по этому предмету. Болѣе всего вниманіе обращено было на преподаваніе наукъ богословскихъ. Но и всѣ прочія науки университетскаго преподаванія дѣлались, какъ это было въ пору средневѣковой схоластики, только служанками богословія — *ancillae theologiae*. Въ основаніе преподаванія философіи ставились слова посланій апостола Павла къ Колоссянамъ и къ Тимоѳею, гдѣ говорится о ничтожествѣ

¹⁾ Ibidem, стр. 1207.

злоименнаго разума передъ вѣрою ¹⁾). Слова эти, написанныя золотыми буквами на большихъ черныхъ доскахъ, висѣли надъ каждою кафедрою. Преподаватели политическихъ наукъ должны брать основаніе для своей науки изъ Моисея, Давида, Соломона, отчасти изъ Платона и Аристотеля (какъ язычникамъ, инструкціи мало довѣряли имъ); но они обязаны были съ отвращеніемъ указывать на правила Макиавеля и Гоббса. Профессоръ физики обязанъ во все продолженіе курса своего указывать на премудрость Божию и ограниченность нашихъ чувствъ и орудій для познанія непрестанно окружающихъ насъ чудесъ; профессоръ естественной исторіи покажетъ, что обширное царство природы, какъ ни представляется оно премудро и въ своемъ цѣломъ для насъ непостижимо, есть только слабый отпечатокъ того высшаго порядка, которому, послѣ кратковременной жизни, мы предопредѣлены; профессоръ астрономіи укажетъ на тверди небесной пламенными буквами начертанную премудрость Творца и дивные законы тѣлъ небесныхъ, откровенные роду человѣческому въ отдаленнѣйшей древности. Та же общая мысль проводилась и въ факультетѣ медицинскомъ; инструкціи старались изгнать изъ преподаванія въ немъ гибельный матеріализмъ. Студентамъ должно быть внушено, что Святое Писаніе нераздѣльно полагаетъ искусство врачеванія съ благочестіемъ. Факультетъ словесныхъ наукъ еще болѣе другихъ подчинялся гнету общей системы Магницкаго. Главнымъ занятіемъ, на примѣръ, профессора *русской словесности* должны быть красоты языка словянскаго и критическій разборъ священныя писателей. Темы для сочиненій должны быть задаваемы изъ отечественной или священной исторіи. Образцовыми авторами въ инструкціи признаются: Ломоносовъ, Державинъ, Богдановичъ и Хемницеръ. Профессоръ долженъ предостерегать своихъ слушателей отъ повизны моднаго слога. Профессоръ древнихъ языковъ, показывая красоты языческихъ писателей, обязанъ въ то же время показать и превосходства тѣхъ святыхъ мужей, коихъ вольнодумство вѣка нашего, не смотря на отличный геній ихъ, исключило изъ образцовыхъ потому только, что они христіане и святые: Іоанна Златоустаго, Григорія Назіанзина, святыхъ Василія и Афанасія. Въ преподаваніи языковъ восточныхъ обращалось также вниманіе на то, чтобъ профессоръ не останавливался долго на ученіи Магомета и излагалъ его больше въ обличительномъ смыслѣ. Инструкція занялась особенно преподаваніемъ *исторіи*. Профессоръ не долженъ вдаваться въ излишнія подробности баснословія. Священная исторія должна занять какъ бы центръ. Кромѣ ея, древнѣе основанія Рима нѣтъ ничего положительнаго.

¹⁾ Посл. къ Колоссянамъ, II, 8. Посл. къ Тимоѳею, первое, IV, 1 и VI, 3, 4, 20, 21. Посл. къ Тимоѳею, второе, IV, 3, 4.

Послѣ Рождества Христова профессоръ долженъ занять своихъ слушателей преимущественно христіанскими древностями, дабы показать, что христіане имѣли всѣ добродѣтели азычниковъ въ несравненно высочайшей степени и многія совершенно имъ неизвѣстныя. Профессоръ изъяснить мудрость и твердость мучениковъ, терпѣніе и ангельскую чистоту отшельниковъ, покажетъ, что первые вѣка христіанства наиболѣе обиловали великими и святыми мужами, изъяснить подробно нравы христіанъ первыхъ вѣковъ и образъ ихъ жизни, докажетъ, что величіе и добродѣтель азычника есть только высшая ступень человѣческой гордости и ничто передъ величіемъ христіанскимъ. Въ паденіи римской имперіи профессоръ покажетъ, какъ тщетны и ничтожны предъ Богомъ величіе имперій и ихъ могущество и что дикіе народы, разрушившіе ее, были орудіемъ руки Божіей. Новѣйшая исторія должна быть преподана кратко. Въ русской исторіи профессоръ докажетъ, что Россія предупредила европейскія государства своимъ развитіемъ и докажетъ это распоряженіями по части учебной и духовной Владимира Мономаха. Затѣмъ, долѣ всего онъ долженъ остановиться на исторіи дома Романовыхъ ¹⁾.

Таково было содержаніе знаменитыхъ инструкцій Магницкаго. Это было его собственное, вѣроятно долго обдуманное созданіе, но къ несчастію оно получило одобреніе правительства и тяжелую пробу примѣненія этихъ инструкцій пришлось выдержать Казанскому университету. Надобно вспомнить общественныя условія того времени, характеръ тогдашней провинціи, деспотическую власть попечителя и раболѣпство профессоровъ, чтобъ представить себѣ ту печальную, ту глупую картину, какую представлялъ изъ себя университетъ, подвергшійся преобразованію. Несмотря на громкія фразы инструкцій, науки, о которой въ нихъ такъ много говорилось, не существовало; отъ нея отнималась всякая тѣнь свободы, и ученый не могъ думать объ ея истинахъ, ему приходилось думать о томъ, какъ примѣнить ее къ настоящему, какъ поддѣлаться подъ начальство. Весьма естественно предполагать, что незначительное меньшинство нашего образованнаго общества встрѣтило неблагоприятными отзывами инструкціи; но общественному мнѣнію высказаться было невозможно и инструкціи безусловно примѣнялись; Магницкій самовластно измѣнялъ ихъ и усиливалъ ихъ значеніе. Мало того: дѣйствіе ихъ было распространяемо на другіе университеты. Главное правленіе училищъ не оспаривало ихъ общаго основанія, а одинъ изъ членовъ его Руничъ, въ послѣдствіи попечитель Петербургскаго, университета, читалъ имъ въ засѣданіи восторженные панегирики, называя ихъ спасительными, и требовалъ распространить ихъ

¹⁾ Сборн. постановленій по Мин. Нар. Пр., т. I, стр. 1199—1220.

на другіе университеты, отнявъ у послѣднихъ всѣ ихъ права и преимущества. Впослѣдствіи инструкціи введены были въ Петербургскій университетъ и ректоръ Казанскаго — Никольскій торжественно поздравлялъ петербургскаго съ этимъ счастіемъ ¹⁾. Съ чрезвычайною торжественностію и напыщенностію говорилось въ рѣчахъ и отчетахъ, писанныхъ Магницкимъ и его клеветами, о дѣйствиіи инструкцій и о новомъ видѣ, какой принялъ университетъ подъ ихъ вліяніемъ. Но это и было именно то лицемѣріе, которое невольно возбуждалось самою системою. Эти господа вовсе не то чувствовали, что говорили въ своихъ кудрявыхъ, пересыпанныхъ библейскими выраженіями фразахъ. Стоитъ только прочесть небольшой рассказъ Лажечникова: „Какъ я зналъ Магницкаго“ ²⁾, чтобы понять, до какой степени доходило это лицемѣріе и въ чемъ состояло блистательное обновленіе Казанскаго университета, изъ котораго хотѣли сдѣлать образецъ для подражанія, представивъ полную систему высшаго образованія согласно политикѣ Священнаго Союза, гдѣ главное значеніе получили не науки въ ихъ свободномъ развитіи, а смиренно-мудріе, терпѣніе и любовь, по словамъ тѣхъ же ораторовъ.

ЛЕКЦІЯ XXVII.

Положеніе университетовъ во время реакціи.

Какъ ни ничтожно было значеніе Казанскаго университета до времени управленія его Магницкимъ, все же существованіе его приносило извѣстнаго рода пользу; обвиненія, взведенныя на него Магницкимъ, были конечно преувеличены; университетъ приносился въ жертву тогдашнему обскурантизму и реакціонному направленію власти. Черезъ шесть лѣтъ управленія Магницкимъ, университетъ нельзя было узнать. Дѣйствительно произведено было преобразование—радикальный переворотъ, но самаго печальнаго свойства. Борьба съ волюнтаризмомъ, большею частью не дѣйствительнымъ, а воображаемымъ, происходила здѣсь на каждомъ шагѣ, принимая мелкій и часто смѣшной характеръ. Преслѣдованію Магницкаго подверглась бібліотека Казанскаго университета; хотя онъ и не *истребилъ* въ ней книгъ съ вреднымъ направленіемъ, какъ это утверждаетъ Θεоктистовъ ³⁾, но для чтенія они никому не выдавались. Все сколько нибудь самостоятельное въ университетѣ, что не вполне преклонялось предъ

¹⁾ Русск. Архивъ, 1871 г., стр. 0260.

²⁾ Русск. Вѣстн. 1866 г., стр. 121—146.

³⁾ Θεоктистовъ. Магницкій, стр. 85.

его самовластіемъ, онъ гналъ безпощадно; въ сожалѣнію, самостоятельность эта была самая ничтожная; все остальное раболѣпно преклонялось предъ гнетомъ. Чтобъ показать передъ властію благотворное дѣйствіе своихъ реформъ въ Казанскомъ университетѣ, Магницкій старался представить въ самомъ черномъ видѣ все его прошлое; но когда приходилось говорить о настоящемъ, онъ не скупился на похвалы себѣ и изображалъ университетъ въ образѣ какого-то счастливаго ариадскаго семейства. Между тѣмъ, стоитъ только познакомиться съ монастырскою дисциплиною, придуманною имъ и директоромъ для студентовъ, съ инквизиціонными мѣрами исправленія ихъ и преслѣдованія за проступки, гдѣ напр., принимали за устрашающую мѣру увѣщанія духовника и изображенія Страшнаго Суда, чтобъ понять, что университетъ вовсе не былъ счастливою общиною, какъ изображалъ его Магницкій, а скорѣе чѣмъ то въ родѣ монастыря со всѣми его пороками и недостатками.

Инквизиціонная система развивала между студентами духъ притворнаго ханжества, лицемерія и обмана; дѣятельнымъ благочестіемъ и земными поклонами хотѣли выиграть благорасположеніе начальства, а съ нимъ и успѣхи по службѣ, а между тѣмъ никогда, говорятъ, нравы студенческіе не были распущеннѣе, какъ въ это печальное время.

Соотвѣтственно паденію общества студентовъ, грустную въ нравственномъ отношеніи картину представляли и преподаватели. Достоинство профессора цѣнилось не его научными заслугами, а образомъ его мыслей и благочестивымъ направленіемъ. Лицемеріе и желаніе поддѣлаться подъ начальство являлись сами собою. Выше всего въ университетѣ стоялъ, разумѣется, профессоръ богословія, потому что только за успѣхи въ богословіи давались золотыя и серебряныя медали, хотя бы не было вовсе успѣховъ въ другихъ предметахъ.

Только во время Магницкаго и подъ гнетомъ его „инструкцій“ мы видимъ странное и нигдѣ не повторявшееся зрѣлище: профессора, читающаго собственную свою науку въ обличительномъ смыслѣ, какъ это дѣлалъ казанскій профессоръ Городчаниновъ въ своемъ руководствѣ: „Изложеніе христіанской системы естественнаго права“. Въ противность устава, по волѣ Магницкаго въ 1823 году основана была въ Казанскомъ университетѣ новая каеэдра конституцій—англійской, французской и польской „съ обличительною цѣлью“; когда впоследствии уже при паденіи Магницкаго, новый ревизоръ университета генералъ Желтухинъ писалъ объ этомъ обличителѣ конституцій, что онъ не имѣетъ никакихъ понятій о государственномъ правѣ и вообще обнаруживаетъ глубокое невѣжество въ своемъ предметѣ, Магницкій съ своей стороны замѣтилъ, что лучше бы г. ревизору убѣдиться, „въ ка-

комъ духѣ предметы сіи преподаются, ибо въ томъ только и важность“¹⁾).

Естественно, что при такомъ взглядѣ на науку необходимо было заимствовать благосклонность начальства. Плохому преподавателю изъ лютеранъ, котораго Магницкій самъ аттестовалъ сначала какъ круглаго невѣжду, стоило только перейти въ православную вѣру и онъ вдругъ, на глазахъ у начальства, дѣлался чуть не гениемъ, особенно, если воспріимникомъ его былъ самъ попечитель. Общество профессоръ, ихъ взаимныя отношенія и ихъ отношенія къ власти попечителя представляли множество грустныхъ безнравственныхъ явленій. Какое уваженіе къ наукѣ можно было требовать отъ нихъ, если, напр., профессоръ математики, объясняя свой предметъ, такъ говорилъ о треугольничѣ: „Гипотенуза въ прямоугольномъ треугольничѣ есть символъ срѣтенія правды и мира, правосудія и любви, чрезъ ходатая Бога и человѣковъ, соединившаго горнее съ дольнимъ, небесное съ земнымъ“²⁾ или, если профессоръ анатоміи говорилъ о своей наукѣ, что цѣль ея „находить въ строеніи человѣческаго тѣла премудрость Творца, создавшаго человѣка по образу и подобию Своему и пр.“³⁾. Геологія перестала совсѣмъ преподаваться, „какъ наука въ нынѣшнихъ ея системахъ вулканистовъ и нептунистовъ, противная Св. писанію“⁴⁾. Все заискивало и добивалось всѣми возможными средствами милости начальства и никогда въ Казанскомъ университетѣ не было столько грязныхъ исторій между профессорами, столько доносовъ, жалобъ, интригъ, личныхъ ссоръ, которыя поступали на разбирательство начальства, какъ въ это печальное время, при Магницкомъ. Самовластный произволь его тяготѣлъ надъ всѣми, и Магницкій гналъ всякую сколько нибудь самостоятельную личность. Собраше совѣта проходило во взаимныхъ обвиненіяхъ другъ друга въ темныхъ интригахъ, въ составленіи фальшивыхъ протоколовъ, во взятчицествѣ и пр.; обо всемъ этомъ доносилось въ Петербургъ Магницкому, который каждую почту получалъ грязныя письма.

Если и существовала въ Казани какая-нибудь дѣятельность въ литературѣ и наукѣ до Магницкаго, то при господствѣ такой системы она не могла болѣе продолжать это существованіе или должна была принять непривлекательный видъ. Если что и писалось или готовилось къ печатанію, то это дѣлалось только съ тенденціями, угодными попечителю. Правда, Магницкій говорилъ въ своихъ отчетахъ о разныхъ ученыхъ предпріятіяхъ, замышляемыхъ въ Казани, пови-

¹⁾ Ibidem, стр. 105.

²⁾ Сухомлиновъ. Матеріалы, стр. 225.

³⁾ Ibidem, стр. 227—228.

⁴⁾ Ibidem, стр. 229.

димому, по его инициативѣ, но всѣ эти предпріятія, въ родѣ учрежденія въ Астрахани института восточныхъ языковъ, или желанія поставить университетъ въ сношенія съ учеными сословіями Индіи и собирать свѣдѣнія объ ученіи браминовъ, источники котораго онъ видѣлъ въ преданіяхъ патриарховъ и апостоловъ, или мечты о сношеніяхъ съ учеными Самарканда, или ученая экспедиція въ армянскіе монастыри Грузіи и Персіи,—все это принадлежало къ пустымъ затѣямъ и никогда не выходило изъ области фантазіи. Этими широкими проектами Магницкій просто пускалъ пыль въ глаза и хотѣлъ ими закрыть бѣдную научную дѣйствительность университета. „Казанскій Вѣстникъ“, единственное періодическое изданіе того времени, въ изданіи котораго принимали участіе профессора, сдѣлался журналомъ совершенно духовнаго содержанія и выражалъ господствовавшее направленіе. Магницкій, въ угодность князю Голицыну, дѣятельно распространялъ библейское общество, какъ въ Казани, такъ и въ округѣ. Для одного университета онъ купилъ на 10,000 руб. библій и новыхъ завітовъ; ихъ раздавали каждому студенту, каждому ученику какаго-либо училища. Въ „Казанскомъ Вѣстникѣ“ помѣщались рѣчи, произнесенныя въ собраніяхъ библейскаго комитета, отчеты его и т. п.

Но чѣмъ бѣднѣе въ умственномъ отношеніи становился Казанскій университетъ, чѣмъ онъ глубже падалъ, чѣмъ печальнѣе становились отношенія студентовъ и профессоровъ, тѣмъ громче, тѣмъ безстыдно-напыщеннѣе становились рѣчи Магницкаго, которыми онъ прославлялъ свое созданіе. Приведемъ отрывки изъ его рѣчи къ профессорамъ, которую считали тогда за образцовую. Онъ говорилъ ее въ 1825 году, слѣдовательно уже шесть лѣтъ управляя университетомъ. Разказавъ о томъ, что онъ присутствовалъ на экзаменахъ студентовъ и остался ими вполне доволенъ, Магницкій продолжаетъ: „Могу сказать, что видѣлъ университетъ единственный по своему достоинству, по отличнымъ способностямъ, по высокимъ познаніямъ лицъ, почетное сословіе его составляющихъ; единственный по доброму духу преподавателей, по личной и всему городу, предъ которымъ смѣло говорю сіе, извѣстной ихъ нравственности и благоповеденію; единственный по доброму духу, благонравію, скромности, образованности и отличнымъ успѣхамъ во всѣхъ полезныхъ знаніяхъ студентовъ... Университетъ Казанскій, за златою оградой высочайше данныхъ ему инструкцій, чуждъ повсемѣстной заразы, вѣренъ общей матери нашей церкви православной, питаетъ юность, пылающую живой вѣрой, чистымъ медомъ ея небеснаго ученія...

Въ то самое время, какъ лжеименная философія, отравляя всѣ науки и даже словесность и самыя искусства тлетворнымъ своимъ ядомъ, бѣснуетъ умы на Бога и царей, въ университетѣ нашемъ

самый яд сей претворяется въ цѣлительное средство противъ буйной гордости разума. Воспитанники ваши, путеволимые благочестивымъ Несторомъ вашего сословія, твердо изучили всѣ возраженія на нелѣпыя положенія естественнаго права и съ улыбкою презрѣнія къ возмутительнымъ его бреднямъ изощраютъ природное свое остроуміе на счетъ славнѣйшихъ его апостоловъ. вмѣсто тѣхъ буйныхъ мечтаній нѣкоторыхъ Германцевъ, кои возникли со своевольствомъ Лютеровою реформы и такъ живо называются нынѣ философій,—мечтаній, въ углу сѣверной Германіи распространенныхъ такими людьми, коихъ и именъ на другомъ краю Европы никто не знаетъ; вмѣсто сихъ мечтаній принята у васъ та здоровая, истинная, *беззатѣйная* философія, которая прямитъ и изощряетъ умъ, съ которою жили счастливо отцы, вѣрные Богу и царямъ, въ которой воспитаны и образовались отличнѣйшіе мужи нашего отечества, свѣтила нашей церкви“¹⁾... Едва ли когда-либо фраза такъ могла туманить глаза и затемнять самую печальную, самую жалкую дѣйствительность. Магницкій входитъ вообще въ подробности того, какъ исполнена инструкція по отношенію къ преподаванію. Исторію читалъ тогда бездарный Баженовъ. Что же говорить о немъ Магницкій: „Онъ исполнилъ въ преподаваніи своемъ то, что въ высочайше утвержденной инструкціи ректору нашего университета предписано, онъ смѣлою рукою свергнулъ тѣ идолы языческаго величія, передъ коими весь ученый міръ, преклоня колѣна, стоитъ уже двѣ тысячи лѣтъ. Въ житіяхъ святыхъ церкви православноі показаль онъ тѣ высокіе примѣры всѣхъ добродѣтелей, предъ коими меркнетъ и исчезаетъ, какъ тѣнь, слава Брутовъ и Лукрецій. Онъ сорвалъ вѣнцы съ гордаго чела героевъ языческой древности и почтительно подошилъ ихъ на окровавленномъ прахѣ Колизея, къ стопамъ святыхъ мученическихъ ликовъ“²⁾... Вездѣ Магницкій видитъ необычайные успѣхи въ наукахъ и свидѣтельствуетъ о нихъ самымъ папыщеннымъ образомъ; въ тѣхъ, кто хорошо знакомъ съ дѣйствительностію, невольно возбуждаютъ смѣхъ, напр., слѣдующія слова: „Въ наукахъ математическихъ, въ физикѣ, химіи и минералогіи преподаны всѣ новѣйшія силы наукъ, открытія и усовершенія, такъ что тѣ изъ студентовъ сихъ каедръ, кои были внимательны, ничего новаго въ университетѣ парижскомъ не могли бы услышать“³⁾. А студентовъ-то всего, во всѣхъ факультетахъ было только 91.

Непомѣрные похвалы, которыя въ этой рѣчи расточалъ Магницкій преобразованному имъ университету, конечно, должны были многихъ

1) Теооктисовъ. Магницкій стр. 131—134.

2) Ibid., стр. 134—135.

3) Ibid., стр. 136.

привести въ удивленіе, но обсужденіе этихъ фразъ и сравненіе ихъ съ дѣйствительнымъ состояніемъ университета было тогда немислимо. Фраза Магницкаго не встрѣчала противодѣйствія нигдѣ. Все это само-восхваленіе, которымъ онъ туманилъ глаза всѣмъ, было рассчитано на то, чтобъ составить себѣ блестящую карьеру. Магницкій, безъ сомнѣнія, мечталъ быть министромъ народнаго просвѣщенія, а потому назойливо выставлялъ за образецъ Казанскій университетъ и свою систему преобразованія въ немъ, добиваясь, чтобъ эта система была распространена и на другіе университеты. Что такое былъ Казанскій университетъ до преобразованія? „Въ отдаленномъ краю отъ столицы поставленный, какъ фаросъ освѣщенія цѣлыхъ царствъ, говоритъ Магницкій въ своемъ отчетѣ за 1824 годъ, въ округѣ его вмѣщенныхъ, полузасвѣченный дрожащею рукою слабыхъ исполнителей, онъ погасалъ и курящимся чадомъ наполнялъ тѣ страны, коя осіяты быть должны; отброшенные въ собственномъ отечествѣ пришельцы, принесли съ собою развратъ, а не просвѣщеніе ума, изъ провинцій германскихъ, едва по имени извѣстныхъ, составляли большую часть профессоровъ; неблаговидность и нечистота зданій отвѣтствовала внутреннему его настроенію, какъ несчастная фізіономія порочному состоянію духа; интриги, происки расхищали ученые званія и награды, между тѣмъ какъ благочестіе, какъ скромное достоинство, воздыхало о судьбѣ дорогого имъ мѣста воспитанія, въ которомъ лѣта ихъ юности и страстей сохранены были отъ невѣрія и разврата какимъ-то особеннымъ промысломъ Божиимъ“... А теперь, послѣ преобразованія „всѣ науки преподаются въ Казанскомъ университетѣ, въ большей всеобщности нежели въ прочихъ университетахъ, но преподаваніе это отличается отъ прочихъ тѣмъ, что не заражено оно ни вольнодумствомъ, ни лжеученіемъ, а устремлено къ одной цѣли — образованію вѣрныхъ сыновъ церкви и вѣрныхъ подданныхъ государей... А если такъ, если въ одномъ изъ шести нашихъ университетовъ вышеупомянутыя распоряженія имѣли успѣхъ, то какимъ образомъ не распространяется полезное его преобразование, опытомъ пяти лѣтъ и плодами уже оправданное, и на всѣ прочіе университеты? Признаюсь, что сія послѣдняя причина, по усердію моему къ церкви и государю и по обязанности моей члена главнаго правленія училищъ, была главнымъ моимъ побужденіемъ въ семь отчетѣ“ ¹⁾. Ясно, что всѣ напыщенные фразы его прикрывали честолюбіе.

Изъ прочихъ русскихъ университетовъ, въ Харьковскомъ, гдѣ попечителемъ былъ Каріевъ, переводчикъ извѣстной мистической книги „Божественная Философія“ ²⁾, также сказалась реакція, господство-

¹⁾ Ibid., стр. 140—142.

²⁾ 6 ч. М. 1818—1819 гг.

вавшая въ министерство князя Голицына, хотя гораздо слабѣе, чѣмъ въ Казани. Было удалено нѣсколько лучшихъ профессоровъ по подозрѣнію ихъ въ вольномысліи, сталъ господствовать на кафедрахъ и по отношенію къ студентамъ піэтизмъ, но въ Харьковѣ не было такой гнетущей личности, какъ Магницкій, и реакція была слабѣе. За то на судьбѣ Петербургскаго университета, только что основаннаго, отразилась самымъ печальнымъ образомъ система Магницкаго. Въ началѣ 1819 года по высочайшему повелѣнію главный педагогическій институтъ, давно уже существовавшій въ Петербургѣ, былъ переименованъ въ университетъ. Его попечителемъ, какъ и округа, былъ тогда Уваровъ. Тотчасъ по открытіи Петербургскаго университета въ главное правленіе училищъ былъ представленъ Уваровымъ проектъ устава новаго университета, проектъ замѣчательный тѣмъ, что онъ стоялъ въ уровень съ научными требованіями времени и обращалъ вниманіе на мѣстныя условія. Проектъ этотъ былъ подвергнутъ подробному разсмотрѣнію въ главномъ правленіи училищъ и встрѣтилъ самое сильное противодѣйствіе въ новомъ членѣ его, получившемъ въ исторіи нашего обскурантизма столь же печальную извѣстность, какъ и Магницкій,— въ Руничѣ. Руничъ, какъ кажется, былъ воспитанникомъ Лопухина и московскихъ масоновъ; по связямъ съ мистиками и по рекомендаціи ихъ онъ сдѣлался извѣстнымъ князю Голицыну, который и доставилъ ему мѣсто члена главнаго правленія училищъ. Это былъ поклонникъ и подражатель Магницкаго, которому служилъ орудіемъ, но далекъ былъ отъ него по уму, хитрости и расчетливости, былъ гораздо наивнѣе и проще его. Время и вліяніе Магницкаго сдѣлали изъ него тоже піэтиста—фанатика, челоуѣка, не разбиравшаго средствъ для осуществленія своей идеи. Его также, какъ и Магницкаго, мучила жажда почестей; онъ возлагалъ всѣ надежды на послѣднаго и служилъ ему вѣрою и правдою. Вскорѣ Руничъ зарекомендовалъ свой образъ мыслей и характеръ своихъ дѣйствій преслѣдованіемъ сочиненія профессора Царскосельскаго лицея Куницына „Право естественное“, которое должно было разсматриваться членами главнаго правленія училищъ, такъ какъ авторъ желалъ поднести его государю. Руничъ считалъ это сочиненіе опаснымъ и разрушительнымъ для вѣры и достовѣрности Св. Писанія. Основателемъ науки естественнаго права, какъ оно излагается у Куницына, Руничъ называетъ Руссо; по его словамъ, Маратъ былъ искреннимъ и практическимъ послѣдователемъ той же науки. Указавъ на нѣсколько мѣстъ этой книги, по его выраженію, „отвратительныхъ и ядовитыхъ“, Руничъ спрашиваетъ—можно ли допустить преподаваніе такого опаснаго ученія въ одномъ изъ первыхъ учебныхъ заведеній Имперіи и въ университетахъ вообще. Руничъ требовалъ запрещенія этой книги и ея

преслѣдованія. „Злой духъ носится надъ вселенною, сидясь мрачными крылами своими заградить отъ смертныхъ свѣтъ истинный, просвѣщающій и освѣщающій всякаго человѣка въ мірѣ—говоритъ онъ въ заключеніе своего мнѣнія, на языкѣ Магницкаго и мистиковъ того времени. Счастливымъ почту себя, если по слову одного почтеннаго соотечественника моего, вырву хотя одно перо изъ чернаго крыла противника Христова“¹⁾). Всѣ согласились съ Руничемъ, книга была запрещена, и съ этого времени стали считать преподаваніе естественнаго права въ университетахъ опаснымъ и строго слѣдить за нимъ; Магницкій и Руничъ предлагали вовсе запретить его.

Руничъ возсталъ и противъ проекта устройства Петербургскаго университета, составленнаго Уваровымъ. Подъ вліяніемъ европейской реакціи и любимыхъ взглядовъ Магницкаго, онъ доказывалъ, что уставъ этотъ совершенно несвойственъ нашимъ университетамъ, что онъ только копія съ либеральныхъ университетовъ Германіи. Проектъ Устава былъ отвергнутъ главнымъ правленіемъ училищъ, и Уваровъ вышелъ въ отставку. На его мѣсто тотчасъ же былъ назначенъ, по желанію князя Голицына — Руничъ, „противъ воли и желанія его“ какъ онъ самъ увѣряетъ²⁾). Едва только Руничъ вступилъ въ управленіе университетомъ и округомъ, какъ тотчасъ же въ университетъ введено было дѣйствіе „инструкцій“ ректору и директору, составленныхъ Магницкимъ. Только что основанный университетъ, въ которомъ еще не было заглушено стремленіе къ свободѣ изслѣдованія и либеральнаго начала—они должны были обратить въ благочестивое заведеніе. Руничъ, стараясь оправдать себя, всю вину преслѣдованія сваливаетъ на князя Голицына, который будто бы побуждалъ его дѣйствовать въ этомъ направленіи: едва ли это справедливо и весь ходъ дѣла, подробно напечатанный, показываетъ, напротивъ, во всемъ самое живое, непосредственное участіе Рунича и, по всей вѣроятности, за вулицами—Магницкаго. Ближайшимъ сотрудникомъ его въ дѣлѣ преслѣдованія оказался вновь назначенный имъ директоръ университета Кавелинъ. Согласно „инструкціямъ“ онъ долженъ былъ также слѣдить за духомъ и направленіемъ преподаванія и съ его помощью были отобраны у студентовъ лекціи четырехъ профессоровъ, болѣе другихъ заподозрѣнныхъ въ распространеніи вольнодумства и либеральныхъ ученій: Германа и адъюкта его Арсеньева—по статистикѣ, Раупаха—по всеобщей исторіи и Галича—по философіи. Первые двое, согласно взгляду учителя своего Шлецера, смотрѣли на статистику, какъ на науку политическую, имѣющую непосредственную связь съ мно-

¹⁾ Θεоктистовъ. Магницкій, стр. 17.

²⁾ Сборникъ Отд. русск. языка и слов. Имп. Акад. Наукъ, т. IX, стр. 62.

жествомъ условій государственной жизни; Галичъ былъ послѣдователемъ философіи Шеллинга, а Раупахъ, впоследствии извѣстный и чрезвычайно плодovitый нѣмецкій драматическій писатель, читалъ всеобщую исторію съ современными взглядами и не обличалъ язычества съ точки зрѣнія христіанства, какъ требовали того „инструкціи“. Руничъ, разсмотрѣвъ тетрадки профессоровъ, немедленно донесъ министру о распространеніи въ умахъ студентовъ идей, разрушительныхъ для порядка и общественнаго благосостоянія. По распоряженію главнаго правленія училищъ лекціи обвиняемыхъ профессоровъ были пріостановлены; опредѣлено было отъ нихъ потребовать отвѣтовъ на вопросныя пункты, составленные членами правленія, гдѣ разбирались вредныя и ложныя начала преподаваемыхъ учевій. Наруженъ почти формальный университетскій судъ, на которомъ предсѣвателемъ, обвинителемъ и судьей являлся Руничъ.

Этотъ судъ надъ профессорами Петербургскаго университета — въ высшей степени характерное явленіе того времени, обрисовывающее вполнѣ и образъ преслѣдованія и самыя личности преслѣдователей и мѣры, къ которымъ они прибѣгали. Онъ тѣмъ болѣе замѣчателенъ, что имъ въ первый разъ и въ сильной степени возбуждено было общественное мнѣніе въ столицѣ, не дошедшее, однакожь, до гласнаго выраженія. Мы не станемъ останавливаться на подробностяхъ этого суда, доходившихъ иногда до возмутительной нечѣпости. Всю обстановку его, со всѣми документами, къ нему относящимися, съ вопросными пунктами, составленными въ главномъ правленіи училищъ, съ выписками тѣхъ мѣстъ изъ тетрадей лекцій, которыя считались разрушительными, съ историческими воспоминаніями объ этомъ дѣлѣ одного изъ профессоровъ, Плисова, съ мнѣніями разныхъ государственныхъ людей того времени, такъ какъ дѣло доходило до Государственнаго Совѣта, — все это можно найти у Сухомятина ¹⁾. Главныя личности, на которыхъ обрушилось общественное мнѣніе, были Руничъ и Кавелинъ. Первый подражалъ Магницкому, но представлялъ изъ себя смѣшную, раздраженную фигуру, карикатуру Магницкаго, по выраженію Греча ²⁾. Засѣданія происходили нѣсколько дней, длились очень долго и сопровождались самымъ нечѣпнымъ нарушеніемъ всякихъ формъ суда. Трое изъ обвиненныхъ представили оправдательныя и смѣлыя отвѣты, изъ которыхъ видна была ясно вся нечѣпость преслѣдованія, но главное правленіе училищъ не

¹⁾ Матеріалы для исторіи образованія въ Россіи въ царствованіе Имп. Александра I. Печатались сначала въ журн. М. Н. Пр. за 1865—66 гг., а затѣмъ изданы отдѣльно въ 1889 г.

²⁾ Гречъ. Записки о моей жизни. СПб. 1896 г., стр. 294.

обратило на них вниманіа и признало преподаваніе Германа, Арсеньева и Раупаха вреднымъ, возмутительнымъ противъ христіанства и опаснымъ для государственнаго благосостоянія. За одного только Галича, какъ за раскаявшагося грѣшника, просившаго въ допросныхъ пунктахъ ему „не помянуть грѣховъ юности и невѣдѣнія“¹⁾— взялся ходатайствовать Руничъ. Члены главнаго правленія училищъ постановили Германа, Раупаха и Арсеньева удалить изъ университета и запретить имъ преподаваніе по министерству народнаго просвѣщенія, книги ихъ запретить и извлечь изъ употребленія, но такъ какъ обвиненные требуютъ, чтобъ имъ даны были средства для оправданія, то предоставить разсмотрѣніе ихъ вины обыкновенному уголовному суду. Противъ этого послѣдняго рѣшенія возсталъ Магницкій; онъ требовалъ, чтобъ иностранцевъ выслали за границу и напечатали въ газетахъ о ихъ ученіи, чтобъ согласно требованіямъ священнаго союза, союзныя державы были предубѣждены о немъ. „Въ главномъ правленіи училищъ, — говоритъ одинъ изъ обвиненныхъ, Арсеньевъ, въ своихъ запискахъ, — громогласнѣе всѣхъ вопіялъ противъ насъ Магницкій и силою словъ своихъ увлекъ большую часть своихъ сочленовъ на свою сторону; онъ напугалъ ихъ воображеніемъ картинами неурядицъ въ Западной Европѣ, гдѣ дѣйствительно замѣтно было сильное волненіе въ умахъ, особенно въ Германіи“²⁾. Вліяніе Магницкаго очевидно отразилось на томъ заключеніи, которое сдѣлалъ всему этому дѣлу министръ народнаго просвѣщенія, перенося его изъ правленія училищъ въ комитетъ министровъ и придавая дѣлу чрезвычайную политическую важность.

„Системы открытаго отверженія истинъ Св. Писанія и христіанства, соединяемыя всегда съ покушеніемъ ниспровергать и законныя власти, писалъ князь Голицынъ, сіи ужасныя системы, заразившія головы новѣйшихъ ученыхъ, были послѣдствіемъ отпаденія отъ вѣры Христовой и причиною всѣхъ народныхъ мятежей и революціонныхъ бѣдствій, которыя потрясли многія государства, пролили потоки крови и вынѣ еще не перестаютъ нарушать спокойствіе Европы“³⁾. Достаточно привести это введеніе для того, чтобъ каждому былъ ясенъ взглядъ главы просвѣщенія; глубокою ненавистью къ современной наукѣ и мысли, къ свободному разуму дышутъ слова его, которыми онъ хотѣлъ возбудить членовъ комитета министровъ противъ петербургскихъ профессоровъ. Комитетъ долго разсматривалъ дѣло и единогласно призналъ ученіе всѣхъ профессоровъ вреднымъ, но въ

¹⁾ Сухомлиновъ. Матеріалы, изд. 1889 г., стр. 353.

²⁾ Сборникъ Отд. русск. яз. и слов. Имп. Ак. Н., т. IX, стр. 37.

³⁾ Сухомлиновъ. Матеріалы, стр. 262.

отношеніи къ нимъ самимъ мнѣнія членовъ раздѣлились; это затануло дѣло; былъ составленъ особый комитетъ для разсмотрѣнія его, но новаго суда не было. Обвиненные только перестали быть профессорами и уже въ 1827 году, въ новое царствованіе, Высочайше повелѣно дѣло это считать оконченнымъ.

Мы сказали, что дѣло петербургскихъ профессоровъ обратило на себя общее вниманіе. „Къ счастью для насъ подсудимыхъ и для нашихъ защитниковъ, общественное мнѣніе было сильно возбуждено противъ Рунича и Магницкаго—разсказываетъ Арсеньевъ.—Послѣдній былъ главнымъ виновникомъ всего зла; ихъ обоихъ и съ ихъ сателлитами огласили вездѣ обскурантами, гасильщиками просвѣщенія, а насъ величали мучениками за науку и за правду. Дотошѣ въ городѣ мало знали объ университетѣ, весьма мало интересовались его судьбами; теперь многіе сторонніе къ дѣлу люди хотѣли знать всѣ подробности *суда нечестивыхъ*, какъ называли они судъ надъ нами. Вообще вся просвѣщенная публика принимала живое участіе въ судьбѣ нашей“¹⁾.

ЛЕКЦІЯ XXVIII.

Цензура во время реакціи. — Министерство князя Голицына.

Общественное мнѣніе въ Петербургѣ по поводу нелѣпаго преслѣдованія профессоровъ было сильно возбуждено, хотя оно нигдѣ не проявлялось въ печати, какъ это происходитъ въ странахъ съ болѣе свободнымъ развитіемъ. Конечно, за преслѣдуемыхъ была та часть общества—и часть, разумѣется, весьма незначительная,—которая принадлежала къ такъ называемымъ „либералистамъ“, т.-е. къ молодому поколѣнію съ либеральными идеями о реформахъ, но попрежнему были сильны крики и противъ вольнодумства, крики, поддерживавшіе князя Голицына и его мѣры. Кромѣ словъ самого Арсеньева о возбужденіи общественнаго мнѣнія, мы можемъ привести и свидѣтельство Карамзина, который тоже, повидимому; былъ на сторонѣ преслѣдуемыхъ: „Ты слышалъ о судѣ профессоровъ, пишетъ онъ къ И. И. Дмитріеву: говорятъ, что дѣло кончилось въ комитетѣ министровъ отрѣшеніемъ Германа, Раупаха и Арсеньева, но безъ дальнѣйшей казни. Ожидаютъ конфирмаціи. Еще неизвѣстно, получить ли Руничъ награжденіе блестящее, котораго требуетъ для него министръ про-

¹⁾ Сборникъ Отд. русск. яз. и слов. Имп. Ак. Н., т. IX, стр. 36.

свѣщенія, какъ сказываютъ (онъ долженъ былъ получить орденъ Св. Владиміра 2 ст.). Это дѣло здѣсь многихъ интересовало, и безъ сомнѣнія важно для будущаго. Нашъ почтенный Шишковъ говоритъ: „Поздно хватились: я давно обнаруживалъ нечестіе!“ Другіе думали, что надлежитъ закрыть классы, гдѣ преподавалось якобинство и атеизмъ, т. е. классъ исторіи и статистики, но люди благоразумные не согласились съ ними. *Оставимъ все рѣшить Провидѣнію и Государю*“¹⁾. Руничъ дѣйствительно получилъ награду, о которой писалъ Карамзинъ, а когда князь Голицынъ докладывалъ государю объ университетскомъ судѣ, то Александръ сказалъ темныя слова: „жалъ, что я въ такомъ святомъ дѣлѣ погорячился“. „Какъ эту высочайшую мысль понимать должно — не смѣю испытывать“ — прибавляетъ отъ себя Руничъ²⁾. Но даже при самомъ дворѣ обвиняемые нашли защитниковъ. Къ Арсеньеву лично благоволилъ Николай Павловичъ, будущій императоръ. Онъ удержалъ его въ инженерномъ и артиллерійскомъ училищахъ, которыхъ былъ главнымъ начальникомъ, доставилъ ему и другія мѣста для преподаванія, а когда Руничъ, по принятому обыкновенію, пріѣхалъ благодарить за вновь пожалованный орденъ и великаго князя, тотъ съ своей стороны насмѣшливо благодарилъ его за изгнаніе Арсеньева, который можетъ теперь посвятить все свое время инженерному училищу, и просилъ еще выгнать изъ университета нѣсколько подобныхъ челоѣкъ, чтобъ употребить ихъ у себя съ пользою на службу³⁾. Магницкій впоследствии употребилъ это обстоятельство для доноса.

Такъ министерство князя Голицына и его ревностныхъ помощниковъ преслѣдовало всякую попытку высшаго преподаванія встать на современную точку зрѣнія, противную началамъ священнаго союза, и быть сколько-нибудь свободною. Но со стороны того же министерства происходила неустанная, мелкая, придирчивая борьба съ живымъ словомъ, искавшимъ выхода въ литературѣ; мысль, проявляющаяся въ печати, была окружена со всѣхъ сторонъ и загнана, запугана. Цензура находилась въ полномъ распоряженіи оберъ-прокурора министерства народнаго просвѣщенія и, если преслѣдованія мысли начались еще ранѣе князя Голицына, то въ его время они достигли крайней точки развитія. Нѣсколько либеральный уставъ цензуры 1804 года, которому мы обязаны были значительнымъ оживленіемъ печатнаго слова въ началѣ царствованія Александра, можно

¹⁾ Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 323.

²⁾ Сборникъ Отд. русск. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ, т. IX, стр. 64.

³⁾ Русск. Арх. 1871 г., стр. 0264.

сказать, вообще не стѣснялъ литературной дѣятельности; явилось нѣсколько произведеній, невозможныхъ въ другихъ обстоятельствахъ, но уставъ этотъ, съ теченіемъ времени, подѣ влияніемъ разныхъ, главнымъ образомъ, политическихъ обстоятельствъ, подвергался разнообразнымъ измѣненіямъ, ограниченіямъ, произвольнымъ толкованіямъ, такъ что въ тѣ годы, о которыхъ говоримъ мы, овъ уже совсѣмъ пересталъ существовать въ первоначальномъ своемъ видѣ: „Уставъ о цензурѣ, прекрасный памятникъ перваго пятилѣтія государственнаго Александра, давно разрушенъ,—говоритъ одинъ изъ приближенныхъ людей самого князя Голицына, всегда, однако, уважавшій литературу (А. И. Тургеневъ),—если не закономъ, то силою и духомъ времени, въ которому сила обыкновенно прибѣгаетъ для извиненія дѣйствій своихъ“¹⁾. Какъ ни пытались тѣснить со всѣхъ сторонъ свободное слово, время всетаки брало свое и постепенно созрѣвавшая мысль, мужая и укрѣпляясь, бросалась по всѣмъ направленіямъ, особенно въ журнальной литературѣ, стараясь коснуться той или другой стороны современности, начиная отъ различныхъ формъ государственнаго управленія и кончая игрою актеровъ, но цензура отталкивала его повсюду и даже объ игрѣ актеровъ въ столицахъ запрещено было писать, потому что они находятся въ службѣ Его Величества²⁾. Цензура при князѣ Голицынѣ, хотя тогда не появлялось новаго устава ея, представляетъ намъ гораздо больше системы и упорства въ преслѣдованіи, чѣмъ было то прежде; вѣстѣ съ тѣмъ, подѣ влияніемъ историческихъ событій съ появленіемъ у насъ либеральныхъ идей, является и больше смѣлости въ мысли, а потому время это даетъ намъ печальное зрѣлище продолжительной и часто мелкой борьбы печати съ цензурою. Со всѣхъ сторонъ раздаются жалобы на стѣсненія и произвольныя цензоровъ, иногда до крайности недѣлныя; возникаетъ нѣсколько дѣлъ, часто очень забавныхъ, но вполне характеризующихъ дѣйствія цензуры; имена нѣкоторыхъ цензоровъ того времени: Красовскаго, Тимковскаго, Вирунова и др., получаютъ печальную извѣстность.

Дѣйствія цензуры только раздражали писателей и естественно приводили ихъ къ изысканію средствъ, чтобъ такъ или иначе обмануть цензора и какъ-нибудь провести свою мысль въ печать. Слово, при такомъ гнетѣ, естественно теряло простоту выраженій, дѣлалось изворотливымъ, хитрымъ и не гнушалось никакими уловками. Мысль подцензурная становилась неясною; о настоящемъ смыслѣ ея нужно было догадываться. Это искусство мысли и развитіе догадли-

¹⁾ Ibidem, 1867 г., стр. 648.

²⁾ Историческія свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи. СПБ. 1862 г., стр. 29.

ности въ читателяхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и подозрительность особаго рода достигли высшей степени развитія въ сороковые годы, когда стали появляться и цензоры виртуозы. Это разумѣется возникло не вдругъ. Въ тѣ годы, о которыхъ мы говоримъ, господствовалъ полный произволь, не смотря на то, что существующее цензурное законоположеніе не было отмѣнено. Все зависѣло отъ воли цензора, отъ взгляда того или другаго власть имѣющаго лица. Приведемъ въ примѣръ періодическое изданіе „Духъ журналовъ“, котораго редакторомъ съ 1815 года былъ цензоръ Яценковъ. Изъ программы этого журнала тогдашній министръ полиціи Вязьмитиновъ вычеркнулъ то, что теперь называется „внутреннимъ обзорѣемъ“. Онъ находилъ статью эту „неприличною“ на томъ основаніи, что „упоминаемые въ ней предметы относятся до попеченія самого правительства и отнюдь не могутъ подлежать сужденію частныхъ лицъ публично“¹⁾. За статью, помѣщенную въ одно изъ первыхъ номеровъ этого изданія „О старавіи императрицы Екатерины II о дешевизнѣ жизненныхъ потребностей“ — петербургскому цензурному комитету сдѣланъ былъ выговоръ, при чемъ тотъ же министръ полиціи спрашивалъ: „Какъ дерзнуть человѣку, не имѣющему ни малѣйшаго понятія о первыхъ началахъ науки, дѣлать примѣненія и сравненія относительно мѣръ, принятыхъ и приемлемыхъ правительствомъ въ разныя времена по части государственнаго хозяйства?“²⁾. Журналъ получалъ частые выговоры за малѣйшіе намеки о вольности и рабствѣ крестьянъ, за слова, въ которыхъ выражается сколько-нибудь сочувствія къ низшимъ классамъ общества; журналъ съ трудомъ просуществовалъ до 1820 года и наконецъ былъ запрещенъ. Журналы вообще съ трудомъ получали разрѣшеніе на изданіе, начиная съ этого года, причѣмъ цензурный комитетъ дѣйствовалъ крайне произвольно; ходатайства на изданіе того или другаго журнала часто не давалось потому, что цензура замѣчала въ авторѣ или дурной слогъ или недостатокъ свѣдѣній³⁾. Въ министерствѣ князя Голицына въ первый разъ возникаетъ мысль о предварительномъ просмотрѣ статей, касающихся различныхъ частей управленія тѣми вѣдомствами, до которыхъ онѣ касались, что получило потомъ очень широкое развитіе. На притѣсненія цензуры жаловались даже такіе писатели, какъ Карамзинъ, что можно видѣть изъ многихъ мѣстъ его переписки съ И. И. Дмитріевымъ. Даже этотъ писатель, пользовавшійся въ то время славой, лично уважаемый государемъ, принужденъ былъ жаловаться на цензурныя притѣсненія.

¹⁾ Ibidem, стр. 25.

²⁾ Ibidem.

³⁾ Ibidem, стр. 31.

Ему было даровано Высочайшею волею печатать свою исторію безъ цензуры и, не смотря на то, отъ него требовали цензурнаго разрѣшенія, такъ что онъ принужденъ былъ жаловаться князю Голицыну: „Академики и профессеры, писалъ онъ, не отдають своихъ сочиненій въ публичную цензуру; государственный историографъ имѣеть, кажется, право на такое же милостивое отличіе. Онъ долженъ разумѣть, что и какъ писать, надѣюсь, что въ моей книгѣ нѣтъ ничего противъ вѣры, Государа и нравственности; но, быть можетъ, что цензоры не позволять мнѣ, напримѣръ, говорить свободно о жестокости царя Іоанна Васильевича. Въ такомъ случаѣ что будетъ исторія?“¹⁾ И такой невинный во всѣхъ отношеніяхъ писатель, какъ Жуковский, имя котораго пользовалось также общою славой и уваженіемъ, какъ поэта и учителя великой княгини, долженъ былъ бороться съ притязаніями тогдашнихъ цензоровъ. Извѣстна забавная цензурная исторія по поводу баллады, переведенной имъ изъ Вальтеръ-Скотта „Смальгольмскій баронъ“ или „Канунъ Иванова дня“, какъ называлась эта баллада въ подлинникѣ. Цензурный комитетъ, не пропускавшій ее въ печать, въ своемъ длинномъ объясненіи, поданномъ имъ министру народнаго просвѣщенія, простеръ свою служебную ревность до того, что находилъ балладу несоотвѣтственно тому почтенію, которое греко-россійская церковь оказываетъ празднику св. Іоанна Предтечи, считалъ, что такая, основанная на суевѣрныхъ преданіяхъ повѣсть, можетъ скорѣе „разгорячать и пугать воображеніе, нежели наставлять простыхъ или мало просвѣщенныхъ читателей, особливо молодыхъ людей и женщинъ“, находилъ, что самая баллада по своему содержанію для русскаго читателя темна и не имѣеть занимательности, возмущался тѣмъ, что посреди разсказа о соблазнительномъ приключеніи часто и не кстати встрѣчаются обращенія къ Творцу, кресту и Великому Иванову дню; и вообще „въ переводѣ баллады мало видно заботливости о соблюденіи приличій и различія въ священныхъ предметахъ“; далѣе цензурный комитетъ позволялъ себѣ пускаться въ литературную критику, находилъ, что въ переводѣ есть отступленія отъ подлинника, затемняющія смыслъ, что развязка не имѣеть силы и пр. Самъ министръ народнаго просвѣщенія поддерживалъ требованія комитета, предсѣдателемъ котораго былъ Руничъ, и совѣтовалъ Жуковскому „перемѣнить нѣсколько идей и выраженій“. Жуковский долженъ былъ поочиниться²⁾. Цензоры обращали вниманіе на слогъ и даже правописаніе рукописи. Въ 1823 году кн. Вяземскій, писавшій тогда критическія статьи, принужденъ былъ жаловаться главному

¹⁾ Ibidem, стр. 32.

²⁾ Сухомлиновъ. Матеріалы, стр. 436—447.

правленію училищъ на цензора Красовскаго, что онъ не пропускаетъ его критической статьи на томъ будто бы основаніи, что находитъ въ ней личности противъ нѣкоторыхъ писателей; онъ жаловался на произволь емо, на учительскую заботливость о его слогѣ, что Красовскій, напр., слово *задѣваетъ* измѣняетъ въ *упрекаетъ*, не позволяетъ сказать, что Карамзинъ *сподобвалъ* *благоразумію*, вмѣсто *полемиической* тактики ставитъ *спорной* и пр. Если цензоры позволяли себѣ такіа произвольныя дѣйствія относительно писателей сколько-нибудь извѣстныхъ, то по отношенію къ начинающимъ, неизвѣстнымъ авторамъ они уже безъ всякой церемоніи обращались самовластно. Такъ, напр., цензоръ Красовскій въ 1828 году не пропустилъ въ печать для № 11 „Сына Отечества“ и совѣтовалъ помѣстить въ № 18 или № 19 романъ, переведенный съ французскаго какимъ то Константиновымъ, гдѣ говорится о бродячемъ пѣвцѣ трубадурѣ, уносившемъ изъ замка „вдохъ хозяйки молодой“ и что онъ былъ „жертвою страсти“ и т. п. на томъ основаніи, что № 11 долженъ выйти великимъ постомъ. „Теперь,—пишетъ на стихотвореніи замѣчаніе свое цензоръ,— сыны и дщери церкви молятъ Бога, съ земными поклонами, чтобы онъ далъ имъ духъ цѣломудрія, смиренномудрія, терпѣнія и любви (совсѣмъ другой, нежели какова побѣдиншая французъ-рыцаря). Надѣюсь, что и почтенный сочинитель прекрасныхъ стиховъ не осудитъ цензора за совѣтъ, который дается отъ простоты и чистаго усердія къ нему“¹⁾. О. Глинка написалъ стихотвореніе „Земная грусть“, гдѣ между прочимъ въ стихахъ:

„Ты мнѣ твердишь, что я скучаю жизнью:
„Земная жизнь—не жизнь!
„О дай мнѣ другъ, дай крылья серафима!
„Мнѣ грустно на земли!“

цензоръ вымаралъ *серафима*, а въ другомъ мѣстѣ:

„Что въ мірѣ мнѣ, гдѣ все на мигъ?
„Гдѣ смерть и зло—цари!“

цензоръ не пропустилъ слово *зло* и тогда второй стихъ скандализировалъ многихъ²⁾. Карамзинъ сообщаетъ Дмитріеву, что цензура не пропускаетъ стихотвореній такого невиннаго поэта, какъ В. Л. Пушкинъ³⁾, что ему пришлось хлопотать о нихъ у самого министра⁴⁾.

¹⁾ Русск. Стар. 1871 г., стр. 443.

²⁾ Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 320 и 0145.

³⁾ Ibidem, стр. 332.

⁴⁾ Ibidem, стр. 336.

Но мы долго не кончили бы, передавая разныя цензурныя исторіи, происходившія во время обскурантнаго министерства князя Голицына, не смотря на то, что намъ извѣстна только весьма незначительная часть этихъ исторій. Мы видимъ только одно, что цензура была строга и произвольна, но и этого казалось мало въ ту пору борьбы съ разумомъ и свободною мыслію. Все еще дѣйствовалъ либеральный цензурный уставъ 1804 года, хотя дѣйствіе его было совершенно ограничено. Начала священнаго союза, проводимыя въ воспитаніе главою министерства и его рьяными помощниками, требовали соотвѣтственнаго себѣ измѣненія цензурныхъ постановленій. Начертаніе новаго устава цензуры возложено было на особый комитетъ изъ членовъ главнаго правленія училищъ, и душою этого комитета былъ Магницкій. Онъ составилъ и проектъ устава и особую секретную инструкцію цензурному комитету; другой обскурантъ Стурдза представилъ также свой проектъ, но предпочтеніе было отдаво проекту Магницкаго, болѣе строгому.

Уставъ былъ вполнѣ готовъ въ 1823 году. Цѣль его, по словамъ самого комитета, состояла въ „противодѣйствіи пагубному духу времени, выразившемуся въ политическихъ потрясеніяхъ Европы, обнаружившихъ сильное вліяніе и на общественное мнѣніе и на литературу“. Цензура, подобно воспитанію, уже измѣненному согласно новымъ требованіямъ, должна была остановить близкую опасность¹⁾. Цѣль обширный историческій и нравственный трактатъ о цензурѣ, вмѣстѣ съ уставомъ ея, былъ написанъ тогда Магницкимъ. Комитетъ, руководимый Магницкимъ, сообразовался въ этомъ дѣлѣ „съ опаснымъ движеніемъ умовъ въ Европѣ“ и хотѣлъ сдѣлать для цензуры такія „установленія, которыя лучше бы прежнихъ сообразовались съ обстоятельствами и временемъ“²⁾. Предполагалось всю цензуру сосредоточить въ одномъ министерствѣ народнаго просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ. Предполагалось даже медицинскія книги разсматривать въ отношеніи нравственному, ибо, говорилось въ проектѣ, „въ настоящее время, когда науки математическія и даже *географія* несутъ часто на себѣ отпечатокъ невѣрія, могутъ ли не подлежать строжайшему надзору творенія медицинскія, въ коихъ разсужденія о дѣйствіяхъ души на органы тѣлесныя и о возбужденіи въ тѣлѣ различныхъ страстей подаютъ обильные способы къ утверженію матеріализма самымъ косвеннымъ и тонкимъ образомъ“. Поэтому и требовалось въ проектѣ „составить такой уставъ для цензуры, который бы обнималъ всѣ *извороты и уловки* настоящаго духа времени“³⁾. И дѣйствительно, въ

¹⁾ Сухомлиновъ. Матеріалы, стр. 462—463.

²⁾ Ibidem, стр. 466.

³⁾ Ibidem, стр. 468.

проектахъ устава Магницкій старался уловить эти „извороты и уловки настоящаго духа времени“, особенно въ составленной имъ „секретной инструкціи“. „Духъ времени, говоритъ онъ, очевидно и во многихъ государствахъ Европы открыто уже стремится на разрушеніе всякаго гражданскаго порядка... Въ совершеннѣйшихъ противъ прежняго системахъ наукъ философскихъ, естественныхъ, историческихъ и въ произведеніяхъ изящнѣйшей словесности разливается нынѣ ядъ опаснѣйшаго всѣхъ прежнихъ времепъ невѣрія. Подобно новому Пилату, разумъ человѣческій, со всею правильностью умозрительныхъ формъ своихъ, осуждаетъ и предаетъ на пропатіе Богочеловѣка“.

Эта одна уже фраза выдаетъ имя составителя. „Ни одно христіанское правительство, говоритъ далѣе Магницкій, не можетъ въ подобныхъ обстоятельствахъ, не токмо для собственной безопасности, но и для настоящаго и будущаго блага своихъ подданныхъ, оставаться бездѣйственнымъ“. Вотъ почему является необходимымъ усиленіе цензуры. Цензоромъ новый уставъ „облекаетъ высокимъ званіемъ стражей, охраняющихъ вѣру Христову, нравы отечественныя и самый языкъ нашъ, не оскверненный еще ни богохуленіями, ни разрушительными воплями противъ власти царской, ни нечистотами разврата и сладострастія отъ язвы, повсемѣстно уже и особенно въ Германіи свирѣпствующей“ ¹⁾. Усиленная цензура, на основаніи такого мрачнаго взгляда на умственное направленіе той эпохи, взгляда, выраженнаго и подробно развито Магницкимъ, нашла противодѣйствіе въ нѣкоторыхъ мнѣніяхъ, напр., Фуса, И. М. Муравьева-Апостола, но Магницкаго всецѣло поддерживалъ Руничъ. Большинство членовъ главнаго правленія училищъ осталось на сторонѣ Магницкаго и поддержало его проектъ въ томъ видѣ, какъ онъ былъ написанъ, и оканчивая свои сужденія о цензурѣ, оно выразило надежду, что трудъ этотъ „предохранитъ надолго вѣру, правительство и народныя нравы отъ повсемѣстнаго на нихъ посягательства“ ²⁾.

Проектъ, однако, не былъ утвержденъ тогда, т.-е. въ 1823 году законодательнымъ порядкомъ, но не потому, что высшая власть нашла его слишкомъ строгимъ и убивающимъ всякую литературную дѣятельность, а потому что нужно было разграничить болѣе точнымъ и опредѣленнымъ образомъ цензуру свѣтскую отъ духовной, уставъ которой разсматривался одновременно. Это задержало представленіе новаго цензурнаго устава на утвержденіе; между тѣмъ министерство князя Голицына пало, и новый министръ народнаго просвѣщенія, уже въ новое царствованіе, долженъ былъ представить

¹⁾ Ibidem, стр. 471—472.

²⁾ Ibidem, стр. 480.

свой цензурный уставъ, который и замѣнилъ собою уставъ 1804 года, признанный устарѣвшимъ. Это произошло въ 1826 году; но новое цензурное законоположеніе, какъ мы увидимъ, не принесло никакихъ льготъ ни уму русскому, ни слову.

Такова была русская реакція во второй половинѣ царствования Александра, выразившаяся въ самой недѣльной и ожесточенной борьбѣ противъ науки и высшаго преподаванія въ университетахъ, противъ всего того, что носило хотя слабый отпечатокъ свободной мысли, и противъ живого печатнаго слова въ литературѣ. Мы видѣли, что и наука наша и печатное слово наше въ ту пору были слишкомъ ничтожны и безсодержательны, чтобъ вызывать подобныя крутыя мѣры и преслѣдованія; влияніе европейское только что начинало тогда усиливаться, но только въ умахъ и разговорахъ: оно не имѣло возможности и силы проявиться въ литературѣ, остававшейся жалкою и ничтожною при тѣхъ стѣснительныхъ условіяхъ, въ которыя она была поставлена въ то время. Борьба походила на ту, которая опредѣляется русской пословицей: „за мухой съ обухомъ“ и заключала бы въ себѣ много забавнаго, если бъ дѣло шло не о самомъ драгоценномъ человѣческомъ достояніи: о свободной мысли и свободномъ ея выраженіи. Министерство князя Голицына представляетъ собою нѣсколько самыхъ печальныхъ, мрачныхъ страницъ въ исторіи нашего просвѣщенія. Преслѣдованія не вызывались никакими реальными потребностями, а бессмысленнымъ образомъ убивали въ зародышѣ ростки нашей умственной жизни. Преслѣдованія, казалось, были дѣломъ личнаго вкуса и личныхъ наклонностей тѣхъ, которые стояли во главѣ просвѣщенія. Какъ смотрѣлъ на такое систематическое преслѣдованіе умственной жизни въ странѣ своей, на ея отупленіе императоръ Александръ, что онъ называлъ „святымъ дѣломъ“ въ загадочной фразѣ, сказанной имъ князю Голицыну о дѣлѣ петербургскихъ профессоровъ — мы не знаемъ. Насколько извѣстенъ, однако, намъ его странный характеръ въ эти послѣдніе годы его жизни, можно думать, что онъ, утомленный жизнью послѣ пережитыхъ имъ тяжелыхъ бѣдствій и неожиданнаго величія, смотрѣлъ одинаково равнодушно, съ одинаковымъ презрѣніемъ и на преслѣдуемыхъ и на преслѣдователей; но страхъ революціи и постоянно звучащая кругомъ его фразы о духѣ тьмы и о князѣ міра сего, ополчившагося на Христа и на царство благодати, ставили его болѣе на сторону преслѣдователей, которые, какъ казалось тогда, охраняли тронъ. Можетъ быть, въ душѣ онъ одобрялъ ихъ мѣры, хотя и не вызывалъ особенно ихъ усердія и равнодушно подписывалъ приговоры.

Чему же покровительствовало это пресловутое министерство князя

Голицына и чему давало ходъ въ умственной жизни страны? Въдѣ трудно, конечно, представить безъ духовнаго направленія министерство народнаго просвѣщенія, которое тогда занималось не одними вопросами воспитанія, а имѣло самое близкое соприкосновеніе со всей умственной и литературной дѣятельностью страны? Глава министерства былъ и главою библейскаго общества, дѣлу котораго онъ отдался съ полнымъ убѣжденіемъ. Набожный и мягкій по природѣ, онъ отъ набожности постепенно переходилъ къ религіознымъ увлеченіямъ и къ мистицизму, который былъ въ духѣ времени и которымъ увлекался и Александръ. Видя торжество своихъ идей, подняли голову и русскіе мистики, воспитанные въ школѣ Новикова и молчавшіе въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, со времени запрещенія въ 1806 году журнала Лабзина „Сіонскій Вѣстникъ“. Сочувствіе къ дѣлу распространенія въ народѣ Св. Писанія влекло ихъ къ библейскому обществу, и оно мало-по-малу сдѣлалось гнѣздомъ мистицизма, не смотря на то, что послѣдній вовсе не соответствовалъ его программѣ. Князь Голицынъ сдѣлался вдругъ главою мистиковъ, до тѣхъ поръ разсѣянныхъ; они собирались вокругъ него, и онъ поощрялъ ихъ литературную дѣятельность, рекомендовалъ ее для подвѣдомственныхъ учебныхъ заведеній, награждалъ мистиковъ. Что мистическая литература процвѣтала у насъ и находила обширный кругъ читателей, которыхъ не нашлось бы для произведеній науки, доказывается длиннымъ рядомъ мистическихъ изданій и книгъ, преимущественно переводныхъ съ нѣмецкаго языка, издателемъ которыхъ былъ Лабзинъ. О его предшествовавшей дѣятельности и о множествѣ издаваемыхъ имъ книгъ, именно сочиненій Юнга Штилинга и Эккартсгаузена, мы уже говорили. Эта мистическая литература представляла самую нездоровую пищу; въ ней высказывалось совершенное недовѣріе къ наукѣ, ко всякимъ реальнымъ, дѣйствительнымъ стремленіямъ, къ человѣческому разуму вообще, и допускалась только слѣпая вѣра, дѣйствіе мечты въ областяхъ, не имѣющихъ ничего общаго съ дѣйствительностью. Главнымъ изданіемъ этого мистическаго направленія былъ „Сіонскій Вѣстникъ“ Лабзина, въ которомъ участвовали воспитанники старыхъ московскихъ мистиковъ и самъ издатель. Журналъ этотъ, за свое мистическое направленіе запрещенный въ 1806 году, теперь съ 1817 года сталъ издаваться по Высочайшему повелѣнію; онъ былъ посвященъ Господу Іисусу Христу; число его подписчиковъ, начиная съ членовъ императорской фамилии, было очень значительно; его распространяли особенно по учебнымъ заведеніямъ. Князь Голицынъ сильно покровительствовалъ Лабзину; по его представленію, въ концѣ 1816 года ему былъ пожалованъ орденъ Владиміра 2 ст. „за изданіе на отечествен-

номъ языкѣ духовныхъ книгъ“¹⁾, какъ говорилось въ рескриптѣ. Дѣятельность его въ изданіи мистическихъ книгъ еще усилилась. Правда, съ нимъ въ 1822 году случилось несчастіе. Онъ служилъ вице-президентомъ Академіи Художествъ и разъ на собраніи конференціи, когда шла рѣчь о выборѣ почетныхъ членовъ въ Академію, Лабзинъ позволилъ себѣ неосторожное выраженіе. Предлагали въ почетные члены тогдашнихъ вельможъ: Румянцева, Аракчеева и Гурьева; въ доказательство правъ на это званіе послѣдняго приводили только то, что онъ близокъ къ государю; тогда Лабзинъ по своей пылости сказалъ, что если ужъ выбирать въ почетные члены людей на основаніи ихъ близости къ государю, то онъ предлагаетъ царскаго кучера Илью. Это рѣзкое слово сдѣлалось извѣстно всему Петербургу и дошло до Государя; предлагали Лабзину извиниться, но онъ не согласился и за то былъ высланъ изъ столицы въ г. Сѣмѣевъ Симбирской губерніи. Черезъ два года ему позволили поселиться въ Симбирскѣ, но Лабзинъ былъ старъ, боленъ и, не выдержавъ несчастія, вскорѣ умеръ. Скоро и самый мистицизмъ, которому еще недавно покровительствовало правительство, явился плодомъ запрещеннымъ, преслѣдуемымъ, и исчезъ изъ литературы.

ЛЕКЦІИ XXIX и XXX.

• Парротъ. — Паденіе Голицына. — Фотій.

Обскурантное направленіе министерства народнаго просвѣщенія при князѣ Голицынѣ, преслѣдующее науку, слово, мысль, тѣмъ сильнѣе тяготѣло надъ нашею духовною жизнью, потому что не встрѣчало себѣ ни комъ и ни въ чемъ открытаго противодѣйствія. Это было какъ бы мѣропріятіе самого правительства въ извѣстномъ направленіи, а оно не могло подвергаться разбору и осужденію. Постепенно духовная атмосфера у насъ становилась всё душнѣе и душнѣе и въ ней накопились ложь и лицемеріе. Главные дѣятели, окружавшіе князя Голицына въ библейскомъ обществѣ, пользуясь видимымъ покровительствомъ своимъ идеямъ со стороны верховной власти, дѣлались все смѣлѣе и беззапѣчливѣе, преслѣдованія происходили открыто, ничѣмъ не стѣсняемыя. При невозможности печатной оппозиціи, противъ нещепности господствующей системы

¹⁾ Русск. Арх. 1866 г., стр. 833.

могли возставать только люди, имѣвшіе почему либо личное значеніе у государя, и возставать личнымъ обращеніемъ къ нему и личными представленіями. Такъ и дѣйствовали люди, уважавшіе науку и понимавшіе ея современное значеніе. Мы находимъ въ самомъ дѣлѣ нѣсколько попытокъ нападенія въ это время на господствовавшую систему обскурантизма; попытки эти были неудачны, что и свидѣлствуетъ о силѣ мистическаго направленія и о томъ, что власть одобряла его вполне съ своей стороны.

На печальныя слѣдствія тогдашняго обращенія съ высшимъ образованіемъ у насъ и въ особенности на дѣятельность Магницкаго, пагубную для будущаго, указывалъ въ это время откровенно и прямо императору Александру энергическій голосъ дерптскаго профессора Паррота. Человѣкъ этотъ, заслужившій благодарное воспоминаніе въ исторіи русскаго просвѣщенія, принадлежалъ къ числу самыхъ образованныхъ людей того времени и пользовался давно ужъ близкою, сердечною дружбой Александра. Послѣдній встрѣтился съ Парротомъ на второй годъ своего государствованія, въ лучшую пору мечтаній о необходимыхъ для Россіи преобразованіяхъ. Въ 1802 году, когда Александръ былъ въ Дерптѣ, Парротъ, тогда проректоръ университета, пользовавшійся въ Европѣ большою извѣстностію, какъ физикъ и естествоиспытатель, говорилъ ему привѣтственную рѣчь. Она до такой степени понравилась государю, что онъ приблизилъ къ себѣ Паррота. Завязалась дружба, самая интимная, между этими людьми, такъ далеко отстоявшими другъ отъ друга по своему общественному положенію. Парротъ, когда пріѣзжалъ въ Петербургъ, имѣлъ свободный доступъ къ Александру и по цѣлымъ часамъ бесѣдовалъ съ нимъ въ его кабинетѣ, а въ Дерптѣ часто получалъ отъ него простыя дружескія письма. Александръ повѣрялъ ему, по свидѣтельству барона Корфа, и частныя свои и государственныя тайны. „Этотъ ученый, говоритъ онъ о Парротѣ, былъ честный, умный, добросовѣстный нѣмецъ, конечно, болѣе мечтатель, нежели практикъ, но всегда правдивый и прямодушный; съ безкорыстіемъ и смѣлостію человѣка, ничего не искавшаго и даже отклонявшаго всякое вѣншее изъявленіе милости, онъ предался Александру всею душою, и далекій отъ всякой лести, строгій въ своихъ приговорахъ какъ совѣсть, постепенно присвоилъ себѣ роль и права сокровеннаго ментора“¹⁾). Въ одну изъ тяжелыхъ минутъ жизни Александра, именно наканунѣ высылки изъ Петербурга Сперанскаго, Парротъ, бывший тогда въ столицѣ, имѣлъ случай и лично и письмомъ дѣйствовать въ пользу опальнаго, и если его участіе и не защитило Сперанскаго, то, по всей

¹⁾ Бар. Корфъ. Жизнь граф. Сперанскаго, т. II, стр. 12—13.

вѣроятности, оно удержало Александра отъ тѣхъ крайностей, на которыя онъ готовъ былъ рѣшиться въ первомъ пылу раздраженія. Точно такъ и теперь, въ самое печальное время царствованія Александра, во время господства крайняго обскурантизма, Парротъ рѣшился раскрыть глаза своему царственному другу на весь вредъ преобладающей тогда системы по отношенію къ университетамъ и представилъ Александру записку на французскомъ языкѣ: „*Coup d'oeuil moral sur les principes actuels de l'instruction publique,*“ въ которой справедливо и откровенно нападалъ ирремущественно на дѣйствія Магницкаго. Парротъ осуждаетъ вообще систему нашего просвѣщенія за то, что въ ней нѣтъ твердыхъ и ясныхъ началъ, и что она безпрестанно измѣнялась, согласно съ духомъ и направленіемъ времени,—упрекъ, который и теперь не утратилъ своего значенія. Главное нападеніе Паррота направлено, однако, на тѣ вредныя слѣдствія, которыя необходимо должны истекать для духовной жизни страны изъ знаменитыхъ „Инструкцій“ Магницкаго. Чрезвычайно вѣрно онъ доказываетъ всю безнравственность началъ, въ нихъ заключающихся, и то сломанное лицемѣріе, которое должны онѣ были произвести, какъ въ характерѣ профессорскаго преподаванія, такъ и въ нравственномъ образованіи слушателей. Парротъ разгадалъ фразы Магницкаго и доказываетъ ясно, что всѣ тѣ разглагольствованія о Богѣ, его мудрости и пр. и такъ называемый обличительный характеръ нѣкоторыхъ наукъ, требуемый отъ профессора „Инструкціями“, не только не достигаетъ предполагаемой цѣли, но именно вредитъ ей. „Частымъ и заказнымъ повтореніемъ мысли, навѣянной со стороны, говоритъ онъ, выраженіе этого удивленія (къ Творцу) дѣлается пустымъ обрядомъ“... Въ инструкціи о преподаваніи Парротъ не видитъ ничего „кромѣ безконечной фразеологіи, гдѣ невѣжество облекается мантией эрудиціи и знаній“. Парротъ убѣдительно доказываетъ, что система разовѣетъ въ слушателяхъ холодность къ религіи, насмѣшки надъ нею и набожность лицемѣрную, наружную. Точно также справедливо Парротъ возстаетъ противъ мелкаго и постоянного надзора за поведеніемъ студентовъ. По его словамъ, это держаніе молодого человѣка въ пеленкахъ дѣлаетъ изъ него или „негодяя или автомата, существо безъ воли, безъ характера, не способное ни къ какой самостоятельной дѣятельности“. Молодому человѣку необходима свобода развитія. Принудительная система должна выработать тѣхъ „негодяевъ, которые скрываютъ настоящія свои чувства подъ покровомъ скромности, а потомъ вознаграждаютъ себя за это рабство неуваженіемъ къ обществу и открыто ненавидятъ власть, которой приходится клеймить ихъ“. Онъ угадалъ результаты, которые должны были произойти для университета отъ системы та-

кого „опаснаго“ преобразователя, какииъ былъ Магницкій. „По вѣдѣнности, говорить онъ, университетъ сохранить нѣкоторый порядокъ, но внутри это будетъ клоака всякой безнравственности, до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, начальство не обратитъ на нее вниманіе“. Парротъ спрашиваетъ: какия причины политическія могли заставить правительство принять такую стѣснительную систему народнаго образованія, и указываетъ на тѣ либеральныя стремленія, которыя всегда отличали царствованіе Александра, даже на конституцію Польши, бывшую его дѣломъ; онъ приводитъ собственныя слова государя, когда-то имъ сказанныя: „Я не хочу, чтобы общественное воспитаніе лишало молодежь энергіи, точно также, какъ не хочу имѣть слабодушныхъ въ государственной службѣ“. Парротъ клеймитъ позоромъ людей, которые, прикрываясь религіей, поставили себѣ задачей сдѣлать русскихъ рабами въ правленіе государя, добывавшагося совершенно противоположнаго. Министерство князя Голицына, по словамъ его, дѣйствовало, само того не сознавая, въ пользу іезуитовъ, которые непременно воспользуются этимъ по возвращеніи въ Россію ¹⁾). Этотъ благородный, смѣлый голосъ честнаго нѣмецкаго профессора не былъ услышанъ Александромъ. Система по-прежнему продолжала существовать, потому что соответствовала тогдашнему настроенію его, и „Записка“ Паррота только въ 1826 году, уже въ новое царствованіе, была передана новому министру Шишкову, но не произвела вообще никакого вліянія на взгляды власти.

Безъ всякаго сомнѣнія, въ русскомъ обществѣ того времени были люди, дѣйствительно образованные, которые приходили въ негодованіе отъ всѣхъ этихъ стѣснительныхъ мѣръ. Мы увѣрены, что и вся литература наша возстала бы противъ нихъ, если бы имѣла возможность. Къ лучшему литературному обществу столицы принадлежалъ извѣстный намъ Уваровъ, который самъ, въ качествѣ попечителя петербургскаго учебнаго округа, долженъ былъ потерпѣть отъ дѣйствій министерства князя Голицына. Уваровъ, какъ мы сказали, подалъ въ отставку, какъ только что составленный имъ проектъ устава Петербургскаго университета былъ неодобренъ главнымъ правленіемъ училищъ. Вскорѣ затѣмъ послѣдовало гоненіе четырехъ петербургскихъ профессоровъ и судъ надъ ними, надѣлавшій столько скандала. Обвиняли ихъ, Магницкій и Руничъ касались и Уварова. Университетъ и его обвиняли въ распространеніи обдуманной системы невѣрія, понятій, противныхъ христіанству и разрушительныхъ для общественнаго порядка и благосостоянія. Уварову приходилось, такимъ образомъ, самому защищаться и, опираясь на свое высокое общественное по-

¹⁾ Феоктистовъ. Магницкій, стр. 143—152.

ложение и связи, онъ рѣшился написать письмо къ императору Александру и высказать въ немъ свой взглядъ на положеніе вещей въ тогдашнемъ министерствѣ народнаго просвѣщенія ¹⁾). Сила обстоятельствъ заставила его написать это письмо, въ которомъ онъ старается оправдаться отъ вводимыхъ на него обвиненій и объясняетъ характеръ дѣйствій министерства. Любопытна въ особенности слѣланная имъ характеристика его преслѣдователей, людей, которые представляли себя защитниками религіи и трона, этой „горсти людей, по его словамъ sans aveu, которые съ злобой въ душѣ и съ челоуѣколюбіемъ на словахъ, исконные враги всякаго положительнаго порядка и слѣдовательно *друзья мрака* присвоиваютъ себѣ самыя священныя имена, чтобы захватить власть и подкопать существующій порядокъ въ самомъ основаніи; эти хладнокровныя фанатики, поочередно, то заклинатели злыхъ духовъ, то иллюминаты, квакеры, масоны, ланкастерьянцы, методисты, наконецъ все, что угодно, только не люди и не граждане,—которые утверждаютъ, что защищаютъ троны и алтари противъ нападений несуществующихъ и въ тоже время набрасываютъ подозрѣніе на истинныя опоры алтара и трона,—искусные актеры, надѣвающіе всевозможныя маски, чтобы смутить всѣ совѣсти, встревожить всѣ умы и которые теперь создаютъ вокругъ себя воображаемыя опасности, чтобы продолжить нѣсколькими минутами свое эфемерное существованіе“ ²⁾). Большая часть этой характеристики относилась къ главному герою министерства Магницкому, которому, дѣйствительно, ничего не стоило мѣнять изъ-за личныхъ выгодъ массу убѣжденій, какъ это всѣмъ извѣстно. Воейковъ въ своей сатирѣ жестоко заклеилъ этого хамелеона ³⁾). Но распространяя эту характеристику на все библейское общество, Уваровъ оскорблялъ нѣкоторымъ образомъ всѣ сердечныя привязанности Александра и его мистически-набожное настроеніе, а потому письмо его не имѣло успѣха. Даже Карамзинъ, какъ мы видѣли, былъ на сторонѣ всего образованнаго общества и отзывался съ крайнимъ неуваженіемъ о цензурѣ, преслѣдованіяхъ университетскаго преподаванія, мистицизмѣ и другихъ обскурантныхъ мѣрахъ того времени, но его личное негодованіе не выросло до той степени гражданскаго мужества, чтобы стараться убѣдить императора Александра въ неужности принимаемыхъ крутыхъ мѣръ и во вредѣ направленія, господствовавшего въ министерствѣ народнаго просвѣщенія. Между тѣмъ направленіе росло, система преслѣдованій цензурныхъ и всякихъ другихъ про-

¹⁾ Сухомлиновъ. Матеріалы, стр. 378—384.

²⁾ Ibidem, стр. 383.

³⁾ Домъ сумасшедшихъ.

цвѣтала, и общественное мнѣніе позволяло себѣ только нападенія въ рукописныхъ эпиграммахъ Пушкина и другихъ либеральныхъ поэтовъ того времени. Направленіе, составлявшее душу министерства народнаго просвѣщенія, было такъ сильно, такъ подходило къ условіямъ нашей государственной и общественной жизни, что даже и тогда, когда пало министерство князя Голицына, оно устояло и еще набралось силъ, еще болѣе окрѣпло, хотя прежній мистическій оттѣнокъ его исчезъ навсегда. Министерство князя Голицына пало не въ угоду торжества либеральныхъ идей, съ которыми оно такъ усиленно и ожесточенно воевало; не онѣ восторжествовали, а восторжествовали такія же и еще можетъ быть болѣе страшныя, темныя силы: измѣнились лица, фанатизмъ преслѣдованія остался тотъ же. Библейское общество, а съ нимъ и министерство князя Голицына пали отъ интриги, которая только ловко воспользовалась давно накопившимся въ сердцахъ необразованныхъ представителей нашего духовенства и приверженцевъ старины негодованіемъ на господствующую мистику и на библейское дѣло, въ которомъ видѣли начала невѣрія и революціи. Библейское дѣло, какъ оно понималось нашимъ обществомъ, было у насъ заноснымъ англійскимъ явленіемъ, съ извѣстнымъ оттѣнкомъ протестантизма, и потому все наше духовенство, мало образованное, привывшее только къ обрядовой сторонѣ религіи, было весьма мало расположено къ нему, относилось къ нему подозрительно. Все духовенство наше было образовано въ рутинной схоластической школѣ, не могло понимать новыхъ явленій въ умственной жизни и не было въ состояніи по своему низкому духовному развитію бороться съ тѣми направленіями мысли, которыя противоположны религіозному чувству, путемъ слова и убѣжденія или путемъ науки. Оно могло только голословно порицать и отвергать и употреблять какъ орудіе борьбы такія средства, какія немислямы въ правильной и честной борьбѣ понятій. Библейское дѣло, вопросъ о распространеніи въ народѣ книгъ св. писанія и вообще о религіозномъ воспитаніи народа, было для духовенства такою новизною, о которой оно никогда прежде не думало; но когда власть и представители высшаго духовенства взялись за эту новизну, все остальное духовенство молча и безпрекословно подчинилось желанію власти, именно потому, что само духовенство, не имѣя твердаго общественнаго положенія, не имѣло и голоса. Тѣмъ не менѣе, глухая неприязнь къ библейскому дѣлу нашла распространеніе въ массѣ этого мало образованнаго, но твердо стоявшаго за старину и преданія духовенства; библейское нововведеніе казалось ей опаснымъ явленіемъ протестантизма у насъ. Духовенство роптало и говорило о

нарушеніи православія. Этотъ ропоть еще болѣе увеличился отъ мистическихъ увлеченій князя Голицына и главныхъ дѣятелей библейскаго общества. Эти люди, не довольствуясь внѣшнею церковью, искали церкви внутренней, не довольствуясь церковною догматикою, искали вездѣ, часто не разбирая источниковъ, живой дѣятельной вѣры, покровительствовали раскольникамъ, слушали проповѣди католиковъ и квакеровъ, не брезгали даже религіозными плясками у Татариновой. Мистическія сочиненія, съ ихъ неопредѣленнымъ туманнымъ языкомъ, въ которыхъ говорилось, однако, непрерывно объ основаніи какого-то новаго царства Христова, наводняли литературу. Мистики, какъ напр., Лабзинъ, покровительствуемые Голицынымъ, держали себя гордо, высокомерно по отношенію къ прочему духовенству и выставляли себя единственно истинными истолкователями религіозныхъ вопросовъ. Все это увеличивало ропоть и неудовольствіе необразованнаго духовенства по отношенію къ князю Голицыну. Самое министерство его: „духовныхъ дѣлъ“ и народнаго просвѣщенія казалось чѣмъ-то въ высшей степени страннымъ и оскорбительнымъ для православнаго вѣроисповѣданія: дѣла послѣдняго вѣдались наравнѣ съ дѣлами исповѣданій еврейскаго, католическаго, протестантскаго, даже магометанскаго. Многихъ оскорбляло это безразличіе и сословный духъ духовенства сильно былъ возмущенъ имъ. Притомъ Голицынъ, опираясь на дружескую привязанность къ нему государя, дѣйствовалъ самовластно, не стѣсняясь ничѣмъ. Бороться съ такимъ сильнымъ челоуѣкомъ даже высшимъ представителямъ духовенства было затруднительно. Рассказываютъ, что петербургскій митрополитъ Михаилъ, пользовавшійся всеобщимъ уваженіемъ, умеръ отъ огорченій, нанесенныхъ ему княземъ Голицынымъ, вслѣдствіе личныхъ столкновеній ¹⁾, и что, умирая, онъ писалъ къ Александру письмо, въ которомъ указывалъ на опасности для православія отъ дѣйствій и общаго направленія министерства Голицына по отношенію къ духовнымъ дѣламъ. По смерти его, при вліяніи Аракчеева, который давно завидовалъ дружбѣ Александра къ Голицыну, петербургскимъ митрополитомъ назначенъ былъ Серафимъ; въ рукахъ Аракчеева онъ сдѣлался главнымъ орудіемъ въ паденіи Голицына. Вообще причину этого паденія, которому рукоплескало тогда и либеральное меньшинство нашего общества, не знавшее тайныхъ пружинъ, надобно считать ловкую интригу Аракчеева, который нашелъ себѣ, кромѣ Серафима, еще двухъ смѣлыхъ и ревностныхъ помощниковъ въ лицѣ столь извѣстнаго Юрьев-

¹⁾ Вѣстн. Евр. 1868 г., XI, стр. 239.

скаго архимандрита Фотія и Магницкаго. Этими лицами было обдуманно и расчетливо подготовлено паденіе князя Голицына.

Изъ всѣхъ лицъ этого союза, заговора или интриги, которую хорошо знали современники, самымъ любопытнымъ является оригинальный архимандритъ Новгородскаго Юрьева монастыря Фотій. О немъ очень долго и много говорили, передавая рассказы современниковъ; въ послѣдніе годы стали печататься эти рассказы, выясняющія намъ отчасти эту довольно темную личность, ея значеніе въ дѣлѣ паденія князя Голицына, ея вліяніе даже на самого Александра. Это вліяніе Фотія было уже послѣднее въ жизни императора, и оно характеризуетъ нравственно состояніе его, показывая, какая глубокая разница существуетъ между вліяніями его первыхъ лучшихъ лѣтъ и настоящими, когда онъ приближалъ къ себѣ уже не лучшія личности общества, а грубаго изступленнаго фанатика, который еще нарочно надѣвалъ на себя маску дикости, чтобъ казаться болѣе строгимъ и святымъ.

Для исторіи общества того времени такая личность, какою является передъ нами Фотій въ послѣдніе годы царствованія Александра, весьма замѣчательна: она въ высшей степени характеризуетъ время. Но мы мало еще знакомы съ нимъ, чтобъ можно было поручиться за вѣрность его изображенія. Записки его, писанныя имъ по убѣжденію графини Орловой, напечатаны только въ весьма незначительныхъ отрывкахъ ¹⁾, судить по которымъ о немъ затруднительно. Вообще надобно сказать, что о Фотіи существуютъ разные, довольно противоположные отзывы: одни считаютъ его полу-изступленнымъ фанатикомъ, другіе видятъ въ немъ хитраго лицемеръ, хлопотавшаго только о личныхъ выгодахъ своихъ; третьи только орудіе въ локтяхъ рукахъ Аракчеева. Особенно скандализировали современниковъ и потомковъ его отношенія къ графинѣ А. Орловой, къ этой богатѣйшей женщинѣ въ цѣлой Россіи, которая безгранично, какъ раба, была предана ему, какъ раба снимала съ него сапоги и была готова отъ него на всяческія униженія. Она предоставила въ его полное распоряженіе и свое вліяніе въ свѣтѣ, и свои связи, и свое громадное состояніе. Отношенія Фотія къ Орловой—въ насмѣшливыхъ эпиграммахъ Пушкина—весьма извѣстны ²⁾. Но во всемъ этомъ много преувеличеній. Дѣвица Орлова, единственная наследница богатствъ знаменитаго сподвижника Екатерины, графа Орлова-Чесменскаго, получившая блестящее образованіе и воспитанная при дворѣ въ величайшей ро-

¹⁾ Чтенія въ Моск. Общ. исторіи и древностей Россійскихъ 1868 г., I, стр. 262 - 273.

²⁾ Графинѣ А. А. Орловой-Чесменской. Разговоръ Фотія съ Орловой.

скоши, вслѣдствіе разныхъ душевныхъ потрясеній и, говорятъ, несчастной любви, сдѣлалась набожною святошею и сблизилась съ Фотіемъ, фанатической волѣ котораго она вполне подчинилась. Но монахъ этотъ, на котораго она смотрѣла, какъ на святого, не воспользовался своимъ вліяніемъ для себя лично или для родныхъ своихъ. Все, что только передавала ему Орлова, все это шло на украшеніе Новгородскаго Юрьевскаго монастыря, гдѣ онъ былъ архимандритомъ. Богатства Орловой всё пошли на монастыри, на церкви, на разные богоугодныя заведенія, и во всей раздачѣ этой Фотій принималъ непосредственное участіе. Фанатизмъ доводилъ его до ослѣпленія. Еслибъ у него была такая власть, какъ у католическихъ духовныхъ лицъ среднихъ вѣковъ, изъ него вышелъ бы типъ инквизитора, но въ нашемъ русскомъ духовномъ развитіи онъ повторилъ собою фигуру протопона Аввакума, столь же смѣлую, рѣзкую и фанатическую. Въ нихъ есть много сходства; даже слогъ Фотія напоминаетъ Аввакума.

Несмотря на фанатизмъ и дикія выходки Фотія, его нельзя, однако, назвать ни невѣждою, ни недоучившимся семинаристомъ, хотя то, что извѣстно въ отрывкахъ изъ его сочиненій, не можетъ дать намъ обрацѣнокъ особеннаго образованія, но за то дышитъ самымъ глубокимъ фанатизмомъ и дерзостью. Фотій кончилъ курсъ въ Александро-Невской Лаврѣ, поступилъ въ монахи и вскорѣ назначенъ былъ законоучителемъ въ одинъ изъ петербургскихъ кадетскихъ корпусовъ. Въ этомъ званіи очень смѣло сталъ онъ обличать господствовавшее мистическое направленіе и въ особенности библейское общество; каковы были взгляды Фотія, видно, напр., изъ того, что въ распространеніи св. Писанія посредствомъ библейскаго общества онъ находилъ успѣхъ протестантства, а по поводу простоя нравственнаго содержанія замѣтки, напечатанной Лабзиннымъ въ „Сіонскомъ Вѣстникѣ“: „Тотъ, кого нетерпѣливость влечетъ, какъ Петра, ударить ножемъ, да молится: „Господи! даруй сердцу моему терпѣніе!“ Будемъ, братья, ждать, пока Господь на то воззоветъ, какъ воззвалъ Ілію на избіеніе Вааловыхъ жрецовъ!“—Фотій положительно утверждалъ, что въ 1817 году мистиками, а слѣдовательно и княземъ Голицынымъ, было составлено покушеніе на жизнь императора Александра, но отложено ¹⁾. Вскорѣ, однако, Фотій принужденъ былъ оставить и столицу и должность законоучителя и уѣхать архимандритомъ въ свой Новгородскій Юрьевъ монастырь. Тогда онъ сталъ печатать, и имя его сдѣлалось извѣстнымъ въ духовной литературѣ сочиненіями: „Огласительное богословіе“ (уроки, которые

¹⁾ Читенія въ Моск. Общ. исторіи и древностей Россійскихъ 1868 года, I, стр. 263.

преподавалъ онъ въ кадетскомъ корпусѣ); „Житіе блаженнаго Иннокентія, еп. Пензенскаго“ (учителя Фотія, котораго онъ выставялъ жертвою преслѣдованій князя Голицына и страдальцемъ за православіе). Рѣзкія убѣжденія, фанатизмъ и слѣпость Фотія были хорошо извѣстны въ Петербургѣ. Такой человекъ былъ нуженъ Аракчееву для того, чтобъ бороться съ ненавидимымъ имъ княземъ Голицынымъ на томъ поприщѣ, на которомъ онъ былъ силенъ и гдѣ убѣжденія его раздѣлялъ и поддерживалъ самъ государь. Безъ сомнѣнія при сильномъ вліяніи Аракчеева, въ 1822 году, когда уже нанесенъ былъ мистицизму значительный ударъ ссылкой Лавина, Фотій, какъ вѣрное и слѣпое орудіе борьбы, вызывается въ Петербургъ. Объ этомъ годѣ и о дѣйствіяхъ своихъ въ то время въ столицѣ, Фотій оставилъ „Записки“¹⁾. Этотъ годъ надобно считать началомъ борьбы съ княземъ Голицынымъ враговъ его. Тогда, по словамъ Фотія, Господь „явно началъ сокрушать чрезъ своихъ вѣрныхъ силы сильныхъ ересеначальниковъ и ересеначальницъ: столпы вражіи шатаются, невѣріе трепещеть“. Изъ словъ Фотія видно, что онъ вызывался въ Петербургъ, „изъ коего былъ прежде изгнанъ безславно“ для опредѣленной цѣли—борьбы. Митрополитъ Серафимъ приготовилъ ему помѣщеніе въ Лаврѣ, подлѣ себя. Съ помощію Орловой Фотія принимали и угощали во многихъ знатныхъ петербургскихъ домахъ, „но все слово и дѣло, прибавляетъ Фотій, направляемо было къ настоящей цѣли: како враговъ одолѣть и церкви святой сдѣлать пособіе“²⁾. Но въ этотъ пріѣздъ свой въ Петербургъ Фотій хотѣлъ, повидимому, все дѣло кончить миромъ. Онъ сблизился съ княземъ Голицынымъ и сблизилъ его съ митрополитомъ и Орловой. Тогда же въ первый разъ говорилъ съ нимъ и Александръ, обращавшійся съ Фотіемъ съ глубокимъ уваженіемъ, даже съ какимъ-то подобострастіемъ: цѣловалъ его руки, кланялся ему въ ноги. По всей вѣроятности, эта первая поѣздка Фотія въ Петербургъ была предпринята съ цѣлію изучить людей и положеніе дѣлъ, ознакомить Юрьевскаго архимандрита съ людьми и ихъ отношеніями. Фотія выставили передъ Александромъ—святимъ; кажется, и самъ Голицынъ, набожный и искренно вѣрующій, смотрѣлъ на него такими же глазами, новсе не подозрѣвая въ немъ орудія враговъ своихъ. Да и вообще трудно сказать: дѣйствовалъ ли Фотій отъ себя или былъ только орудіемъ другихъ; скорѣе всего онъ былъ слѣпое орудіе. Но уже и въ этотъ пріѣздъ онъ постарался, повидимому, заронить въ сердцѣ Александра подозрѣніе и напугать его опасностями. „Едино есть тебѣ нужно по-

¹⁾ Русск. Арх. 1869 г., стр. 929—944.

²⁾ Ibidem, стр. 929—931.

вѣдать для тебя паче всего нужное,—говорилъ ему Фотій, согласно его собственному разсказу:—враги церкви святой и царства весьма усиливаются; зловѣріе, соблазны явно и съ дерзостью себя открываютъ, хотятъ сотворить тайныя злыя общества, вредъ великъ святой вѣры Христовой и царству всему,—но они не успѣютъ, бояться ихъ нечего; надобно дерзость враговъ тайныхъ и явныхъ внутрь сама столицы въ успѣхахъ немедленно остановить“¹⁾...

Мы сказали, что нравственная личность Фотія, главнаго дѣйствителя въ борьбѣ съ Голицынымъ и главнаго виновника его паденія, личность, характеризующая время, представляется, въ разнообразныхъ, часто противоположныхъ отзывахъ современниковъ и людей, изучавшихъ то время, очень неясною, хотя все согласны въ томъ, что онъ былъ религіозный фанатикъ. Фанатизмъ этотъ, выражающійся въ дикихъ, грубыхъ формахъ, съ полною непримиримостью, заставляетъ подозрительно смотрѣть и на искренность его убѣжденій, въ которой увѣрены его защитники²⁾. Фанатизмъ этотъ какъ-то мало соединимъ и съ его раболѣпнымъ поклоненіемъ Аракчееву, на котораго онъ смотрѣлъ какъ на архангела, какъ на истиннаго защитника православной церкви, и при всякомъ удобномъ случаѣ старался льстить ему. Современники указываютъ на его аскетизмъ, доведенный до высшей степени, говорятъ о физическихъ лишеніяхъ, которымъ онъ подвергалъ себя, о тяжелыхъ желѣзныхъ веригахъ, никогда не покидавшихъ его, что, разумѣется, приобрѣтало ему, какъ святому-юродивому, многихъ поклонниковъ и поклонницъ въ особенности въ высшемъ обществѣ Петербурга: людямъ, пресыщеннымъ жизнію, нравятся такія крайности. Къ этому надобно присоединить его самолюбіе, которое еще болѣе увеличилось отъ сознанія недостатка ума и образованія, отъ зависти, питаемой имъ постоянно къ такому человѣку, какимъ былъ въ то время Филаретъ, сочувствовавшій лучшимъ стремленіямъ библейскаго общества, уважаемый всеми и близкій другъ Голицына. Все эти черты характера Фотія дѣлаютъ изъ него весьма непривлекательную личность, и такому-то человѣку обстоятельства предоставили возможность дѣйствовать въ важномъ дѣлѣ и имѣть духовное вліяніе на Александра и на страну.

Мы видѣли, что Фотій былъ вызванъ въ первый разъ въ Петербургъ въ 1822 году, но тогда онъ только познакомился съ людьми и обстоятельствами. Дѣйствіе открытое и прямое началось позднѣе. Въ апрѣлѣ 1824 года Фотій подалъ Александру „Записку“, въ которой сильно нападалъ на мистическую литературу за ея проповѣдь какой-

¹⁾ Ibidem, стр. 940.

²⁾ Русск. Инв. 1868 г. № 192, Вѣстн. Евр., 1868 г., XI, стр. 258.

то „новой религии“, установленной для послѣднихъ временъ, и перечисляя издавныя нашими мистиками книги и авторовъ ихъ, доказывалъ, что въ нихъ заключается отступленіе отъ вѣры христіанской православной ¹⁾. Это, разумѣется, сдѣлалось извѣстнымъ князю Голицыну и тотъ упрекнулъ Фотія, что онъ противъ него дѣйствуетъ. Фотій старался увѣрить Голицына, что онъ выдѣляетъ его личность изъ своихъ нападеній: „Кто тебѣ возгласилъ, что я противу тебя?— пишеть онъ къ нему.—Ты знаешь, что я по закону, по совѣти, по любви и по присягѣ, вѣроу и правдоу Богу, Царю, церкви и отечеству служилъ, служу и буду служить, и что или кто мя различить отъ любви Божіей въ семь разумѣ? тьма злодѣйскихъ книгъ можетъ ли и святую душу не смущать? Потопъ сдѣлался у насъ отъ невѣрія. Убойся Бога,—что я противу тебя? Ужели слово и дѣло всякое противу злодѣйствъ книжныхъ — есть и можетъ быть противу тебя?“... Въ заключеніе Фотій требуетъ отъ Голицына искреннаго покаянія ²⁾. Фотій рассказываетъ, что на другой день послѣ письма этого Голицына пришелъ къ нему для объясненій (23 Апр.). „Умоляю тебя, сказалъ ему Фотій, Господа ради останови ты книги, кои въ теченіе твоего министерства изданы противъ церкви, власти царской и всякой святости, и въ коихъ ясно возвѣщается *революція*, или доложи ты Помазаннику Божію!“ Но Голицына будто бы отвѣчалъ, что теперь уже поздно, что Государь самъ виноватъ въ распространеніи столь вредныхъ книгъ. Фотій прибавляетъ, что онъ увидѣлъ тогда дерзость и ложь князя Голицына и рѣшился болѣе не видѣться съ нимъ, какъ съ врагомъ церкви и государства. Далѣе, однако, Фотій рассказываетъ, что онъ еще разъ видѣлся съ Голицынымъ, по желанію послѣдняго, черезъ день, при особенно торжественной обстановкѣ (въ домѣ графини Орловой, гдѣ жилъ Фотій ³⁾). Обстановку эту подтверждаетъ и Шишковъ ⁴⁾. Фотій стоялъ у навола съ крестомъ и евангелиемъ, когда вошелъ Голицына. Когда онъ попросилъ благословенія у Фотія, тотъ не далъ его, а требовалъ покаянія, требовалъ, чтобъ онъ шелъ къ царю, палъ предъ нимъ на колѣни и каялся въ своихъ революціонныхъ замыслахъ. Когда Голицына разсердился и сталъ гордо отвѣчать на такія дерзкія притязанія монаха, Фотій сказалъ ему, что онъ по праву служителя алтара можетъ предать его проклятію, и кричалъ вслѣдъ удалявшемуся и смущенному Голицыну: „Анаема, да будешь

¹⁾ Чтенія въ Моск. Общ. исторіи и древностей Россійскихъ, 1868 г., I, стр. 269.

²⁾ Русск. Арх. 1870 г., стр. 1159—1162.

³⁾ Чтенія въ Моск. Общ. исторіи и древностей Россійскихъ 1868 г., I, стр. 267—268.

⁴⁾ Записки, мнѣнія и переписка адмирала А. С. Шишкова, т. II, стр. 246.

ты прокляты!“ 29 апрѣля Фотій вручилъ императору Александру новую записку о дѣйствіяхъ министерства князя Голицына. Въ ней доказывалъ онъ, что вся цѣль дѣйствій князя Голицына есть ниспроверженіе самодержавія и вѣры. „Чтобы духовенство сему не мѣшало, говоритъ онъ, введено министерство духовныхъ дѣлъ. Все противное церкви вводилось и духовенство не смѣло ничего сказать. Для смѣшенія всѣхъ религій, министерству подчинены всѣ религіи, даже жидовская и магометанская. Чтобы смѣшать религію съ ложнымъ просвѣщеніемъ и просвѣщеніе съ ложною религіею, и чрезъ то исказить и религію и просвѣщеніе, и чего нельзя достигнуть чрезъ религію, того достигнуть чрезъ просвѣщеніе, министерство духовныхъ дѣлъ соединяется съ министерствомъ народнаго просвѣщенія въ одномъ лицѣ“... Съ тою же вредною цѣлію учреждается и библейское общество „чтобы, подъ видомъ набожности, удобнѣе имѣть сообщеніе“; далѣе говорится о вредныхъ книгахъ, изданныхъ при Голицынѣ, о широкой разсылкѣ ихъ въ подвѣдомственные министру округа и учебныя заведенія, для чего министръ беретъ на себя и управление почтовою частію, о выборѣ единомышленниковъ въ попечители учебныхъ округовъ, о вышесѣ изъ-за границы представителей протестантизма, напр., Госнера, Фесслера, „который хуже Пугачева“, о покровительствѣ мистицизму, разнымъ сектамъ и раскольникамъ. Въ вѣдѣніи министерства и типографіи и цензура. „Есть часть единомышленниковъ и въ нихъ, говоритъ Фотій:—Грѣхъ—первый злодѣй съ сей стороны и Тимковскій“!! „Всѣ ереси и духъ реформы и революціонный такъ сильно и быстро расплываются, что въ ужасъ многихъ приводятъ. Дабы унижить слово Божіе, которое въ церквахъ съ благоговѣніемъ читается, предписано продавать его даже въ аптекахъ съ микстурами и стеклянками“¹⁾.

Такъ началась всѣмъ кампанія противъ князя Голицына и тѣ же самыя обвиненія, которыя министерство его такъ щедро расточало наукѣ и высшему образованію въ Россіи, теперь обрушились на него. Мы знаемъ, какъ мало правды было въ этихъ взаимныхъ обвиненіяхъ, знаемъ, что источникъ ихъ прежде всего надобно искать въ личномъ настроеніи императора Александра, въ томъ страхѣ революціонныхъ замысловъ, который обуялъ все общество подъ вліяніемъ инсинуацій реакціонеровъ, и наконецъ въ малообразованности дѣйствовавшихъ лицъ. Но главная пружина всетаки заключалась въ ихъ личномъ честолюбіи и въ раболѣпномъ желаніи угодить власти. Можно полагать, что Фотій, этотъ религіозный, фанатическій диварь, дѣйствовалъ искренно, согласно своимъ нелѣпнымъ убѣжденіямъ; но

¹⁾ Чтенія въ Моск. Общ. исторіи и древностей Россійскихъ 1868 г., I, стр. 272—273.

за нимъ стояли другіе, которые ждали и умѣли воспользоваться его фанатическою ревностію. Шишковъ, фанатизмъ котораго и ревность не по разуму, по нашему мнѣнію, ничѣмъ не уступали Фотіевымъ, рассказавъ дикую и возмутительную сцену съ Голицынымъ въ домѣ графини Орловой, прибавляетъ, что Александръ вскорѣ позвалъ къ себѣ Фотія „и хотя сначала выговаривалъ ему съ гнѣвомъ за такой его поступокъ, находя оный не токмо неприличнымъ, но даже и несообразнымъ съ христіанскою кротостію, однакожъ, по долгомъ съ нимъ бесѣдованіи, отпустилъ его безъ гнѣва“¹⁾. Въ этой личной бесѣдѣ Александра съ Фотіемъ, если вѣрить послѣднему и его запискамъ, Александръ, убѣжденный его доводами, будто бы задалъ ему вопросъ: „какъ пособить, дабы остановить революцію?“ и Фотій написалъ по этому поводу письмо къ нему, гдѣ беретъ на себя роль вдохновеннаго пророка и, увѣряя, что послѣ долгой и усердной молитвы его посѣтило свыше откровеніе, предлагаетъ слѣдующій „способъ весь планъ уничтожить вдругъ, тихо и счастливо: 1) Министерство духовныхъ дѣлъ уничтожить, а другія два отнять отъ извѣстной особы. 2) Библейское общество уничтожить подѣ тѣмъ предлогомъ, что уже много напечатано библій, и онѣ теперь не нужны. 3) Синоду быть попрежнему и духовенству надзирать при случаяхъ за просвѣщеніемъ—не бываетъ ли гдѣ чего протѣвнаго власти и вѣрѣ. 4) Кошелева отдалить, Госнера выгнать, Фесслера выгнать и методистовъ выгнать хоть главныхъ. Провидѣніе Божіе теперь ничего болѣе дѣлать не открыло“²⁾.

Нападенія Фотія на князя Голицына, какъ на главнаго распространителя у насъ мистической литературы, потому имѣли силу, что онъ опирался на мнѣніе всего консервативнаго духовенства, которому очень не нравилась мистика за ея протестантское происхожденіе. Лабзинъ, главный переводчикъ у насъ протестантскихъ мистиковъ, давно уже былъ прославленъ врагомъ церкви. Невозможность дѣйствовать противъ враждебныхъ литературныхъ явленій путемъ печатной критики и недостатокъ для этого образованія приводилъ давно уже къ средству, часто употребляемому въ нашемъ обществѣ,—къ доносу о вредѣ того или другого направленія. Такой доносъ „Письмо къ Государю о богохульныхъ книгахъ“ былъ поданъ въ 1816 еще году какимъ-то Смирновымъ, переводчикомъ Московской Медико-Хирургической Академіи³⁾. Этотъ доносчикъ, выставя на видъ свою глубокую преданность православію, былъ безъ сомнѣнія

¹⁾ Записки, т. II, стр. 246—247.

²⁾ Чтенія въ Моск. Общ. исторіи и древностей Россійскихъ 1868 г., I, стр. 271.

³⁾ Чтенія въ Имп. Моск. Общ. исторіи и древностей Россійскихъ 1868 г., IV, Смѣсь, стр. 139—142.

выразителемъ мнѣнія духовенства, и, вѣроятно, былъ искренно убѣжденъ въ справедливости и необходимости своего доноса. „Появленіе богоотступныхъ и возмутительныхъ книгъ, говоритъ онъ, пронзаетъ горестію сердца благомыслящихъ подданныхъ“. Онъ убѣжденъ, что эти книги истребляютъ въ сердцахъ вѣру въ Бога, съ которою исчезаетъ и вѣрность къ гражданскимъ уставамъ, и умоляетъ Александра принять мѣры для пресѣченія зла. Книги, которыя казались столь вредными доносчику, были большею частію сочиненія Ю. Штиллинга и Экартсгаузена. Больше всего досталось книгѣ перваго „Побѣдная повѣсть“ (изданной въ 1815 году) — мистически-популярному объясненію Апокалипсиса. Въ ней Смирновъ видитъ „оскорбительныя хуленія христіанства, наипаче греческаго исповѣданія“. Другая, столь же жестоко преслѣдуемая имъ книга было извѣстное сочиненіе Шатобріана „Мученики“, которое служило во Франціи къ реставраціи христіанства послѣ революціонныхъ бурь и было поэтическою апофеозою первыхъ вѣковъ христіанства. Доносчикъ не понялъ значенія этой книги и оказалъ усердіе не по разуму. „Побѣдная повѣсть“ Ю. Штиллинга впоследствии сильно преслѣдовалась и изъ нея брали главныя обвиненія противъ мистической литературы, такъ что это сочиненіе сдѣлалось чрезвычайною рѣдкостію. Оно послужило и главною причиною борьбы между Филаретомъ, впоследствии митрополитомъ Московскимъ, и Иннокентіемъ, потомъ епископомъ Пензенскимъ († 1819 г.), извѣстнымъ богословомъ и историкомъ церкви, любимымъ учителемъ Фотія. Иннокентій называлъ „Побѣдную Повѣсть“ — книгою, противною православію; Филаретъ защищалъ ее. Разойдясь съ Филаретомъ, Иннокентій долженъ былъ разойтись и съ княземъ Голицынымъ. Борьба эта происходила втайнѣ; никто не зналъ ея, и въ то время, какъ опроверженіе сочиненія Ю. Штиллинга, написанное тѣмъ же Смирновымъ, подъ апокалиптическимъ названіемъ „Вопль жены, облеченной въ солнце“ — не пропускала духовная цензура, — Лаврину дозволялось („Жизнь Генриха Штиллинга“, 1816 г. предисл.) защищать своего любимаго мистическаго писателя и опровергать взводимыя на него обвиненія ¹⁾. Все это происходило отъ того, что мистики были еще въ силѣ, что имъ покровительствовала власть, а потому они считали себя въ правѣ тѣснить противоположныя убѣжденія. Зато и они сами, потерявъ значеніе, не могли уже защищаться, когда на нихъ посыпались однородныя обвиненія. Доносъ Смирнова, поданный императору, не имѣлъ дѣйствія, но какъ доносъ политическаго содержанія, онъ заключалъ въ себѣ обычныя у насъ обвиненія противниковъ въ невѣріи, въ стремленіи подорвать

¹⁾ Вѣстн. Евр. 1868 г. XI, стр. 243—247.

значеніе алтаря и престола, — обвиненія, на которыя было очень щедро и министерство князя Голицына. Такимъ образомъ, оно само приготовило противъ себя оружіе.

Духовная исторія этого времени представляется намъ по большей части исторіей разныхъ книгъ, то запрещаемыхъ, то дозволяемыхъ, смотря по тому, какого направленія придерживалась тогда власть. Въ печати, имѣя въ рукахъ своихъ цензуру, она не могла допустить появленія мнѣнія, которое было бы противоположно ея собственному. Весьма характеристична исторія книги нѣвого Станевича „Бесѣда на гробѣ младенца о безсмертіи души“, напечатанной въ 1818 году и надѣлавшей въ то время очень много шума. Сочиненіе это не заключало въ себѣ ни богословскихъ, ни литературныхъ достоинствъ; но оно было написано съ точки зрѣнія Смирнова и обличало господствовавшую тогда мистическую литературу и брало на себя защиту греко-россійской церкви отъ нападеній мистиковъ. Цензоромъ этой книги былъ Иннокентій, тогда ректоръ С.-Петербургской духовной академіи, о которомъ мы только-что говорили, человекъ, смотрѣвшій неблагоприятными глазами на мистиковъ. Изъ современныхъ разсказовъ, напр., Филарета ¹⁾, трудно уяснить, поступалъ ли Иннокентій сознательно, пропуская въ печать эту книгу, въ которой онъ находилъ подтвержденіе и своихъ собственныхъ мыслей. Намъ кажется, что именно это было такъ. Въ тотъ самый день, какъ книга Станевича была выпущена изъ типографіи, кто-то уже представилъ экземпляръ ея Голицыну, съ указаніемъ всѣхъ мѣстъ, гдѣ заключались нападенія на господствовавшую мистику. Голицынъ пришелъ въ большое негодованіе, которое, какъ кажется, усилилъ еще Филаретъ своимъ объясненіемъ. Онъ самъ писалъ объ этой книгѣ между прочимъ слѣдующее: „Защищеніе наружной церкви противъ внутренней наполняетъ всю книгу. Раздѣленіе, непонятное въ христіанствѣ! Ибо наружная безъ внутренней церкви есть тѣло безъ духа. Вообще понятіе о церкви представлено въ превратномъ видѣ: ибо, гдѣ говорится о церкви, вездѣ видно, что одно духовенство принимается за оную“ ²⁾. Ясно отсюда, что книга эта была написана съ точки зрѣнія нашего консервативнаго духовенства и что она нападала на понятія, распространяемые мистиками, несогласныя съ рутинными убѣжденіями официальныхъ представителей нашей церкви. Князь Голицынъ сдѣлалъ по поводу ея особое предложеніе Коммисіи духовныхъ училищъ ³⁾. Кромѣ

¹⁾ Записки Сушкова, стр. 110.

²⁾ Вѣсти. Евр. 1868 г. XI, стр. 249.

³⁾ Чтенія въ Моск. Об-вѣ исторіи и древностей россійскихъ 1861, I, Сибѣрь, стр. 201—202.

того онъ доложилъ о ней особенно государю, какъ о дѣлѣ весьма важномъ и о книгѣ, крайне вредной; Александръ, по словамъ его, остался очень недоволенъ, книга была запрещена и истреблена, а цензору сдѣланъ былъ по Высочайшему повелѣнію строжайшій выговоръ. Такимъ образомъ, мистика не располагала къ терпимости убѣжденій; власть благопріятствовала только своимъ, и потому, когда Голицынъ палъ, а съ нимъ потеряла значеніе мистическая литература, книга Станевича была напечатана вновъ и не только съ одобренія власти, а даже по Высочайшему повелѣнію и на казенный счетъ, именно потому, что въ ней заключалось нападеніе на мистику. Разсмотрѣвъ эту книгу, по Высочайшему повелѣнію, преимникъ Голицына, Шишковъ, писалъ теперь государю, что „прежнее донесеніе о ней было несправедливо; что напротивъ того, онъ, (авторъ), защищая церковь и вѣру, опровергаетъ тѣ ложныя понятія, которыя ко вреду благочестія и правительства во многихъ книгахъ разсѣяны“ ¹⁾. Эта исторія съ пустою книгой весьма многозначительна; она доказываетъ, на какихъ шаткихъ основахъ лежало все духовное просвѣщеніе страны нашей.

Почва, на которой теперь, черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ этихъ преслѣдованій, дѣйствовалъ юрьевскій архимандритъ, была такимъ образомъ уже приготовлена; за нимъ стояли представители нашей церкви и компактная масса духовенства. Самое время уже измѣнилось и измѣнило императора Александра и его убѣжденія. Если разбирать психологически внутреннюю исторію души его, то переходъ отъ мистическихъ мечтаній, которыя наполняли его подъ вліяніемъ времени и событій, къ простой вѣрѣ въ догматы, неразсуждающей и искренней, былъ еще естественнѣе, чѣмъ переходъ отъ либеральныхъ фантазій молодости къ мистикѣ зрѣлаго возраста. Этимъ объясняется и вліяніе на него такой личности, какъ Фотій, который былъ искреннимъ фанатикомъ, импонировавшимъ своимъ аскетизмомъ. У Фотія кромѣ того была сильная поддержка въ Аракчеевѣ, завидовавшемъ князю Голицыну и желавшемъ его свергнуть. Съ каждымъ годомъ Александръ болѣе и болѣе подчинялся вліянію этой темной личности, щеголявшей передъ нимъ своею преданностью и ставившей эту преданность выше всего на свѣтѣ. Аракчеевъ нашелъ себѣ ревностнаго помощника въ Фотіи и воспользовался для своей цѣли его фанатизмомъ. Мы не имѣемъ фактовъ, которые свидѣтельствовали бы о взаимномъ соглашеніи, можетъ быть предварительномъ, между Аракчеевымъ и Фотіемъ, но оно очень вѣроятно. Другимъ и очень ловкимъ

¹⁾ Записки, т. II, стр. 209.

союзником Фотія является человекъ, близкій къ Голицыну, въ преданность котораго онъ вѣрилъ до тѣхъ поръ,—Магницкій. Имяна Магницкаго объясняется его честолюбіемъ, желаніемъ власти, желаніемъ понасть на мѣсто Голицына, сдѣлаться самому министромъ народнаго просвѣщенія. Мѣнять убѣжденія, если это выгодно, мѣнять ихъ во время, было въ натурѣ этого человека. Съ чутьемъ, ему свойственнымъ, онъ понялъ близость паденія Голицына, понялъ силу Аракчеева, рассчитывалъ, что всего добьется отъ него, и съ смѣлою ловкостью честолюбца рѣшился разомъ и открыто выступить противъ Голицына. Было это въ засѣданіи библейскаго общества, въ которомъ представили персидскій переводъ св писанія, уже напечатанный и готовый для отправленія. Магницкій поднялся съ своего мѣста и вдругъ сталъ доказывать бесполезность и неблагонадежность такого распространенія слова Божія и объявилъ наконецъ, что онъ не желаетъ болѣе участвовать въ засѣданіяхъ общества. Это произвело всеобщее волненіе, но такая выходка Магницкаго объясняется тѣмъ, что онъ предварительно совѣщался съ Фотіемъ объ образѣ дѣйствій. Рассказываютъ, будто Фотій увлекъ Магницкаго,—едва ли это такъ. Вѣроятно, самъ Магницкій понялъ хорошо, какія послѣдствія будутъ имѣть дѣйствія Фотія. Передаютъ, что союзъ между ними былъ заключенъ при особенно торжественной обстановкѣ, что Фотій, къ которому пріѣхалъ Магницкій по приглашенію, встрѣтилъ его въ дверяхъ съ зажженными восковыми свѣчами въ рукахъ и проводилъ его до приготовленныхъ почетныхъ креселъ. Послѣ этой сцены послѣдовало и отреченіе Магницкаго отъ библейскаго дѣла, а когда пало потомъ министерство князя Голицына, онъ, въ званіи попечителя Казанскаго учебнаго округа, приказалъ вынести изъ залы портретъ бывшаго министра, прежняго своего благодѣтеля. Союзникомъ же Фотія и четвертымъ лицомъ въ интригѣ, устроенной Аракчеевымъ противъ Голицына, былъ петербургскій митрополитъ Серафимъ, переведенный въ 1821 году изъ Москвы на мѣсто митрополита Михаила, который, говорятъ, умеръ отъ огорченій вслѣдствіе вражды съ Голицыннымъ. Онъ не задолго до смерти своей писалъ къ Александру письмо, въ которомъ говорилъ объ опасностяхъ, угрожающихъ православнои церкви, и письмо это имѣло, говорятъ, вліяніе. Серафимъ былъ избранъ въ митрополиты по совѣту Аракчеева, какъ человекъ враждебно расположенный къ Голицыну, паденіе котораго ускорилося этимъ назначеніемъ. Съ самаго начала являясь въ засѣданія библейскаго общества мрачнымъ и недовольнымъ, онъ, видимо, старался выказать свое неодобреніе этому дѣлу и въ то время, когда секретарь общества краснорѣчиво говорилъ о широкомъ распространеніи его дѣйствій, Серафимъ всталъ и вышелъ изъ залы. Съ этого времени было очевидно для всѣхъ, что борьба между

нимъ и княземъ Голицынымъ становилась неизбѣжною, рѣшительною ¹⁾).

Опять исторія одной, неважной, по нашему мнѣнію, книги была причиною паденія Голицына и переиѣны въ духовномъ направленіи цѣлой страны. Книга эта—сочиненіе католическаго патера Іоанна Госнера, изданное сначала (1823—1824 г.) въ Петербургѣ по-нѣмецки, а потомъ и въ русскомъ переводѣ „Духъ жизни и ученія Іисуса Христа“, заключающее въ себѣ толкованіе на Новый Завѣтъ. Госнеръ какъ и предшественникъ его Линдль, появились въ Петербургѣ въ самое цвѣтущее время мистическихъ увлеченій князя Голицына и подъ его покровительствомъ. Оба они были католическими священниками, но мистицизмъ времени тронулъ ихъ убѣжденія и, представляя изъ себя нѣчто похожее на увлеченныхъ проповѣдниковъ среднихъ вѣковъ, восторженные и грубо-дикіе, они развивали въ рѣчахъ своихъ какой-то мистическій протестантизмъ, въ которомъ замѣтно было вліяніе Ю. Штиллинга. Имъ позволили проповѣдывать въ двухъ католическихъ церквяхъ Петербурга и, несмотря на такой, вполне чуждый нашей церкви характеръ ихъ проповѣди, они находили многихъ увлеченныхъ слушателей, особенно между главными дѣятелями библейскаго общества. Магницкій и Руничъ, конечно, изъ угожденія Голицыну, стояли на первыхъ мѣстахъ ²⁾. Если эти лица слушали патеровъ изъ видовъ личныхъ, то было однако много лицъ и дѣйствительно увлеченныхъ ими, что объяснялось религіозно-мистическимъ настроеніемъ времени и недостаткомъ проповѣди въ православной церкви.

Нѣкоторые изъ увлеченныхъ поклонниковъ Госнера рѣшили перевести его книгу на русскій языкъ. Въ переводѣ участвовало нѣсколько лицъ; въ томъ числѣ лицо близкое къ Голицыну—директоръ департамента народнаго просвѣщенія—набожный и увлекающійся В. М. Поповъ (впоследствии умершій въ Зилантовомъ монастырѣ, куда онъ былъ сосланъ за участіе въ радѣніяхъ Татариновой) и отставной Казанскій профессоръ Яковинъ. Этою книгою, въ которой подозрѣвали анти-православныя мнѣнія, рѣшились воспользоваться для того, чтобъ нанести окончательный ударъ князю Голицыну, и главнымъ дѣятелемъ явился Магницкій, открыто вставшій тогда, т.-е. въ началѣ 1824 года, на сторону враговъ своего министра. Гречъ, въ типографіи котораго печаталась эта книга, подробно рассказалъ въ своихъ запискахъ ловкую, но неблаговидную исторію, какимъ образомъ экземпляръ ея, еще не конченный печатаніемъ, былъ добытъ изъ типографіи. Другой раз-

¹⁾ Русск. Арх. 1868 г. стр. 1389—1390.

²⁾ Гречъ „О пасторѣ Госнерѣ“—Русск. Арх. 1868 г., стр. 1408 и сл.

сказъ о томъ же можно найти въ „Воспоминаніяхъ“ В. Панаева ¹⁾. Въ дѣло употреблены были подкупы, обманъ, шпіонство, и одинъ экземпляръ книги Госнера попалъ къ оберъ-полицеймейстеру, а отъ него къ Магницкому, который и послѣдилъ съ нимъ, въ качествѣ защитника православія, съ указаніемъ въ книгѣ богохульства и безбожія, къ Аракчееву. Рѣшено было, чтобъ спасти православіе и нанести окончательный ударъ Голицыну, заставить дѣйствовать митрополита Серафима. Тотъ, повидимому, колебался сначала и трусилъ, но сильныя убѣжденія заставили его рѣшиться. Почти насильно посадили его въ карету и заставили ѣхать во дворецъ къ императору жаловаться на князя Голицына, какъ на врага церкви и отечества; рассказываютъ, что Магницкій ѣхалъ сзади, наблюдая, чтобъ митрополитъ не вздумалъ перемѣнить своего намѣренія ²⁾, и потомъ дождался его у дворцоваго подъѣзда, чтобъ прежде другихъ узнать результаты его свиданія съ Александромъ. Митрополитъ, говорятъ, поѣхалъ во дворецъ въ необычное время, чтобъ придать еще болѣе значенія своему посѣщенію. Онъ упалъ въ ноги государя и требовалъ удаленія Голицына, какъ врага церкви. Александръ обѣщалъ приказать разслѣдовать дѣло ³⁾. Въ доказательство вредныхъ и предумышленныхъ ко вреду православной церкви дѣйствій Голицына, митрополитъ представилъ государю книгу Госнера „О Евангеліи Матвея“ и указалъ на мѣста, которыя по мнѣнію его были возмутительны. Книга Госнера, такъ сильно возмутившая все наше консервативное духовенство, дѣйствительно составляла крайнюю и рѣзкую противоположность съ общераспространенными въ обществѣ и въ народѣ нашемъ понятіями о церкви, о содержаніи христіанства, о духовенствѣ, но она была волюнѣ согласна съ убѣжденіями нашихъ мистиковъ, постоянно хлопотавшихъ о живой, дѣятельной вѣрѣ, о сердечномъ пониманіи христіанства. „Записка о крамолахъ враговъ Россіи,“ сочиненіе, которое не могло появиться въ свѣтъ при существованіи цензуры князя Голицына, содержаніе котораго заключается въ подробномъ разборѣ дѣйствій библейскаго общества и въ критикѣ книгъ, изданныхъ нашими мистиками въ это время ⁴⁾, дѣлаетъ самыя рѣзкія нападенія на книгу Госнера. Если вѣрить „Запискѣ“, то вся проповѣдь этого увлеченнаго католическаго патера, есть ничто иное, какъ „хула на вѣру христіанскую, поношеніе учителей церкви, поношеніе христіанъ за усердное исполненіе постановле-

¹⁾ Вѣстн. Евр. 1867 г., т. IV, стр. 83—84.

²⁾ Русск. Арх. 1868 г., стр. 1390.

³⁾ Панаевъ, Воспом. Вѣстн. Евр. 1867 г. т. IV, стр. 84; Русск. Арх. 1868 г., стр. 1387.

⁴⁾ Русск. Арх. 1868 г., стр. 1329—1391.

ній св. церкви и слѣдованіе православному ученію, увлеченіе ихъ въ единомысліи съ собою, униженіе христіанскаго богослуженія, униженіе власти и особенно царской, превратное толкованіе св. писанія и даже кощунство надъ его изреченіями¹⁾. Но въ дѣйствительности книга Госнера, насколько можно судить по выпискамъ изъ нея, сдѣланнымъ въ „Запискѣ“, выпискамъ, нарочно приведеннымъ для того, чтобъ доказать ужасное ея содержаніе, для человѣка не предубѣжденнаго была обычнымъ произведеніемъ протестантской мистики, написана увлекательно, съ живою, пламенною, сердечною вѣрою, языкомъ, который долженъ былъ быть совершенно понятнымъ и вразумительнымъ для каждаго читателя и возбуждалъ его чувство. Это было популярное христіанство, давно существующее въ протестантской общинѣ, христіанство, въ которомъ былъ своего рода республиканскій отгѣнокъ, почему Госнеръ и говорилъ неуважительно о царяхъ, вельможахъ, представителей духовной власти и іерархахъ. Обвиненія, сыпавшіяся на него, происходили отъ непривычки такъ говорить о христіанствѣ, какъ онъ говорилъ, отъ непривычки сердечнаго пониманія вѣры, заключающейся не въ однихъ обрядахъ. Отсюда естественно то обвиненіе, что Госнеръ былъ орудіемъ тайныхъ обществъ, „умислившихъ истребить на землѣ религію и правительство, уничтожить іерархію и монархію и ниспровергнуть престолы храмовъ и троны дворцовъ“²⁾.

† ЛЕКЦІЯ XXXI.

Исторія книги Госнера.—Паденіе Голицына.—Министерство Шишкова.—Закрѣпленіе библейскаго общества.

Фанатическіе возгласы Фотія и его личныя бесѣды съ императоромъ Александромъ, выступленіе на сцену митрополита Серафима, закулисныя интриги Магницкаго и наконецъ тайное, но тѣмъ не менѣ сильное вліяніе Аракчеева, все это вмѣстѣ должно было подѣйствовать на Александра и пошатнуть его довѣріе къ князю Голицыну. Послѣдовало Высочайшее повелѣніе о разсмотрѣніи книги Госнера въ особомъ комитетѣ, состоявшемъ изъ адмирала и президента Россійской Академіи А. С. Шишкова и министра внутреннихъ дѣлъ Ланскаго. Послѣдній вполне положился на литературную опытность своего товарища и только подписалъ составленное имъ мнѣніе о книгѣ Госнера или разборъ ея. Разборъ этотъ своимъ со-

¹⁾ Ibidem, стр. 1369.

²⁾ Ibidem, стр. 1377.

держаніемъ вполнѣ подтверждалъ мнѣніе объ этой книгѣ Серафима, Фотія, Магницкаго и автора „Записки о крамолахъ враговъ Россіи“, въ которой все министерство Голицына, дѣйствія библейскаго общества и покровительствуемая имъ мистическая литература были представлены крайне вредными, революціонными замыслами. Авторъ этой „Записки“ по справедливому предположенію Морозкина, былъ большой почитатель Шишкова, его довѣренное лицо въ министерствѣ, впоследствии самъ министръ народнаго просвѣщенія, князь А. П. Ширинскій-Шихматовъ, а потому и такая солидарность между „Запискою“ и разборомъ Шишкова. „Входя чрезъ соображеніе одного мѣста съ другимъ, въ точный смыслъ и духъ сей книги, говоритъ филологъ-адмиралъ о сочиненіи Госнера въ своей докладной запискѣ государю, невозможно не признать цѣли ея, явно и очевидно состоящей въ томъ, чтобы, подъ видомъ толкованія евангельскихъ текстовъ, проповѣдывать низверженіе всякой христіанской вѣры, отвращеніе отъ священныхъ писаній, и позывъ на возстаніе противу всѣхъ первосвященниковъ, всѣхъ вельможъ и царей. Намѣреніе сей книги согласуется со многими другими, изданными уже въ свѣтъ, и со всѣми прочими предпріятыми по сему различными способами и дѣйствіями“¹⁾. Шишковъ, подобно врагамъ князя Голицына, обвинялъ все его министерство такимъ образомъ въ революціонномъ направленіи, но онъ не былъ врагомъ его, не участвовалъ въ интригѣ, его свергнувшей, и желалъ только показать свое слѣпое усердіе къ новому направленію власти. Онъ убѣжденъ въ „явномъ намѣреніи“ со стороны Госнера—проповѣдывать революцію и въ томъ что, здѣсь идетъ дѣло о первѣйшемъ преступленіи, т.-е. о заговорѣ и возстаніи противъ алтаря и престола, о возстаніи, весьма ожесточенномъ и твердомъ“²⁾. Такъ точно Шишковъ смотрѣлъ и на всю мистическую литературу, вида даже въ ней связь съ возмущеніемъ 14 декабря, которое онъ приписываетъ ея дѣйствию. „Два бывшія возмущенія (въ Петербургѣ и на югѣ Россіи), говоритъ онъ уже гораздо позднѣе, въ новое царствованіе, и открытіе столькихъ, больше или меньше участвовавшихъ въ томъ молодыхъ людей и писателей, не явно ли показываютъ, до какой степени распространеніемъ подобныхъ сочиненій потрясена была вѣра? ибо всѣ лжеумствованія о такъ называемой *внутренней церкви* (т.-е. никакой), о народной свободѣ и равенствѣ состояній, о конституціяхъ, объ истребленіи царей, о пролитіи рѣками крови человѣческой, яко бы для будущаго ихъ блага, всѣ сіи адскія мысли суть плоды самолюбія и гордости, порождаемыя без-

¹⁾ Записки, т. III, стр. 169.

²⁾ Ibidem, стр. 173.

вѣріемъ и отступленіемъ отъ Бога“ ¹⁾). Разборъ книги Госнера, сдѣланный Шишковымъ и представленный имъ въ комитетъ министровъ, гдѣ разсматривалось это дѣло ²⁾, доказываетъ то же самое. „Въ толкованіи евангельскихъ текстовъ, ведѣ, подъ видомъ наставленія въ вѣрѣ, внушаются противныя ей правила, основанныя на ложныхъ умствованіяхъ, смѣшанныхъ однако же съ истинными и скрытыхъ подъ оными, дабы сею хитростью опрачить умъ читателя или слушателя и понемногу отводить его отъ вѣры своей, отъ должностей мирнаго гражданина и отъ всѣхъ обязанностей къ небесному и земному царю“ ³⁾). По наставленіямъ, подобнымъ тѣмъ, которыя проповѣдуетъ Госнеръ, говоритъ Шишковъ, „Равальякъ убилъ Генриха IV и тожь самое въ недавныя времена Зандъ сдѣлалъ съ Коцебу“ ⁴⁾). Проповѣдникъ учитъ, по его словамъ, чтобъ мы оставили храмы Божіи, почитая ихъ вертепами разбойниковъ. Онъ старается разоблачить въ Госнерѣ особую хитрость, особое желаніе говорить двусмысленности и выражаться темно для того, чтобъ „вдавшемуся въ революціонныя мысли толкованія его были ясны, а христіанину, твердому еще въ вѣрѣ своей, казались христіанскими и только понемногу, смущали его и отвлекали отъ оной“ ⁵⁾). Шишковъ увѣренъ, что Госнеръ, подъ именемъ Младенца-Христа разумѣетъ революцію, т.-е. разрушеніе православныхъ церквей и престоловъ“ ⁶⁾, что онъ говоритъ о другой, тайной вѣрѣ, ему только съ обращенными въ нее извѣстной, но въ которой всякое начальство и богослуженіе опровергается, что всякая книга есть „только злоязычная хула и поруганіе всему тому, что мы почитать привыкли“ ⁷⁾). Шишковъ полагаетъ, что книга Госнера не одинокое явленіе, и потому считаетъ своею обязанностію, „по долгу вѣрноподданнаго къ государю и по любви къ отечеству, обратить вниманіе правительства и на другія подобныя и столь же вредныя книги, въ разныя времена изданныя, и къ одной и той же цѣли стремящіяся, т.-е. къ возмущенію народа противъ православія и престоловъ, подъ видомъ таинственныхъ ученій и темныхъ толкованій библіи“ ⁸⁾).

Религіозно-восторженной и мистической стороны въ книгѣ Госнера, за которую ее перевели у насъ мистики,—Шишковъ, разумѣется, не

¹⁾ Ibidem, стр. 279.

²⁾ Ibidem, стр. 188—205.

³⁾ Ibidem, стр. 189.

⁴⁾ Ibidem, стр. 192.

⁵⁾ Ibidem, стр. 196.

⁶⁾ Ibidem, стр. 200.

⁷⁾ Ibidem, стр. 201.

⁸⁾ Ibidem, стр. 203.

видалъ; онъ искалъ въ ней того, чего боялась испуганная власть того времени—бунтовъ и революцій, и потому намъ становится яснѣмъ, почему изданіе невинной мистической книги надѣлало такого шума и сочтено было за самое тяжкое государственное преступленіе. Дѣло о Госнерѣ, его переводчикахъ, цензорахъ и содержателяхъ типографіи, гдѣ книга печаталась, производилась, по принадлежности, въ разныхъ инстанціяхъ: въ комитетѣ министровъ, сенатѣ, въ уголовной палатѣ и надворномъ судѣ. Процессъ этотъ тянулся довольно долго. Прежде всего и единогласно рѣшено было дѣло въ комитетѣ министровъ, гдѣ читался разборъ книги, написанный Шишковымъ и подписанный Ланскимъ. Комитетъ въ угоду измѣнившемуся настроенію духа императора, одобрилъ вполне разборъ, и по распоряженію верховной власти Госнеръ былъ высланъ за границу, какъ крайне вредный чловѣкъ, а книга его сожжена ¹⁾. Госнеръ уѣхалъ сначала въ Берлинъ, а потомъ въ Лейпцигъ, отсюда онъ переписывался со своею „осиротѣлою паствою“ въ Петербургѣ и присылалъ ей небольшія назидательныя книжки „Goldkötner“, содержаніе которыхъ было вполне невинно, хотя Шишковъ возводилъ значеніе ихъ до измѣны отечеству ²⁾. Разногласіе по этому дѣлу оказалось въ сенатѣ, гдѣ разсматривалась вина переводчиковъ и въ особенности Попова, чловѣка близкаго къ князю Голицыну. Шишковъ сильно настаивалъ на его виновности, доказывая солидарность его мнѣній съ авторомъ, но въ защиту Попова поднялся въ сенатѣ смѣлый и благородный голосъ И. М. Муравьева-Апостола и, не смотря на то, что, по словамъ Шишкова, въ его мнѣніи попирались ногами не только законы, но и здравый смыслъ, оно восторжествовало и въ сенатѣ и потомъ въ государственномъ совѣтѣ ³⁾. Въ обществѣ заговорили о крайнемъ фанатизмѣ Шишкова и о страсти его къ преслѣдованіямъ. Повидимому, и Александръ понялъ этотъ фанатизмъ, но не высказывался, не дѣйствовалъ... Шишкова сильно возмущало то, что Муравьевъ, въ своемъ мнѣніи, назвалъ его дѣйствія инвизидіей и онъ старается оправдать ее и опредѣлить ея настоящее значеніе. Онъ твердитъ одно и то же: что въ оправданіи Попова „оправдывается самое злѣйшее покушеніе на церковь, престолъ и отечество“ ⁴⁾. До какой нелѣпости доходилъ фанатизмъ Шишкова, могутъ служить доказательствомъ слова его, сказанныя имъ въ отвѣтъ на оправданія Попова. Послѣдній, оправдывая себя въ участіи въ переводѣ книги Госнера, ссылался на господствовавшій тогда (т.-е.

¹⁾ Ibidem, стр. 250.

²⁾ Ibidem, стр. 186—187.

³⁾ Чтенія въ Моск. Об-вѣ исторіи и древностей російскихъ, 1859 г., V Сибѣ, стр. 37—42.

⁴⁾ Записки, т. II, стр. 243.

назадъ тому мѣсяцъ или два) духъ въ нашей литературѣ, когда мистическія сочиненія вызывались и получали покровительство власти, — слѣдовательно, Поповъ дѣлалъ угодное правительству. „При сихъ словахъ я долженъ остановиться и сказать, говорятъ Шишковъ, что выраженіе *господствующій духъ въ нашей литературѣ* не должно стовало бы употребляться въ государственныхъ бумагахъ; ибо когда въ нихъ привнаваться будетъ *господство духа*, тогда власть и законы потеряютъ свое господство; ибо два господина вмѣстѣ быть не могутъ“¹⁾). Поповъ, однако, былъ оправданъ; въ послѣдствіи князь Голицынъ, оставшійся главноуправляющимъ почтовою частію, взялъ его къ себѣ на службу, да и другіе обвиненные не пострадали; они были освобождены изъ-подъ суда, правда, довольно поздно, въ 1828 году, но освобождены вполне.

Самое главное слѣдствіе всего этого шума, поднятаго изъ-за мистической книги, всѣхъ этихъ интригъ и грязныхъ подходовъ, было то, что Голицынъ 15 мая 1824 года пересталъ быть министромъ народнаго просвѣщенія; назначенъ былъ и другой оберъ-прокуроръ синода; предѣвателемъ библейскаго общества сталъ митрополитъ Серафимъ, а министромъ народнаго просвѣщенія не Магницкій, вѣроятно, на то разсчитывавшій, а тотъ же Шишковъ. Въ лагерѣ враговъ князя Голицына было полное торжество. „Порадуйся, старче преподобный! — писалъ Фотій къ пріятелю своему, Симоновскому архимандриту Герасиму. — Нечестіе пресѣлось, армія богохульная дьявола паде, ересей и расколовъ языкъ онѣмѣлъ, общества всѣ богопротивныя, яко же адъ, сокрушились. Министръ нашъ одинъ Господь Іисусъ Христосъ во славу Бога Отца, амины!“ Это было писано тотчасъ по паденіи Голицына. „Молися объ А. А. Аракчеевѣ, — заключаетъ письмо свое Фотій, — онъ явился рабъ божій за святую церковь и вѣру, яко Георгій Побѣдоносецъ. Спаси его Господи“²⁾). Серафимъ митрополитъ, съ своей стороны, хлопоталъ у Аракчеева о награжденіи Юрьевскаго архимандрита панагіей за его труды и подвиги въ пользу православной церкви, „воимей злоухищенными вознями врага Божія и возмущаемой косвенными нападеніями исчадіи ада“³⁾). Представленіе Серафима, разумѣется, было уважено, и Фотій тотчасъ же получалъ просимую ему награду. Фотій сдѣлался близкимъ лицомъ къ Аракчееву; до окончательнаго отъѣзда своего въ Таганрогъ, императоръ Александръ нѣсколько разъ видѣлся и бесѣдовалъ съ нимъ, подчиняясь его мрачному вліянію; по дорогѣ онъ

¹⁾ Ibidem, стр. 263.

²⁾ Русск. Арх. 1868 г., стр. 946—947.

³⁾ Ibidem, стр. 948.

останавливался даже у него, въ Юрьевскомъ монастырѣ. Идеи преслѣдованія, имъ проповѣданныя, теперь вполне торжествовали; правительство какъ-будто приняло ихъ въ руководство своихъ дѣйствій и мѣръ. Раздѣлялъ ли Александръ вполне мысли Фотія и Серафима и нелѣпные страхи и опасенія Шишкова—отвѣчать трудно. Онъ молчалъ и не высказывался; онъ холодно встрѣчалъ пылкаго не по лѣтамъ Шишкова; онъ равнодушно прочитывалъ записки его, въ которыхъ тотъ пугалъ его всеми ужасами революціи, не перемѣнялъ своего личнаго дружескаго отношенія къ князю Голицыну и между тѣмъ допускалъ свободно, съ холоднымъ безмолвіемъ, самыя нелѣпныя мѣры преслѣдованія, какъ бы одобряя ихъ... Сколько презрѣнія къ своей странѣ нужно было для такого образа дѣйствій со стороны Александра...

Что же выиграла эта бѣдная страна отъ того, что пало министерство князя Голицына, и вся ея умственная жизнь, наука, литература, цензура, находились теперь въ рукахъ новаго министра, хорошо намъ извѣстнаго своею ненавистью ко всему французскому, славянофила и адмирала Шишкова? Мистическій гнетъ надъ литературою былъ слишкомъ тяжелъ; мы уже говорили о дикости цензурныхъ преслѣдованій при Голицынѣ. Понятно, что представители либерализма того времени, Пушкинъ, напр., преслѣдовавшій ѣдкими непечатными эпиграммами Голицына и всѣхъ его приверженцевъ, были въ восторгѣ отъ этой перемѣны министерства. Они возлагали съ своей стороны на Шишкова несбыточныя надежды. Пушкинъ, сосланный при Голицынѣ за свои либеральныя стихи, такъ привѣтствуетъ Шишкова въ своемъ „Второмъ посланіи къ Аристарху“:

Сей старецъ дорогъ намъ: онъ блещетъ средь народа
Священной памятью двѣнадцатаго года;
Одинъ среди вельможъ, онъ русскихъ музъ любилъ:
Ихъ незамѣченныхъ созвалъ, соединилъ;
Отъ хлада нашихъ лѣтъ сберегъ онъ лавръ единый
Осиротѣлаго вѣнца Екатерины;
Онъ съ нами сѣтовалъ, когда святой отецъ (Голицынъ)
Омара да Али принялъ за образецъ,
Въ угодность Господу, себя во утѣшенье,
Усердно заглушать старался просвѣщенье;
Благочестивая, смиренная душа
Карала чистыхъ музъ, сласая Бантыша,
И помогалъ ему Магницкій благородный,
Мужъ чистый въ правилахъ, душою превосходный...
И даже бѣдный мой, Кавелинъ дурачекъ,
Креститель Галича, Магницкаго дьячекъ...
И вотъ, за всѣ грѣхи, въ чьи тагостныя руки
Вы были ввергнуты, печальныя науки!

Цензура, вот кому подвластна ты была!
Но полно: мрачная година протекла,
И нынѣ ужъ горитъ свѣтильникъ просвѣщенья“...

Не протекла, однако, мрачная година для нашей страны и ея просвѣщенія; старецъ, на котораго, вмѣстѣ съ либералами того времени, возлагалъ свои надежды Пушкинъ, обманулъ ихъ, да и вообще ошибочно было ожидать отъ него чего-либо другаго, кромѣ преслѣдованій, тѣмъ болѣе, что онъ въ первый разъ въ своей жизни получилъ власть надъ наукою и литературою, на которыя онъ давно смотрѣлъ со своей, всѣмъ извѣстной точки зрѣнія, и потому „мрачная година“ не прошла, а сдѣлалась еще мрачнѣе. Шишкову, когда онъ былъ назначенъ министромъ народнаго просвѣщенія, шелъ уже 71 годъ; это былъ слабый старикъ, но попрежнему назойливый въ проведеніи своихъ мнѣній и убѣжденій, достигшихъ крайней степени своего развитія; онъ и другіе реакціонеры называли это *борьбою съ духомъ времени*.

Едва только онъ сдѣлался министромъ, какъ подаль Государю записку, въ которой просилъ, чтобъ ему поручено было „сдѣлать планъ, какіе употребить способы къ тихому и скромному потушенію того зла, которое хотя и не носитъ у насъ имени *карбонарства*, но есть точно оно, и уже крѣпко разными средствами усилилось и распространилось, такъ что, если въ вышнѣе время не обратить на него бдительнаго вниманія, не взять противъ него должныхъ мѣръ, и попустить ему еще нѣсколько возрасть, то уже силы его ничто не остановитъ“. Для этой цѣли необходимо, по мнѣнію Шихкова, усилить цензуру, которая, по словамъ его, до этого времени, почти не существовала ¹⁾. Слабость цензуры онъ доказываетъ распространеніемъ множества вредныхъ книгъ въ предшествовавшее министерство, на которое теперь посыпались со всѣхъ сторонъ обвиненія. Изъ первыхъ дѣйствій его, по отношенію къ книгѣ Госнера, было уже видно, какого направленія будетъ держаться новый министръ; духъ инквизиціи и преслѣдованія остался тотъ же, измѣнились только цѣль и предметы преслѣдованія. Всѣ дѣйствія, всѣ слова и записки новаго министра были направлены къ тому, чтобъ доказать весь вредъ для государства предшествовавшихъ дѣйствій министерства при Голицынѣ. Въ концѣ своего разбора книги Госнера онъ доказываетъ необходимость усилить дѣйствія цензуры, требуетъ учрежденія высшаго цензурнаго комитета, который завѣдывалъ бы всѣми книгами, какъ печатаемыми въ Россіи, такъ и привозимыми изъ-за границы. Этотъ комитетъ долженъ былъ обратить свое вниманіе и на „образъ ученія, преподаваемый во

¹⁾ Записки, т. II, стр. 163—164.

всѣхъ университетахъ, гимназіяхъ и училищахъ, за которыми надлежитъ строго смотрѣть, чтобъ профессора и учителя преподавали науки по извѣстнымъ книгамъ, а не по рукописнымъ тетрадямъ, въ коихъ они часто обучаютъ учениковъ не общимъ, но собственнымъ своимъ правиламъ и мыслямъ“ ¹⁾). Поэтому всѣ усилія Шишкова и представленія его прямо Государю или посредствомъ писемъ къ Аракчееву, съ которыми онъ велъ дѣятельную переписку о „духѣ времени“, всѣ клонились къ тому, чтобъ усилить дѣйствія цензуры. „Годъ 1817, т.-е. годъ вступленія въ министерство народнаго просвѣщенія Голицына, говоритъ Шишковъ, есть тотъ самый, съ котораго стали наиболѣе печатать и распускать книги, явнымъ образомъ возмутительныя противъ вѣры и правительства“ ²⁾). Это предполагаемое усиленіе цензуры скоро разъяснило современникамъ, какъ необдуманно было возлагать либеральныя надежды на „старца двѣнадцатаго года“. Даже Карамзинъ насмѣшливо отзывался о его цензурной магiи. „Новый министръ просвѣщенія думаетъ учредить новую цензуру, пишетъ онъ къ Дмитріеву, и посадить въ этотъ трибуналъ человѣкъ шесть или семь: на всякую часть литературы будетъ особенный цензоръ. То-то раздолье!.. Словесность наша съ цензорами процвѣтетъ и безъ авторовъ“ ³⁾). Карамзинъ вообще здраво понималъ тогдашнее положеніе дѣлъ въ нашемъ просвѣщеніи, т.-е. понималъ, что оно ничего не выиграло отъ замѣны Голицына Шишковымъ: „Читалъ ли ты рѣчи министра просвѣщенія? — спрашиваетъ онъ Дмитріева. Возставать противъ грамоты есть умножать къ ней охоту: слѣдственно дѣйствіе хорошо и достойно цѣли министерства, которому ввѣрено народное просвѣщеніе. Какова Харибда, такова и Сцилла: корабль нашъ стучится объ ту и другую, а все плыветъ. Я увѣренъ, что Россія не погрязнетъ въ невѣжествѣ: то-есть увѣренъ въ милости Божіей“ ⁴⁾).

Шишковъ, какъ министръ народнаго просвѣщенія, является передъ нами въ своихъ мнѣніяхъ и дѣйствіяхъ крайнимъ ретроградомъ, пожалуй, худшимъ и свирѣпѣйшимъ, чѣмъ былъ самъ Голицынъ. О наукѣ при немъ не было и помину; всѣ рѣчи и поступки сводились къ преслѣдованію прежняго направленія, въ которомъ старались видѣть возмущеніе противъ вѣры и престола. Самое лучшее представленіе о системѣ, о взглядахъ и убѣжденіяхъ той консервативной партіи, которая теперь, при Шишковѣ, получила перевѣсъ и значеніе, можетъ дать уже упомянутая нами „Записка о крамолахъ враговъ Россіи“, написанная, какъ кажется, въ родѣ доноса княземъ Ширинскимъ-Шихматовымъ, именно

¹⁾ Ibidem, стр. 204.

²⁾ Ibidem, стр. 266.

³⁾ Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 378.

⁴⁾ Ibidem, стр. 388.

въ то время, и оконченная уже въ началѣ царствованія Николая. Все мрачное старовѣріе, которое отличаетъ русскіе умы, не тронутые наукою и развитіемъ, все то мракобѣсіе, которое характеризуетъ инныя печальныя эпохи нашей жизни, съ примѣсью славянофильскаго фанатизма, все это можно найти въ „Запискѣ“. Шишковъ былъ постоянно вѣренъ ей программѣ. Передъ нами опять обскурантизмъ, но въ нѣсколько измѣненномъ видѣ, не похожій на обскурантизмъ Голицына и библейскаго общества. Идеи любимаго дѣтища Шихкова, „Весѣды“, теперь восторжествовали и, конечно, та только литература находила сочувствіе и одобреніе со стороны Шихкова, которая подходила подъ условія его литературнаго и нравственнаго кодекса. Самое печальное зрѣлище представляетъ намъ духовная жизнь Россіи въ это время, съ Шихковымъ во главѣ. Одно только смущало престарѣлаго министра, что императоръ Александръ какъ то холодно и безучастно относился ко всѣмъ его представленіямъ на счетъ войны съ „духомъ времени“ и его представителями, по мнѣнію Шихкова—иллюминатами, Госнерами и т. п. Александръ, повидимому, предоставилъ ему полную волю дѣйствовать, какъ онъ предоставилъ ее и Аракчееву, но Шихковъ съ горестью долженъ былъ признаться, что государь нѣкоторыя его мѣры разрушалъ тайнымъ образомъ ¹⁾. Наивный Шихковъ убѣждалъ даже Александра, чтобъ онъ въ манифестѣ объявилъ всенародно о своемъ прежнемъ заблужденіи и приготовилъ даже такой манифестъ.

Кошмаромъ, мучившимъ Шихкова во все время управленія имъ министерствомъ народнаго просвѣщенія, было главное и любимое дѣло князя Голицына—библейское общество. Въ немъ видѣлъ онъ только обширный, хитро придуманный заговоръ противъ государства и никакъ не могъ понять его дѣйствительной цѣли, какъ она была сознана первоначально въ Англіи. „Изъ изслѣдованія всѣхъ дѣйствій библейскихъ обществъ (входя въ одни гласныя и не упоминая о тѣхъ, которыя могутъ быть сокрыты въ тайнствѣ) говоритъ Шихковъ, ясно и несомнѣнно открывається, что настоящая цѣль ихъ, прикрываемая ложнымъ усердіемъ къ распространенію чтенія священныхъ книгъ, состоитъ въ томъ, чтобъ истребить правовѣріе, возмутить отечество и произвести въ немъ междоусобія и бунты“...

Въ библейскомъ обществѣ онъ видитъ „хитрый и злодѣйскій планъ“; онъ видитъ въ немъ опасность „ужаснѣйшую всякаго пожара и потопа“... ²⁾. Какое печальное духовное положеніе должно быть въ той странѣ, гдѣ министръ народнаго просвѣщенія съ полною увѣрен-

¹⁾ Записки, т. II, стр. 270.

²⁾ Ibidem, стр. 222.

ностью и передъ верховною властью высказываетъ подобныя недѣльныя убѣжденія, передъ властью, которая сама недавно такъ сильно покровительствовала тому же библейскому обществу. Небѣжество и ненужная злоба составляютъ характеристику обвиненій Шишкова. Онъ никакъ не могъ понять возможности перевода Св. Писанія на современный, всѣмъ понятный языкъ русский. Онъ думалъ и говорилъ, что такой переводъ предпринять нарочно, для уменьшенія важности церковныхъ книгъ и для поколебанія вѣры, считалъ его преступнымъ намѣреніемъ и при этомъ снова возвращался къ своему утверженію, которое повторялъ давно, что славянскій и русскій языкъ одинъ и тотъ же, что они различаются между собою только какъ высокій и простой слогъ. „Высокимъ написаны священныя книги, простымъ мы говоримъ между собою и пишемъ свѣтскія сочиненія, комедіи, романы и проч. ¹⁾“. Намѣреніе библейскаго общества — „исказать и привести въ неуваженіе священныя книги, измѣни въ нихъ языкъ церкви въ языкъ театра“ ²⁾. Въ библейскомъ обществѣ онъ видѣлъ уголовное, государственное преступленіе, причемъ не знаешь: чему болѣе удивляться—такому небѣжеству министра или той печальной средѣ, гдѣ могли возникать и находить слушателей такіа недѣльныя обвиненія... Всѣ библейскія общества, по словамъ Шишкова, имѣли намѣреніе составить изъ всего рода человѣческаго одну какую то общую республику и одну религію... Намѣреніе это „сперва скрывалось подъ именемъ тайныхъ обществъ, масонскихъ ложъ, новой философіи, а потомъ, обнаруженное, укрылось подъ другія благовиднѣйшія имена либеральности, филантропіи, мистичеи и тому подобныя; заразило многихъ; поработщаетъ царство наше чужеземцамъ и угрожаетъ тѣми же бѣдствіями, какія нѣкогда въ ихъ земляхъ свирѣпствовали“... ³⁾. Обвиненія эти заподозрѣвали широкимъ объемомъ своимъ всю умственную жизнь. Шишковъ увѣряетъ, что библейское общество, вмѣстѣ съ библіями разсылаетъ воззванія къ бунту... Послѣдствіемъ библейскихъ обществъ является „умноженіе самыхъ опаснѣйшихъ расколовъ“ (тогда появилась секта нѣкоего донскаго есаула Котельникова, на недѣльныхъ сочиненіяхъ котораго, дѣйствительно, отразилось нѣкоторое вліяніе слога мистическихъ сочиненій того времени. Главу этой секты *духоносцевъ*, есаула Котельникова, посаженнаго въ петербургскую крѣпость увѣщевали Фотій и Шишковъ, смотрѣвшій на секту глазами Юрьевского архимандрита; Котельниковъ былъ сосланъ въ Соловецкій монастырь, гдѣ жилъ лѣтъ тридцать). Мало того: „сему

¹⁾ Ibidem, стр. 215.

²⁾ Ibidem, стр. 217.

³⁾ Ibidem, стр. 228—229.

нечестію (т.-е. библейскому обществу), по словамъ Шишкова, начинаютъ соотвѣтствовать подобныя же и дѣянія, таковыя, какъ частыя *воровства* и *грабежи*, даже *перѣдкія смертоубійства*, также слухи, распускаемые въ уничиженію священства, о полахъ съ козлиными рогами, подающіе сверхъ того поводъ народу по ночамъ скоплатся“... Все это министръ ставитъ въ связь съ библейскими обществами. „Судъ надъ профессорами, преподававшими въ томъ же духѣ своемъ ученія, и возникавшія неоднократно такія же мысли въ университетахъ и училищахъ часто свидѣтельствовали тѣ жъ самыя замыслы“¹⁾. То же самое Шишковъ повторялъ и въ своей запискѣ, представленной имъ новому императору²⁾.

Такія обвиненія, въ сущности нелѣпыя, но хорошо рисующія намъ и время и тогдашнихъ дѣятелей, поддерживаемыя Фотиємъ, съ которымъ Шишковъ сходилса не только въ мнѣніяхъ, но и въ выраженіяхъ, поддерживаемыя митрополитомъ и Аракчеевымъ, казалось, должны были, наконецъ, заставить Александра закрыть библейское общество, но Александръ какъ-то устоялъ, чему можетъ быть способствовала и преждевременная кончина его. Общество со всѣми его отдѣленіями и комитетами было закрыто уже въ 1826 году по указу императора Николая, когда оно потеряло уже всякое значеніе въ глазахъ общества, когда самая дѣятельность его и вслѣдствіе измѣны нѣкоторыхъ членовъ и вслѣдствіе со всѣхъ сторонъ снѣвавшихся на него нелѣпныхъ обвиненій, была уже заторможена. Мало успѣло оно принести пользы дѣлу религіознаго образованія русскаго народа, какъ потому, что дѣйствовало посреди самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, такъ и потому, что первоначальныя, ясныя и простыя цѣли его были извращены и затемнены мистическими тенденціями главныхъ его дѣятелей. Немногіе, искренно преданные дѣлу люди сожалѣли о закрытіи общества. Большинство и вмѣстѣ съ ними либералы радовались, что сходятъ со сцены главные библейскіе дѣятели, извѣстные своимъ обскурантизмомъ и преслѣдованіями, забывая, что само библейское общество сдѣлалось жертвою обскурантизма и преслѣдованія. Въ безмолвной литературѣ нашей того времени не могло появиться никакого сужденія по поводу этого крупнаго факта въ духовной жизни нашей. О библейскомъ обществѣ нельзя было говорить, потому что оно обвинялось въ государственномъ преступленіи и только чрезъ много лѣтъ мы узнали его заперщенную исторію³⁾. Какъ ни много было въ немъ неуклюжихъ, темныхъ сторонъ, зави-

¹⁾ Ibidem, стр. 265—266.

²⁾ Ibidem, стр. 276 и слѣд.

³⁾ Пыпинъ. Россійское библейское общество. „Вѣстн. Евр.“ 1868 г.

сѣвшихъ по большей части отъ печальныхъ условий нашего русскаго общества, все-таки въ началѣ его существованія оно невольно возбуждаетъ къ себѣ симпатію изслѣдователя своимъ широкимъ филантропическимъ направленіемъ, которымъ оно обязано было и господствующему духу времени и въ особенности англійскому вліанію. Все же въ двадцатые годы нашей исторіи библейское общество представляетъ намъ отрадное явленіе людей, соединившихся въ одно цѣлое изъ широкихъ, исполненныхъ любви къ человѣчеству цѣлей. По паденіи общества, въ этомъ отношеніи, намъ на долгіе годы представляется безотрадная пустыня.

ЛЕКЦІЯ XXXII.

Филаретъ.—Судьба Магницкаго.—Заключеніе.

Слѣна князя Голицына новымъ министромъ народнаго просвѣщенія—хорошо знакомымъ намъ Шишковымъ, не принесла, какъ мы говорили уже, никакого облегченія ни русской мысли, ни русской наукѣ, и вызвала лишь паденіе господствовавшаго до того времени мистицизма. Новое министерство, обрушившись на него всевозможными недѣльными обвиненіями, употребляло всѣ усилія съ своей стороны для того, чтобы представить въ глазахъ правительства политическую неблагонадежность этого направленія; оно преслѣдовало мистицизмъ, преслѣдовало людей, которые занимались его пропагандою, преслѣдовало книги, имъ издаванныя, какъ это мы видѣли съ книгою Госнера. Шишковъ является защитникомъ православія, подорваннаго, по его убѣжденію, зловерными дѣйствіями мистиковъ. Вся задача его, какъ министра народнаго просвѣщенія, думалъ онъ, есть возстановленіе религіи. Умственная исторія страны нашей представляется исторіей то воспрещаемыхъ, то снова дозволяемыхъ книгъ. При Голицынѣ въ 1818 году была напечатана книга Станевича „Всѣгда на гробѣ младенца о безсмертіи души“, въ которой находились сильныя нападенія на мистицизмъ. Разумѣется, она должна была возбудить преслѣдованія со стороны державшихъ тогда власть мистиковъ. Духовный цензоръ ея, ректоръ Петербургской семинаріи Иннокентій, получилъ строжайшій выговоръ, былъ удаленъ изъ столицы съ назначеніемъ епископомъ въ Пензу, гдѣ вскорѣ и умеръ. Сочинитель былъ высланъ изъ города; книга запрещена и отбиралась у всѣхъ. Теперь Шишковъ всѣ эти прежнія преслѣдованія книги Станевича выставлялъ величайшею несправедливостью. Онъ сдѣлалъ о ней особый докладъ государю, доказывая, что въ ней находится „возраженіе противу

тѣхъ ложныхъ умствованій, которыя къ поколебанію вѣры, церкви и престола разсѣивались тогда во многихъ сочи наемыхъ и переводимыхъ книгахъ“¹⁾). По Высочайшему повелѣнію, книга была рассмотрѣна вновь въ особомъ духовномъ комитетѣ и разумѣется вполне одобрена. Указомъ 17 ноября 1824 года ее велѣно было вновь напечатать и даже на казенный счетъ, какъ быво испу- пленіе прежняго несправедливаго преслѣдованія. Этимъ же ука- зомъ повелѣвалось министру народнаго просвѣщенія строго на- блюдать, чтобъ „ничего колеблющаго вѣру и благонравіе не укрыва- лось“ какъ въ сочиненіяхъ уже изданныхъ, такъ и въ тѣхъ, которыя должны будутъ впредь издаваться, „особливо же въ преподаваніи по училищамъ наукъ“²⁾). Такимъ образомъ, какъ бы узаконилась система преслѣдованія.

Въ числѣ ревностныхъ и глубоко преданныхъ дѣлу членовъ Библейскаго Общества былъ знаменитый внослѣдствіи московскій митрополитъ Филаретъ. Когда на министерство князя Голицына и на библейское общество обрушилась буря преслѣдованія, Филаретъ, извѣстный своимъ умомъ, проповѣдническимъ талантомъ и высокимъ образованіемъ, остался какъ бы побѣдителемъ, несмотря на свою близость къ Голицыну и на дружбу съ главою мистиковъ—Лабзинимъ. И онъ былъ также членомъ главнаго правленія училищъ, но вовсе не раздѣлялъ тѣхъ крайнихъ мнѣній и духа преслѣдованія, которыми отличались въ немъ Магницкій и Руничъ. Напротивъ: онъ сдерживалъ, умѣрялъ ихъ клерикальнныя стремленія, даже открыто возста- валъ противъ нихъ. Когда теперь его бывшіе товарищи по этому правленію и по библейскому обществу потеряли всякую силу и зна- ченіе, на Филарета, какъ на лицо самостоятельное и твердое, какъ на человѣка съ независимыми убѣжденіями, направилась ненависть людей, которые преувеличивали опасность, грозившую обществу отъ мистицизма. Представителемъ библейскаго общества оставался одинъ Филаретъ, на него посыпались теперь нападенія фанатика Фотія, а вслѣдъ за нимъ и Шишкова. Филаретъ, несмотря на измѣнившіеся взгляды правительства, не падалъ духомъ и не измѣнялъ своимъ убѣжденіямъ. Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ 1824 г.³⁾ печатались статьи, въ которыхъ сообщались свѣдѣнія о дѣйствіяхъ московскаго комитета, съ полнымъ ихъ одобреніемъ, упоминалось о томъ, что книги Св. Писанія на языкѣ русскомъ раскупаются даже старообрад-

¹⁾ Записки, т. II, стр. 178.

²⁾ Вѣстн. Евр. 1868 г., т. XII, стр. 710—711; Записки Шишкова, т. II; стр. 209—214; Чтенія въ Моск. Общ. исторіи и древностей росс. 1861 г., т. II Смѣсь, стр. 201—202.

³⁾ № 69.

цами и пр. Извѣстно, что первыя книги Ветхаго Завета были переведены съ еврейскаго самимъ же Филаретомъ и напечатаны библейскимъ обществомъ; книга эта впоследствии отбиралась и потому сдѣлалась рѣдкою. Статья „Московскихъ Вѣдомостей“ возмутила сильно Шишкова, для котораго, съ его точки зрѣнія, переводъ книгъ Св. Писанія на русскій языкъ казался непростительною дерзостью, преступленіемъ противъ вѣры. Онъ написалъ о ней письмо къ всеильному Аракчееву ¹⁾, въ которомъ говорилъ, что дѣль этой статьи — „возвысить расколы и уничтожить тотъ языкъ, на которомъ въ церквахъ производится служба и читается Евангеліе“ ²⁾. Шишковъ удивляется, какимъ образомъ московскій архіепископъ не знаетъ о томъ, что Петербургъ измѣнилъ свои взгляды на библейское общество и допускаетъ печатать статьи, обнаруживающія „прежній духъ и прежнее стремленіе къ потрясенію общаго спокойствія“ ³⁾. Онъ настаиваетъ на „обуздываніи“. Библейское общество представлялось Шишкову нравственнымъ игомъ, какъ политическимъ игомъ было нашествіе французовъ. Засѣданія его онъ сравнивалъ съ Содомомъ и Гоморрою.

Еще больше ожесточенія выказалъ Шишковъ въ своихъ нападеніяхъ на „Краткій Катехизисъ“ Филарета, изданный имъ въ первый разъ въ 1823 году. Его возмутило здѣсь также употребленіе русскаго языка: Филаретъ въ немъ общеупотребительныя молитвы, какъ „Отче Нашъ“, „Вѣрую“ и „Заповѣди“, перевелъ на русскій языкъ, хотя и напечаталъ славянскими буквами. Шишковъ доказывалъ, что въ этихъ молитвахъ каждая буква должна быть „неприкосновенною“, что переводъ есть дерзкое нарушеніе правъ священнаго языка, что это измѣна отечеству. Въ такомъ смыслѣ онъ написалъ новое письмо къ Аракчееву ⁴⁾, требуя изыатія Катехизиса изъ школьнаго употребленія и ставя вопросъ круто: или согласиться на эту мѣру или уволить его отъ званія, въ которомъ онъ не можетъ быть полезенъ, содѣйствуя невольно тому, что, по его словамъ, приносить крайній вредъ благочестію, правамъ и, слѣдовательно, государству и человѣчеству. По представленію Шишкова печатаніе и разсылка Катехизиса Филарета были приостановлены ⁵⁾. Такимъ образомъ, получивъ въ руки власть, Шишковъ хотѣлъ доставить торжество своей любимой идеѣ о преимуществахъ славянскаго языка надъ русскимъ и на переводы Священнаго Писанія смотрѣлъ, какъ на дѣло „везнающихъ своего языка журналистовъ“.

¹⁾ Записки Шишкова, т. II, стр. 182—185.

²⁾ Ibidem, стр. 183.

³⁾ Ibidem.

⁴⁾ Ibidem, стр. 205—206.

⁵⁾ Журн. Мин. Нар. Пр. 1868 г., стр. 15.

Министръ народнаго просвѣщенія, по избытку усердія, принималъ на себя обязанности Святѣйшаго Синода. Въ своихъ нападеніяхъ на людей и на книги онъ нисколько не отличается отъ Фотія и является передъ нами въ образѣ самаго мрачнаго и вдобавокъ озлобленнаго обскуранта. Вездѣ грезились ему революціи и заговоры; вездѣ подозрѣвалъ онъ „злѣдѣйскіе планы“ для низверженія алтарей и престоловъ.

Торжествующая партія духовенства въ лицѣ Фотія и ультра-консерваторовъ въ лицѣ Шишкова, приостановивъ враждебными мѣрами дѣйствіе библейскаго общества, начала теперь преслѣдованіе той мистической литературы, которой покровительствовалъ Александръ и князь Голицынъ. Понятъ исторически появленіе всѣхъ этихъ странныхъ мистическихъ книгъ преслѣдователи были не въ состояніи. Они смотрѣли на нихъ, какъ на средство, употребленное библейскимъ обществомъ для подорванія вѣры и престола. Эти вредныя книги,—знакомыя намъ сочиненія Экартсгаузена и Юнга Штилинга, переводы и изданія Лабзина,—распоряженіями министерства народнаго просвѣщенія и синодскими указами преслѣдовались теперь, какъ крайне вредныя; образованъ былъ даже особый комитетъ для разсмотрѣнія ихъ ¹⁾, которому дана была подробная инструкція для его дѣйствій. Какъ смотрѣли теперь на эти книги, видно изъ краткихъ характеристикъ ихъ, которыя дѣлалъ Фотій: бѣсовская, антихристіанская, революціонная и пр., а взглядъ Фотія господствовалъ и раздѣлялся многими.

Какое впечатлѣніе произвели эти преслѣдованія на русское общество—мы не знаемъ. Безмолвное попрежнему, оно не выразилось ничѣмъ, да и не могло выразиться. Мистическія книги были дороги развѣ небольшому числу адептовъ, которые по убѣжденію смотрѣли съ уваженіемъ на дѣятельность библейскаго общества, будучи воспитаны въ старой масонской школѣ Новикова, какъ Невзоровъ. Эти преслѣдованія показывали, что и то европейское вліяніе, которому подчинился Александръ въ послѣдніе годы своего царствованія, вліяніе, столь не похожее на то, которому онъ подчинялся въ молодости и въ началѣ своего царствованія, теперь окончательно прекратилось. Реакція, при господствѣ крайней консервативной партіи и невѣжественныхъ представителей духовенства, торжествовала теперь вполне. Событія въ концѣ 1825 года и новое царствованіе, начавшееся побѣдою надъ вспышкой либерализма, придали этой реакціи положительный характеръ.

¹⁾ Вѣстн. Евр. 1868 г., XII, стр. 735—738.

Мы рассказали такимъ образомъ ходъ русской реакціи, источникъ которой надобно искать въ реакціи европейской, вызванной къ существованію великими событіями въ началѣ XIX вѣка и переворотами, произведенными наполеоновскими войнами. Къ чужому явленію, случайнымъ образомъ привитому въ нашей общественной жизни, присоединилось такъ много своихъ русскихъ сторонъ и такъ много интересовъ чисто личныхъ, своекорыстныхъ и грязныхъ, что реакція наша въ тѣ годы, о которыхъ мы говоримъ, представляетъ въ нашей жизни самое печальное и самое безобразное явленіе, которое притомъ не имѣло никакихъ историческихъ правъ на существованіе. Эта реакція давила всякое духовное развитіе общества, всякую мысль, науку и литературу. Глубокое и ожесточенное недовольство овладѣло лучшими умами русскаго общества; подавленными силами былъ необходимъ исходъ. Къ сожалѣнію, онъ вышелъ слишкомъ рѣзокъ, и это еще болѣе повредило правильному ходу нашего духовнаго развитія. Система реакціи укоренилась на долгіе годы.

Всякому понятно, что при господствѣ подобнаго мрачнаго обскурантизма, системы преслѣдованій и цензурныхъ стѣсненій, положеніе литературы нашей было въ высшей степени печально и, конечно, не въ лагерѣ консерваторовъ и преслѣдователей мы найдемъ такіа явленія, которыя имѣютъ право быть занесенными на страницы нашей исторіи и литературы. Сколько-нибудь заслуживающіе уваженія факты литературы, новое направленіе ея, обязанное содержаніемъ своимъ времени, мѣтніа, формы и образы ея, идущіе дальше Карамзина и Жуковскаго, мы найдемъ въ рядахъ тѣхъ людей, которые образовали изъ себя въ печальные годы второй половины царствованія Александра такъ называемую либеральную партію. Но прежде чѣмъ мы перейдемъ къ исторіи нашего либерализма, появившагося у насъ вслѣдъ за окончаніемъ европейскихъ войнъ и къ новымъ литературнымъ явленіямъ, имѣвшимъ къ нему отношеніе, мы считаемъ нужнымъ рассказать здѣсь въ немногихъ словахъ судьбу того человѣка, который въ печальные годы реакціи двадцатыхъ годовъ явился передъ нами такимъ ревностнымъ проповѣдникомъ обскурантизма и съ риторическимъ увлеченіемъ придумывалъ и приводилъ въ исполненіе самыя фанатическія и крайнія мѣры, изъ личныхъ расчетовъ и изъ необузданнаго честолюбія. Мы говоримъ о героѣ реакціи — Магницкомъ.

Магницкій, какъ мы видѣли, игралъ главную роль въ интригѣ, способствовавшей паденію князя Голицына; онъ не разбиралъ средствъ и надѣялся самъ, при общемъ измѣненіи вещей, сдѣлаться министромъ народнаго просвѣщенія. Это не удалось ему, но онъ не терялъ бодрости духа, оставаясь въ Петербургѣ у самаго источника власти и

быстро намѣнивъ свой прежній образъ дѣйствій. Портретъ князя Голицына, заказанный при немъ и висѣвшій въ залѣ университетскихъ собраний, былъ теперь вынесенъ оттуда, по распоряженію Магницкаго. Библейскія общества во всемъ округѣ были закрыты, мистическія книги собраны изъ всѣхъ училищныхъ библиотекъ и запечатаны; ланкастерскія школы, о распространеніи которыхъ онъ такъ усердно хлопоталъ прежде, выставлялись теперь ненужными и вредными; со студентовъ и профессоровъ снятъ былъ нравственный и библейскій гнетъ, на распущенность ихъ стали смотрѣть сквозь пальцы и пр.

Магницкій, полагаясь на свой гибкій умъ и хитрость, рассчитывалъ забрать въ свои руки и старика Шишкова, какъ онъ прежде управлялъ Голицынскимъ, но это не удалось ему, и не потому, чтобъ онъ не могъ овладѣть слабою волею старика, а потому, что у послѣдняго были, если вѣрить воспоминаніямъ Панаева, совѣтники, ненавидѣвшіе Магницкаго и прежній образъ его дѣйствій. Магницкій, конечно, нисколько не уважалъ престарѣлаго министра; онъ обращался съ нимъ нагло и оскорбительно, рассчитывая на высокое покровительство Аракчеева, которому грубо льстилъ. Когда Шишковъ, выведенный изъ терпѣнія его нахальствомъ, потребовалъ, чтобъ Магницкій уѣхалъ къ мѣсту своего служенія, въ Казань, онъ уѣхалъ въ Грузію, къ всеильному Аракчееву, надѣясь, что тотъ удержитъ его; но Аракчеевъ посовѣтовалъ ему ѣхать. Памятникомъ пребыванія его въ Грузіи осталась аллегорическая статья, подъ названіемъ „Сонъ въ Грузіи“¹⁾, посвященная Аракчееву и исполненная неумѣренной лести. Магницкій распространялъ ее въ рукописи. Въ ней напыщеннымъ слогомъ онъ описываетъ архитектурныя и скульптурныя затѣи Аракчеева, выставляетъ на видъ его благочестіе, его преданность престолу, добродѣтели, государственный умъ, называетъ его Сюллиемъ, и расхваливаетъ его военныя поселенія, этотъ печальный памятникъ дѣятельности Аракчеева въ нашей исторіи.

„Первая мысль сего учрежденія, говоритъ Магницкій, была вдохновеніе, совершенно согласное съ великою судьбою христіанскаго міра“²⁾. Воротившись въ Казань, Магницкій снова явился тамъ диктаторомъ въ университетѣ. Тогда то онъ, послѣ публичныхъ экзаменовъ, обратился къ слушателямъ съ тою самохвальною рѣчью, о высокомъ совершенствѣ преобразованнаго имъ университета, отрывки которой мы приводили прежде. Эту рѣчь онъ напечаталъ тогда же, безъ вѣдома и разрѣшенія Шишкова. Въ Казани Магницкій пробылъ,

¹⁾ Русск. Арх. 1863 г. стр. 842—849.

²⁾ Ibidem, стр. 849.

однако, недолго и по вызову Аракчеева въ концѣ ноября воротился въ Петербургъ. Но здѣсь ожидала его бѣда, которую онъ не могъ предвидѣть. Панаевъ рассказываетъ въ своихъ запискахъ ¹⁾, что причиною окончателнаго паденія Магницкаго былъ доносъ, написанный имъ государю, доносъ, съ которымъ онъ нѣсколько разъ являлся къ Шишкову, о томъ, что великій князь Николай Павловичъ покровительствуетъ вреднымъ профессорамъ, выгнаннымъ Руничемъ изъ Петербургскаго университета и беретъ ихъ на службу въ подвѣдомственные ему учебныя заведенія. Между тѣмъ, императоръ Александръ умеръ въ Таганрогѣ 19 ноября и доносъ Магницкаго, имъ подписанный, попалъ въ руки Николая Павловича. Слѣдствіемъ этого, по волѣ великаго князя, который вскорѣ сдѣлался императоромъ, была высылка Магницкаго въ Казань, высылка унижительная, въ сопровожденіи квартальнаго. Магницкій понялъ невозможность протидѣйствія; онъ не могъ рассчитывать на помощь Аракчеева, котораго не любилъ Николай, и покорился своей участи. Вскорѣ послѣдовала ревизія Казанскаго университета, ревизія дѣйствій Магницкаго.

Эта ревизія назначена была по Высочайшему повелѣнію; ея цѣлью было, какъ кажется, желаніе осудить Магницкаго, а ревизоромъ былъ назначенъ лично извѣстный новому государю генералъ Желтухинъ, изъ казанскихъ помѣщиковъ, проживавшій тогда въ отпуску въ Казани. Желтухинъ едва ли понималъ значеніе и содержаніе университетскаго образованія, едва ли и любилъ науку, но онъ отличался строгостью и исполнительностью, а потому Магницкій не могъ надѣяться на благопріятный исходъ ревизіи, тѣмъ болѣе, что большинство его подчиненныхъ въ университетѣ, отличавшееся раболѣпствомъ, тотчасъ же перекинулось въ другую сторону и измѣнило ему. Ревизія длилась мѣсяць. Въ отчетѣ о ней Желтухинъ рѣзко нападалъ на всю систему Магницкаго, которую тотъ такъ расхваливалъ. Въ университетѣ онъ нашель лицемеріе и подъ маскою благочестія самыя вредныя пороки. Изъ числа 115 студентовъ въ 1826 году почти половина считалась порочными, а проступки, въ которыхъ они обвинялись, были: холодность въ дѣлахъ вѣры, нетрезвость, писаніе предосудительныхъ стиховъ на начальство и буйный характеръ. Число студентовъ уменьшалось, и Желтухинъ выставилъ общее недовольство казанскаго общества университетомъ. О наукѣ и преподаваніи онъ говорилъ мало въ отчетѣ, но зато много о безцеремонномъ обращеніи съ суммами, принадлежащими Казанскому университету. Это послужило къ самому сильному обвиненію Магницкаго. Напрасно прибѣгалъ онъ, по обычаю, для своего оправданія къ краснорѣчивымъ фра-

¹⁾ Вѣстн. Европы. 1867 г., т. IV, стр. 112.

замъ и реторикѣ; напрасно старался онъ выставить въ своихъ объясненіяхъ передъ министромъ невѣжество, пристрастіе, злобу ревизора, твердилъ, что онъ дѣлается жертвою противной партіи, враждебной существующему порядку, объяснялъ ненависть къ нему за его принципы благочестія и щедро разсыпалъ инсинуаціи, намеки и т. п. въ своихъ объясненіяхъ; напрасно обращался онъ къ самому государю въ письмахъ, полныхъ выраженія самой глубокой преданности и лести: ничего не помогло, и въ маѣ 1826 года Магницкій былъ уволенъ отъ должностей попечителя, члена главнаго правленія училищ¹⁾, уволенъ безъ прошенія, вслѣдствіе неблагопріятныхъ результатовъ ревизіи. Магницкій оставленъ былъ въ Казани, подъ строгимъ наблюденіемъ губернатора, но онъ не успокоился. Рассказываютъ, что онъ посылалъ въ Петербургъ доносы за доносами, слѣдствіемъ которыхъ была высылка его изъ Казани съ фельдъегеремъ на житье въ Ревель подъ надзоръ полиціи²⁾. Съ этого времени Магницкій, кажется, совсѣмъ долженъ былъ проститься съ своими честолюбивыми планами и надеждами, хотя жилъ долго; но за то, за неимѣніемъ практической служебной дѣятельности, онъ сталъ заниматься литературой. Въ Ревелѣ учитель русскаго языка Бюргеръ, перешедшій потомъ, кажется, подъ влияніемъ Магницкаго, изъ лютеранства въ православіе, сталъ издавать журналъ, подъ названіемъ „Радуга“, посвященный вопросамъ исключительно нравственно-религіознымъ. Въ немъ принималъ дѣятельное участіе Магницкій подъ псевдонимомъ Простодумова. Содержаніе статей его, писанныхъ вообще знакомымъ намъ его слогомъ, витиеватымъ и восторженнымъ, заключалось въ нападеніяхъ съ религіозной точки зрѣнія на современное просвѣщеніе, науку и литературу, въ которыхъ онъ видитъ духъ невѣрія. Такимъ образомъ, Магницкій остался вѣренъ самому себѣ. Попрежнему рѣзко осуждалъ онъ иѣмецкую философію и науку, что было, какъ говорятъ, причиною цензурныхъ придировокъ къ журналу въ министерство Уварова, который давно имѣлъ свои счеты съ Магницкимъ. Въ 1834 году по ходатайству князя Голицына, передъ которымъ онъ былъ такъ много виноватъ въ прежніе годы и съ которымъ онъ теперь снова вступилъ въ переписку, Магницкій, жаловавшійся на ревельскій климатъ, вредный для его здоровья, былъ перевѣщенъ въ Одессу. Здѣсь встрѣтился онъ съ извѣстнымъ піэтистомъ Стурдзою, съ взглядами котораго на германскіе университеты послѣ войны за освобожденіе, мы знакомы. Съ Стурдзою Магницкій и прежде былъ друженъ, служа съ нимъ въ главномъ правленіи училищъ и раздѣляя его убѣжденія. Въ этомъ піэтисти-

¹⁾ Теокистовъ, Магницкій стр. 202—227.

²⁾ Восп. Панаева. Вѣстн. Евр. 1867 г., т. IV, стр. 120.

ческомъ кружкѣ Магницкій жилъ до самой смерти, и Стурдза, питавшій въ нему глубокое уваженіе, оставилъ о своемъ другѣ самое восторженное воспоминаніе ¹⁾). Рассказываютъ, что въ послѣдніе годы своей жизни Магницкій отказался отъ всякаго мистицизма и обратился къ простой, не разсуждающей вѣрѣ, Köhlerglauben, по выраженію нѣмцевъ, или къ „мужицкой вѣрѣ“, какъ онъ самъ ее называлъ ²⁾). Но мистическая закваска была, однако, сильна въ немъ, что видно изъ его „Взгляда на мірозданіе“, гдѣ онъ излагаетъ свои мысли объ астрономіи ³⁾). Въ Одессѣ же въ 1838 году Магницкій встрѣтился съ своимъ старымъ товарищемъ и другомъ Сперанскимъ, который пріѣхалъ туда съ Наслѣдникомъ. Это было за годъ до смерти Сперанскаго и было послѣднимъ ихъ свиданіемъ. Магницкій, узнавъ о пріѣздѣ Сперанскаго, тамъ просилъ позволенія явиться къ нему. По смерти Сперанскаго онъ написалъ „Думу на гробѣ его“ (небольшая біографическая статья), въ которой воспоминаетъ о сороколѣтней дружбѣ своей съ покойнымъ ⁴⁾). Вообще, въ послѣдніе годы своей жизни Магницкій, безъ сомнѣній, только отъ бездѣятельности, брался за разные мелкіе литературные труды, переводы, критическія статьи, часть которыхъ оставалась въ рукописи, но во всемъ этомъ не было литературнаго достоинства, и только Стурдза могъ восторженно отзываться о достоинствѣ сочиненій своего друга. Но и здѣсь, въ Одессѣ, незадолго до смерти, когда, казалось бы, жизненные опыты могли научить Магницкаго, когда онъ думалъ только о молитвѣ и говорилъ о смерти и загробной жизни, съ нимъ снова произошла неурядность, которою онъ обязанъ былъ своему неугомонному характеру. Новороссійскимъ краемъ управлялъ извѣстный Воронцовъ. Магницкій былъ сначала близокъ къ нему, даже посвятилъ ему свое сочиненіе „Краткое руководство къ дѣловой и государственной словесности“ для чиновниковъ, поступающихъ на службу ⁵⁾, но потомъ, по старой привычкѣ, вздумалъ написать на Воронцова доносъ, за что и былъ высланъ на нѣкоторое время въ Херсонъ. Біографъ его Стурдза ⁶⁾ говоритъ, что эта высылка была причиною развитія болѣзни, которая свела его въ могилу. Онъ умеръ 21 ноября 1844 г. въ Одессѣ и этими немногими свѣдѣніями о послѣднихъ годахъ человѣка, надѣлавшаго когда-то столько шума въ исторіи нашего образованія, знаменитаго проповѣдника обскурантизма in

¹⁾ Русск. Арх. 1868 г., стр. 926—938.

²⁾ Ibidem 1867, стр. 1697.

³⁾ Москвитянинъ, 1848 г., XI, стр. 133—141.

⁴⁾ Ibidem, VI, стр. 480—489.

⁵⁾ М. 1835 г.

⁶⁾ Русск. Арх. 1867 г. стр. 926—938.

majorem Dei gloriam—по техническому выраженію іезуитовъ, мы оканчиваемъ изложеніе той мрачной реакціи, которая наполнила собою вторую половину царствованія Александра, столь непохожую на первую. Реакція эта, какъ мы уже не разъ говорили, не имѣла никакихъ правъ существованія на исторической почвѣ нашего развитія; она—явленіе заносное у насъ, заимствованное изъ Европы; она сражалась у насъ съ призраками, существовавшими въ воображеніи нашихъ консерваторовъ, а не въ дѣйствительности, и тѣмъ грустнѣе еще и печальнѣе это явленіе. Все, чему радовалось общество въ началѣ вѣва, въ началѣ царствованія, всѣ эти стремленія къ реформамъ, къ пробужденію умственной жизни, все это было задавлено теперь и передъ нами разстилалась бы пустыня, потому что сама реакція была бесплодна, если бъ рядомъ съ нею, въ глухой и, къ сожалѣнію, неравной борьбѣ, не зрѣли сѣмена лучшаго, болѣе свободнаго развитія; этимъ мы обязаны были также Западной Европѣ и нашему участію въ судьбахъ ея, въ войнахъ, за которыми слѣдовало паденіе Наполеона и освобожденіе Европы. Начиная съ 1815 года, когда лучшіе представители нашего общества въ самой Европѣ болѣе или менѣе непосредственно познакомились съ ея умственнымъ развитіемъ, начинается у насъ движеніе такъ называемаго либерализма, которое постепенно усиливается въ нашемъ образованномъ обществѣ. Реакція наша была не въ силахъ приостановить это движеніе, она, можетъ только извратила его, придавъ впоследствии русскому либерализму рѣзкій практической характеръ. Кругомъ этихъ людей, которые выросли подъ вліяніями умственной и политической жизни Европы, лежала такая безотрадная, гнетущая дѣйствительность, что они должны были относиться къ ней съ глубокимъ негодованіемъ. Понятно, что при невозможности существованія законной практической дѣятельности, ихъ патріотическое чувство искало выхода въ слишкомъ идеальныхъ, чуждыхъ дѣйствительности стремленіяхъ, за что большинство изъ нихъ и поплатилось тяжело. Планы преобразованій и новаго общественнаго устройства, которое казалось такъ необходимо имъ, развитымъ людямъ, исполненнымъ мечтательною любовью къ отечеству, они за невозможностію гласнаго обсужденія дѣла, пытались выработать въ тайныхъ обществахъ, составляющихъ также характерную черту начальныхъ двадцатыхъ годовъ нашей исторіи. Положительно можно утверждать, что реакція привела у насъ къ образованію тайныхъ обществъ, что она виновата въ нихъ. Но если политическая сторона нашего тогдашняго либерализма неволью увлекала людей въ тайныя общества, то съ другой стороны на почвѣ того же либерализма, съ которымъ соединилось теперь движеніе европейскаго романтизма, мы увидимъ возникновеніе болѣе свѣтлыхъ литературныхъ явленій, изъ которыхъ многія составляютъ

гордость народную. Поэтический талант Пушкина первоначально выросъ подъ вліяніями этого же либерализма. Рядомъ съ нимъ мы видимъ и другіе таланты, которые ведутъ нашу литературу все дальше и дальше, завоеывая ей болѣе глубокое содержаніе. Правда, литературѣ этой приходилось тяжело въ борьбѣ съ реакціонною цензурою и преслѣдованіями разнаго рода, но она дѣлала свое дѣло и становилась годъ отъ году и богаче содержаніемъ и независимѣе.



О Г Л А В Л Е Н І Е .

СТРАН.

ЛЕКЦІЯ I. 1812 годъ. — Патріотическое направленіе литературы.— С. Глинка.—Растопчинъ.—Его афиши	1
ЛЕКЦІЯ II. „La vérité sur l'incendie de Moscou“.—Казнь Верещагина.—Общая характеристика личности Растопчина.—Шишковъ.—„Опыт славенскаго словаря“.—„Разсужденіе о любви къ отечеству“.— Назначеніе Шышкова государственнымъ секретаремъ	10
ЛЕКЦІЯ III. Шишковъ за границей.—Отставка.—Положеніе и направленіе общественнаго мнѣнія во время послѣдней борьбы съ Наполеономъ.—Басни Крылова, какъ отголосокъ патріотическаго настроенія общества.—Зарожденіе мистицизма въ обществѣ.—Манифестъ 1816 года	20
ЛЕКЦІЯ IV и V. Жуковскій.—Его первые литературные опыты.—„Сельское кладбище“.—Редактированіе „Вѣстника Европы“.—„Людмила“	30
ЛЕКЦІЯ VI и VII. Романтизмъ на западѣ и романтизмъ Жуковскаго.—„Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“.—„Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ“.— Отношенія Жуковскаго къ Протасовой.— „Долбинскіа“ стихотворенія.—Посланіе къ имп. Александру	51
ЛЕКЦІЯ VIII. Жуковскій въ Петербургѣ и Дерптѣ.— Придворная жизнь	71
ЛЕКЦІЯ IX. Отношеніе къ Жуковскому его друзей.—Батюшковъ.—Его дѣтскіе и юношескіе годы	82
ЛЕКЦІЯ X. Батюшковъ въ Финляндіи.— Отставка и жизнь въ деревнѣ.—Увлеченіе Торквато Тассо.—Отношеніе къ спору о слогахъ и патріотическому направленію въ литературу.—„Видѣніе на берегахъ Леты“.—Поездка въ Москву.—Сближеніе съ литературными кружками	92
ЛЕКЦІЯ XI. Батюшковъ въ Москвѣ.— Поступленіе въ военную службу.— Посланіе къ Дашкову.—Походъ въ Европу	104
ЛЕКЦІЯ XII. Причины душевной тоски Батюшкова.— Выходъ въ отставку.—Арзамасъ.—Сближеніе съ Уваровымъ.—Поездка въ Италію	114
ЛЕКЦІЯ XIII. Душевная болѣзнь Батюшкова.—Причины ея.—Арзамасъ.—Шаховской и полемика противъ него	125
ЛЕКЦІЯ XIV. Возникновеніе и занятія Арзамаса.—Члены его	135
ЛЕКЦІЯ XV. Намѣреніе арзамасцевъ издавать журналъ.—Миловновъ	145
ЛЕКЦІЯ XVI. В. И. Панаевъ —Казанское общество любителей отечественной словесности.—„Идиллія“ Панаева	156

600

СТРАН.

ЛЕКЦИИ XVII и XVIII. Н. И. Гяндичъ. — Переводные романы. — Нарѣжный	165
ЛЕКЦИИ XIX и XX. Нарѣжный. — Его романы. — А. Е. Измайловъ	187
ЛЕКЦИЯ XXI. Общественное настроеніе послѣ 1812 г. — Россійское библейское общество	209
ЛЕКЦИЯ XXII. Библейское общество. — Возстановленіе масонскихъ ложъ. — Ланкастерскія школы	219
ЛЕКЦИЯ XXIII. Реакціонное движеніе въ Западной Европѣ	229
ЛЕКЦИЯ XXIV. Отраженіе европейской реакціи въ Россіи.	238
ЛЕКЦИЯ XXV. Реакція. — Магницкій	248
ЛЕКЦИЯ XXVI. Магницкій. — Преобразованіе Казанскаго университета.	259
ЛЕКЦИЯ XXVII. Положеніе университетовъ во время реакціи	269
ЛЕКЦИЯ XXVIII. Цевзура во время реакціи. — Министерство князя Голицына	279
ЛЕКЦИИ XXIX и XXX. Парротъ. — Паденіе Голицына. — Фотій	289
ЛЕКЦИЯ XXXI. Исторія книги Госнера. — Паденіе Голицына. — Министерство Шишкова. — Закрытіе библейскаго общества.	309
ЛЕКЦИЯ XXXII. Филаретъ. — Судьба Магницкаго. — Заключеніе	320

72 1800А А 30

2 40



M



M



M



M

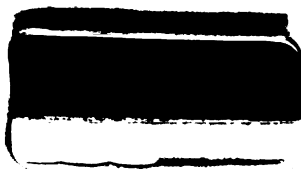


M

DO NOT REMOVE

OR

CARD



M



